Михаил
Осоргин








# В тихом местечке Франции

# Письма о незначительном

Москва
НПК «Интелвак»
2005

УДК 831.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
О-75

*Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)*

Составление, примечания *О.Ю. Авдеевой*

Художник *В.М. Мельников*

Научный руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-049-9

# В тихом местечке Франции



Эта книга не роман, не хроника, не дневник и не только воспоминания. Ее отдельные страницы были написаны на клочках бумаги без малейшего намерения когда-нибудь соединить их в одну тетрадь. Часть их осталась в папке, часть застряла в почтовых конторах разных городов Франции, без надежды дойти по назначению, может быть, погибла при разрушениях и пожарах, часть перелетела по воздуху океан и сохранилась в дружественных руках.

Я никогда не хотел писать подобной книги. Я был бы безмерно счастлив, если бы, однажды проснувшись, мог узнать, что мне только приснился дурной сон, что мы продолжаем жить в старом мире старой жизнью мирных обывателей, не обогащая историков никаким материалом. Как было прекрасно время, когда для создания книги требовался искусный художественный вымысел, благородная и благодарная работа мозга и игра воображения! Но то, что случилось, убило надолго деятельность писателя. Всякий опыт художественной выдумки убит действительностью и стал кощунством. Мы можем быть только летописцами и подготовлять материал для будущих писательских поколений. Они, отделенные от наших дней умиротворяющим временем, найдут красивое и героическое в том, что нам представляется только кровавой кашей и ликованьем лжи. Они обретут необходимое для работы спокойствие и даже беспристрастие, к которому мы решительно неспособны, которое сейчас кажется беспринципностью и преступлением. И они, не обремененные хроникой дня, ощутят потребность в вымысле, украшающем искусство, в сладкой небыли и многоцветной неправде. Мы, свидетели истории, этого творческого счастья лишены.

Автор этих строк, переживший слишком много мировых событий и, в связи с ними, личных жизненных катастроф, попытался спрятаться от парадной истории в быт тихого местечка, полугорода-полудеревни, в самом сердце старой Франции, сначала — чтобы здесь переждать грозу, затем —

чтобы здесь же собрать разбитые страницы своих записей и своих впечатлений в эту книгу. Ему не приходится думать о стройности книги, создавшейся так случайно, и он оставляет в нетронутом виде то, что было записано спешно, огрызком карандаша, в сумбуре дней, в бессоннице ночи, в дороге, иногда в нереальности жизни, иногда в ожидании смерти и даже в страстной о ней мечте. Он не выбрасывает и личного, которое было показательным для общего бедствия и могло служить стрелкой барометра его собственных и чужих настроений. И только в периоды относительного покоя он позволяет своим мыслям подводить итоги и отыскивать прочное и вековое в беге времени и в обстановке, его приютившей.

Книга не кончена — у таких книг не может быть ни конца, ни начала. Из календаря вырваны и прошиты ниткой отдельные листки. Сегодняшний день, которого автор предугадать не может, вероятно, уже уничтожает значение и интерес многих записей. Такова судьба всего подлинного, такова же, впрочем, — и художественного вымысла, также имеющего свои сроки. И никакое ухищрение этой судьбы не предотвратит. Habent sua fata libelli*.

В тихом местечке Франции, где эти строки пишутся, мир и покой устойчивого быта. Зимний холод сковал отдыхающую землю, которой весной предстоит новая работа. Происходящее в мире доносится сюда только отдаленным отзвуком. В печке потрескивают сосновые дрова. Будущее неведомо. Настоящее просто и обычно. Недавнему прошлому посвящены мои немудреные страницы.

*Ш а б р и, конец 1940 года*

* Книги имеют свою судьбу. Изречение римского грамматика Теренция Мавра («О буквах, слогах и размерах», 1286) (*лат.*).

# I

Ночью я вышел на крыльцо, увидал перед собой Полярную звезду и впервые точно определил, в какой стороне от нас Париж. Раньше направления путались, так как пальба орудий слышалась как бы отовсюду. Когда же военная гроза перекатилась через наше местечко, Париж на время вообще перестал существовать, стал историческим прошлым. Сейчас мы снова нашли его на карте тысячелетних воспоминаний.

Мы прожили тысячу лет на окраине крошечного городка на реке Шэр, в основе треугольника, образуемого течением Луары, в средней Франции. Тысячелетие началось не здесь, а в двухстах километрах к северу, под самым Парижем, но нас унесло оттуда потоком людей, вагонов, автомобилей и животного страха. Это случилось, кажется, 11 июня и длится, по прежнему человеческому счету, две недели, вплоть до сегодня. В поспешном внезапном бегстве с ручными чемоданчиками и провизией на два дня, мы не захватили календаря. Сегодня я записал числа месяца и названия дней на листке голубой бумаги, так как в новой эре существования это может понадобиться; буду вычеркивать день за днем, пока не вычеркнется весь остаток жизни. Однако никакая наглядность чисел не убедит меня в том, что в течении судеб не произошло тысячелетнего скачка. Века вперед или века назад — безразлично; тысячелетие прожито.

Оно так бедно духовными переживаниями, вернее, эти переживания так ничтожны, что о них совестно рассказывать. Маленькая история душ, сжатых в ко-

мочек. Точно так же ничтожны и события, доведшие эти души до унизительного состояния. Это не может быть сюжетом не только книги, но даже сносной повести. Я пишу только потому, что прожил всю жизнь с пером в руке, дополняя вымыслами действительность. Людей, никогда не существовавших, заставлял мыслить и действовать, удивляясь их послушанию и не ставя себе вопроса, зачем я это делаю. Сейчас, в мире опрокинувшемся, мне уже не придумать иного занятия, хотя знаю, что оно утратило всякий смысл, если когда-нибудь его имело. Слышу голоса детей и взрослых, но возможно, что это тоже вымысел. Все грани реального стерты чувством неизбывной, огромной тоски. У итальянцев есть выражение stanchi di vivere*, но так говорят о мертвых, вежливо и интимно. Мы, по-видимому, живы, лишь став старше на тысячу лет.

Никакой последовательный рассказ для меня невозможен. Но я вел род дневника, запись не поденных, а едва ли не получасных впечатлений, в любой момент тишины или ее резкого нарушения, во все минуты жизненного неправдоподобия. Только некоторые его страницы остались при мне. Когда их накапливалось достаточно для письма с одной заграничной маркой, я запечатывал их в конверт и надписывал адрес самых отдаленных друзей, живущих в Северной Америке, и опускал письмо в почтовый ящик. Мне казалось нелепым хранить исписанные карандашом бумажки при себе, когда жизнь в любую минуту может пресечься. И я отсылал их не на хранение, а как возможный прощальный привет. Это было преувеличением, но мы жили в обстановке смерти, вплотную подошедшей. Нельзя от простых обывателей требовать героической выдержки или хотя бы спокойствия под грозно гудящим небом.

---

* Уставшие жить (*ит.*).

Не веря больше в жизнь, мы продолжали, по инерции, верить в почту. Теперь я знаю, что эти отрывочные записи остались где-нибудь на складах почтовых отделений и что дошло по назначению только немногое. «Конечно, почта восстановится», — сказала девица, которой люди вверяют свои секреты и свои ценности. Эта девица, голова которой обычно обрамлена почтовым окошечком, внезапно потеряла свой облик портрета и стала появляться на улицах городка: ей было нечего делать. Но веру в законы человеческого общения она сохранила. Возможно, что она продолжает верить в существование Европы и ее отдельных стран, расположенных в алфавитном порядке; реальна для нее даже Америка в трех буквах U.S.A. Но для меня доверенные ей записки разорвались в воздухе и разлетелись по полю, как та шрапнель, которая подгоняла нас в бегстве в небольшой лесок близ полотна железной дороги. Поэтому мне нелегко восстановить порядок часов и дней, — да вряд ли это и важно. В том же, что осталось, только одна краткая запись показалась мне ценной; это — фраза, написанная неясным почерком, может быть ночью, на ощупь, в полной темноте: «Нет, это только хлопнула дверь».

В вечном прислушивании, в вечном ожидании стук резко хлопнувшей двери схож с далеким разрывом бомбы.

------

Под Парижем, в местечке, названном в честь покровительницы французской столицы, св. Женевьевы. По преданию, она жила здесь в гроте, среди дремучего леса. Грот уцелел, хотя его каменная кладка не говорит о большой древности; леса вырублены.

Неподалеку от грота наш сад. В нем только что начали пышно зацветать розы, выращенные мною из

черенков. Это — самое большое чудо, создавать из отрезка живое растение и наблюдать его рост. Стала румяниться смородина, наливается крыжовник, и к летнему зною сад готовит запасы густой тени. Смотрю на землю, чтобы не поднимать глаз к небу, где гудят самолеты. И все мы пытаемся забыть о том, что с севера идет на нас гроза.

Мы могли бы уже привыкнуть к залпам отдаленных защитных орудий, но привыкнуть к этому нельзя. Мы — обыватели; в нас нет ни воинственности, ни счастливой уверенности. По ночам нас не раз будили чугунные шаги на недалеких от нас аэродромах, и мы научились отличать разрыв бомбы от орудийного выстрела. В те же ночи в сторону Парижа мчатся по дороге моторизованные французские части. Мы притворяемся, что мирно спим, но это неправда: мы напряженно слушаем и ждем.

Утром газета и радио. Газета думает, что это четырнадцатый год, и она намечает предстоящие этапы. Она устарела на четверть века. Французское радио начинает с музыкальной фразы, отрывка «Марсельезы»: «Aux armes, citoyens!»* — самые трагические звуки за всю войну. Фраза бесконечно повторяется, пока, наконец, спикер, откашлявшись, придает голосу нужную бодрость. Мы давно не верим в деланое спокойствие эфира и между его словами вставляем свои тревожные дополнения. В ящике аппарата шепчутся, сговариваются, перебивают друг друга. Спикер вытирает лоб клетчатым платком. Выскакивает итальянец и старается быть нейтральным. Здоровый и гулкий голос англичанина, который не сомневается. Вечером нам все объяснит разумным тоном и голосом педагога русская женщина с московским говором: Европа гибнет, в России все счастливы и любят друг друга. Кроме того, они любят поляков и русинов, которые отвечают им вза-

* «К оружию, граждане!» (*фр.*)

имностью. Для большей звучности голоса спикер смачивает горло сахарным сиропом.

Земной шар купается в растворе лжи. Если бы откуда-нибудь прозвучала правда, это было бы отвратительным диссонансом и никто бы не поверил. Язык мира должен быть одинаковым, иначе люди перестанут понимать друг друга.

Грот св. Женевьевы ниже уровня дороги. С краю над ним высится второразрядный кабачок. Мадам Сюзан, женщина еще молодая годами, но седая и багровая от алкоголя, идет из кабака домой бодрым солдатским шагом. Она пила всегда, теперь она пьет принципиально. Она говорит мне: «Il faut avoir du courage, monsieur!»*

Она нашла способ отгонять от себя животный страх. Ей известен путь спасения. Трудно представить себе более убежденную женщину.

При моем приближении, к решетчатой калитке соседа подбегает шагом спешным, но без преувеличения, собака, которую зовут Таки. Она помахивает хвостом, так как знает, что получит лакомство. Она принимает подарки с достоинством, но не выдерживает тона и жадно глотает кусок. Война людей ее не интересует.

Все как обычно. Прекрасная весна. Невозможно забыться ни на минуту. Ряд ящиков с землей засеян семенами цветов, но зачем — не знаю. Так делалось всегда, чтобы летом и осенью сад был красив и ароматен. В нынешнем году я не верю в цветы — их не будет, или я их не увижу.

Два новых куста роз: розовая — La France и снежно-белая, носившая имя Frau Karl Druschi. Последнюю мы переименовали в Blanche-Neige*; она обильно покрыта распускающимися бутонами, тогда как La France зачахла и отказывается цвести. Случай-

---

* «Надо иметь мужество, мсье!» (*фр.*)

** Франция, Госпожа Карл Друши, Белоснежка (*фр.*).

ность, которая кажется предзнаменованием. Все мои заботы отдаю этой розе, но нет уверенности, что она спасется и оправится.

Опять гудит небо — самолеты летят треугольниками, но слишком низко, чтобы быть вражескими.

———

Что станется с Парижем? Ждет ли его долгая осада, или волны только окружат его и прокатятся мимо?

Мы едем проститься с Парижем на случай, что страх угонит нас к югу.

С Парижем связана четверть моей жизни, но лишь сейчас чувствую, каким близким стал мне чужой город. Город родной, Москва, нереален; с ним давно порваны все внешние связи, он остался только в воспоминаниях, таким, каким он был когда-то. Перестал быть реальным и Рим, которому я отдал десять молодых лет, но которого не узнал при попытке в него вернуться: старик омолодился и вставил золотую челюсть. И только Париж остался прежним, городом без возраста, аристократом без подделки, центром достоинств и недостатков Европы, приветливым хозяином, не скрывающим благородных морщин, но и не нуждающимся ни в костылях, ни в снисхождении. Париж — история; Париж — крепость неумирающих идей.

В солнечный день прохожу площадь перед собором Парижской Богоматери. Она никогда не перестанет быть прекрасной: ни под солнцем, ни в дождь, ни задернутая завесой тумана. Кружевной фасад храма, с каменной резьбой и розетками, не перестанет быть строительным чудом; течение Сены, ничтожной речки, здесь кажется великолепным; отделяющие площадь от воды деревья — естественная и незаменимая рамка. Немыслимо, чтобы над городом таких чудес летали стальные машины, грозя ему гибелью

и разрушением. И невозможно, чтобы Париж перестал быть создавшей его Францией.

Париж родился здесь, на островке Лютеция, позже принявшем имя св. Людовика. Его создали паризии; его осаждал Цезарь; его охраняла св. Женевьева от полчищ гуннов; он был опустошен норманнами после трехмесячной осады; он был унижен вступлением пруссаков, англичан и русских в 1814—1815 годах; был оскорблен немцами в 1870-м; был под угрозой в дни прошлой мировой войны. И вот опять сила и дерзость посягают на его красоту и его свободу.

------

Мы живем в старом квартале левобережного Парижа, на одной из улиц, сочетавших соседство тюрьмы, гильотины, родильного приюта и сумасшедшего дома. Это не мешает ей быть для нас уютной. Из деревенского весеннего покоя мы приехали повидаться с книгами, вещами и со всем, окружающим наш парижский зимний быт, — чтобы опять расстаться на время или навсегда, — как можем мы знать, что будет с Парижем и что будет с нами? Может быть, лучше остаться здесь, в давно обжитой квартире, и пережидать грозу, рискуя быть погребенными под развалинами Парижа? Или — вернуться в деревню, откуда, при случае, легче бежать на юг, чтобы не оказаться под господством врагов Франции?

Дома меня окружает царство книг, рукописей, писем, гравюр, портретов и маленьких вещичек, загрузивших письменный стол, к которым у меня не только пристрастие, а настоящая преданность. Ценны они только для меня, — эти коробочки, стаканы для перьев, мундштуки, огрызки карандашей, старые монеты, жетоны с таинственными знаками, печатки, лупы, зажигалки, миниатюрные весы для писем, резинки, подпилки, пинцеты, разнообразные скрепки для бу-

маг и множество предметов, давно забывших о своем назначении. По основной склонности я — антиквар, потому я и люблю старый Париж. На весеннее и летнее время я оставляю Париж ради клочка земли в его окрестностях, где моя вторая страсть — цветущий сад, разбитый на месте бывшего пустыря и мелколесья. Но возврат к книгам, вещам и вещичкам, к моим архивам и зимним мыслям всегда приятен и всегда волнует.

Мы приехали в Париж только на сутки, оглядеться и решить, как мы поступим, если военная гроза подойдет вплотную. Нас двое — я и жена, всегда неразлучные и связанные любовью, дружбой, общностью запросов к жизни и постоянной работой. Жизнь, нами для себя созданная, едина и нераздельна. Пока есть сила, мы хотим эту жизнь защищать и отстаивать от всяких сторонних покушений.

Едва мы входим в свою квартиру и распахиваем окна, как раздается гуденье сирен — сначала ближней, затем отдаленных. Ответ на мысли и вопросы, очередная тревога.

Сирены воют дольше, чем могут выдерживать нервы человека, уши которого не залиты воском в подражанье Одиссею. Улицы пустеют, но в подъездах стоят толпы любопытных, уже несколько привыкших к этой военной симфонии. Слышен шум пропеллеров. На этот раз к небесному шуму и пальбе защитных орудий присоединяются явственные взрывы брошенных бомб. Впервые Париж не пощажен.

Под нашей квартирой подвальное убежище, но мы остаемся дома: нет смысла отделять себя от неба еще одним слоем камня, извести и трухи. И почему снаряд упадет именно на наш дом? Страха нет, но чувство тоски, уже хорошо знакомое, охватывает с удвоенной силой!

Тревога длится час, сирены воют отбой. Еще через час мы знаем, что окраины Парижа пострадали, что немало разрушенных домов и много убитых и ране-

ных. Неприятель может с удовлетворением отметить, что первый налет на Париж был удачен.

К вечеру мы уезжаем в свою деревню. Там живут близкие нам люди, и мы спешим рассеять их беспокойство за нас; вероятно, там уже знают о налете на столицу.

Нас встречают, но не расспрашивают, и мы не спешим делиться новостью. Мы рады вернуться под деревенский кров из города, где жизнь людей в опасности.

В местечке необычное оживление. Подойдя к дому, мы видим, что его стекла выбиты. У решетки соседнего участка толпа. На небольшом огороде, где были гряды, открылся кратер вулкана — огромная воронка.

Бомба упала в тридцати метрах от нас с редким благополучием: в поврежденном домике соседей никого не было.

Мы поняли, почему нас не расспрашивали о Париже: здесь пережили не меньшее по маленькому масштабу нашего поселка.

------

Какой звук невыносимее? Жужжанье высоко над вами стального комара, вой сирен или свист падающего близко снаряда?

Комар гудит, как басовая струна, и он выбирает место, куда ужалить. Невозможно не слушать переливов его гула. Когда днем он жужжит в облаках, глаз ждет его внезапного появления, — и того же ждут где-то скрытые зенитные орудия, встречающие его громким салютом. По ночам его путями следуют столбы света, скрещиваясь в высоте. И вот гуденье сменяется тяжелыми чугунными шагами, и мы сжимаемся в домах и домиках, на которые может упасть капля небесной росы, не со зла, а по неточности прицела. Шаги приближаются, проходят и снова при-

ближаются. Если ночь — мы пытаемся уснуть в перерывах, потому что совсем не спать невозможно; если день, то вместе с наступающей тишиной вырастает неправдоподобие: аллея каштанов, расплавленный солнцем аромат жасмина, знакомое чириканье птиц, ясность и правдивость зеленого мира. Несовместимы мироощущения, между которыми, как детский мяч, перекидывается наше сознание: или нет живой незыблемости природы, или нет ужаса, вносимого в нее злой человеческой волей! В уверенное спокойствие вечной гармонии немыслимо включить треск барабана, — это оскорбительно для сознания и им отвергается как слишком явная ложь. Делается неуместным даже громкий разговор, немыслимым даже детский смех.

Так жить нельзя. Все мы знаем, что так жить дальше нельзя — и все живем. Жизнь продолжается по инерции, как по инерции стекольщик вставляет в нашем домике стекла на место выбитых напором воздуха. Нужно на что-то решиться, куда-то уйти от гуденья небесных моторов и от чугунных шагов. Уйти — для нас значит бросить все немногое, что давало возможность и уют жизни, откатиться по течению реки, слишком медленному, чтобы гроза его не опередила. Или — забиться, пока еще есть время, под защиту камней Парижа, о которых мы не знаем, останутся они или превратятся в груду мусора.

Нас учили, что от удушливых газов нужно иногда спасаться, идя к ним навстречу — против ветра; к счастью, это знание нам не пригодилось. Но спасаться от войны, бросаясь прямо в ее объятья... мы не герои, мы простые, маленькие, робкие и уже достаточно напуганные люди!

------

Я — старый мастер печатного цеха. Я связан рядом обязательств, которые должны быть выполнены. С пером

в руках я сижу и думаю о том, что мог бы я сказать людям, считающимся с чужими мыслями.

Я мог бы им сказать, что борьба идей не разрешается орудиями убийства. Но они улыбнутся и сошлются на историю всех времен и всех народов, пролагавших каждый своей правде кровавый путь. Я буду кричать, что это не так, что мерами насилия можно покорить тело, но не дух человека, — но и на это мне ответят примерами принудительного воспитания целых поколений, легко и без всякой внутренней борьбы принявших навязанную им слепую веру в то, что истина найдена и не подлежит пересмотру и что ее глашатаи непогрешимы, и, следовательно, нужно довериться вождям и лишь выполнять их предначертания. И мне останется только принимать желаемое за сущее и прославлять павшие кумиры перед пустой аудиторией.

Мне припоминается маленький рассказ L. Halèvy о суде над старым повстанцем, участником всех случившихся на его веку революций, и его сыном, также взятым с оружием в руках. Старик заявил суду, что не требует себе ни оправдания, ни милости, что он был и будет toujours contre le gouvernement*, каково бы это правительство ни было; но он просит о снисхождении к его сыну, который еще может перемениться и стать законопослушным. Его речь на суде проникнута искренностью и прямотой человека, не способного носить никакие оковы, ни золотые, ни золоченые, и суд, убежденный его простодушным красноречием, приговорит его к смерти и пощадит его сына...

Верные принципу вечного искания ненаходимой истины, мы можем допустить и чужую правду, можем даже желать ее для будущих поколений, но для себя никак не можем отказаться от своей, с которой прошли жизненный путь, до последнего этапа в ней

* Всегда против правительства (*фр.*).

не усомнившись. И не потому, что считаем ее вечной и неколебимой — такой правды нет, — а потому, что не ощутили ее внутреннего крушения, каковы бы ни были свидетельства истории или современности.

Не из боязни переубеждения — нет, — а из отвращения к этим моторизованным свидетельствам хочется уйти как можно дальше от их насильственной убедительности куда-нибудь в глушь природы, в прочное спокойствие быта, где рост и созревание мысли не нарушаются угрожающими взрывами, где свою правду можно додумать до конца, и если даже отказаться от нее, то свободно и с полной убежденностью, значит, и без сожаления.

——————

Трижды и более в день радио начинает свои сообщения трагическим отрывком «Марсельезы». Впечатление такое, что вот сейчас эта страдающая фраза сорвется в хрип и визг — и все кончится. И уже поздно будет делать свои практические выводы.

——————

По дороге, обсаженной старыми каштанами, вереницей катятся легкие танки — на север, в обход Парижа. Их прикрывает густая тень каштанов, но их видят сверху в случайных перерывах. При залпах зенитных орудий движенье приостанавливается.

Линии фронта не существует — она расплылась в воздухе. Она уже охватывает половину неба Франции.

Струна, давно гудевшая на высоте, спустилась к дороге. В деревне нет никаких подземных убежищ, и все, выйдя из домов, смотрят на боевые треугольники стальных комаров, нависшие над аллеями каштанов. Одновременно — порыв ветра и гром из набежавших туч. Над нами сразу две грозы. В пер-

вый раз в нашем местечке гудит сирена, служившая раньше лишь для пожарных сигналов. Все эти звуки сливаются в один гул. Так длится несколько долгих минут. Затем обе грозы отдаляются, не разразившись, движение восстанавливается, люди возвращаются в дома.

Вероятно, это было красиво, но нам не до эстетических оценок.

Дважды в жизни я был военным корреспондентом большой газеты, но на моей совести нет ни одного описания сражений, даже тех, которых я был очевидцем. Я видел на войнах только маленьких людей, — Иванов, Жанов, Гансов, — обернутых в сукно защитного, но не защищающего от смерти цвета, видел истоптанные, выжженные огнем, изрытые снарядами поля, уничтоженные сады, отравленные газом леса, смятые стада беженцев, видел исковерканные тела и оскаленные зубы мертвецов, — но никогда не посягал на баталическую живопись.

Тысячи более искусных и приспособленных перьев рассказали и еще расскажут о героических подвигах и о горах трупов, об ужасах и, может быть, красоте войны; понятие красоты настолько индивидуально, что я не решусь возражать.

Нужен особый, жестокий талант, чтобы быть живописцем войны; нужно любить кровь и музыку битвы. И нужно еще верить в то, что «война есть гигиена мира».

Мой знакомый ездил по делам в Америку и прислал мне оттуда открытку с изображением чикагских скотобоен. На открытке написано: «Замечательные учреждения! Чистота, порядок и изумительная работа. Самое интересное, что я здесь видел».

------

Ночи становятся бессонными, дни угрюмыми. Радио уже не говорит об искусных стратегических отходах; оно посягнуло на правду и признало «отече-

ство в опасности». И уже не катятся друг на друга военные лавины: Франция дрогнула и бежит.

Мы — больные измученные люди. Мы не записывались добровольцами и не способны сражаться. Мы в чужой стране, которую хочет раздавить страна чужая. Но в нас нет безразличия, и мы не хотим оказаться под пятой завоевателя.

Капля переполняет чашу. В какой-то момент медлительность ожидания сменяется деятельной тревогой, и мы бросаемся к чемоданам. Уже поздно думать о спасении вещей — пора спасать жизнь.

Дороги забиты автомобилями. На крышах машин навалены тюфяки. Образовались заторы, прерывающие всякое движение. В центре одного из них пылает костер из домашней рухляди, людей и железа. В другом перевернулась нагруженная машина и задавила детей.

Еще идут поезда на юг. С чемоданами мы на местном вокзале. События развернулись с такой быстротой, что еще не всем понятно их трагическое значение, и на вокзале нет большой толпы. У кассы кто-то еще спрашивает билет до Парижа. Жизнь упорно хочет продолжаться, но уже чувствуется, что ее уверенность может в любую минуту порваться.

Ожидание на открытой платформе. Шум пропеллеров — и все с интересом вглядываются в небо. Вокзалы и рельсовый путь — законная цель бомбовозов. Но мы уверены, что это наши самолеты, прилетевшие для охраны поезда. Беспрерывна пальба защитных орудий. Чтобы не выказывать страха, люди улыбаются. И это естественно: в трагическое впутывается юмор. Из чувства самосохранения люди жмутся под защиту стеклянных навесов. Пожилая дама, не найдя прикрытия, защищает голову и плечи дождевым зонтиком. Мы нервно смеемся.

Мы втискиваемся в первый подошедший поезд. Он переполнен, но люди умеют сжиматься и сплющиваться. Поезд трогается.

------

Теперь слышен только стук колес, заглушивший все остальные шумы. Нет стука более успокоительного.

Поезд не прямой, и нечего думать о точности расписаний, — важно лишь уехать как можно дальше.

И вот начинается беспрерывная смена вагонов, ожиданье на узловых станциях, удачи и неудачи посадки, сплющиванье тел, набитых в длинные вагоны, и такое же сплющиванье и спаиванье встревоженных душ. Это еще не паника. Ни на вокзалах, ни в поездах, лишенных прислуги, которая наблюдала бы за порядком, нет ни суматохи, ни борьбы за места. Трудно объяснимый фатализм: все стремятся уехать дальше, но никто не перебивает другому дороги. Преимущество детям и старикам. Не удалось сесть — значит, не судьба, и люди даже улыбаются. Горы чемоданов и узлов в проходах. Нелепость полупустых вагонов второго и первого классов, — привычка к порядку и соблюдению правил. У нас нет средств для буржуазных удобств. Иностранцы, мы с ласковой про́стотой включены в толпу французов.

На остановке — как часты и как томительны эти задержки в пути! — вагоны, груженные племенным скотом, увезенным из Нормандии. Из отдушин вагонов высовываются морды с красивейшими глазами. Быки плачут и стонут. Их участь горше нашей, потому что они безвольны и обречены. Один запутался рогами в веревках, перетянувших отдушину. Милосердный человек карабкается на подножку вагона и перочинным ножом режет веревки: последний акт гуманности, и все это чувствуют. Опять трогается поезд — до новой пересадки; их было восемь на кратком, нашем пути, на двухстах километрах к югу.

Пока светло, мы видим близ полотна дороги разбитый аэроплан. Момент злого торжества, мы готовы рукоплескать. Но тотчас же замечаем цвета Франции. Исковерканная машина лежит на изрытом глубокими воронками ровном поле. Очевидно, аэродром

уничтожен внезапным налетом. Два солдата в позе отдыха сидят у выхода из подземных ангаров: им больше нечего охранять и нечего опасаться. На минуту в вагоне водворяется молчание, затем опять — рассказы беженцев из Бельгии и с севера Франции, смешение французских наречий, вскрытые коробки консервов, духота и невозможность изменить положение тела, застрявшего в проходе среди груды чемоданов, узлов и коробок.

На всем пути мы видим в окна вагона проезжие дороги, плотно забитые беженскими частными машинми. Мы всюду их обгоняем — на рельсах нет задержки. Над черной полосой машин — огромные французские патрульные птицы; вероятно, и над нами, и это действует утешительно: о нас заботятся. Проезжая мимо автомобильных заторов, все мы позволяем себе маленькое злорадство: богатым людям, собственникам загруженных багажом машин, не лучше нашего! Остановка одной из них задерживает в пути всех. Видны машины по обочинам дороги: поломки или недостача бензина. Мы проносимся мимо, беженская беднота.

Мы еще не знаем, что эти дороги, забитые машинами, велосипедами и пешеходами, уже завтра станут истинным крестным путем беженства, что в них втиснутся отступающие отряды французской армии и все обратится в кашу и верную мишень для германских бомбовозов, — об этом нам расскажут бежавшие днем и двумя позже нас и застрявшие в пути на недели. Здесь упражнялись в боевой доблести молодые немецкие летчики и за это получали в награду железные кресты: не тратя бомб, они расправлялись пулеметами.

------

Ночь на Орлеанском вокзале. Большинство пассажиров уехало дальше на юг или отправилось в город

разместиться на ночь у знакомых. Мы расстилаем пальто и пледы на грязном перроне, у стены. Наш поезд будет только утром.

Вчера был налет на Орлеан; возможно, что сегодня не будет. В темноте блуждают огоньки карманных фонарей.

Застекленная крыша вокзала вспыхивает белым светом, и сквозь лязг подходящих вагонов доносится словно бы грохот орудий. Но это — не нападение, это — наша большая удача: над Орлеаном гроза, лучшая защита. С высокой крыши прямо на лицо каплет дождевая вода, смешанная с сажей. Какое наслаждение знать, что час наш! Но сна нет: впереди — рассвет, и небо может проясниться.

Ночь, которой я никогда не забуду. Она не была беспокойнее многих других — скорее наоборот. Но она была первой ночью нового ухода из осмысленной жизни, созданной с таким трудом в чужой стране. Была ночью невольных воспоминаний и тревожных дум о предстоящем.

Уже давно невозможность быть гражданином пробудила во мне скромное, но страстное желание быть только обывателем в какой-нибудь стране, в каком-нибудь городе, пригороде, деревне. Это значит — отказаться от больших замыслов, уйти как можно дальше ото всякого участия в жизни политической, создать свой собственный самый прозаический уют, заслуженный тридцатилетним и дольше вынужденным скитаньем по свету. Счастье — зарыться в книги или в цветочные клумбы, быть в молчаливом, но таком достойном обществе неживших людей, немых животных и растений, — то, что французы, применяясь к своему изысканному вкусу, называют башней из слоновой кости, la tour d'ivoire, а мы, русские, чуждаясь замков, именуем кельей под елью. Ни в ком не нуждаться, никому и ничему не быть помехой. Может быть, это — усталость, но, во всяком случае, не слишком дерзкое к жизни требование.

Это — не личные записки или, вернее, не записки о личном, и мне достаточно признанья, что на всех этапах жизни эта скромная мечта неизменно разбивалась и вместо «кельи под елью» я время от времени оказывался на вокзале незнакомого города, меняя поезд или проводя бессонную ночь. Жизнь, составившаяся из кусочков. Все, что окружает, что становится близким и дорогим, внезапно рассыпается и исчезает — люди, вещи, навыки. С неохотой и душевной обидой входишь в жизнь новую, всегда сначала неприветливую. Постепенно привыкаешь, приспособляешься, роднишься и с новыми условиями, и с новыми людьми, окружаешь себя уютом знакомых предметов, — и так до очередной жизненной катастрофы, неизбежной и неумолимой.

Люди, которые лежат вповалку на полу вокзала, которые застряли в дороге или уже успели укрыться от войны в южных провинциях, почти все эти люди рано или поздно вернутся к своей прежней, нормальной жизни, на старые, насиженные места, к привычным работам. Но я знаю, что для нас это невозможно, для случайных пришельцев, искусственно создающих себе временные приюты.

Предчувствие? Может быть, это было предчувствием. В ночь на Орлеанском вокзале я мысленно простился навсегда с недописанной страницей прошлого — с одной из терпимых его страниц.

———

Рассвет. Блуждающие огоньки карманных фонарей гаснут. Утро смотрит на нас сквозь стеклянную крышу вокзала. Можно умыться под краном и закусить взятым в дорогу.

Кажется, что мы уже давно в пути, которому конца не будет, что так было всегда, что это наша судьба. Подбираем и чистим пальто и пледы, служившие подстилкой. Вокзал пополняется людьми, отдох-

нувшими в эту ночь, обошедшуюся без вражеских налетов.

И вот мы опять в поезде — нам везет в дороге.

Поезд идет по тихим местам средней Франции, где война еще не должна чувствоваться. Перед нами несколько дней обеспеченной тишины и заслуженного отдыха. С большого пути пересадка на узкоколейную дорогу, уже спокойная. Скудный наш скарб на багажных полках, мы сами сидим на роскоши деревянных лавок и воспаленными глазами смотрим на бегущие мимо вересковые заросли и кустарники — простор охотников. Мы пересекаем светлую полосу Луары и едем теперь среди виноградников. Какой мир и какая благодать! Наша конечная цель — старинный городок, в стороне от стратегических путей; леса, перелески, опять поля, по которым гуляет солнце.

И вдруг суровым напоминанием длинный ряд исковерканных бомбами и обуглившихся легких зданий: около самой дороги авиационный завод, уничтоженный дотла немецким налетом. Рядом изрешеченные осколками снарядов сельские домики без стекол, и земля изрыта глубокими, уже хорошо знакомыми воронками. Здесь прошла смерть, в двадцати минутах езды от избранного нами места отдыха.

Нам поясняют: это случилось дней пять тому назад.

------

Тихое, благодатное местечко в провинции Indre. Срединная Франция. Мы приехали именно сюда только потому, что здесь уже второе лето проводят наши друзья, тоже русские. Где-нибудь и как-нибудь они нас приютят. Нужно непременно отдохнуть, найти равновесие духа и тогда решить, останемся ли мы здесь или двинемся дальше на юг, может быть, пешком, только бы уйти от надвигающегося на Францию с севера военного ужаса.

Мы — чужестранцы и обыватели. Нам страшно. Признаваться в этом не стыдно. В своей жизни мы перенесли много потерь и много раз носились на самодельных плотах по бушевавшим морям. Нам нечего терять, потому что все давно потеряно: родина, возможность планомерной и осмысленной работы, круг близких по крови и по духу людей, будущее.

Мы связаны с Францией, куда нас забросила случайность; могла стать таким же пристанищем и всякая другая страна. Франция культурно ближе, духовно свободнее, ее гостеприимство традиционно и без чрезмерной ласковости, она, во всяком случае, вежлива с иностранцами, не проявляя к ним излишнего интереса. На этом легко сойтись. И вот — долгие годы жизни на ее территории. За долгие годы не трудно свыкнуться и слюбиться.

Мы — обыватели, без всяких воинственных склонностей. Из всех требований жизни мы не отказались только от одного: от желания покоя. Был достаточно долог наш жизненный путь, и он был очень труден. Слишком много испытаний взвалила судьба на одно наше поколение: их хватило бы на целый ряд жизненных смен. И нас гонит не только естественный животный страх, но и великая *Тоска*, сознание безнадежности мирной жизни, мудрая проницательность много видевших. Не Франция гибнет — рушится весь старый мир, судьями которого мы быть не можем и не хотим. Но нам не хотелось быть и свидетелями его гибели.

------

Городок умещается на ладони. В нем две пересекающиеся улицы и десяток боковых, в несколько домов. На пересечении неизбежная площадь, ничтожное здание мэрии, готическая церковь, сложенная из прочных серых плит. На окраине хорошие господские

виллы, среди которых вклинился длинный невзрачный дом, переделанный в жилой из торгового оклада. Это и есть наше пристанище, разделяемое нами с пятью другими семьями парижских беженцев: дети, взрослые, старики.

В окрестностях преобладают виноградники, прерываемые перелесками. Близка речка с быстрым течением в крутых, обрывистых, размываемых половодьем берегах. Наш дом граничит с полотном узкоколейной дороги, которую здесь называют «Мишлинкой».

Мы мечтали о трех днях покоя; эти три дня покоя мы нашли. Перед нашим приездом был поблизости налет бомбовозов, следы которого мы видели в пути. Теперь тихо.

------

Мы спим на полу, на мешках, набитых соломой, — любезный подарок городского управления беженцам. День уходит на визиты в мэрию и жандармерию для прописки. Время военное, и каждый должен доказать, что он не подозрительный человек, не предатель, не враг страны; для этого существуют документы, бланки, печати.

Зачем в такую тишину, в такое благодатное местечко приходит война? Что ей здесь делать? Старики и дети. Окна магазинов, в которых выставлены принадлежности рыбной ловли, большой огород при каждом доме, и каждая улица кончается простором полей и виноградником. В городе военных почти не видно, и очень редко проходит по большой дороге отряд солдат, то ли на фронт, то ли с фронта, без орудий и без обозов.

О войне напоминают только беженцы; но и они пока в большинстве — «старожилы», эвакуированные из северных провинций еще в начале войны; их уже трудно отличать от местных жителей. По-видимому,

мы — первые беженцы из Парижа, — но недолго остаемся единственными: уже на другой день узкоколейка подвозит новых. С ними приезжает и тревога.

------

Я проклинаю войну, всякую войну, каков бы ни был ее облик, чем бы она ни была вызвана. *Всё* лучше, чем война, — в этом не может быть никаких исключений, это не допускает никаких оговорок. Из тысячи людей только один хочет войны, и это тот, который имеет все возможности от нее укрыться и рассчитывает от нее выиграть; за что страдают остальные? Крушение моей личной жизни — пустяк и в счет не идет; но и этот пустяк — огромная несправедливость, потому что маленькую мою жизнь я целиком затратил на созиданье, тоже маленькое, по моему росту, по моим силам и способностям.

Война не имеет основ в законах природы. Природа оболгана! Жизнь всех живых существ основана на гармонии интересов, на взаимодействии. Дуб не может жить без грибного мицелия, как мицелий не может жить без дуба, растение — без опыляющих его цветы насекомых. Мы говорим о «взаимопожирании» животных и не умеем читать страниц их договора. О, если бы люди пожирали друг друга, — это могло бы быть некоторым оправданием. В мире животных мы знаем только одну войну — муравьев; почти нельзя сомневаться, что будущее человечество организуется по муравьиному образу: всеобщее счастливое рабство, атрофия мысли и воли, механизация движений, отмена чувств. Мы приближаемся к этому гигантскими шагами.

------

Но все-таки — три дня ненарушенного покоя. Три дня хорошего аппетита. Если бы только не смутные известия, доходящие с новыми беженцами: Париж

окружен и взят. Идут бои на Луаре. Под угрозой — Орлеан. Война идет за нами по пятам с быстротой небывалой.

Может быть, она обойдет стороной тихое местечко Франции? Что ей делать здесь? Кому нужен наш городок, стоящий в стороне от главных путей?

Мы просим, в сущности, очень немногого. Мы предоставляем событиям развиваться, как это им суждено. Но мы просим оставить нас в покое.

Три дня — это очень много. На четвертый день небо уже загудело басовой струной.

------

Этот небесный гул унижает душу. Те, кто пролетают над нами, рискуют жизнью неизмеримо больше нас: дни военного летчика — считаны. Но их полет — издевательство над живущим, грубый голос отрицания возможности счастья.

Не страх даже: страх в нас перегорел. Он сбит сознанием, что жизнь все равно разрушена. Убита вера, притупились все желания, не жаль прошлого и нет никакого интереса к будущему.

Жуки при опасности складывают лапки и притворяются мертвыми. Мы — мертвые. Мы держимся ближе друг к другу и жмемся к стенам, которые могут стать нашим гробом. Не страх, а отвращение и великая *Тоска*!

------

Прямо против нашего дома, на обочине дороги, расположились на отдых трое солдат. Оружия при них нет, но видно, что это не запасные и не только что призванные. Один пришел с бутылкой попросить воды. Мы выносим им хлеба и сыру. Одновременно подъезжает на велосипеде жандарм и подходят любопытные.

Вид жандарма их раздражает. Предъявить бумаги? Это можно; но еще проще указать на номер полка, вышитый на воротнике: это полк, уничтоженный на Севере предательством. Куда идем? Идем куда хотим.

Жандарм не требует, он только убедительно просит, он обязан. Солдаты предъявляют бумаги, которые в порядке. Но их язык таков, что жандарм спешит удалиться.

Солдаты не рассказывают о сражениях и подвигах. Это было там, давно, когда было что-то похожее на войну и на сопротивление. А дальше было беспорядочное бегство. Мы идем пешком, офицеры уехали на машинах. О чем говорить, война, кончена! Только бы уйти подальше. Париж? какой там Париж! Парижа нет. И ничего нет. Не найдется ли у вас еще хлеба?

------

Радиоаппарат пробормотал что-то о возможности перемирия; затем его трансформатор перегорел. Теперь мы отрезаны от мира.

Но в небе перемирия нет. Мы это знаем лучше многих.

Среди беженцев, залетевших в наш перенаселенный барак, есть и мимолетные. Один из них добрался сюда на велосипеде из Парижа, занятого двумя днями позже нашего отъезда. Тринадцать раз в пути он попал под обстрел бомбами и пулеметным огнем. Наше местечко показалось ему тихим уютом — он прожил здесь сутки. Как тысячи ему подобных военнообязанных специалистов, он получил приказ найти свой эвакуированный из Парижа завод. «Эвакуированный» — это значит внезапно исчезнувший и рассыпавшийся. Где военная промышленность Франции? Где ее армия?

------

Проездом откуда-то куда-то (последнего он сам не знает) у нас провел часа два французский солдат, родом русский, с товарищем — марокканцем. Его часть распалась и растерялась. Если верить его словам, оставшимся дан приказ: уходите как хотите и как можете, своими средствами; сбор там-то. — «А как мы будем питаться?» — «Промышляйте сами».

Где-то они обогатились автомобилем; это просто сделать на любой дороге. Автомобиль понравился и военному врачу, догонявшему свою часть; врач обещал им добыть бензин. Ехали от места к месту, раздобывая по пять литров. От обстрелов скрывались по канавам и в лесочках. Было ли это «отступлением армии» или простым дезертирством отдельных солдат?

«Армия? Никакой армии нет! Как мы можем драться? Голыми руками? Мы бессильны против бронированных отрядов. И нам нечего есть. Война кончена. Сегодня в ночь подписано перемирие».

Он заблуждался; перемирие было подписано только неделю спустя. Не все ли равно? Для него и для еще многих (но не всех!) война была окончена.

«Нам сказали "промышляйте" — и мы вынуждены мародерствовать. Все, что на мне надето, я украл: гимнастерку, белье, сапоги, даже вот этот носовой платок: он пахнет духами! Нас застала ночь, мы вдвоем шли пешком. На пути — оставленный жильцами дом, хороший, барский. Постучали — ответа нет. Навалились оба и высадили дверь. Ночлег отличный — хорошие постели, запас продуктов, доброе вино. Умылись, закусили и впервые за много месяцев спали на мягких тюфяках под одеялами. Утром переоделись в хозяйское белье, захватили немного продовольствия, по две бутылки отличного вина — и в путь. Мы мародеры. Но мы взяли только то, в чем нуждались. Дом богатый, в буфете серебро, — все это нам не нужно. А нужное — взяли по праву, хотя

это называется — украли. Вот я украл еще инструмент — отличные стальные “кусачки”; необходим в дороге! А платок — слышите, какой аромат! После восьми месяцев на фронте — такая роскошь. Куда мы идем? Куда нам было указано. Но так как там уже немцы, то мы не торопимся и идем куда удобнее и куда придется. Говорю вам — никакой армии нет!»

------

Война принижает дух, ничем его не обогащая. Если быть вполне-вполне откровенным, придется сказать, что мне, такому-то, безразличны судьбы стран, включая мою собственную. Я, такой-то, хочу лишь одного: оставьте меня в покое; иначе не может говорить человек, попавший в мышеловку и измученный так называемыми «мировыми событиями».

Русский поэт Тютчев, живший в сонное, мирное время, сказал:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Какой вздор! Такой человек глубоко несчастен! Да будут прокляты роковые минуты (если бы минуты — года!) мира! Да будут благословенны дни, ничем в истории не отмеченные!

Мысли и слова обывателя. Да, обывателя, — или он не имеет прав на слова и мысли? Да, обывателя; но этот обыватель прожил две трети своей жизни там, где не хотел, и так, как вынуждали его «роковые минуты». С ранней молодости до преклонных лет — тюрьмы, ссылки, революция, бегство, эмиграция, война и снова революция, тюрьмы, ссылки, приговоры, высылка в Европу, сейчас обратившуюся в сумасшедший дом. Я много раз смотрел в лицо смерти — и не считаю себя робким. Но есть пределы

человеческому терпению, и я пред лицом все равно близкой смерти — от бомбы, от болезни, от старости — кричу: оставьте меня в покое! Вы не умеете жить! Вы светлый, живой мир сделали во сто крат хуже каторги! Вы думаете, что готовите рай потомству? Это — вздор! Потомство вас проклянет, как его проклянет его потомство.

------

Мы сшили мешки, чтобы на случай внезапного ухода не утомлять рук излишней ношей. Хочется уйти, все равно куда, к югу (страна такая маленькая!), где ухо отдохнет хоть немного от комариного гуденья и тяжелых чугунных шагов. И не хочется катиться в общей лавине, которую с нескромной высоты расстреливают молодые герои. Так решив, мы остаемся на месте.

Сорока принесла на хвосте известие: сегодня новое французское правительство запросило Германию об условиях перемирия.

------

Я проходил по улице городка. У подъездов старики, мужчины и женщины плачут, не вытирая глаз. Вся моя животная радость, вся эта гадкая радость поблекла. Ее не поддерживает даже мысль о том, что мы уже никогда не услышим больше упрека русским за 1917 год. Отказ от самоубийства — предательство? Отказ от истребления еще миллиона сограждан, от разрушения еще тихих и работящих провинций? Что называть изменой? Не горестную ли жертвенность одного из лучших патриотов Франции, на которого вчера возлагались все надежды, сединам которого курили фимиам?

Я не хочу быть политиком и не могу быть судьей. Преклоняюсь перед несчастием и горем Франции.

Есть пределы мученьям — французский народ никому не изменял.

Близко перемирие, но военные действия продолжаются. Мы это знаем и слышим.

------

Еще беженский к нам визит: муж, жена и сын. Муж — военнообязанный инженер, русский. Жена полька. Нет нужды излагать их крестный путь. Она подходит по очереди к каждому из нас и спрашивает:

— Скажите, что такое происходит?

Им нашли в городе ночлег, сняли комнату. На пути туда она стала кидаться на прохожих и называть всех бошами и шпионами. Ее было невозможно сдержать — вмешались жандармы. Ночь ее продержали под замком, наутро отправили в дом умалишенных.

Остались двое: муж и сын, мальчик лет двенадцати. Они обедали с нами. Муж был сдержан и старался казаться спокойным; мальчик не подымал глаз. О ней не говорили. Сегодня же он уезжает, оставляя мальчика.

С раннего утра до заката виноградарь мотыжит землю и подвязывает низкие лозы. Когда небо гудит, он подымает голову и смотрит без любопытства и неодобрительно, — но лишь с полминуты. Какие-то люди заняты взаимоистреблением; ему, занятому выращиванием винограда, нет до них дела.

В мирном местечке делается все тревожнее. На Луаре идут бои — так нас уверяют; но мы почти не видим французских войск; очевидно, война проходит стороной. Мы привыкли к чужим и своим самолетам, привыкли к внезапным залпам далеких зенитных орудий. Мэр города, заботливый администратор, послал барабанщика оповестить жителей, что возможен приход немецких отрядов и что мы должны отнестись к этому с полным спокойствием, не оказывать сопротивления и воздерживаться от выражения неудовольствия словами или действиями.

Ночью слышим движение с севера на юг моторизованных отрядов. Вероятно, прошли отступающие французские части.

Будто бы взят Тур; несомненно взят Орлеан. Мы в мешке и не знаем, хорошо это или плохо.

Но в воздухе беспокойство.

------

Во что бы то ни стало спасти дух! Хуже всего быть пораженным в войне нервов.

------

Механическое перебиранье руками и мыслями! Так нельзя!

------

Прошли солдаты в касках с винтовками. Солдаты без оружия. Полусолдаты. Марокканцы, похожие на беженцев; но на нагруженном доверху возу, влекомом парой заморенных лошадей; человек в офицерском кепи. Идут-идут-идут...

------

Откуда в городке, через который проходит беженская волна, части отступающей армии, еще оказываются съестные припасы? Мы не голодаем: правда, помогают огородные овощи. Иногда едим мясо. Курим скверный табак. Он исчезает — и снова появляется. И курящий, и некурящий покупают по пачке в запас. Жизнь идет кувырком — но в осколках теплится. Жители ничего не понимают; торговцы в ужасе от бойкости торговли: так у них скоро ничего не останется.

------

Чего хотим мы все? Чего хотят французы, народ? Ответ прост и несомненен: мира, только мира! Какой угодно ценой!

------

Откуда-то пришло письмо, правда — изнеподалеку. Почтальон не удивлен. Удивляются ли чему-нибудь почтальоны? Впрочем, почты нет.

------

Курить трубку — роскошь; всякий французский табак по вкусу похож на искрошенные подержанные зубочистки. Tabac gris — самый дешевый трубочный, ни с чем не сравним, даже с высушенным и измолотым трупом. И все-таки курить — роскошь. Но ведь и есть — роскошь. И дышать — роскошь. У нас есть деньги на ряд таких же дней, может быть, на месяц, если цена денег не падет внезапно. Это — на всю дальнейшую жизнь; больше ничего верного нет у нас на всем свете. Что было, вероятно, погибло. Моя библиотека, мой архив, мои «орудия производства», пишущие машинки, запасы бумаги, справочники. Впрочем, можно ли дальше говорить о «производстве» писателя, когда нет ни газет, ни журналов, ни издательств, ни почты, ни сношения с заграницей?

Мы *ничего не знаем.* И, очевидно, еще долго ничего не будем знать.

------

Идет по дороге очень старый человек, лет за семьдесят, в длинном черном сюртуке; перед собой толкает детскую коляску, груженную узелками и кулечками. За ним пожилая женщина, также одетая слишком по-городскому, в шляпке, ведет за руку мальчика. Ясно, что идут они ниоткуда и никуда. Спрашивать их не о чем.

Монахини на грузовой машине — счастливые обладательницы мотора и бензина. Впрочем, машин на дорогах много — выбирай любую. Нет только бензина.

К вечеру движение замирает, обрывается почти внезапно. Какая-то девица, приехавшая на велосипеде из недальнего местечка, уверяет, что там немцы. Девица на велосипеде — нарасхват, как свежая газета.

Ночью — тишина. Утром — та же тишина, становящаяся жуткой. Никакого движения. Все предпочитают сидеть по домам. Виноградарь мотыжит, стрижет, подвязывает. Для него в мире ничего не произошло и ничто не происходит. Смотрю на него с уважением и думаю о том, что Франция погибнуть не может.

Для детей вырыта на огороде траншея. Детям она нравится. Обычно шумные и шаловливые, они сидят в траншее тихо. Их у нас трое, при трех матерях.

Нет, такая тишина слишком неестественна! Но проходит день, перед закатом слышим отдаленный гул артиллерии. И опять ночь, до жути тихая. Наша ночь наступает в 10 часов, так как света нет, почему — мы не знаем. Мы *ничего не знаем.*

------

Сколько могу, восстанавливаю записи, которые делал по многу раз в течение наших «переходных дней». Из них самая краткая и самая бесцветная посвящена часам, когда через нас перекатывалась волна германского наступления. Я не баталист и боюсь слишком ярких красок. И еще я боюсь преувеличить нами пережитое, — все же не дав его верной картины.

Но я обязал себя быть верным хроникером самого мирного местечка Франции. И я пытаюсь припомнить.

Дата? Я не помню ее точно; кажется, 20 июня. Мэр городка решительно протестовал, чтобы здесь ос-

тавались французские войсковые части. «Если вы хотите отстаивать город, вы должны были распорядиться об его эвакуации». Он был, конечно, прав. К вечеру солдат увели — их и было немного. Но мы знали, что оставлено орудие для охраны моста через реку Шэр и что пулеметы легкого танка направлены на мост другой, железнодорожный. Защитников — человек восемь. На них движется блиндированный немецкий отряд.

Утром нас пробудила артиллерийская пальба. Дети в их маленькой траншее; мы, одевшись, жмемся в простенках. Стены могут охранить от шрапнели и пулеметных пуль; от снарядов и бомб нас не защитит ничто.

Так мы лежим час или два, пока гром орудий усиливается. В окно видно, как жители местечка черными нитями спешат в стороны ближайших перелесков. Значит, кто-то думает, что еще можно спастись? Мы хватаем заготовленные для ухода мешки с бельем и провизией и через сад и пустыри бежим к ближнему лесочку, все же слишком далекому. Путь лежит рядом с линией железной дороги, но ведь мы не знаем, куда бежать от снарядов, рвущихся в небе. Нас почему-то стало много, и уже нельзя отличить своих от чужих. С нами дети, которых не защитит траншея.

Перепуганные обыватели — мы не разбираем дороги и спотыкаемся на виноградниках. Иногда оглядываемся на разрыв снаряда, вонзившегося в землю за нашими спинами; чаще шрапнель рвется над головой. Только бы оказаться под защитой деревьев! Какая-то странная вера в то, что тень мелколесья может спасти! Мы все живы — и вот опушка леса.

Лесок кишит людьми. Он как раз на линии перестрелки, но об этом мы узнаем позже, когда будем делиться впечатлениями. Пока он — желанная цель.

В нас достаточно благоразумия, чтобы выбрать стволы деревьев потолще и спрятаться за ними. Лежим, головами прижавшись к корням. В чистом воздухе залпы и взрывы необыкновенно отчетливы. По временам пальба орудий и треск пулеметов замолкают. Значит ли это, что сражение окончено? В такие минуты и получасы мы дремлем; натянутость нервов ослабляется, охватывает лесная прохлада. Пробуждают новые выстрелы.

С нами карманные часы, но не приходит в голову справиться о времени, времени вообще нет. По лесу бродят тени, слышны детские голоса. Кусты лесной смородины. Опять пальба, опять тишина и дрема. В длинный перерыв мы решаем уйти дальше. Направление ясно: дальше от выстрелов. Лес заплетен колючим кустарником. Не лес, а лесок, который скоро кончается, и мы выходим на поля и виноградники. Только бы уйти дальше. Странно, что солнце уже склоняется к западу, — значит, прошли долгие часы? Воздух легок, кругом приволье, видны дали. Города отсюда не видно, он за леском. Мы ложимся в тени старой яблони. Сказывается голод; с нами две коробки консервов, но хлеба не захватили. Спать теперь не хочется.

Почему так тихо? Иногда отдельный ружейный выстрел, но орудия замолкли. Что сталось с городом и с его восемью защитниками?

Ждем первого прохожего с той стороны. Город занят. Пострадали дома, разрушен памятник, из жителей убит один, четверо ранены. Немцы потеряли троих, французы ушли.

Часов шесть-семь кучка смельчаков задерживала немецкое наступление. Французской армии нет — французские солдаты остались. Будет ли отмечен этот день в военной истории?

Окольными путями пробираемся через поля к дому. Мимо него, по шоссейной дороге, взад и вперед

проносятся германские патрульные мотоциклетки. Мы в полосе оккупированной Франции.

Немецкий солдат, по-видимому из студентов, говорит:

— Если бы мы везде встречали такое сопротивление, как здесь, мы бы не скоро продвинулись так далеко! Но где же, скажите, французская армия?

Где армия, мы не знаем. Но мы видели восьмерых французов в военной форме, которые полдня сражались с армией, несомненно существующей.

Солнце заходит. Виноградарь, согнув спину, заканчивает ряд, не глядя на мчащиеся мотоциклетки.

Как мало разнятся Гансы от Жанов! Мелочи обмундировки. Почему Гансы и Жаны убивают друг друга?

Гул орудий где-то к востоку, за лесами. У нас спокойно. Страсбургские беженки объединяются с немецкими солдатами. Солдаты скупают в магазинах горы продуктов, честно платя пять пфеннигов за франк. Расклеены приказы на двух языках: не выходить из домов после 10 часов, затемнять окна, не слушать по радио иностранных передач.

Легко быть лояльными: выходить из дому не хочется, электрического света нет, радио вынужденно молчит.

Мы можем мирно спать. Мы завоеваны: и рябой от шрапнели и пуль город, и мы, его напуганные обыватели.

## II

Итак — мы завоеваны.

Если бы это было неожиданностью, мы были бы несчастнейшими из людей. Но так как это было неизбежным, то мы испытываем некоторую удовлетворенность: война перекатилась через наши головы, и можно опять дышать. Больному грозила гибель; спасти его могла только операция. И вот ему ампу-

тировали ногу, руку, не знаю что. Жизнь спасена, только недостает ноги, руки — свободы, чести, национального достоинства. Об этом подумаем и поговорим после, сейчас — отдых и тишина, нарушаемая только звуками немецкой команды, которая до удивительности напоминает собачий лай.

------

К вечеру первого же дня оккупации мы поняли, что такое германская армия и почему Франция должна была проиграть войну. Нужно быть справедливыми даже к врагу, нужно отдавать ему должное. Завтра досужие люди начнут выискивать причины несчастия во внутреннем строе побежденной Франции, докапываться до подлинных и мнимых предательств, сводя одновременно давние личные счеты. Это тоже неизбежность. Сегодня мы только наблюдатели. И мы не без любопытства смотрим на снующие мимо окон отряды оловянных солдатиков.

Когда по дороге идет один германский солдат, вы слышите равномерный «печатающий» шаг; когда идут сто солдат — тот же шаг слышен в сто раз громче. Это не дисциплина, а природа. В единый такт стучат копыта германских лошадей, в единый поворот крутятся колеса велосипедов, мотоциклов, автомобилей, танков. По своим устарелым взглядам, по своему резко отрицательному отношению ко всякой войне и, следовательно, ко всякой организованной военной силе, я не могу быть заподозрен в пристрастной оценке германского порядка, который назову поистине изумительным. Два-три часа спустя после оккупации этот порядок уже был установлен: расклеены афиши, установлена патрульная служба, заняты все стратегические пункты, восстановлена местная администрация, расквартированы военные части. На следующий день вся местность покрылась сетью полевых телефонов.

Поразителен динамизм армии. Ее части, даже на отдыхе, ни на один дневной час не остаются в покое. Если это не какие-то непонятные нам передвижения и смены, то это — спортивные упражнения: бег по дороге в легких спортивных костюмах, футбол, прогулка с пением. Солдату некогда думать, но некогда и скучать. Кстати, сотни и, возможно, тысячи солдат, прошедших через наше местечко, исключительно молоды, большинство можно назвать мальчиками. Прекрасная обмундировка, ни тени распущенности, не люди, а части огромной машины, действующей методически и без перебоя.

Я повторяю: человеку моего, старого склада это внушает ужас; человека новой формации, верующего в новую жизнь, основанную на праве силы и на мускульной энергии, это должно восхищать. Французская армия — временно снабженный оружием народ; германская армия — германский народ в его естественном виде, в постоянстве его динамизма. Это значит, что борьба была немыслима и нет надобности выискивать частные ошибки.

Я здесь чуждаюсь всяких политических оценок, а тем более суждений военного характера. Я говорю лишь о том, что очевидно с первого взгляда и неопровержимо.

------

Рядом с нами заняты под военные квартиры две богатые виллы. В них солдатское веселье. Мне кажемся, что две вещи приводят в восторг немцев: шоколад и шампанское. Ни того ни другого не осталось в магазинах, бутылки лежат вдоль всех проезжих дорог, на лесных опушках. Но это не разгул, а лакомство. Нам в нашем маленьком местечке не приходится жаловаться ни на что, кроме истощения продуктов в магазинах, на фермах и огородах: порядок остается образцовым. По дорогам проезжает автомобиль с граммофоном —

веселый марш; на площади играет оркестр, из реквизированных домов доносятся голоса немецких спикеров.

Население? Оно неохотно выходит на улицу, оно прислушивается к звукам немецкой речи, само не возвышая голоса. Хозяйки пытаются добывать пропитание. Как это ни странно, нет недостатка в хлебе, а сахар, на который были раньше введены карточки, продается без них, не в изобилии, но без особых стеснений: сами торговцы стараются нормировать потребление, не отпуская много в одни руки.

------

Подписано перемирие с Германией и с Италией. Его условия узнаются позже; сейчас для всех достаточно, что война кончена. Горе перепутано с радостью в единое сознание, что *все лучше*, чем война.

Французское радио больше не существует. Пока оно было, в часы передач ток электрической станции оказывался выключенным, — это проще и лучше, чем уличать незаконно слушающих! Лишний случай восхититься организацией!

------

Группа солдат с квартирмейстером приходит занять скромный дом, где осталась одна старуха — его хозяйка. Ей предлагают выселиться. Разговор на плохом французском языке.

Говоря с иностранцами, истый француз, для облегчения понимания, сам ломает свой язык. Старуха отрицательно качает головой: «Moi rester ici! «Moi rester ici!»*

Они могут вселиться, но она своего дома не покинет.

И она не уходит. Это ее дом!

* «Я здесь оставаться!» (*искаж. фр.*).

------

В лавке, уже опустевшей, солдат забирает весь шоколад – горку плиток. Одна из наших сожительниц пришла купить плитку для ребенка. Быт уже установился. Решительно она отнимает несколько плиток у солдата – публика на ее стороне. Полюбовный раздел.

------

Галантный немецкий офицер купил последнюю коробку печенья, но готов уступить ее даме, за тем же пришедшей.

– Non, merci, monsieur!*

Он угощает конфетами детей:

– Non, merci, monsieur!

------

Около нашего участка военный телефонист неудачно повалил столб, прижавший ему ногу. На его крик прибежали солдаты с пилой – перепилить столб – и поспешил врач из нашей маленькой домашней русской коммуны. Бледный солдат, которого освободили, позволил осмотреть ногу; перелома не оказалось. Но он с недоверием отшатнулся, когда ему поднесли успокоительное лекарство: очевидно, боится отравы.

Дети тоже отказались от конфет; но ими руководило какое-то иное чувство.

Боязнь отравы – внушенное солдату. И это не новость. Прочитайте воспоминания о прошлой войне, и ту же подозрительность вы найдете у тогдашних солдат и даже офицеров. Им всегда внушали, что они имеют дело с варварами, способными на самые зверские поступки, что неприятельский врач отрежет им

* Нет, благодарю, сударь! (*фр.*)

руку из-за пустяшного ранения, что сестра милосердия поднесет им яд, санитар их пристрелит. Они никому не должны доверять и в завоеванной стране за каждым углом дома и каждым деревом в лесу могут ожидать засады. Разрывные пули, ложные красные кресты, выкалыванье глаз и вырыванье сердец, — все эти выдумки входят в программу солдатского воспитания; враг жесток — бодрствуй и отвечай ему тем же.

——————

О какой морали вы говорите? Разве война есть упражнение в добродетели? Когда мы перестанем лицемерить?

——————

Уже несколько дней небо не гудит, не слышно артиллерийской пальбы. Ухо не перестало прислушиваться — оно еще ловит стук захлопнутой двери. Иногда кто-то и зачем-то разряжает винтовку; появляется на лицах болезненная улыбка. Мы плохо ценим наступивший покой. Тоска не ушла, ей уйти некуда, она в нас.

Режим беспредельной свободы. Немцы говорят: «Можете ехать куда угодно без всяких разрешений: в Голландию, в Бельгию, в Италию, по всей Франции».

Ехать можно. Но пока нет поездов. Нет бензина. Обратных беженских караванов немало. Нам, иностранцам и беднякам, передвижение недоступно. Ехать в Париж? А что в Париже?

Двое молодых людей из нашей коммуны раздобыли камионетку; где-то в дороге им обеспечен бензин. Они отправляются на разведку в Париж. Будем ждать их возвращения.

На досуге солдаты стоят кучками, жуют конфеты и смотрят на проходящих, в особенности на жен-

щин. Словно бы по молчаливому соглашению проходящие обыватели на них не смотрят — не замечают их присутствия. Обеим сторонам предписаны вежливость и мирные отношения; это строго выполняется.

В сношениях хозяйственных, за отсутствием общего языка, преобладает жест. Денщик приходит в чужой огород за овощами. Ничего не говоря, он вытаскивает из гряд что ему нужно для офицерского стола, затем протягивает огороднику ассигнацию, не берет сдачи и удаляется.

Огородник рассматривает бумажку. Он заработал лишних два франка, но не выражает удовольствия. Сует ее в карман и продолжает прерванную работу. О чем он в это время думает, нам неизвестно.

Так в городе. Но заняты солдатским постоем все окружные фермы. Через неделю в них не остается ни масла, ни яиц, ни фуража, ни бутылки вина. Им уплачено за все, что они согласились продать; у них взято то, что они продавать не хотели и не могли. Но особенных жалоб не слышно: могло быть хуже.

Чувствуется непременное желание завоевателя снискать расположение завоеванных порядком и лояльностью. Чувствуется и некоторая роскошь в этом лояльном поведении: немцы сыты и снабжены деньгами.

Случаи насилий или нарушения права собственности редки. На жалобы военное начальство отвечает: «Укажите виновных, и они будут строго наказаны». Этого достаточно, чтобы мирные граждане предпочитали не указывать.

------

Однажды на заре, после десяти дней оккупации, слышится необычное движение: шум мотоциклов, стук копыт, печатание шагов, даже характерное солдат-

ское пение: выкрики с паузами, без тени мелодии. Едут, идут...

Утром — во всей местности ни одного германского солдата; нет, конечно, и французских. Только у моста, из-за которого произошло сражение, — двое часовых. Сняты все полевые телефоны. Исчезла комендатура — в ее помещении снова французские жандармы. Высшая власть — мэр и барабанщик.

В душу закрадывается ужасное предположение: уж не завоеваны ли мы обратно французами и не будут ли нас опять завоевывать немцы? Мысль нелепая в дни перемирия.

С тою же точностью и в том же образцовом порядке оккупация покинула наш городок и выселилась за речку Шэр, в которой я напрасно старался поймать щуку.

Мы оказываемся в свободной зоне; но мы еще не знаем, какие законы действуют на нашей территории, сверх тех местных, о которых сообщает барабанщик; законы свободной или законы оккупированной Франции?

Впрочем, нам законы не нужны; без них проще и лучше. Виноградарь возится над своими зелеными полосами; на фермах появилось молоко. Почты нет. Жители местечка на улицах и громко разговаривают.

Продолжается прекрасное незнание того, что происходит на свете. Радио? Но кто верит радио?

------

Ехать в Париж нельзя, несмотря на объявленную свободу передвижения. Раз в два дня пропускают пешеходов и циклистов, иногда — частный автомобиль, направляющийся не дальше Орлеана. С тех пор как немцы ушли, путь через речку Шэр прерван. Впрочем, лично для нас это и роли особой не играет, так как наша узкоколейка не действует, стан-

ция орлеанской дороги за десятки километров, а сама дорога еще не восстановлена. Вынужденное бездействие. Дни тянутся томительно долго, хотелось бы заснуть на неделю — или вообще не существовать.

Вернулся один из наших пионеров, поехавших открывать новый Париж. Возможно, что это — единственный человек из неоккупированной Франции, побывавший в Париже и вернувшийся.

Париж, по его словам, погружен в липкую тоску. В девять часов по-нашему, в десять по-германски, город обязан засыпать. По улицам разъезжают патрули французской национальной гвардии, одетые петухами (картинные ребята для всяких торжеств) с возгласами: «Rentrez!»* Кафе процветают. В продовольствии острого недостатка нет, но, конечно, нет и былого довольства. Карточки на хлеб и на сахар. Нет германских войск — только офицеры заняли лучшие отели города. Солдат привозят лишь в качестве туристов — показывают им город.

Солдаты знают: в середине июля будет покорена Англия, затем — конец войне, и по домам. Им тоже хочется «по домам». Не вечно же воевать! Впрочем, некоторые из них думают, что еще предстоит завоевывать Россию, то есть изменять ее политический строй.

Кое-какая «политика» в Париже чувствуется, но политика исключена в этих моих записях.

------

Пока пишу — за рекой стук пулемета. Кто с кем сражается, когда военные действия прекращены? Прилет англичан? Мы отвыкли от этих звуков — и так не хочется привыкать снова!

Учебная стрельба? Но ведь они так прекрасно обучены!

---

* «Расходитесь!» (*фр.*)

Шум пропеллеров; тогда ясно: английский визит в наши края!

Тихое местечко просыпается...

------

Мы впустили на наш участок две или три семьи беженцев с севера: два действующих и два привязных автомобиля.

Двадцать дней тому назад им пришлось эвакуироваться, бросив хозяйства. Высыпали свиньям, птицам и кроликам все запасы корма, налили воды, поплакали — и пустились в дорогу на юг. Ехали семнадцать дней по загруженным машинами путям, а когда доехали до благополучных мест, узнали о перемирии и пустились в путь обратный. Теперь наша граница их задержала на неопределенное время. Десятеро взрослых, девять детей, машины забиты домашним скарбом, полуискалечены. Были не раз под обстрелом.

Их девятнадцать человек, да нас тринадцать. Наш дом и оба гаража набиты людьми. С ними четыре собаки. Дети в болячках от постоянной пыли; у собак воспаленные добрые глаза. Одна из женщин слегла в первый день — или тиф, или солнечный удар. Болен мальчик. Мужчине перевязали раненую руку.

Но все бодры: только бы вернуться!

------

Дни — в общем, однообразные — путаются в памяти. Из той же памяти выплывают картины, о которых стоило упомянуть. Так, я совершенно вскользь заикнулся о дне перемирия и прекращения военных действий; а между тем этого дня все напряженно ждали и желали. Могли ли не желать? Война все равно была проиграна!

О перемирии мы узнали в тот же день: немцы отметили его празднеством. Едва стемнело — к небу взвились ракеты, белые и красные огни. При наших открытых горизонтах это было, вероятно, красиво, так как огни взвивались в десятке лесных пунктов. Было «бурное», но в пределах дисциплины солдатское ликованье, до́пивались недопитые бутылки.

Сначала этот праздник казался как бы намеренно устроенным для унижения Франции: горе побежденным! Потом подумалось: но ведь немцы действительно радуются перемирию, с полной искренностью и без намерений кого-нибудь обидеть! Как солдатам не радоваться близости мира? Или неделикатно выражать это в чужой стране, ими поверженной в траур? Давайте бросим эти тонкости! Условимся раз и навсегда не говорить больше о законности разрывных снарядов и незаконности разрывных пуль, о допустимости убийства здоровых — и недопустимости добивания раненых, о приличности швыряния бомб из-под облака — и неприличии попадания куда не полагалось. Все это — чистейшее лицемерие. Отвергая войну без всяких оговорок, я отвергаю не только орудия, но и стрелы, и копье, и кинжал. Принимая войну хотя бы в одном случае — вы должны принять равно обстрел авиационного поля и детского приюта! Или вы думаете, что высокие принципы подлежат оговоркам при их практическом применении?

В рыболовных законах Франции имеется забавный пункт: разрешается ловить рыбу удочкой «на живца», то есть на живую рыбку, но эта рыбка должна быть не короче четырнадцати сантиметров, иначе — протокол. Но ловить и есть рыбку в десять сантиметров, конечно, можно. Какая деликатность оттенков! Почему именно «четырнадцать»? Вероятно, — отзвук конфирмационного возраста девочек, — влияние католичества. Какая тупая башка могла придумать такой закон!

Будьте злодеями или не будьте злодеями. Но в первом случае — не стесняйтесь, застрелив ближнего, есть рагу из его мяса, выбирая куски пожирнее. В наше время уже никто вас не осудит.

———

Давно не было во Франции такого ровного лета, такой «прекрасной погоды», как считают горожане. Огородники и виноградари другого мнения. Они говорят: «Еще неделя — и все в огородах выгорит!»

И я подумал: для целого ряда сельских хозяйств засуха может причинить больше бедствий, чем уже причинила война!

———

Вообще — голова занята исключительно мирными размышлениями. Мы живы. Мы не голодны. Мы не имеем права передвижения. Мы можем остаться в тихом местечке Франции на всю жизнь. Из мэрии нам присылают бесплатно хлеб на всю нашу колонию. Можно, при желании, стать в очередь (толпа человек в двести) и получить горячее мясное блюдо.

Скромнейшие средства наши иссякают. Будущая жизнь представляется нищенской и унизительной. Делать сейчас нечего, и нечего делать будет дальше. Когда-нибудь нас выпустят отсюда в оккупированную зону, и мы поедем в Париж. Между зоной оккупации и остальной Францией, а также остальным миром никаких сношений нет, нет даже почты. Наша местная почта принимает, однако, все, даже заказные письма за границу. Я посылаю в Америку толстые конверты; интересно бы знать, далеко ли они уходят, не лежат ли грудой в соседнем городке. Нужно верить, нужно верить, иначе жить нельзя; впрочем, ничего, кроме наивной веры, нам и не остается.

У нас восстановлена французская жандармерия, где мы, беженцы, раньше должны были регистрироваться и куда являлись каждое воскресенье для отметки пребывания. Сейчас это отменено, и жандармам скучно: им ведь тоже нечего делать! За мостом через речку Шэр — нашу границу — немецкие часовые; по эту сторону — французские. У нас есть какая-то комендатура, но мы в точности не знаем, германская или французская. Знание этого ничего бы не прибавило.

------

Когда власть существует, она должна что-то делать. Когда ей делать нечего — она издает приказы. Это действует успокоительно.

Нам, беженцам, приказано не двигаться. Мы не двигаемся. Было бы труднее исполнить приказ противоположный: не у всех хорошие, здоровые ноги! Новый приказ: иностранцам вообще не разрешается покидать места, где они живут. Мы не покидаем. За ослушание — кара: арест и концентрационный лагерь. Впрочем, никаких лагерей нет. Но почему именно — иностранцам? Собственно, в чем провинились иностранцы и чем они опасны? Когда издаются строгие правила, их приходится против кого-то направлять. Иностранец — козел отпущения. Кстати — что такое иностранец?

Я живу во Франции 18 лет, аккуратно плачу налоги и безропотно подчиняюсь всем мыслимым ограничениям. Но я, конечно, иностранец, потому что не француз. Много других русских, моих молодых друзей, были призваны во французскую армию, возможно, что среди них есть убитые. Они тоже иностранцы, потому что не французы. Есть русские натурализованные, но и они иностранцы, так как еще не пользуются всеми правами французов. Иностранцы — великое зло. Всеми правами, и даже большими, чем граждане, пользуется сейчас только один

вид иностранцев — германские подданные. Самый вредный вид иностранцев — англичане. Вы понимаете что-нибудь в этом путаном положении? Мы ничего не понимаем, но мы и не идем в счет.

Маленький случай. Из Парижа, уже оккупированного, выехала камионетка. Ее остановил французский постовой: проверка документов, притом выезд из Парижа не свободен. У шофера не оказалось «розовой карты», права на управление автомобилем. «Я ее потерял». — «Какой вы национальности?» — «Русский эмигрант». Полицейский агент подумал, потом махнул рукой: «Можете ехать!»

Нас, русских беженцев, десятки тысяч. Мы — единая семья несчастных. Я утверждаю: ни один французский беженец не видит различия между собой и беженцем-иностранцем! Мы все одинаковы под колесами истории!

------

В провинции Indre выходит газетка. В ней передовая статья забавного равновесия чувств, официальные известия и огромный (то есть 1 страница, то есть половина газеты) отдел беженских объявлений: такие-то ищут такого-то; такой-то ищет таких-то. Муж потерял жену, семья потеряла сына, дочь, отца, няню. Люди потерялись в дороге — и найти невозможно. Когда мы ночью брели в толпе по орлеанскому вокзалу или погружались в вагон, я истерически кричал, что брошусь под поезд, если мы потеряем друг друга. Но не все истерики, и немало семейств разбилось на куски. Сейчас происходит сбор — не знаю, успешно ли.

Содержание официальных приказов: в зоне свободной Франции: «Défendu formellement»*.

В зоне оккупированной Франции: «Verboten»**.

* «Категорически запрещено» (*фр.*).
** «Запрещено» (*нем.*).

Шэр – красивейшая река; изломанная, с быстрым течением, крутящейся водой, заросшими травой заводями. Тот берег – германский, этот – французский. В надежде на патриотизм рыбы я ждал, что она вся перешла к нашему берегу. Но весь патриотизм рыбы свелся только к тому, что она не склонна попадаться на удочку иностранца, даже такого занятного, как бесправный советский гражданин.

Идеалисты и мечтатели не все вымерли в наше реалистическое время: остались рыбаки. Они сидят во всех живописных уголках реки, среди прибрежных кустов, вблизи затопленных деревьев, на лодках – поблизости светлых протоков. Рыбаков больше, чем рыбы. Просидев пять-шесть часов, они уходят с пустыми ведерками и целой системой снастей и хитрых удочек, чтобы завтра вернуться во всей полноте неумирающей надежды.

Вчера я видел на берегу старушку, державшую нетвердой рукой длиннейшее удилище. С высокого берега виден был конец опущенной в воду лесы, висевшей над пустым и безжизненным дном. Думаю, что не рыболовная страсть привлекла сюда старушку, а вопрос о питании. Какое мужество! И какая сила иллюзии!

------

Самолет. Мы – никакого внимания: это – наш. «Наш», то есть немецкий. Не «нашим» мог бы оказаться только английский, которому, впрочем, здесь нечего делать. Да, многое переменилось!

------

Удить рыбу бесполезно, во-первых, потому, что рыбы в реке нет, во-вторых, потому, что уженье стоит дороже рыбы.

Бесполезно копать землю и разводить огород, потому что посадить не поздно только салат, и этот салат едва ли успеет вырасти.

Писать бесполезно, потому что нет нормальной почты, и рукописи даже не утонут в море, а просто где-то застрянут и пропадут. Кроме того, писать не о чем, не для чего и незачем.

Думать бесполезно, потому что ничего не придумаешь. Бесполезно желать. Бесполезно мечтать. Всего бесполезнее считать что-нибудь хоть сколько-нибудь полезным.

Невозможно спать больше, чем соглашается на это организм. Невозможно бодрствовать без цели и без всяких действий. Цели нет; действий быть не может.

Липкая, непросыхающая Тоска. С потолка спускают такие противомушиные липкие бумажки. Мухи гибнут. Человек, сев на такую бумажку, остается жив. Но это не жизнь.

Это не жизнь...

------

Чтобы хозяйство во Франции восстановилось, все рабочие, земледельцы, промышленники и вообще все граждане должны вернуться по домам. Чтобы они вернулись — необходимо предварительно восстановить хозяйство страны — пути сообщения, способы продовольствия и прочее. Получается порочный круг.

Радио (немецкое?) занимает слушателей беседой:

— Комендант, могу я вернуться домой?

— Разумеется, мадам, когда вам угодно.

— Но каким путем?

— Разве вы не знаете, что дороги восстановлены?

— У меня нет денег на билет!

— Мадам, вас повезут бесплатно!

Полная идиллия! Между тем: 1) дороги не восстановлены; 2) по ним не возят ни платно, ни бесплатно; 3) не разрешается въезжать из Франции, не занятой в зону оккупации; 4) не разрешается передвигаться на автомобилях по зоне оккупированной;

5) не разрешается беженцам незанятой Франции менять их временное местожительство; 6) вообще не разрешается иностранцам двигать руками или ногами.

Французские политики уверены, что сегодня (9 июля) сменится политический режим и все устроится, то есть беженцы поедут домой, можно будет работать, зачнется новая жизнь... Власть будет твердая и «общенациональная», то есть исключающая участие таких-то и таких-то партий.

------

Для моего дневника нет больше матерьяла. Пытаюсь ложиться спать в десятом часу вечера, вставать в десятом часу утра. Пытаюсь просиживать пять-шесть часов на берегу реки с удочками. Два часа на пищу, час на писанье, весь день на беспросветную скуку. В чем дело? Неужели в страстном желании вернуться в занятый Германией Париж?

------

Бельгийские беженцы. Восемь мужчин тянут веревкой автомобиль, нагруженный вещами. Так до Бельгии? Десятки велосипедистов, в том числе женщины с ребятами на коленях. Все окрылены надеждой уехать. День плохой, быть дождю.

------

Продолжается отбытие бельгийцев. Крошечный красный мотор, нечто вроде мотоцикла, пыхтя и надрываясь, тянет два безбензинных автомобиля; второй гружен доверху вещами. Ход тихий, но полный надежд.

На велосипед погружена девочка в белом капотике. Две женщины ведут велосипед.

Ведет людей одна мечта: пересечь границу между двумя несчастными Франциями, чтобы попасть в несчастную Бельгию. Что встретят они на пути?

——————

Сегодняшним днем заканчивается месяц нашего бегства из-под Парижа. Неужели только месяц? Сколько прожито сроков, периодов, исторических эр! О себе знаю: я наконец догнал свой возраст.

Я написал в своей жизни много книг. Перебирая их в памяти, сознаю ясно, что ни одна из них не нужна наступающему новому времени. Зачем же я старался?

Идеологически я стал сговорчивее, чем когда-нибудь в жизни; иначе говоря — лучше понимаю и легче признаю возможность разнобоя и разнообразия взглядов и даже не сужу строго простоту их смены. Для себя перемен не ищу — и не нашел бы. Моя вера остается моей верой — как была всю жизнь; но знаю, что она становится смешным пережитком. Однако знаю и то, что теперь, когда во всей Европе произойдет естественное поравнение идеологий, — одновременно наметится и некая ересь, прельстительная для поколений будущих, еще не родившихся. Эта ересь, эта «новая вера», манящий огонек далекого будущего, когда-нибудь начнет разгораться и захватывать умы и сердца. Что это будет? Да разве можно сомневаться, что то самое, что очаровывало нас и что сейчас сдается в архив! Многого человеку не выдумать: личность и коллектив, сила и любовь, белое и черное — в вечной смене квадратиков. Гений будущего откроет то, что знал простачок прошлого. Не есть ли философия лишь усердная чехарда? Прыгнувший через голову другого — подставляет свою голову для его прыжка...

——————

Месяц страшного напряжения и полного безделия. Ряд стран — десятки миллионов людей — ничего не произвели, только разрушали. Месяц для нас, но для Европы уже почти год или даже годы, так как этому предшествовала подготовка орудий разрушения. Странный способ строительства человеческого счастья! Может быть, и правильный: слишком много народилось на земле людей, слишком много сказалось «перепроизводств» во всех областях. Топили в море добытый рабским трудом кофей, перемалывали на муку пойманную рыбу. И вот пришла скудость черного зелья, и рыбаки напрасно разматывают удочки на берегу нашей речки Шэр. Огромные достижения: за время войны сбито 7000 аэропланов.

Царство железного лома; царство опустошенных умов. Начнем сначала...

------

Сегодня в Виши остатки палаты депутатов и ошметки сената кончают с собою самоубийством: отвергают давшую им жизнь конституцию. Тут любопытна мелочь: такова сила привязанности к умершему давно учреждению, что даже смерть его считается недействительной без его участия! Не «убирайтесь к черту», а «уберите себя к черту». Это послушно исполняется. Тени санкционируют уход теней. Но так и должно быть, и это всем ясно.

------

Очередь на все. Есть очередь на один пакет табаку «Gris» и на газету. Редактор газеты пишет ежедневно передовички. Человек сговорчивый, но самостоятельный. Конституция должна быть изменена, но a la franзaise, а не по уже существующему авторитарному типу, то есть не нацизм и не фашизм, а вроде того и по-особенному. Он согласен также на введе-

ние — по германской идее — нового дворянского (noble) класса, проектируемого в Германии — класса трудовых земледельцев чистой расы, — но он боится, что этот класс не справится во Франции со своими задачами ввиду дороговизны хлеба.

Газетка хочет быть самостоятельной и независимой; она «объективно» печатает официальные информации всех стран. Мы, местные жители, жадно читаем две страницы этой газетки, так как в ней печатаются сведения о восстановлении железных дорог и почты и о порядке разъезда беженцев по домам. В ней можно также прочитать о том, как две беженки поссорились и взаимно растрепали прически.

Пока палата и сенат обсуждают процесс самоуничтожения, зарождаются местные, никакой конституцией не предусмотренные организации. Появились, например, полуофициальные группы беженцев такой-то провинции, и их chef de groupement* признается за ответственное лицо. Мы встречаем на площади городка высокую кудрявую даму со списками в руках; она заботится о беженцах из нашей провинции, изыскивающих способ отъезда. Мы предполагаем уехать на каком-то огромном камионе, приводимом в действие не бензином, а дровами; будто бы он делает 50 километров в час и может везти до 30 человек.

Есть комитет беженцев, где выдаются справки, собираются сведения и раздается пища; кое-кто из французов получает 10 франков в сутки на питание. Работает мэрия, оповещая о важных продовольственных и транспортных событиях мелом на черной доске, выставленной на площади, а также через барабанщика. Запрещены спиртные напитки, пирожные, сладкие печенья (круассаны); мясо можно есть пять дней в неделю. Установлены цены на продукты.

Не будь деятельности местной — была бы гибель.

---

* Руководитель группы (*фр.*).

А затем запасайтесь терпением. Вас вернут домой. Почта будет. Вы найдете потерявшихся членов семьи. Ваши хозяйства восстановятся. Вы будете счастливы — наступает новая эра.

------

О, мы терпеливы! О, мы терпеливы! Если мы брюзжим и жалуемся, то ведь это — единственное оставшееся нам развлечение. Иностранцы, мы делим судьбу французских беженцев, не ставя вопроса о том, почему и за что мы должны ее делить.

Сегодня нас вызвали в мэрию для специальной регистрации иностранцев, — неведомо зачем. Во всех предположениях мы исходим из убеждения, что иностранец — зло, с которым нужно бороться, как борются, например, с филоксерой.

Но мы не хотим быть несправедливее французской администрации, не кладущей никакого различия между своими и чужими в деле продовольственной помощи беженцам: взяв всех на учет, она всем равно обещает оплачивать минимум существования. В хвосте у лавочки мы одинаково «стоим под сахар» и под табачок.

Терпите! И мы терпеливы. Это не так и трудно, когда впереди все равно безнадежность.

------

С тех пор как события отступили за речку Шэр, мосты через которую нам недоступны, жизнь тревожная и волнующая уступила место быту. Тревоги и волнения не избыты, но они ушли вовнутрь: нас не убивают, небо не гудит грозно, мы можем жить как хотим, лишь оставаясь в пределах тихого местечка, куда заброшены судьбой.

Июль. Городок разгрузился, улицы уже не заставлены живыми и мертвыми машинами. Машины частью

уехали, частью попрятались по дворам и по гаражам. Попрятались и люди — утряслись, полиняли, приспособились, сделались «населением». Беспокойной толпой они встречаются только в очередях за маслом, за сахаром, за табаком и газетой. Отголоски недавнего прошлого — французские солдаты да учебная пулеметная стрельба за рекой. Иногда мирно пролетает самолет с крестами на подкрыльях. На мостах маячат одинокие фигуры германских часовых. Жизнь пограничная.

Время полевых работ. Один из нашей беженской колонии, молодой и сильный, ушел работать на ферму; он встает в шестом часу утра, уезжает за пять километров на велосипеде и возвращается в одиннадцатом часу вечера: огородные работы, уход за лошадьми, все, что полагается делать батраку. Условия работы — умеренны, но его кормят. Здесь у него жена, дочь и родители.

Остальным пристроиться пока некуда: женщины, старики и дети. Женщины ведут хозяйство, стоя в очередях и дежуря в кухне. Стол скудный, но достаточный; мало жиров и сахару, пресно; но нельзя и сравнивать с тем, что мы испытывали в России в 19—21 годах, когда жиры и сахар были лишь в кошмаре ночных сновидений, чай был из брусничного листа, кофей из корня одуванчика, конина — роскошью, обычным блюдом — пшено, знаменитое пшено, которое на долгие годы стало предметом отвращения. Но тогда не было недостатка в соленой селедке и в вяленой вобле! Как много на свете прекрасных вещей и вкусных блюд.

Тень прошлого в образе поросенка, добытого одною из наших энергичных хозяек. Она же завела пару кроликов. В голодные годы русской революции смельчаки воспитывали поросят, заботясь о них не меньше, чем о собственных детях. Смелость была в том, что свинья хоть и не взыскательна, но не менее прожорлива, чем человек, и подобно ему

смертна; смерть ее — истинная катастрофа, гибель всех надежд. В счастливых случаях поросенок, которого держали в сарайчике под семью замками, а то и в кухне, а мыли в ванне, вырастал в жирного борова, — и тогда воспитатели закалывали его, коптили его окорока и ели тайно и сладострастно, запершись в комнате перенаселенной квартиры.

Наш новый жилец, трехмесячный поросенок, приехал на автомобиле с фермы, в сопровождении троих мужчин в пиджаках. Его втолкнули в сарайчик, и он, усталый, растянулся на свежем сене, до удивительности похожий на беженца.

Тени нашего прошлого еще долго будут являться и тревожить наш дух. Справедливо, чтобы все народы испытали испытанное русскими; и справедливо и полезно: больше ценится благополучие, на вес золота — покой. Но справедливо ли со стороны судьбы подвергать людей повторным испытаниям?

------

Мы стоим в очереди за сахаром, который выдается только по купону и только по личной явке, — полфунта сахарного песку на месяц на одно лицо.

«Хвосты» обывателей хорошо нам, русским, памятны; но во Франции раньше их приходилось видеть только у полицейских участков — за видами на жительство. Пока для французов очереди служат досадным, но еще не приведшим в отчаяние развлечением; смех и шутки еще слышатся.

В хвостах рождалась у нас революция, вначале — «бабья». Но мы умели гордиться хвостами; их самоорганизация достигла у нас совершенства. Люди становились в очередь с ночи, приносили с собой складные стулья, бутылки с водой, а если было — то и перекусить чего-нибудь. Находились предприимчивые люди, организаторы по призванию, которые проверяли правильность очереди и ставили на спинах номера ме-

лом. Близкий номер был гордостью и удачей; номер далекий мог отлучиться на час-два и опять занять свое место; так он и бродил по другим своим делам с меловой пометкой на рукаве и на спине, и ни в ком это не возбуждало смеха: понимали! Нигде с такой строгостью не соблюдались законы и не охранялись права, как в очередях. И когда хвосты исчезли, — еще долго обыватели соблюдали привычный обряд: становиться друг другу в затылок, хотя бы не было в этом никакой надобности.

Хвосты — история; хвосты, если хотите, эпопея. Горделиво мы говорим: «Что будет дальше — увидится, но пока французские хвосты жалки и не идут с нашими ни в какое сравнение! Час-два на жаре — и уже пакетик сахару в кармане!»

Кто-то потерял в хвосте наконечник дамского зонтика. Кто-то потерял каблук у самого входа. Он не мог не заметить, что одна нога его стала короче другой, — но радость достижения взяла верх над ощущением неудобства. Выпустили его через другую дверь магазина, и каблук затерялся.

Объявление муниципального управления: «Все найденные вещи должны представляться в здание мэрии».

Другое объявление: «В мэрию доставлены две детских туфли, не от одной пары».

Это, как хотите, трогательно! Впрочем, дама, публиковавшая о потере сумочки с деньгами и драгоценностями, вынуждена публиковать о том же вторично.

Солнце окружено туманным, но резко очерченным радужным кольцом — редкое явление. Так как всякое явление к чему-нибудь, то старый француз глубокомысленно говорит: «К дождю!»

Дождь сейчас идет ежедневно без всякого круга. Может быть, пойдет и после круга. Другой сказал: «Это наше северное сияние».

Забыли лишь о том, что в Виши было «историческое заседание» палаты и сената, на котором фактиче-

ски отменена конституция. Не потому ли солнце окружило себя кольцом?

Послезавтра — 14 июля, праздник в память падения Бастилии, в канун дня, когда Париж уезжал из Парижа. Сейчас обратное: Париж стремится вернуться в Париж. Не воссоздана ли в нем Бастилия?

------

Я не верю в почту, даже когда она принимает заказные письма; верящих в почту считаю святошами и ханжами, которые подлизываются к судьбе. Но нельзя не верить в почтальона, извлекающего у калитки письмо из своей оскорбительно худой сумки.

Вы помните, конечно, какие бывали сумки у почтальонов? Сколько сокровищ вынимали оттуда эти ловкие фокусники: письма открытые, письма закрытые, бандероли с книгами, газетами, даже пригоршни денег, на которые можно было покупать разные вещи — сахар, масло, — без очередей и карточек. И появление такого почтальона почти не замечалось! Нынешний почтальон производит больший переполох, чем даже муниципальный барабанщик. С деланым равнодушием (но с плохо сдержанной улыбкой) он вручает письмо, отчетливо коверкая иностранную фамилию.

Оказывается, что человек, до которого вам вообще не было никакого дела, узнав ваш адрес, пишет вам восторженные строки привета, как живой живому. Вы тоже в восторге, и вам кажется, что это ваш самый близкий на свете друг, что ваша жизнь осветилась радостью его существования в этом мире. И весь день, поймав улыбку на своем лице, как ловят голубой просвет на облачном небе, вы вспоминаете: да, письмо от такого-то, от этого милейшего человека, истинного друга! И вы скоренько садитесь отвечать ему, не зная, какую из обычных дурацких форм обращения употребить: глубокоува-

жаемый, уважаемый, дорогой, милый... Щедро вы ляпаете: мой любимый, мой друг — и все такое.

Затем проходит неделя, и ваша проснувшаяся было вера не только в почтальона, но и в почту тухнет и исчезает.

------

Берег реки зарос кустарником и мелколесьем. Размывами опрокинуты в воду деревья, и трудно представить себе, сколько зацепилось за них рыболовных крючков. Я пробираюсь осторожно с удочкой, высматривая, не видно ли у берегов рыбы. Сейчас, в разгар лета, она ловится на насекомых; я хочу сказать, что она должна ловиться, хотя сама рыба остается при особом мнении.

Там, где ветки деревьев опускаются в воду на быстринке, сталкиваюсь с другим рыбаком, французом, знакомым беженцем; обмен впечатлениями; он ловит на картофель, приправленный яичным желтком. Это не хуже комнатной мухи, но результат один: ничтожные рыбешки на одну тарелку ухи. У француза в одной из северных провинций несколько гектаров земли, и его нестерпимо тянет домой. Земля не могла, конечно, исчезнуть, но овощи обладают способностью исчезать везде, где проходит армия, все равно — своя или чужая. Затаптывается земля, пропадают кролики и куры. Если бы только вернуться — все можно поправить, все восстановить, если не на это лето — хоть на следующее. Но без призора и постоянного ухода земля обижается и перестает родить.

Мы знаем это оба — нам есть о чем побеседовать, на радость рыбам, не спешащим отойти подальше от берега. У меня в саду уже осыпаются ягоды, напрасно пожелтели знаменитые сортом русские огурцы, повяли цветы без поливки, осталась на грядках рассада, не высаженная на клумбы.

Мы говорим вперебивку, потому что каждому нужно высказать свои личные опасения и обиды. Но я замолкаю, узнав, что сверх всего этого мой знакомый не имеет сведений о своих сыновьях, ушедших на фронт; за все время войны еще не было опубликовано ни одного списка убитых, раненых, попавших в плен. Во Франции еще нет траура: он сразу зальет страну.

Общее горе страны еще не разбилось на отдельные русла и ручьи слез.

------

Опубликованы первые пункты новой конституции Франции. Об этом говорят в Виши, где находится правительство и где доживают свой век палата и сенат. Об этом не говорят в тихом местечке Франции, где важнее всего вопросы о сахаре, о соли, рисе, спичках и беженцах. Ни о какой конституции не приходится говорить и в моих бытовых записках.

------

«Méfiez-vous, ménagères qui attendez aux portes des magasins, de certains beaux parleurs et semeurs de fausses nouvelles qui cherchent à semer l'excitation»*.

О, мыслящие хвосты бывают иногда опаснее мыслящих голов! Мы знаем это хорошо по русскому опыту!

------

«Иностранцы, врачи, банкиры могут ехать в зону оккупации через (такой-то) мост».

Мы — иностранцы. Мы, к сожалению, не банкиры. Среди нас двое врачей, хотя и без пометки об этом

* «Не доверяйте домохозяйкам у магазина, этим болтунам, распространителям ложных слухов, сеящим панику» (*фр.*).

во французском документе. Русским врачам практика во Франции воспрещена, не потому, что они плохие врачи, а потому, что они могли бы быть опасными конкурентами врачам французским. В России во все времена врачебная практика считалась высоким общественным служением, каковым и была по преимуществу. В Европе, во Франции особенно, профессия врача есть fond de commerce*, мелочная лавочка, которая может продаваться и переходить из рук в руки, как всякая другая. Студенты-медики, будущие торговцы, шумно протестуют против принятия на факультет большого числа иностранцев. У нас бы этого просто не поняли. Вывод отсюда тот, что без тайной мысли о самоубийстве я никогда бы не обратился за помощью к французскому врачу, хотя это и несправедливо, потому что среди них должны быть и знающие, и хорошие люди.

Все это — между прочим. Но почему разрешается возврат домой иностранцам, врачам и банкирам и что между ними общего?

Сцена в мэрии нашего городка:

— Правда, что иностранцы могут ехать?

— Откуда вы это взяли?

— Это написано у вас на черной доске.

Секретарь мэрии срывается с места и бежит на площадь, где выставлена доска. По пути прихватывает мэра. Оба заинтересованы — они не знали.

— Значит, можно. Справьтесь в комендатуре.

В комендатуре заседают, скучая, три офицера. Во дворе солдат играет на гармонии. Мимо дома гуляют барышни, поглядывая на окна.

— Правда ли, что иностранцы могут свободно ехать в оккупированную зону?

— А вы какой национальности?

— Soviétique.

— Это что же такое?

---

* Предмет торговли (*фр.*).

Вопрос вполне законный. Но так наша «национальность» помечена во всех французских документах. С тем же правом можно было бы помечать французов — «parlementaire», бельгийцев — «monarchique», итальянцев — «fasciste» и т.д.

— Это значит русский с советским паспортом.

— Вас, вероятно, пропустят.

— А есть ли поезда?

— Этого не знаем.

Мы тоже не знаем. И никто не знает. И, сверх того, никто не верит черной доске.

------

«Телеграммы в оккупированную зону могут посылаться с визой комендатуры и мэрии».

Почтовая девица в окошечке.

— Можно послать телеграмму в Париж?

— Нет.

— А как же об этом опубликовано?

— Мы получили циркуляр, что это ошибка.

Мы терпеливы. Мы очень терпеливы!

------

Мы рядовые обыватели, загнанные в ловушку страхом и застрявшие в ней главным образом по бедности и нерасторопности. У нас нет своей машины, мы не способны на рискованный шаг с перспективой опять застрять в пути и дорого оплатить новый приют. Но мы не только обыватели, а и граждане, понимающие, что в две недели не налаживается жизнь в стране, в две недели разрушенной. Миллионы людей, как и мы, хотят вернуться в свои дома, и нельзя позволить этой лавине разом покатиться по дорогам, где разбиты мосты и истощено всякое продовольствие. Да здравствуют осторожность и выдержка! Мы готовы приветствовать

даже излишнюю строгость. Мы, сверх того, иностранцы, непригодные для восстановления порядка в стране, и мы должны уступать первенство французам.

Барабанщик мэрии известил, что во всех домах должны быть вывешены на воротах списки имен беженцев, в доме живущих. Мы четко пишем свои неудобопроизносимые имена и вывешиваем. Зачем это — мы не знаем; но нам и не к чему знать то, чего не знает никто.

Маленькие обывательские жалобы... Нельзя лишить нас права брюзжанья — единственного, нам оставшегося. Оно не отменено никаким законом, даже проектом новой конституции.

Весь вчерашний вечер и всю ночь была жестокая гроза и проливной дождь. Сейчас он продолжается по-осеннему, мелко и нудно. Люди под зонтами подходят к нашим решетчатым воротам и читают список наших фамилий: они думали, что это — объявление о продаже молока или картошки; они отходят разочарованными.

Нам кажется, что дождь, списки, надежды, разочарования, слухи, разрешения, отмены и все прочее будет вечно. Долго тянется день, беспокойна от дум ночь, не о чем больше говорить, потухли все желания, утрачены все интересы. Так всегда бывает в общих тюремных камерах.

В дни Великой французской революции тоже было обязательство вывешивать на домах списки всех живущих. Тогда это имело смысл: можно было выбрать по своему вкусу «аристократа» и повесить его на фонаре.

------

Погода приспособилась, наконец, к ходу событий и стала совершенно отвратительной. Холод и дождь, без просвета и перерыва. Давно созрела и чернеет в колосе не сжатая вовремя пшеница. Не думаю,

чтобы и огородники были довольны такой чрезмерной поливкой. Виноград просит солнца.

Мы живем со всеми неудобствами, свойственными полугородам и полудачам; окна устроены так, чтобы вода заливалась в комнаты, крыша слегка протекает в неожиданных местах (например, над постелью), а уборная помещается в конце сада, куда ведет залитая водой дорожка под деревьями, обдающими холодным душем.

Всякое «опрощение» приятно и даже занимательно, когда оно предпринимается в целях летнего отдыха; легко обойтись без ванны, если рядом река; без отопления, если солнце исполняет свои летние обязанности; без печи электрической, если довольно углей и дров; без всякий пищевых деликатесов, если хорош, вкусен и здоров деревенский стол: молоко, творог, овощи, ягоды, свежие яйца и в изобилии масло. Труднее, когда «опрощение» вызвано необходимостью, и нет ни угля, ни солнца, а продукты добываются путем стояния в очередях в количестве, далеко не достаточном, и когда думается не об удовольствиях летнего отдыха, а о печальной возможности застрять в неуютном доме на осень и зиму — без теплых вещей и без надежды вернуться в городскую квартиру, к своим книгам, к своей работе. Еще хуже — и уж совсем плохо, когда впереди нет ни работы, ни покоя, ни жизненной цели: туман, дождь, слякоть.

Мы не жалуемся на «опрощенье». Уже больше месяца мы спим на каменном полу, на жидких тюфяках, прислонив тощую подушку к штукатуреной стене. Со мной, на счастье, мой выцветший костюм садовника, обильный карманами, на голове beret basque*, на ногах «эспадрильи». Летний городской костюм бережется, шляпа осталась в «зоне оккупации». Жизнь давно приучила ко всяким временным «опрощениям», к тюремным камерам, к соломенным под-

---

* Баскский берет (*фр.*).

стилкам, к умыванью горсточкой воды, даже к пище, которую станет есть не всякая собака. В тюрьмах советской ЧК нас кормили похлебкой из гнилой и червивой воблы, давая на «второе блюдо» остатки этой воблы; похлебка наливалась в стаканы, сделанные нами из бутылок, перепиленных пополам трением веревки, — искусное тюремное производство посуды. Дважды в день (никогда больше!) нас выгоняли из камеры и вели группами в невообразимую уборную, которую мы затем мыли, и на все это давалось десять минут.

Все это переживалось, терпелось и было лучше смерти, по крайней мере, так мы думали.

Много раньше, в дни монархии, я сидел в отдельной камере с решеткой в окне, шесть шагов в длину, три в ширину, и привык к ней за полгода настолько, что позже, бежав из России в Италию, обрадовался, обнаружив на вилле, которую мы сняли на Итальянской Ривьере, такую же комнату в подвале, тоже с заделанным железными прутьями окном; я просил запирать меня в этой комнате на несколько часов и писал там воспоминания.

Еще студентом приходилось проводить пятеро суток в вагоне на пути в ссылку, — и это было весело и забавно, в молодой буйной компании, с песнями, спорами, карточной игрой.

Власть царскую сменила власть, названная пролетарской, — и в зимнюю стужу, в вагоне с разбитыми стеклами, под конвоем, больной и ослабленный предварительным тюремным сидением, я опять ехал в ссылку через рязанские и казанские леса, под конвоем очень молодых и очень славных и глупых солдат, не менее меня боявшихся вшей, нас одолевавших в эти дни повального сыпного тифа.

Я ухитрялся мирно спать в камере смертников, стены которой были исписаны прощальными словами, и днем, при слабом свете, читал «Викторию» Кнута Гамсуна, кем-то случайно пронесенную с воли.

Я спал на голых досках, по которым бегали крысы и кусали арестантов за пальцы, торчавшие из прорванных башмаков. Я играл в шахматы, искусно сделанные из белого и черного хлеба. Я дважды в жизни ждал повешения и расстрела, не позволив себе унизиться до уныния и упадка духа. Я перенес две бури на двух морях, уезжая из родной страны в чужие и не зная, вернусь ли когда-нибудь обратно. Я бы мог рассказать еще немало подобных же маленьких событий из личной жизни, очень помогавших «опрощению» и скептическому отношению к удобствам жизни, хотя клянусь, я — один из мирнейших граждан, равнодушнейших к смене властей, к формам государственного строя, ко всякой политической грызне и возне.

И вот на склоне дней я говорю тебе, Великий Строитель Вселенной: «Я удивляюсь, как Ты, такой изобретательный, такой Мастер в творчестве природы, мог создать человека, из года в год, из века в век повторяющего в позорном однообразии свои жалкие выдумки, тупого в злости, мизерного в торжестве, пошлого в палачестве! Одни и те же фразы: «Счастье грядущих поколений»; одни и те же приемы: нажим на горло и путы на ноги; и единый напрасный, наивный расчет: в тисках сжимая тело, — унизить и покорить дух. Чей дух? Только тех, кому страшно «опрощенье», кто дорожит мягкостью перины и сладостью сахара; и еще тех, кто сам хотел бы властвовать и покорять».

------

Утром слух: «Раньше как через три месяца никто не получит разрешения вернуться в Париж».

Вечером объявление: «Разрешается проезд через мост всем, жившим постоянно в местностях южнее Сены и Марны, включая Париж».

Наш случай! Наша радость!

В городке волнение: беженцев действительно пропускают через мост, долгое время бывший закрытым; этот мост у нас на глазах. Отъезжающих криками провожает толпа.

Нужно иметь автомобиль. Для автомобиля нужно иметь бензин. Когда все это есть — нужно иметь пропуск. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Нет даже велосипедов, и нет ни решимости, ни силы пройти пешком двести с лишним километров.

Но это детали. Важен принцип: люди возвращаются. Мы — люди. Следовательно, вернемся и мы. Нужна энергия и изобретательность.

С этой минуты мы горим надеждами и проявляем невероятную деятельность.

------

Куда и зачем мы стремимся? Мы убегали от войны, но она нас настигла. Мы не хотели оказаться под властью завоевателя, — и вот эта власть остановилась у наших дверей. Почему же так тянет обратно в Париж, уже переставший быть французской столицей? Обывательский самообман, тяга к привычному столу и насиженному креслу, к вещам и вещичкам, к дружеской среде и утешающим беседам? Надежда, что жизнь в какой-то мере может восстановиться?

Площадь, улицы, дома — все переполнено беженцами, думающими так же. Скорее опять жить и опять работать. О том, что война не кончена, никто не думает, — для Франции она кажется конченной. Во что бы то ни стало преодолеть формальности и вернуться любым путем и любыми средствами...

Противоречивые приказы, нелепость распоряжений, бумажки, печати, слухи, опровержения, напряженная беженская суета.

В магазинах все, не взятое немцами, распродано беженцам. Городок разбогател на несчастии близких, но сам начинает голодать.

С утра приходят к нам прощаться уезжающие, с которыми мы ежедневно обменивались надеждами и разочарованиями. Мы не знаем их имен, они не знают наших. Не будь общей судьбы — мы никогда не встретились бы и не нашли бы общих интересов. Теперь мы — товарищи по одной судьбе, которая скоро разделится на два русла: они вернутся на свою землю к обычной работе; у нас нет своей земли и не будет своей работы.

Сегодня они приходят веселыми, предвкушая возврат домой; завтра придут опечаленными, так как все их планы расстроятся новым приказом и новыми ограничениями.

Беженская эпопея неописуема. Мои краски бледны — я сознаю это ясно. Путь сюда был под огнем; путь обратный — с истраченными силами. В пути умирали. В пути рождались. Вы хотите ярких красок? Ищите их на палитре и на полотнах тех, кто умеет превращать войну в блестящую картину жизни и смерти. Для меня она — темный ужас и однообразная мгла.

------

Наш черед. У нас есть пропуск в зону оккупации. Нас довезет до Парижа грузовик с дровяным двигателем. Он повезет тридцать человек: стариков, взрослых, детей, с вещами и домашним барахлом.

Мы встаем на рассвете и пешком идем к пограничному мосту. Там уже собралась толпа мечтающих уехать. У шлагбаума германские часовые. Мы ждем свой грузовик.

Мы ждем его несколько часов. Нужно выехать раньше, чтобы вечер не застал нас в дороге: с наступлением темноты движение по дорогам воспрещено. Наши документы в порядке. К полудню мы узнаем, что наш шофер не получил пропуска.

Мы возвращаемся домой. Отъезд отложен на два дня. Это значит, что две ночи мы будем спать в дневном

белье на голых соломенных тюфяках, так как все наши вещи упакованы и сданы на склад.

И опять рассвет. Опять мы ждем. Мы знаем, что шофер получил пропуск, но не догадываемся, что у многих из наших спутников кончился срок их документов. Ждем мы напрасно — отъезд невозможен.

Взяв свои вещи со склада, мы опять возвращаемся в свой беженский дом.

Все это в порядке вещей, и все это испытали уже многие. Но на что мы будем жить здесь дальше?

------

На площади черная доска. На ней время от времени невидимая рука мелом чертит знаки или просто вывешивает бумажку, за подписью и печатями.

И вот неожиданно появляется на доске извещение, вызывающее сенсацию: «Объявляется, что все беженцы могут ехать в зону оккупации без всяких пропусков и формальностей».

Невероятно! Но мы давно живем в обстановке невероятного.

Толпа гудит, настроение повышено, все спешат к своим детям и к своим тюкам.

Пятью минутами позже та же рука, но уже робко, с трусливой поспешностью, срывает официальное объявление.

Вышла ошибка! Без пропусков не может ехать никто!

Ни раненых, ни убитых, — мы очень терпеливы!

------

Барабанщик охрип. Уже пятый раз в день он объезжает город с новостями. На площади его окружает толпа.

«По распоряжению г. мэра объявляется, что мосье такой-то разыскивает свою жену. Всякий, знающий

ее местонахождение, должен заявить об этом лично или письменно в мэрии».

— Это все? — кричат из толпы.

— Все.

Минута молчания, затем слышится хохот. Нет ни одного беженца, который не потерял бы кого-нибудь из родных или не беспокоился бы об оставшихся по ту сторону. Потерял жену? Наименьшее из зол! И всю толпу охватывает нервное веселье.

———

Опять барабанщик. Уже шестой раз. Голос не ясен, чистой осталась только усердная и искусная барабанная дробь. Наш глашатай — истинный виртуоз, его палочки волшебны.

«Списки беженцев должны быть вывешены на воротах на высоте роста проезжающих на велосипеде контролеров. При неисполнении того будет составляться протокол».

Кто уполномочил вас издавать юмористический барабанный журнал, г. мэр города? А на вид — серьезный и энергичный деловой человек!

———

Люди бежали от войны внезапно, бросив имущество и захватив то, что было под рукой и в боковом кармане. У многих нет крова; целыми семьями жили на бульваре в шалашиках, варя себе пищу на раздобытых железных печурках. Мы счастливее многих: у нас есть кров. Но за пять недель мы истратили все, что имели в кармане, а впереди — дорога и начало «новой жизни».

С бесспорной отзывчивостью беженцам обещана денежная помощь — 10 франков в сутки на каждого взрослого. Оплачены будут две недели. Говорят, что после эти деньги будут взысканы финансовым ведомством. Ну что ж, это справедливо.

Я стою в очереди за пособием. В жизни моей это случилось в первый раз. Есть чувство неловкости, но я дал себе слово впредь смиряться, потому что нужно привыкать к грядущей нищете: писатели больше никому не нужны, они все переходят в разряд безработных. Я хочу получить милостыню за две недели.

Нет различия между французами и иностранцами. Мы, раньше внесенные в списки, ждем у здания мэрии, как раз у той двери, на которой значится «égalite»* — среднее слово знаменитой формулы, еще не отмененной официально.

Ждем долго. Сначала нас жжет солнце, затем освежает дождь. Час открытия бюро давно прошел, двери еще на запоре. Мы не ропщем: за долготерпение мы получаем пособие, и его хватит как раз на оплату обратного пути, если уехать немедленно.

Двери распахнуты. Длинный стол, четверо чиновников, люди почтенные. Двухчасовое ожидание на улице окончено, — я у стола. Уже отмечен в списке первым чиновником, уже получил билетик у второго, уже расписался у третьего, и четвертый уже отсчитал полагающуюся милостыню; этот последний — не только кассир, но и мыслящая личность, и личность смотрит недружелюбно:

— Русский?

— Да.

— Профессия?

— Писатель.

— Что вы пишете?

Вопрос труднейший. Сложно объяснять, что я написал за сорок пять лет, изложить содержание нескольких тысяч статей и двух десятков книг. Притом он может спросить, хорошо ли я пишу, не делаю ли грамматических и идеологических ошибок, считаю ли я свое призвание оправданным или делал в молодости ошибку, вступив на литературную стезю. И я отделываюсь ссылкой на работу в газетах.

---

* Равенство (*фр.*).

Ему это не очень нравится. Разные бывают газеты!

— Вот ваши деньги, но имейте в виду, что мы не обязаны оказывать помощь русским.

Протягивающий руку за помощью должен прежде всего быть готовым ко всякой обиде. Я невольно съеживаюсь и говорю:

— Вам известно, мосье, что русские были мобилизованы наравне с французами?

Это недостаточно убедительно. И он отвечает уклончиво:

— Да, но мы не обязаны.

За моими плечами очередь. Дверь отворена на улицу, и там толпа. В моей голове на миг рождается блестящая картина: вот я вскакиваю на стол и произношу речь на плохом французском языке:

— Вам известно, мосье, что среди моих молодых русских друзей есть раненые и убитые за Францию, служить которой они не были обязанными, хотя их к этому принудили? Вы не обязаны мне помогать? Зачем же тогда вы предложили всем беженцам помощь, зачем внесли меня в списки и заставили ждать вас два часа на улице? Чтобы швырнуть мне деньги одновременно с публичной пощечиной?

— Мосье...

— Нет, подождите, дослушайте! Война лишила меня всего, я стал нищим и безработным. По моей ли вине? Я всегда ненавидел и отрицал всякую войну, и именно это я писал. Я еще никогда не протягивал руки за милостыней, это мой первый тяжкий опыт; я на него пошел, так как уже стар. На эти деньги, которые я решил вам вернуть, я хотел уехать отсюда, чтобы не мозолить вам глаз. Я ошибся! Возьмите ваши бумажки обратно!

И я швыряю деньги в лицо глупому чиновнику, который пытается изменить мое высокое мнение о благородстве французской души. Толпа мне рукоплещет или, возможно, разрывает меня на части.

Прекрасная и гордая картина!

Но она так же внезапно тускнеет. Я вижу себя смущенным, приниженным и тяну к себе бумажки, боясь, что их у меня отнимут. Я кланяюсь почтительно и бормочу:

— Очень благодарен, мосье, merci, monsieur!

И выхожу, прочно опираясь на палку с железным наконечником и не смотря по сторонам, боясь презрительных взглядов. Я обманул. Ведь я, в сущности, и не русский, и не писатель, и вообще не личность: я — беженец, получивший подачку. Свою гордую речь я произнесу позже, лежа без сна на полу. Я должен привыкнуть ко всему в возрождающейся Франции, у которой я взял 150 франков, объявленных равными семи с половиной германским маркам, и которой за годы пребывания я уплатил десятки тысяч налогами, в том числе специальным налогом на иностранцев. И это не изменит моего любовного отношения к стране, как и презрительного к ее бюрократизму и дерзости чиновников обновленного режима.

Я возвращаюсь домой — и встречные меня не бьют и не оскорбляют: простые и милые обыватели тихого местечка.

------

Просьбы, хлопоты, надежды, разочарования. Мы можем ехать; нет, мы ехать не можем. Тревожный слух: проезд через мост завтра закроется.

У моста германский часовой:

— Можно ли пройти с этим пропуском?

— Он действителен еще два часа.

------

Мудрые решения рождаются внезапно. Брошены последние вещи, взяты только сумки со съестными

припасами. Мы идем пешком до ближайшей станции, идем сейчас же, сию минуту.

Часовой не обманул — шлагбаум поднят. Быстрая проверка бумаг — и мы в зоне оккупации.

Немцы охотно учатся французскому языку, и мы слышим за спиной прощальное приветствие патрульного:

— Bon voyage!*

------

От моста ведет к ближнему городку прекрасная прямая дорога между стенами леса и полянами. Нужно спешить, чтобы дойти до запретного для движения часа. На пути пробитые снарядами, обгоревшие танки.

Первый городок оккупированной зоны. Здесь пустынно, полный порядок, нет толпы, в открытом еще кафе за столиками германские солдаты.

Маленькое чудо: в отеле близ станции свободна комната. Но нет ничего, кроме черного кофею. И нужно торопиться: до часа закрытия и полного затемнения остается несколько минут.

Постель с чистым бельем. Все это нереально, — но мы верим и улыбаемся.

Ночь без сна: мешает спать волненье; ведь мы идем на новую жизнь, к неведомым берегам. Чем стал Париж, что нас там ждет, в мировой столице, склонившей голову перед завоевателем?

------

Прощай, мирный пограничный городок!

## III

Лента кинематографа крутится в обратную сторону. Тогда мы бежали от войны, надеясь спастись

* Счастливого пути! (*фр.*)

в далеком от больших городов местечке. Мы погрузились в поезд под гул пропеллеров, провели тревожную ночь на Орлеанском вокзале и успокоились на время среди мелколесья, зарослей вереска и виноградников средней Франции. Теперь от этой тишины и благодати мы едем обратно, в сторону войны, и каждый оборот колеса приближает нас к Парижу. Но в поездах нет прежнего переполнения, на вокзалах порядок. Рядом с французскими надписями такие же на немецком языке. Французская Марианна в германской каске.

Переезд нелегок; он отнимает у нас двенадцать часов. Нас не смущает новое начальство вокзалов, так как мы имели случай свыкнуться с зеленоватой защитной военной формой; для других беженцев она еще в диковинку. Нам думать некогда — хочется скорее приехать. Долгое ожидание на пересадках не дает возможности прямо проехать в Париж, где мы оказались бы застигнутыми ночью, без права выйти с вокзала и отправиться под домашний уют. И мы решаем навестить сначала наш деревенский домик, откуда мы бежали. Но это местечко близ маленькой станции, на которой не останавливается прямой поезд из Орлеана. Мы выходим раньше, за пять километров, чтобы пройти к себе через соседний городок и через знакомые поля.

Городок превратился в военный германский пост; через поле, вдоль дороги и по меже, легли провода телефонов. Усталые, мы торопимся дойти до сумерек. Вывески со словом «verboten», самым немецким и самым выразительным для новой эры Европы; очевидно, восстановлен аэродром, близость которого доставляла нам немало хлопот и переживаний и раньше. Вдали наше местечко, и мы пытаемся найти глазами знакомую крышу. Еще усилие — и мы у ворот дома. Он слишком невзрачен и остался незанятым; нам обеспечен заслуженный отдых.

Утро. Визит в сад, где все запущено, хотя уход за садом и был поручен заботливым людям. Сняты и опали ягоды, травой заросли тропинки. На огороде разросшийся бурно укроп заглушил всходы русских огурцов. Мало цветущих роз — за ними не было прежнего ежедневного ухода.

На калитке навязана белая тряпочка, как и у всех соседей. Нам объясняют ее значение. Это — род белого флага, означающего, что покорители страны не встретят на этом участке ни засады, ни волчьих ям; что хозяева участка ручаются за свою лояльность. До некоторой степени — сдача на милость победителя, но мы возражать не решаемся, покорные, как и все наши соседи.

Нужно будет привести сад в прежний порядок; но это — после, а пока нас влечет Париж, квартира, наши книги, вещи и вещички. У нас нет с собой ни белья, ни приличной одежды, — все это оставлено в Париже, куда свезено в последний момент то, что обычно служило нам летом в деревне.

И мы нетерпеливо поджидаем местный поезд в Париж.

------

Кошки привыкают к дому; они возвращаются в этот дом даже без хозяев, даже если их увезти далеко в закрытой корзине. Их влечет знакомый запах, манят соседние дворы и крыши, круг старых знакомств.

Не нужно быть кошками! Мир велик — ищите себе новые дома, новый уют, новую подходящую обстановку жизни. Магазины полны новых вещей, — бросьте мысль о кресле, на сиденье и на спинке которого отпечатались выгибы вашего тела. Зачем вам старые книги, — пишется так много новых! К чему эта смешная привязанность к чернильнице, к обкуренной трубке, к пачке потерявших новизну и смысл

писем, к рукописям, тетрадям заметок, к картине знакомого художника, к миниатюрному портрету матери и разным смешным реликвиям в ящике письменного стола? Все это заменимо новым, может быть лучшим, и ваша библиотека, и халат, и спальные туфли.

Я не могу описывать Париж первых недель оккупации, это так много раз описано, с таким талантом и с такой наблюдательностью; и это было так давно, что утратило всякий интерес. Париж без уличного движения, замерший, тихий, чужой. Топот лошадиных копыт: едет возродившийся извозчик. Магазин белья, где толпятся германские офицеры, покупая нужное и ненужное себе и своим женам. Париж вечерний, когда запоздалые прохожие спешат домой, опасаясь запретного часа. Париж, пощаженный первым этапом войны и еще не попавший под новую угрозу.

Я не могу описывать этот Париж еще и потому, что провел в нем только сутки: беспокойный день и тревожную ночь, проведенную не на своей давнишней квартире, которую мы так хотели увидать.

Мне не хотелось бы отводить в своих записях много места событиям личного значения. Но я должен это допустить, чтобы было понятно, почему, достигнув желанной цели, вернувшись на старое пепелище, в столицу Франции, и вернувшись с таким трудом, после стольких ожиданий, — я в день возврата уже стремился обратно в напрасно оставленный пограничный городок.

В Париже меня ожидала «маленькая неприятность»: дверь моей квартиры опечатана, взяты мои бумаги, вывезены архивы, письма, рукописи, все книги, все то, что мне было дорого и что лишено всякого интереса для людей сторонних, и меньше всего для грабителей, трижды приезжавших на военном автомобиле.

В моей долгой жизни время от времени зачеркивается все прошлое, вся его внешняя обстановка

и весь его внутренний смысл, сколько-нибудь с нею связанный; и тогда жизнь начинается сызнова, с первого камня нарастающих стен. Так было в России, так было дважды при расставании с нею. Так случилось и теперь. Может быть, это — злой рок; может быть, есть этому причины — я их не знаю. Я знал их давно, в молодости, когда считал преследования высокой честью; сейчас мне это только противно, как всякое насилие, как всякая бессмыслица. Но, конечно, я не унижусь до оправданий и даже простых объяснений.

------

Итак — мы на улице. У нас не осталось ничего, кроме ручного чемоданчика, опечаленных и испуганных за нас друзей и личной свободы, которую нужно сохранить, как бы ни была она относительна.

Разве этого мало — иметь возможность передвигаться, разговаривать, общаться с милыми людьми, выбрать себе еще одно временное пристанище? Мы видим себя окруженными самым ласковым вниманием друзей, с которыми сейчас придется расстаться, может быть, очень надолго, может быть, навсегда. Друзья познаются в несчастье, и еще никогда испытанье ценности алмаза не давало такого блестящего оправданья! Люди, сами не уверенные в своем завтрашнем дне, сжимают нас кольцом любви; они готовы отдать нам все, что в их силах, свое лучшее и свое последнее. С заботливостью нежных и преданных братьев они каждым словом, каждым жестом, в большом и в мелочах, помогают нам забыть о лишениях и ободриться на новый этап крестного пути, такого неизбежного для людей нашего поколения. Они доказывает нам, что не были напрасными и ложными слова и символы нашего давнего единения, что гибель внешнего еще не убивает веры в святость и благородство духовного союза.

Наш план — вернуться в пределы свободной Франции, пока есть к этому какая-нибудь возможность, и нам приходится удерживать дружескую руку, старающуюся туже набить наши ручные саки запасом продовольствия и всем, что может нам понадобиться для начала «новой жизни». Перед отъездом мы выполняем старинный обычай русских: садятся все и проводят минуту в молчании; затем встают для последнего прощанья. «Нет, это не надолго! Мы скоро увидимся!»

У подъезда германский военный автомобиль. Мы узнаем от консьержа, что в чьей-то квартире обыск. Мы не жалеем, что поторопились оставить Париж.

На улице мы делаемся маленькими, опять одинокими, затерянными в чужом городе, где был у нас раньше свой угол. Нужно спуститься под землю, так как единственный способ передвижения — метро. Как мало в Париже молодых людей! Все седые и полуседые, в морщинах, озабоченные, усталые.

Вокзал. Странно, что существуют прямые поезда. Мы позволяем себе роскошь — второй класс экспресса на Орлеан. Несколько спутников в купе — люди деловые, уверенные в том, что жизнь продолжается. Но мало едущих в эту сторону.

Опять крутится лента кинематографа. Места, хорошо знакомые. Минуя наше деревенское местечко, едем дальше. Мы страшно устали, но нужно бодриться — впереди неизвестность. Удастся ли наш стратегический план?

Опять светлая полоса Луары. Нас ждет пересадка за Орлеаном, на узловой станции, у самой границы оккупации; но путь наш в сторону — к другому пункту границы, более знакомому.

Поезда нет и не будет до утра. Вокзал полон возвращающимися демобилизованными. Примелькавшиеся лица беженцев. Наш путь против течения.

На полу комнаты ожидания затасканный, весь в темных пятнах, соломенный тюфяк; добродушный беженец

советует моей жене спешно его занять. Под голову можно положить пальто. Страшно и противно; но колебаться некогда. На узком тюфяке мы устраиваемся оба: это не значит, что мы будем спать, но все-таки есть свое место и подстилка. По полу бегают какие-то черные жучки, но это не клопы и не блохи. Рядом спят усталые люди.

Проходят поезда. На узловой станции меняется состав толпы. Под утро приходит целый поезд демобилизованных французов. Большинство одето ужасно; я вижу солдата с голыми ногами, в каких-то самодельных трусиках, в веревочных туфлях. Белья на нем вообще нет. Прекрасно одетые немцы смотрят неодобрительно — но без насмешки.

Германия заботлива и любит эту заботливость показывать лицом. К приходу поезда появляется сестра милосердия с бутылочками молока для детей; правда, всего литров пять на длинный поезд, но и это производит впечатление. В зал ожидания входит солдат в каске и с винтовкой и всем мужчинам дает по папиросе. Я беру папиросу и протягиваю солдату свою; но он мотает головой, показывая на горло: он не курит. Его папиросу я кладу на лавку; она долго лежит, но все-таки исчезает. Я не хотел обидеть солдата, — чем он виноват? — но мне припомнился Париж и моя опечатанная квартира.

------

Отворяется и затворяется дверь, и по полу стелется ночной холодок. Уснуть невозможно — мешают мысли.

Нет, о, нет! Не нужно привыкать ни к чему: ни к людям, ни к предметам! Приходит день, и все, к чему вы привязались, что уже стало, казалось бы, неотъемлемой частью вашей жизни, откалывается, гибнет, рушится в пропасть.

Погибла старая свободная Франция, хорошая или плохая; безразлично, как ее оценивать, потому что она все равно погибла. Париж, прекрасный Париж, под пятой завоевателя, даже не способного понять, на что он посягнул. Перед этим мировым несчастием все личное становится ничтожным — как рана или смерть отдельного солдата в проигранном решающем сражении. Для нас, людей старого поколения и отживших взглядов, погибло все, умерли наши боги, потухло солнце.

Я не из тех наивных, которые считают гибель своих богов временной и мечтают о скором реванше. Я знаю, что уже давно полинявшая формула «свободы, равенства, братства», украшавшая входы во французские учреждения, вплоть до тюрем, красовавшаяся на неполновесных монетах, будет стерта до конца, что жизнь народов строится на иных началах, отвергаемых нашим отжившим свои дни сознанием. Крах этого сознания произошел не сегодня, а в дни русской революции, — сегодня лишь пали европейские стены. Этот крах знаменует собою последнее пленение личности коллективом, победу государственности над гражданственностью, бронированного кулака над свободной волей. И дело не в том, что скисли и сдались жалкие и источенные временем демократии с их парламентами, выборами, ложью, внутренней фальшью носительства народной воли; жалко великой идеи, на которой наросла эта политическая накипь.

Прогрессом зовется не лучшее и более совершенное, — а всякое будущее. Прогресс — досаднейшая из философских фикций, позволяющая каждому завоевателю считать себя гением добра и вождем новых поколений. Но истинный свет вспыхивает не каждое столетие, — его ждут десятками веков. Через всю историю человечества пронесена не потухшей только одна искра правды: право личности на свободное ее самоопределение; если эта искра по-

гаснет, то в мире будет темно, как в могиле, и суета и копотня народившихся в прахе и разложении трупных червей не может быть названа жизнью. Вот это страшно, и близость этой последней трагедии человечества мы переживаем.

------

Уже брезжит утро. Восемь часов ожидания, и еще перед нами четыре часа. Минутами дремлется, и тогда из журчанья голосов выделяется чей-нибудь один, ясный и отчетливый; потом он умолкает, и вступает новый голос, тоже необыкновенно ясный, точно говорящий наклонился к вашему уху. Приоткрыв веки, видишь грубые башмаки и обмотки ног. Летит на пол окурок.

Голос отходит, я плотнее закрываю глаза — и внезапно передо мной картина: ряды книг моей библиотеки, томы усердно подобранных редких словарей, справочников, библиографических указателей, верных водителей по дебрям и лесам русского языка, работа над которым была моим призванием и частью моей жизни. Томы классиков, моих литературных учителей. Полки с редчайшими старинными книгами, времен Петра и Екатерины II, попавшие в Европу и нашедшие себе пристанище у старого книгоеда и книголюба. Томы книг современных писателей, русских и иностранных, с искренними или деланными посвящениями. Переплеты моих собственных книг в оригиналах и в переводах на мне знакомые и мне незнакомые языки.

Я вижу еще шкапы и папки своего архива, тысячи писем от близких и далеких, живых и умерших людей, преимущественно писателей рубежа двух веков, собранные за 35 лет моих блужданий; только это я мог сохранить в разных странах и наконец собрать воедино, — кроме пропавшего в пределах России. Сотни и тысячи писем читательских и из-

дательских. Мои литературные дневники, которые я берег как маленький вклад в общий архив русской литературы: записи о встречах, беседах, о появлении новых талантов, о рождении новых книг.

Я вижу редкие гравюры, портреты, численно малые, но достаточно ценные, вижу картины дружественных художников, вижу множество вещей и вещиц, дорогих только мне и жене в нашем прочном союзе любви и вкусов.

Все это для меня погибло. И ужасно сознание, что в самом личном и интимном копаются добровольные полицейские пальцы моих соотечественников, служителей германской оккупации. Это не дает им никакого политического материала, но доставит редкое удовольствие: проникнуть в личную жизнь человека, порог квартиры которого им был недоступен.

Сколько грязи в этом мире! Может быть, не стоит жалеть, что он рушится!

------

— Когда наш поезд?

— Он давно подан, вы можете садиться.

В эту сторону нет беженцев; большинство — крестьяне, хозяйственные женщины, фермер, рабочий, люди степенные и спокойные. Спокойствием проникаемся и мы, хотя через несколько часов должна решиться наша судьба, и нет никакой уверенности в том, что наш стратегический план будет выполнен.

Он слишком прост, этот план, и слишком наивен. Он весь основан на том, что с нами нет никаких вещей и мы не похожи ни на дальних путешественников, ни на беглецов. Путь нам знаком, мы почти местные жители. На наших документах печати мэрии пограничного городка. От него нас отделяет только мост через знакомую речку, и мы не раз видели солдат, стоящих на этом мосту. Если пройти этот

мост, охраняемый немецкими солдатами, то дальше препятствий не может быть: французский пикет нас пропустит.

Сначала городок, в котором мы ночевали. Толстый человек — хозяин отельчика. Чтобы собраться с силами и мыслями, мы заходим выпить кофею, к которому молока не будет. Спокойная прогулка. Нужно пройти через маленький мост канала, где также стоит часовой; это еще не граница. Мы идем, оживленно разговаривая, как люди, уверенные в своем праве. Солдат ковыряет какую-то палочку, ему нет до нас дела. Теперь перед нами два километра уже знакомой прямой дороги и вдали виден наш городок. Прекрасная прогулка. На мосту двойная охрана, по обоим концам. Белобрысый солдат нас останавливает: «Пропуск!»

Я вынимаю наши французские документы с печатями городка. Но солдат не читает по-французски и не знает этих печатей. Ему нужны печати и подпись его коменданта.

Во Франции мы говорим по-французски; мы не обязаны знать немецкий язык, как он не обязан понимать французский. Нас окружает кучка германских шинелей. Мне приходит в голову вынуть уже использованный пропуск в зону оккупации, оставшийся при нас. Он недействителен, но на нем есть и печать, и подпись. Все солдаты кивают одобрительно: «Gut!»*

Нас пропускают на другой конец моста, где домик пограничного гарнизона и где должен быть переводчик. Окрыленные первым успехом, мы спрашиваем:

— Есть ли среди вас кто-нибудь, кто говорит по-французски?

Находится молодой солдат, немного понимающий язык.

— Вот пропуск, по которому мы выехали. Тут несколько имен, в том числе и наши. Все уехали

* «Хорошо, порядок!» (*нем.*)

дальше, а нам пришлось вернуться, так как мы забыли вещи и деньги.

Мы говорим без перерыва, чтобы солдату было некогда думать.

– Можете ли вы продлить нам этот пропуск? Мы перейдем на ту сторону, чтобы взять свои вещи, но мы боимся, что нас с этой бумагой не пропустят обратно. Если это нельзя, то мы лучше останемся здесь; но мы так устали, мы были вынуждены идти пешком.

Молодая женщина и пожилой человек, опирающийся на палку. Я вытираю платком лоб и выражаю на лице ужас: неужели возвращаться, ждать, хлопотать?

Печать есть печать. Подпись остается подписью. И если наш пропуск стар, использован и не в ту сторону, то все же мы не имеем вида опасных людей. Для убедительности мы ввертываем немецкую фразу; это против наших правил и противно, но момент слишком решительный.

– Если мы сейчас пройдем в город, то можем ли еще раз воспользоваться пропуском или нужно будет хлопотать о новом? Мы боимся задержаться надолго!

Переводчик уходит с нашей бумагой в сторожку посоветоваться. Высшего начальства нет, и он не берет ответственности на себя одного. Опять мы окружены кучкой шинелей, но ясно сочувствующих. Нам остается приветливо улыбаться и держаться уверенно.

Переводчик возвращается.

– Мы вам не можем сейчас продлить пропуска, его срок давно истек. Мы вас сейчас пропустим, но когда пойдете обратно, явитесь на мост заранее и поговорите с офицером; я думаю, что он вам пропуск продлит.

Мы благодарим. Шлагбаум поднимается. Впереди нас проходит солдат и делает рукой знак пикету французскому – пропустить!

Это уже роскошь; тут мы управились бы и сами. Только бы не побежать от радости! Пожилой человек даже прихрамывает от усталости. На французской стороне также подымается шлагбаум. Мы проходим триумфально и спокойно. Это — уже наша улица, и сейчас мы встретим знакомые лица.

У меня действительно дрожат ноги, и очень хочется пить. Присядем здесь, на приступочке дома! В сумке есть минеральная вода. Куда спешить — разве мы не в свободной Франции?

Но мы не говорим между собой и не выражаем радости. Мы только переглядываемся: неужели все обошлось так просто?

Стратегический план выполнен блестяще!

------

Здравствуй снова, тихое местечко Франции! И уж теперь — надолго!

## IV

Ветром или птицами занесены на черепичную крышу семена растений. Скопилась земляная пыль. И вот на крыше занимается зеленая жизнь. Достаточно щели, довольно одной горсточки земляной пыли, чтобы в нее внедрились корни и она стала самостоятельным хозяйственным участком. Иногда — однолетняя травка, иногда — небольшое деревце. Жизнь его маленькая, но с высоты крыши оно видит целый мир.

Географическая карта Европы линяет; стираются очертания государств, провинций, путей сообщения. Остается только одно зеленое пятно в середине Франции, где наш городок, название которого не было помечено — городок слишком мал и незначителен. Но он не хочет исчезнуть, у него своя жизнь.

О, у него огромная жизнь, прочно укоренившаяся в истории! Но здесь нет тех быстрых изменений, которые стирают прошлое в больших городах. Он растет органически, без вмешательства случайных событий. К старому дому пристраивается сарайчик, который со временем сделается жилым, — если будет в том потребность, если разрастется семья и в доме станет тесно. Может вырасти и новый дом на окраине старого городка, но все это — потихоньку и не спеша; за много веков в городке едва увеличилось его население. Как ни спокойна здесь жизнь, как ни прекрасны окрестности, как ни плодородна земля, — молодежь стремится к жизни более заметной и бурной, уходит в большие города, прощаясь с историей и созидая где-то там историю новую.

Когда нет своего — живешь чужим; нет настоящего — живешь прошлым. Нас занесло сюда вихрем войны и ее стальными птицами. Наша ссылка бессрочна — на дни, на месяцы, на года, на всю жизнь, — мы ничего не знаем. Впрочем, одно знаем: нужно сохранить целостность духа и не впасть окончательно в убийственное уныние; нужно воссоздать отнятое, — хотя бы в слабой степени, хотя бы в форме туманной иллюзии. В наступившей темноте — зажечь тонкую восковую свечку. Люди — везде люди, и быт огородника ничем не хуже кипучей деятельности виднейшего политика. Нужно вглядываться — мы будем это делать; нужно понимать — мы приложим к этому все силы. И мы не забудем, что находимся в самом сердце страны, в лаборатории духа ее народа. Если это звучит слишком громко, если это слишком трудно, — мы ограничимся дружеским союзом с простыми людьми, с единицами, из которых слагается понятие «народ».

------

Тихое местечко Франции понемногу восстанавливает свой прежний быт. Забываются тревожные дни

оккупации. Сплыла волна беженцев, остались только те, кому вернуться нельзя или некуда, так как часть Франции останется под запрещением — zone interdite*. Перестали и мы быть беженцами и превратились в простых загостившихся иностранцев. Русская коммуна распалась и разъехалась. Мы, единственная оставшаяся пара, сняли себе домик в две комнаты на окраине городка, где он уже превратился в деревню. Домик старый, прочно поставленный на века. Кухня с большим, ненужным камином, спальня с дешевой, но величественной кроватью. На стенах картинки религиозного содержания в тонких рамках, распятия, четки, свидетельства о конфирмации хозяйки и только два светских украшения: тарелочка, на которой изображен мост Александра III в Париже, и другая — с буколической сценкой. Мы стараемся обжить этот домик: две недели живем со свечками, на третью обзаводимся электрическим светом. В сарайчике появились дрова и уголь, ставший драгоценностью. Есть и огородик, запущенный, но способный ожить будущей весной. За огородами лесок и поля вплоть до близкого берега реки Шэр.

У мирных соседей нет ни детей, ни собак, ни радио. Все обещает тишину, в которой так нуждаются усталые люди.

Ожило и упростилось то, что казалось официальным. Жандарм, подвязав передник, метет свой двор; почтальон, разнеся письма, возится на грядах. Во французской комендатуре, занявшей большой дом, военная молодежь развлекается пеньем. Самый модный и нужный человек — поставщик дров. Самое необходимое — дружба с ближайшими фермерами, у которых можно достать яиц и масла, отпускаемого только верным клиентам.

Мост, ведущий в «Германию», закрыт. Пропускают только работающих на той стороне у немцев да еще

* Запретная зона (*фр.*).

торговцев, доставляющих оккупаторам огородные продукты. Красное знамя со свастикой обвисло. Часовые уверены, что через месяц вернутся домой, в Германию: «Так сказал Фюрер!»

О войне напоминают только самолеты, гудящие по ночам, — и мы стараемся угадать, учебные ли это полеты немцев или нам делают визит англичане, направляясь громить Орлеан и авиационные базы в недальнем от нас соседстве. Но мы больше не боимся налетов: река ясно очертила границу, ошибки быть не может.

Целый день неподалеку слышен мотор молотилки. В хлебе нет недостатка. Нет его и в мясе. Предметы чрезвычайной роскоши только: сахар, макароны, мыло, спички. Очереди исчезли; хозяйки отдыхают.

Нужно жить в таком мирном местечке, чтобы понимать всю относительность важности событий, нами пережитых. Что, собственно, случилось? Государство, называемое Францией, понесло жестокое военное поражение. Правда, война не кончена, ослабел и сдался на милость победителя один из бойцов; другой борется не на жизнь, а на смерть, и от исхода борьбы зависит косвенно и судьба выбывшего из строя. Но он уже и теперь должен приспособляться к своему новому положению: тесниться в малых границах, подчиняться приказам и не иметь своего мнения. В чем это отражается на быте маленького местечка, одного из тех, что составляют понятие «Франция»?

Прежде всего — в некотором хозяйственном расстройстве, которое было бы мало-помалу преодолено, если бы городок и его округа могли управляться самостоятельно, залечивая свои раны и штопая свои прорехи. Это невозможно, потому что местечко подвластно приказам и распоряжениям общего характера, уничтожающим все его попытки самоорганизации. Ему нормируют продукты, имеющиеся у него в изобилии, не присылая тех, в которых ощущается острая нужда. Ему диктуют цены, несогласуемые с местным

спросом и предложением. Ему рекомендуют, не пользуясь чужими благополучиями, ограничивать пользование своими. Все это – во имя единого планового хозяйства страны, все планы которой рушились и перепутались. Иначе государство поступать, конечно, не может: его негибкая хозяйственная политика основана на запрещении, и в округе, обильной фермами, она воспрещает свободную продажу молочных продуктов, девать которые некуда, так как транспорт разрушен.

Хозяйственные недомогания. А дальше? Горечь о предстоящей утрате части территории? О потере военной мощи или военной чести? О крахе прежних правящих учреждений?

Но наша территория – городок, округа, самое большее – наша маленькая провинция. Какое нам дело, например, до Эльзаса и до Лотарингии? Или – до каких-то заморских и заокеанских владений! Что дала бы нам «военная мощь»: чужие земли? О какой «военной чести» идет речь? Были солдаты, честно сражавшиеся, пока это было возможно; были бравые командиры отрядов, одной пушчонкой отбивавшихся от наступающих орд неприятеля. Разве не все население Франции, от мала до велика, хотело перемирия во что бы то ни стало, когда почувствовало, что война проиграна, – а она была проиграна с первого дня? В чем ущерб чести, муниципального советника, кюре, учительницы, почтальона, огородника, вдовы Дюбуа и ее внучат? Не в том ли, что Франция не поторопилась еще до войны стать Германией, страной танков, самолетов и рабов? Или что не пошла на самоубийство?

У нас одна забота: восстановить прежний привычный быт и остаться в стороне от «обновлений», судов и личных счетов, по возможности забыть о случившемся и продолжать извлекать из земли то, что она по-прежнему охотно дает усердному хозяину. Остальное нас касается лишь в той мере, в какой в нашу жизнь вмешивается сила, от которой мы откупались налогами.

Такие отвлеченные и сложные понятия, как государство, отечество, международная роль страны и т.п., рождаются и расцветают в периоды благополучия, изобилия, излишества; в несчастии мысль о них заслоняется заботами о благе личном, семейном, местечковом. Из гибнущего мира мы убегаем в свою нору, — и нам нет дела до хриплых выкриков об отсутствии у нас «здорового патриотизма»; мы поговорим о нем позже, подкормившись и продлив жизнь, над которой нависла угроза.

------

Когда солнце садится и жизнь местечка совсем затихает, мы проваливаемся в прошлое, в историю и в доисторию. Пахарь здешних полей часто своим плугом выворачивает из земли осколки каменных предметов, обтесанных в глубочайшей древности. Здесь остались следы пребывания человека с XII—XV тысячелетий дохристианской эры. Отдаленные предшественники семьи Дюбуа и муниципального барабанщика были негроидами, родственными современным нам полинезийцам. Но в ледниковый период их вытеснили пришельцы с севера, и черную расу сменили люди белокурые, высокого роста, менее животного, более человеческого типа, эмигранты тогдашних скандинавских областей — homo rufus borealis*.

Следы пребывания сканнов доходят до нашей реки Шэр и здесь останавливаются. Находки археологов не идут дальше городка на той стороне, того самого, где мы ночевали и пили ячменный кофей без молока. Есть что-то мистическое в судьбе реки Шэр. Ее течение неровно, ее русло изломано; высокие берега размываются в половодье, и весной она разливается до ширины километра. Дойдя до нее,

* Северный рыжий человек (*лат.*).

остановились доисторические племена сканнов, как дважды в истории останавливались немцы; они и сейчас стоят за рекой. И как уйдут они, так ушли в свое время и сканны. Их место заняли пришельцы из Центральной Азии, троглодиты Геродота, циклопы Гомера, карлики, тролли, гномы, люди пещерные, огнепоклонники, потомки библейского Каина, уже додумавшиеся до обработки металлов; позже те же потомки Каина будут выделывать дальнобойные орудия и строить бомбовозы.

Но все это еще не подлинные предки мадам Michou и мосье Leroi, наших милых соседей. Только за 5000 лет до Христа раскачалась Атлантида и послала нам иберийцев, высадившихся в Африке и после долгих странствий наводнивших Европу. Они также долго задержались на реке Шэр. Это были брюнеты высокого роста, искусные в домостроительстве. И они остались бы здесь навсегда, если бы вслед за ними, с опозданием лишь на 25 веков, не явились низкорослые и кудрявые лигуры, знавшие и земледелие. Они пришли с севера, перешли реку Луару, которой дали имя, дошли и до нашей реки Шэр. Это уже пятая человеческая раса, ловившая в этой реке рыбу. Она оставила нам на память немало обработанных каменных глыб, пошедших на постройку домов в нашем городке. Она же оставила след и в названиях городов и местечек.

Лигуры и были настоящими предками обитателей современного округа Веггу, в который входит наше местечко. Точнее — лигурийское племя драганов, или ганнов. Иными словами, мадам Дюбуа имеет некоторое отношение к индусской эпопее о солнечных династиях и к пустынным равнинам Памира.

Но если этого мало, то мы можем сослаться на не менее славную легенду о Геркулесе, отправившемся грабить золотые яблоки в саду Гесперид. Старые географы уверяют, что река Эридан не имеет ничего общего с рекой По, что это нынешняя Луара. Мы

смотрим на дело иначе и не думаем, чтобы Геркулес, дойдя до реки Шэр, лишь отдохнул на ее берегах, чтобы идти дальше, на север. Как было с другими, так было и с ним, и он, наверное, зазимовал в нашем гостеприимном и приветливом городке, удовлетворившись нашими золотыми яблоками, или, точнее, помидорами.

Мы пережили еще немало вторжений на наши берега. Лигуров потеснили кельты, кельтов — кимвры. Чем ближе мы к христианской эре, тем больше остается следов культуры пришельцев. Уже за пять веков до Христа был известен близкий к нам город Selles. Мы уступаем ему историческое первенство, но никому не уступим второго места на прекрасной нашей реке.

------

Как в эпоху первобытных народов, так и сейчас река Шэр, течением которой Франция разрезана на две неравные части, играет огромную роль в быте местного населения. Ее разливы делают тучными поля и огороды, ее близость мягчит летний зной, она приводит в движение мельницы, она поддерживает рост прибрежных лесов, ее рыбой мы будем питаться, когда не останется мяса, которое уходит на поддержку энергии германских солдат и патриотизма населения в самой Германии. Берега Шэр манят молодежь пляжами, стариков — ловлей рыбы в заводях и на быстринках. Она — здешняя краса и утеха. И она спасла наш городок от оккупации.

Приказ военных германских властей: «Воспрещается на всем течении реки Шэр купанье, катанье на лодках и всякое другое использование реки».

Трудно нанести больший удар! Мы догадываемся, конечно, о причинах такого распоряжения: через реку переправляются вплавь или по мелководью бегущие из плена солдаты. Им население оказывает вся-

ческую помощь в побеге, и уследить немцам трудно. Каждый прибрежный куст может служить прикрытием, каждая лодка средством переправы. Но мы глубоко возмущены! Пусть они, эти новые хозяева, распоряжаются на своем берегу; но ни нашей половиной реки, ни нашим берегом они распоряжаться не могут!

В самом широком и красивом месте реки вбита посередине русла свая, к которой обычно причаливал свою лодку седоусый старик. Еще на прошлой неделе его поздравляли с редким успехом, — он поймал на удочку огромного «усача»; долго с ним боролся, долго его вываживал, наконец втащил в лодку; все за этим наблюдали, волновались, сочувствовали, завидовали. Теперь старик, убрав лодку, скромно сидит на бережку с двумя удочками, и уже не ждать ему больше подобной удачи. Он мрачно и презрительно поглядывает на ту сторону, где иногда появляется в кустах патрульный солдат.

«После третьего предупреждения патрульные будут стрелять», — так объявлено нам через барабанщика.

Но французы не умеют и не любят подчиняться. На пляже — веселые голоса молодежи. Искусные пловцы, преодолевая быстрое течение, достигают того берега, отдыхают, ухватившись за нависшие над водой ветви, и триумфально плывут обратно: они побывали в Германии.

Идет берегом, ковыляя, пожилой человек, останавливается около каждого рыболова.

— Клюет ли?

Спрашиваю его:

— Где потеряли ногу?

— На прошлой войне.

И, помолчав:

— Потому и горько мне видеть нынешнего французского солдата. Зачем я, скажите, ногу потерял?

— А разве нынешние все уберегли свои ноги?

– Это верно!

И ковыляет дальше.

------

Мост через реку Шэр ни в ком, кроме нас, тутошних, не вызывает никаких представлений. Но мы с этим мостом связываем многое. Много раз перестроенный, он существует с незапамятных времен. По нему проходит великая дорога народов. Он много раз был местом ожесточенной борьбы. По нему проходили и римские легионы. Самое название нашего местечка филологи производят от двух кельтских корней, переводя его как «мост через Шэр».

Сейчас он для нас – ворота в Германию: «Per me si va nella città dolente...»*

Наш местный кюре печатает на ротаторе тетрадочку приходских известий: две странички он посвятил истории защиты моста. Из красочного описания видно, какой смелый наш кюре, перебегавший через улицу под снарядами, чтобы подать помощь защитникам, впрочем в помощи не нуждавшимся. Защитников было мало – едва ли десяток. Ими командовал офицер – маленькая пешка рассыпавшейся французской армии, устоявшая на месте. Полдня он отстаивал безнадежную позицию и отступил, нанеся противнику потери, под огнем германской батареи. Этот герой был убит в сражении, разыгравшемся несколькими километрами южнее, едва ли не в день перемирия. Его тело было привезено в наш городок, и все жители присутствовали при его погребении.

Бравый кюре заслужил, чтобы были приведены строчки из его почтенной исторической статейки: «Quelle consolation, après avoir vu passer en fuit par nos rues certains officiers et soldats de la hideuse débacle,

---

* Через меня лежит путь в город страданий (надпись на вратах ада) (*ит.* Данте. Божественная комедия. Ад.III.I).

d'avoir à enregistrer ce haut fait d'armes. Centre ceux qui prétendent la France complètement finie, il nous révèle où se trouvent les forces de redressement»*.

------

Редко, но все же приезжают люди «с той стороны». Как быстро рассеялись иллюзии!

Когда через сердце Франции прошла демаркационная линия, завоеватели говорили: «Мы принесли вам свободу. В полосе оккупации каждый может свободно ехать, куда ему угодно».

В короткий срок заботливый завоеватель починил мосты, восстановил движение пассажирских и почтовых поездов. Он будет лишь регулировать возврат беженцев, запрудивших дороги. И правда, обратная беженская волна была введена в правильное русло. Было восстановлено почтовое общение между зонами. Через неделю оно было приостановлено, — как временная мера. Затем оно было прервано окончательно и бессрочно, — уже как мера военная: Англия, вопреки ожиданиям, не пожелала сдаться. Был воспрещен проезд из зоны оккупации в зону свободную. Стал невозможен подвоз в свободную зону каких-либо продуктов и фабрикатов зоны оккупации. Воздвигнутая стена выросла и окаменела.

Мы, здешние маленькие люди, не знаем, что делается там. Об этом можно услыхать лишь по иностранным радиопередачам, — но мы не верим эфирным слухам, откуда бы они ни исходили. Здешние газеты... мы не уверены, что наши газеты «здешние», они так похожи на «тамошние»!

---

* «Какое утешение вслед за зрелищем бегущих по нашим улицам солдат и офицеров после ужасного разгрома узреть сей великий подвиг. Вопреки всем тем, кто утверждает, что с Францией покончено, он указывает нам, откуда начнется возрождение (*фр.*).

Нас просвещают только немногие приезжие; и их отзывы делаются все мрачнее: «Лучше питаться здесь сухой картошкой, чем жить в германском раю!»

Мало-помалу часть Франции, оккупированная «по перемирию», сливается в разоренности, в вычерпанности богатств и в управлении со странами, занятыми по завоеванию. Она стала играть роль «жизненного пространства» и заселяется немецкими семействами, скупившими весь товар парижских Больших Магазинов и теперь скупающими все остатки товаров в провинции и малых городках. Не берущими, а покупающими... по пять пфеннигов за франк; без права повышения цен. Реквизируется только то, что нужно германскому войску, — ему так много нужно! И из Франции в Германию тянутся нескончаемые обозы.

Любезная улыбка временных гостей сменилась строгостью хозяев. У французов нет выдержки, нет дисциплины, нет воспитанности, их нужно научить всему, что знает счастливая Германия. И их учат ходить и ездить по улице, вовремя ложиться спать и уважать военное начальство. Учат настойчиво, применяя все воспитательные приемы и все отеческие кары за ослушание.

------

Три месяца отделяют нас от дня первого бегства, — и кажется, что уже прошли три вечности, в памяти образуются желанные провалы, помогающие не сойти с ума.

В некотором отдалении от нас, по обе стороны нашей провинции, продолжает течь беженский обратный поток по двум линиям железных дорог. Кто-то где-то его регулирует приказами и запретами, но нас это уже не касается. Мы налаживаем жизнь местную, оседлую, жизнь многолетних растений, углубленных корнями в здешнюю благодатную и плодо-

родную полупесчаную почву. Все еще гудит однотонно мотор молотилки, приближается vendange — пора виноградного сбора. Виноград здесь низкосортный, годный лишь для обиходного вина; мы не лакомки.

В газете: «Над Лондоном идет почти беспрерывный воздушный бой».

При встрече хозяек: «Вы слышали, в угловую лавочку привезли и выдают по карточкам растительное масло! Торопитесь получить!»

------

Мимо окна проходят люди, озабоченные сегодняшним днем. Им можно завидовать, но их нельзя не пожалеть.

Они думают, что воздушные столкновения над Ла-Маншем и Англией — последний акт европейской драмы, а там жизнь уложится в ее обычное русло.

Они еще не знают, наивные дети, что мы будем вымирать от голода, холода и эпидемий, что будем в безумии вырывать друг у друга кусок хлеба и бить друг друга, обвиняя в корысти и предательстве. И что сейчас мы переживаем только прелюдию истинной трагедии.

Они ничего не понимают! Они спрашивают себя с удивлением: «Почему же в прошлую войну та же Франция могла остановить вторжение врага у ворот Парижа, — а сейчас она отдала ему все?»

Они не помнят, что Париж и Франция были тогда спасены силами и кровью России, объявленной затем предательницей «общего дела».

Но все это вздор — давние счеты, историческая скука, бесполезные разговоры. Надвигается осень. Победителей в войне не бывает — все будут побежденными. И у Европы не будет лица, которое усердно готовят ей политические пророки.

Ежедневно истребляется и топится заготовленное людьми благосостояние: съестные припасы, уголь,

бензин, одежды, металлы, машины, пароходы, самолеты (люди не в счет). И ничто не создается. И еще долго ничто не будет создаваться. Только земля родит посеянное, — и уцелеет только огородник, который будет защищать свое добро от голодных грабителей. Мы часто едим жирную, нежнейшую телятину, так как ее вывоз запрещен. И мы пьем молоко — оно в изобилии. Как можем мы видеть и понимать, что нас ждет? Мы съедим телятину и выпьем все молоко. Когда начнется гибель, кто-то издаст еще и еще законы и ограничения. Старичка, спасающего Францию, сменит другой, старый или молодой; и тогда наша гибель будет приписана нерадивости старичка, живущего в Виши.

Что прежде всего создано для нашего спасения? Создан верховный трибунал для выяснения виновных и суда над ними. Нет, не стоит жалеть Европу!

------

В паническом бегстве перепутались миллионы людей. Время от времени приходят письма от отыскавшихся, образовавших группочки в разных городах и местечках, названия которых они раньше не знали. Какие нелепые комбинации людей! Делились и позже сплотились не по признаку общности интересов или профессий, как было раньше, а по случайному совпадению линий бегства, скоплений, заторов, временных пристанищ.

«Мы здесь, такие-то, живем вместе», — и невольно разводишь руками: что могло бы в обычных условиях соединить таких людей? Теперь они переламывают братски один хлеб.

Письмо от молодого французского писателя, служившего инженером на огромном новом заводе по очистке бензина для самолетов; он описывает, как бежал с этого завода в последний момент перед приходом немцев: «Я спасся вплавь через Сену; и эта гнусная

речонка никогда мне не казалась такой холодной и широкой. Перед отъездом имел честь зажечь самый большой в мировой истории пожар, в сравнении с которым развлечения Нерона — детская забава. Сгорело 100000 тонн авиационного бензина — римским императорам такие выходки были не по средствам. Не буду описывать все ужасы, которые видел в пути; мне было сравнительно легко передвигаться — у меня не было с собой никаких вещей, абсолютно никаких, только то, в чем был одет. Страшно было смотреть на несчастных, старавшихся спасти жалкое имущество, на матерей, которые брели по дороге с мертвыми детьми на руках, не желая их бросить, надеясь, что дети оживут. От дыма солнце было как бледный диск, вода в Сене была черная от сажи и отражала пламя, а языки пламени взлетали, крутясь, на 300 метров высоты, а потом из черного облака слышался такой грохот, как будто кто-то бил тяжелым молотом. Эти сцены никакой Гойя не напишет.

Здесь мне так надоела гнусная камарилья чиновников, устроителей человеческого счастья на земле, и все их карточки, и все их порядки, и их газеты, и их T.S.F.*, что я ушел в горы, и чем дальше уходил от всей этой грязи, и от испуганных беженцев, и от воспрянувших духом чиновников, будь они прокляты, тем радостней и привольней мне становилось. Я несколько дней провел очень высоко в горах, питаясь только молоком и сыром (хлеба нигде не было), но холод и отсутствие теплой одежды опять загнали меня в город».

Автор письма молод, ему на пользу такая наука жизни. Я готов ему позавидовать — ему и его будущим книгам. До сих пор он слишком много внимания уделял сердечным трагедиям.

Письмо от солдата, еврея, мобилизованного в начале войны, полгода провалявшегося на соломе в без-

* Радиовещание (*фр.*).

действии — как большинство солдат, — затем отправленного в огонь, раненого, но счастливо спасшегося от плена. Призванный в войска как русский эмигрант, он пошел на войну безропотно, даже с некоторым удовлетворением: «Нужно уплатить Франции за ее гостеприимство». Человек мирный и уже на возрасте стал настоящим poilu[*]. Но вот заключено перемирие — и он демобилизован и свободен в свободной зоне Франции: «Из Виши меня изгнала полиция, как страшного преступника — étranger[**], о чем свидетельствует красная печать, поставленная на моей; feuille de démobilisation[***], на моем военном документе, важном и основном (правда, другого у меня нет). В участке разговаривали со мной, как с первым преступником Франции, кричали: «Embarquez-vous, allez-vous-en»[****] etc. Мало этого. Спрашивают о вероисповеданий и это аккуратно записывают. Ходил я жаловаться к военным властям. Посочувствовали мне там, но помочь не могли, сказав, что; «C'est une mesure gouvernementale»[*****]. Мы, русские беженцы, шли воевать, проливать свою кровь за народ и страну, которая нам оказала гостеприимство, которую полюбили и считали своей, а вот теперь нас гонят, как собак, и разговаривают с нами по-собачьи. Я ведь даже не был добровольцем, а был призван, как французы, голодал, страдал и даже был ранен в руку и получил сильную commotion[******] от двух упавших около меня бомб (в один день, перед виадуком Cham, мы потеряли 30 пр<оцентов> нашего состава). Но все это не имеет теперь цены, может быть, в будущем это будет даже ставиться в вину. Одно, конечно, важ-

---

[*] Фронтовик (*фр.*).

[**] Иностранец (*фр.*).

[***] Справка о демобилизации (*фр.*).

[****] «Собирайтесь, убирайтесь вон» и т.п. (*фр.*).

[*****] «Это правительственное распоряжение» (*фр.*).

[******] Контузия (*фр.*).

но — в прошлом моем я совершил большое преступление, я плохо выбрал свое рождение, родившись евреем. Ошибка, конечно, непростительная, а переродиться мне — задача для меня тяжелая и, главное, продолжительная и уж наверно возможная только со дня моей смерти. А ведь долго, наверно, придется ждать этот день, — молод я, мне всего 36 лет».

Письма печальные! Чтобы исправить впечатление, отыскиваю в пачке бодрое письмо юноши, недавно женившегося и вместе с женой ушедшего из Парижа пешком на юг Франции: «Устроились отлично в маленьком городке. Подружились с мэром города, который дал в наше распоряжение целый дом; получаем пособие по 10 франков в день на каждого — и живем отлично».

А в Париже они бились и не вылезали из нищеты! Вот и повезло людям!

------

В Париже покончил с собой Joseph Meister. Его имя в свое время прославилось тем, что на нем впервые Пастер испытал действительность прививки против бешенства — и спас его от смерти.

Мейстер был укушен бешеной собакой — и остался жив; ему было тогда, в 1885 году, девять лет. И вот теперь, в старости, он испугался страшных последствий укуса взбесившихся людей, от которого все мы теряем разум и погибаем. Прививки нет от этого бешенства, нет великого Пастера, который мог бы нас спасти. И Мейстер предпочел наложить на себя руки.

И еще что-то недоговорено в газетной заметке: консьерж Пастеровского института назван эльзасцем, — но не был ли он, судя по его имени, евреем?

Во всяком случае, великий ученый ошибся, дав ему долголетие и возможность дожить до наших дней. Плохая услуга!

------

Радио болтливо, когда дело идет о полемике; но в передаче внутренних известий оно застенчиво, как девушка, преследуемая ухаживаниями солдата. Мы живем слухами и слушками.

Я спрашиваю всех: «Помните ли вы с начала войны хотя бы одно официальное сообщение любой из сторон, в котором число своих потерянных самолетов было бы указано больше числа потерянных в этот день противником?»

Никто ни разу не слыхал. Ни единого раза!

Так мы и жили, так живем и так будем жить в вечной лжи, которая из бесстыдства стала законом.

------

Молодой французский писатель, отрывок из письма которого я приводил, пишет, что ему удалось найти несколько томиков Байрона, — и Байрон отвлек его от современности.

Привет молодости — она так легко успокаивается! Но ведь Байрон — это недавние дни! И это слишком напоминает об Англии, которую французам приказано забыть, если уж они не способны к быстрому повороту чувств и к недостаточно обоснованной ненависти. Надежды на Англию — самое большое, хотя и самое распространенное преступление; об этом твердят все газеты; побежденный может уповать только на победителя, ему отдавать должное и ему или, точнее, к нему протягивать руки.

Чтобы забыться, нужно уйти гораздо дальше в прошлое, и я радуюсь, что это так легко делать в тихом местечке Франции, где о прошлом говорит каждый камень.

Нужно заткнуть уши ватой, зажмурить глаза, сжать кулаки — и так просидеть некоторое время, пока все настоящее не выжмется из сознания и не исчезнет, оттесненное веками прошлого. Современность — только

мост между двумя вечностями, только стирающаяся в тысячелетиях тропинка. Почва, на которой растет виноград и картофель, удобрена трупами людей, здесь живших и здесь проходивших. Нужно вызвать их образы и их движения.

Когда лигуров стали вытеснять кельты, отчасти с ними смешавшись, на нашей реке утвердилось славное кельтское племя битуригов. Именно оно осело там, где сейчас стоит наш домик, кажущийся таким затерянным в мире. Но и это племя недолго было хозяином: его потеснили кимвры, и кельтам пришлось спешно отступать, как уходили в минувшем июне беженцы — с детьми, старцами, скотом и домашним скарбом. По счастью, наступление неприятеля сдерживала река Шэр, не имевшая еще таких прочных и удобных мостов.

Домыслы археологов и легенды окончательно уступают место истории. На востоке уже готово взойти солнце христианского учения, которое должно сделать людей братьями, уничтожить войны, дать миру мир. К этим дням на берегах реки Шэр уже вырастают крепости и города многочисленных слившихся племен, отчасти те самые города, которые стояли по сей час, лишь неоднократно сменив или исказив свои названия. Города окружены лесами, в то время девственными и могучими; сейчас остатками этих лесов, потомками тогдашних деревьев, мы топим кухонную плиту, а зимой будем топить и запасную печурку. При слиянии рек Шэра и Сольдры остались широкие каменные кладки, три круга друидов, веривших в странствие человеческих душ в трех кругах вечности. Скоро, с приходом римлян, наша река получит имя Carus, и на ее берегах Цезарь будет преследовать Верцингеторикса.

Если стать лицом к мосту и взглянуть в даль, через головы германских часовых, стоящих у шлагбаума, — в конце длинной аллеи тополей забелеют

в солнечный день строения городка Gievres, носившего раньше имя Gabris. В городке домов немного, не наберется, пожалуй, и сотни. Мадам Дюбуа ежедневно ходит туда пешком и к вечеру возвращается, так как имеет постоянный пропуск. А ходит потому, что там у нее дом, за которым необходим хоть какой-нибудь присмотр. В доме живут немцы: офицер и солдаты. Офицер любезен и, несомненно, сообщит нам, когда Господь или Дьявол предпишет им убраться восвояси.

Для человека невнимательного ничего интересного в этом городке не найдется. Когда мы ехали в Париж, мы здесь провели ночь в маленьком отеле около вокзала; когда бежали обратно — тут же передохнули и выпили по чашке того напитка, который до сих пор называется кофеем, но которого больше уже нет, хотя он выделывался из местного ячменя.

Но в дни прошлого, в дни процветания римской Галлии, здесь жили богатые колонисты, и с нашей улицы, через мост и ту же лесную просеку, можно было видеть не только роскошные виллы, но и мраморный храм бога Солнца, галльского Аполлона; он простоял вплоть до Средних веков, оставив к нашим дням только свое искалеченное имя местечку Poulinat. И был еще храм Юпитера, над входом в который была надпись, оставшаяся на осколках камня и прочитанная археологами, хотя возможно, конечно, что ее нацарапали гвоздем позднейшие мальчики, как сейчас они царапают на каждом угловом камне каждого дома каждой улицы.

И был этот соседний городок несокрушимой крепостью.

Наш же городок, с одной из улиц которого мы пытаемся смотреть вдаль, вряд ли имел тогда хоть одну улицу. По легенде, он был местечком лесным, «диким и полным ужаса», и жил в нем святой жизнью благородный лиможский дворянин Фальер, даже если

не было еще ни Лиможа, ни дворянства в середине третьего по Христе века. Фальер жил отшельником, в посте и в молитвах, а позже в наших окрестностях возник его имени монастырь. Святой Фальер похоронен в подземелье нашего храма, ныне стоящего, хотя в то время не бывшего; но легенды не считаются с мелочами хронологии, и гробницу мы покажем вам хоть сейчас. Одного показать не можем — литой золотой статуи этого святого, поставленной Людовиком XI и украденной гугенотами.

Но мы слишком близко подошли к современности, чтобы не сделать передышки. Откроем глаза, освободим от ваты уши — и прислушаемся к гудению над нашими головами германского самолета. Завоеватели не стесняются и летают над самыми крышами тихого местечка свободной Франции.

------

Теперь, когда наш быт слился с бытом всех маленьких людей, живущих растительной жизнью, когда образы Парижа потускнели и исчезают, как исчезла давно невольная заносчивость избранных, монополистов высокой жизни духа, — я с особым интересом вглядываюсь в мелочи, мимо которых проходил временным гостем.

Наша улица зовется именем человека, о котором мы не имеем никакого понятия, — как в Париже девятьсот на тысячу не знают, чем были славны фармацевты, которым поставлены памятники на бульваре Пор-Руаяль. Чтобы не злоупотреблять этим именем, обыватели зовут ее «улицей мельницы», так как она приводит к этому полезному учреждению на берегу реки. В сторону городского центра она вливается в такую же простоватую и невзрачную улицу, но уже с понятным прозвищем: rue du Progrès — улица Прогресса. Вероятно, какой-нибудь просвещенный муниципальный туз предложил

такое наименование; в отличие от других он носил не берет, а шляпу и повязывал по воскресеньям галстук.

По улице Прогресса мы везем на тачке охапку хвороста, необходимого в хозяйстве. На нас смотрят с сочувствием, как на людей хозяйственных. Приветливо кивает одна из многочисленных соседок, самая почтенная, старушка в белом чепце; с нею мы пользуемся одним колодцем. Мало-помалу лица, раньше сливавшиеся в общую массу, начинают отчетливо выделяться и приобретать индивидуальные черты. Сначала глаз привыкает к кубическому силуэту болезненно толстой женщины, кошка которой часто приходит к нам во двор и заглядывает в отворенную дверь, осведомляясь, не жарится ли у нас рыба. Дальше делается знакомой мадам, живущая в доме наискосок, хотя ее талия не представляет никаких особенностей и только нос свидетельствует о том, что по здешним местам прошли в свое время легионы Юлия Цезаря. Придет время, когда мы будем знать каждую мелочь быта наших соседей, как они уже сейчас знают, что мы — застрявшие здесь парижане, не пожелавшие жить «под немцами», что у нас еще нет теплого платья, но уже завелась пишущая машинка, стук которой по утрам доносится из окна.

Мы признаны и приняты в круг «своих». Наш быт малым отличается от быта общего, — разве только стуком машинки. У нас вязаные занавески на окнах, штопаные чехлы на солидном кресле и низеньком стуле, удобном для надеванья башмаков — чтобы не наклониться низко. Внутри домика низкий потолок, скрепленный прочными балками, стены выбелены известью, в кухне железная плита, прислоненная к вышедшему из быта обширному камину. Мебель убогая, но не ограничивающаяся обширной кроватью, и есть даже обеденный стол, который я приспособил к нуждам своей профессии: он уже занят чернильницей, папками рукописей, табаком, пепельницей и единственными

книгами, легшими в основу будущей (которой по счету?) библиотеки. Книг три, и все о рыбной ловле, оставленные мне уехавшим любителем. Висят на стене у входа огромные крепостные ключи, от ворот, от входной двери, от сарая, от шкапа, — необъяснимое пристрастие к замкам, запорам, болтам, задвижкам в местечке, где никто не ворует.

Большой шкап, набитый хозяйственной рухлядью. Все одинакового, ржаво-пыльного цвета. На первом месте бронзовые каминные часы, в которые попробую вдохнуть движение. Рядом графинчик с целым выводком рюмок; предметы роскоши. Остальное менее ценно: пробочник, отвертка, машинка для забивания гвоздей в подошву, ситечко чайное без ручки, деревянная салатная вилка, воронка, медный подсвечник, статуэтка Мадонны, ржавый подпилок. И — печатное слово! Номер иллюстрированного журнала за 1867 год, — незадолго до войны, окончившейся для Франции разгромом.

Возможно, что с той поры и лежат на забытой полке шкапа забытые вещи. В ту войну, 70 лет тому назад, наш городок тоже оказался на время пограничным — немецкая оккупация дошла до реки Шэр. И затем потекли годы, и в смене событий Франция отомстила за свое поражение. Еще прошли года — и опять враг у наших ворот. А дальше? Дальше мы ничего не знаем и не можем предположить.

На первой странице журнала портреты Александра II и его сыновей: Александра и Владимира.

При встречах нас иногда спрашивают с загадочной улыбкой: «А что же Россия? Правда ли, что она стягивает войска к границам?»

Нам отвечать нечего. Но, на случай, мы тоже загадочно улыбаемся. Дескать, «все может быть».

------

В нашей хибарке есть электрические провода, но нет счетчика. Он нам обещан — но когда?

Если бы кто-нибудь отказался от освещения, сейчас бы его счетчик и переставили вам. А теперь приходится ждать.

С восьми вечера мы сидим при стеариновой свечке. На камине стоит керосиновая лампа — нежное воспоминание о давних годах. Но нет керосину, и лампа служит лишь украшением. В дни моей молодости, в Москве, студенты переезжали с квартиры на квартиру на извозчике, держа в руках керосиновую лампу. Тридцать лет тому назад Париж еще не был богат электричеством, и в Латинском квартале мы жгли керосин. Отличная лампа обогревала мою комнату в Риме, в рабочем квартале, пока жизненные удачи не сделали меня буржуем. Обидно, что нельзя — в порядке отката цивилизации — вернуться к керосиновой лампе. Но откат слишком велик — и мы сидим со свечой, пока еще есть свечи.

В дальнейшем можно предположить глиняные плошки с растительным маслом (хотя масло становится редкостью) и лучину. А еще проще — ложиться с солнцем и с солнцем вставать.

«Воспрещается бросать в сорные ведра газетную бумагу, хотя бы и грязную. Всякая бумага должна собираться в особых хранилищах до сбора ее на нужды бумажной промышленности в указанные дни».

Мы покупаем местную провинциальную газету — в одну страницу. Затем она идет на растопку печи и на другие потребности. Государству я мог бы передавать только черновики своих писаний, — но, за отсутствием издательств, эти черновики не переписываются набело и не увидят света, и я медлю с ними расставаться.

Впрочем, нет никакого сбора, нет никаких «указанных дней», есть только распоряжение, на печатание текста которого затрачено известное количество бумаги.

О нас заботятся, и мы спокойны за будущее бумажной промышленности и газетной суеты.

------

Наш городок — на границе свободной зоны; наш дом — на границе городка. Прямо из огорода, через полянку и группу деревьев выход к реке; в редкой лавочке сверх его специальных товаров не продаются и рыболовные принадлежности. Река с ее живописными берегами — место прогулок, отдыха, промысла и любимого спорта.

С некоторыми поправками и дополнениями — такова и есть картина здешнего быта. Кое-кто из «вышедших в люди» построил себе виллу в два этажа с красивой облицовкой; но и его семья живет преимущественно в кухне. Местная старожилка и богачка располагает домом в четырнадцать комнат, и полы у нее паркетные. Однако обитаема только одна комната — не отапливать же все! В остальных сама хозяйка натирает пол воском, и никто туда не допускается, иначе как скользя на шерстяных тряпочках. Водопроводов нет, нет канализации. Некоторые завели центральное отопление, но угля сейчас нет и в помине. Мы, жители окраины, неодобрительно относимся к новшествам: жили люди без них, проживут и впредь.

В длину город тянется на целый километр. При жизни тихой и замкнутой — это немалое расстояние. Встречаются на улице две старушки, бывшие в детстве школьными подругами. Обе всю жизнь прожили здесь. При встрече неподдельная радость: «Как давно не видались-то!»

Начинаются вычисления, и оказывается — и впрямь не встречались тринадцать лет. Это — живя в одной коробочке! Правда — на разных концах.

Счастливый городок!

------

Мадам Жанет — у нее пропуск в обе стороны — говорила с немецким солдатом на мосту. Он дунул на ладонь и сказал: «Берлин — фью!» — верно, у него там жена осталась.

«Тоже и им не сладко!».

Одно из недальних местечек разрезано надвое пограничной рекой. Так как общение жителей неизбежно и необходимо, то там режим особый, смешанный, и солдаты немецкие встречаются в кабачках с французскими. Запоздалое братанье. Впрочем, может быть, и не совсем запоздалое.

Идя с удочками на речку, вижу, как и на нашем мосту беседуют часовые двух наций: светлая форма германцев и более темная французов. Как они беседуют? Усиленная жестикуляция дополняет недостающие слова.

Благодатный воздух старой Франции чем-нибудь да будет полезен оккупаторам. Свое сравнивается с чужим. Рано или поздно они вернутся на родину...

------

Нож, пытающийся разрезать тело Франции на два куска, вонзается все глубже. Пока это — географический разрез; но победитель мечтает о другом, более тяжком: по линии сердца; он хочет создать две Франции в каждом городе и каждом местечке, независимо от оккупации, чтобы и искалеченная, она не оказалась духовно единой. Страшны судьбы покоренных народов. Не раны страшны, а вносимая в них зараза.

И это сказывается даже в быте маленького тихого местечка. Распадается согласие мнений, расходятся основы надежд. Я упорно не хочу вносить в эти записи политических наблюдений и выводов — пусть этим занимаются другие; но, живя на границе двух зон, мы даже здесь — среди полей, лесов и виноградников — чувствуем, как исподволь нарождаются другие границы — создается материал грядущей истории.

Когда прекратились налеты и артиллерийская пальба, нам казалось, что судьба свершилась — и в

основе своей трагедия закончена. Это не так: не завершение, а лишь начало событий. Их концом будет не «мирная конференция», как полагается по обычаям международного права. Что-то иное — что?

Сегодня всю ночь без перерыва мешали спать пропеллеры. Ночи лунные, светлые, опасные в смысле налетов и удобные для полетов учебных. Летчики гибнут тысячами — нужно спешно заготовлять новые кадры. Все это так. Но гул самолетов не может не рождать тревоги. Еще не весь мир сошел с ума — будущее полно неожиданностей и случайностей. В войне, подобной этой, не может быть победителя; все будут побежденными. На лице всей Европы — гримаса боли. Мы ничего не знаем — и меньше всего знают сегодняшние политики.

Доколе?

------

Наши ближайшие соседи — старая супружеская пара крестьян. Своих детей они вывели в люди, создали им жизнь барскую; но сами остались на земле, от которой кормятся. У них должна быть денежная кубышка, им, в сущности, уже не нужная, но поддерживающая уважение к ним оставившего землю потомства. Они неграмотны, но не темны: их речь не отличить от речи «образованных». И мадам Michou говорит: «Мы знаем, что Франция погибла; но все же хорошо, что здесь нет немцев».

Их жизнь ни в чем не переменилась: хозяйство в огороде, приготовление пищи, сон. Они живут в доме, переделанном в жилой из какого-то старого барака, полужелезного, полудеревянного. Он им удобен и привычен. За эти месяцы они не раз давали у себя приют беженцам, относясь к ним с полной сердечностью.

Это — прочная Франция. И ей нет никакого дела ни до парламента, ни до диктатуры: она газет не читает.

------

Тиха и спокойна наша жизнь, как ясна голубая гладь реки. Но и на речной поверхности бывают рябь и волнение — и мы способны волноваться.

Может ли это быть? Три мелочных торговца, мясник и молочник обратились к германским властям с просьбой перечислить наш городок в зону оккупации. Слух об этом разнесся по всем домам и домикам. Им займется и муниципальный совет на ближайшем заседании.

Кто эти торговцы? Чем вызван их непатриотический шаг? Не тем ли, что в зоне оккупации съестные продукты расцениваются дороже, а ввоз их туда затруднен? На нашей стороне куры продолжают нестись, на стороне германской они объявили забастовку. Телятся наши коровы — там коровы отказываются производить потомство. А может быть, там и вообще исчезли и коровы, и козы, и куры, — все они съедены или уехали в Германию?

Но кто же, кто эти изменники?

Шепотом называют имена. Но заподозренные решительно отрицают свое участие в ходатайстве. На дверях своих лавочек они вывешивают плакаты с опровержением взводимой на них клеветы.

Три дня слухов и волнений. Муниципальный совет строго осуждает попытку передать город неприятелю, но у него нет никаких доказательств измены. Ни в чем не осведомлена и французская комендатура. Не узнает ли чего-нибудь более точного кузина мадам Жанет, живущая по ту сторону?

Но и кузина не знает!

Тогда не есть ли это просто ложный слух, пущенный с «той стороны»? Не хотят ли таким слухом смутить нашу уверенность? Не хотят ли кого-то

убедить, что население свободной Франции жаждет целиком подпасть под германское управление?

Три дня возбужденных бесед на перекрестках улиц и у ворот. На четвертый день успокоение: нас хотели обмануть, хотели нас уверить, что могут быть предатели среди нашего населения. Но это неправда, мы все здесь мыслим одинаково и все добрые патриоты.

Разойдемся спокойно по домам!

------

Проходит почтальон с письмами э т о й стороны. Т а сторона заперта на замок. Все наши ближайшие друзья остались там.

Вот из этих мелочей и слагается откат в Средневековье. Временный? Но его временность длится уже четверть века! Россия уже давно почти вне почтовых сношений, не говоря о ее непроницаемости для заграничных изданий. Теперь в том же положении и остальные страны Европы. Прошлая война создала повсеместно паспорта, визы, квоты, процентные нормы и прочие усовершенствования, заимствованные у стран культурно отсталых. Нам обещан европейский рай; мы согласились бы лишь на возврат недавнего прошлого — и были бы блаженны.

Теоретически — стена непроницаема. Практически это не совсем так. Жизнь постольку возможна и переносима, поскольку старые крысы прогрызают лазейки. Основа существования — обход строгих законов и распоряжений. О способах обхода не говорят вслух, но понемногу и они становятся бытом.

Страница маленькой хроники обрывается. Наш городок затерялся в зелени, видна только остроконечная церковка, не тронутая снарядами. По утрам свистит паровоз возродившейся узкоколейки — лишь до границы. Стучит молотилка. Рыбаки видят свои

рыболовные сны. Вчера близ мельницы один счастливчик поймал карпа весом в двадцать фунтов; проще сказать — в десять кило, но цифра 20 внушительнее. Об этом случае мы говорим с соседом, которому за всю его жизнь не удалось не только поймать, а и видеть такого крупного карпа. Об этом говорят по всему побережью речки Шэр.

Еще есть в продаже дешевый табак для трубки. В дни русской революции я куривал и хуже. Но вспоминать не стоит: ни вспоминать прошлое, ни заглядывать в будущее.

Молчание, которое хотелось бы продлить в вечность.

## V

В какой-то день после долгих приготовлений, учебных и пробных полетов и групповых совещаний — улетели ласточки, без пропусков и виз, по воздушным путям, еще не опутанным колючей проволокой и заградительными сетками. Для их отлета на тысячи километров потребовалось одно утро; репатриация беженцев на сотни километров займет, очевидно, не меньше года, может быть отчасти и потому, что люди повсюду тащат с собой свое житейское барахло.

Осень подошла вплотную, неумолимо, хотя еще очень тепло даже по ночам, а днем мы купаемся в парном воздухе, пронизанном солнечным светом. Истекшее лето было на редкость прекрасным, — хотя запишется в истории как одно из самых трагических и проклятых.

Приблизительно в день отлета ласточек прилетели к нам продовольственные карточки. О них, как и обо всем замечательном и значительном, возвестил утром муниципальный барабанщик: карточки на хлеб, на муку, на мясо вдобавок к прежним на масло и жиры, на сахар, рис, макароны.

Барабанщик объявил, что все главы семейств должны явиться утром в мэрию получить карточки. Главы семейств работают, им некогда заниматься пустяками, и приемная мэрии заполнилась женщинами — толпой болтливой, настроенной весело и шутливо. Наше местечко никак не может проникнуться серьезностью положения незанятой Франции. Зачем карточки на муку и хлеб, когда у нас рядом мельница и излишек хлеба? Почему ограничивается потребление мяса, когда у нас его положительно некуда девать?

По скошенному лугу озабоченно бродят коровы: что делать с молоком? Хозяйкам воспрещено продавать сыр, великолепный местный сыр, а молока всегда излишек, в нем мы можем купаться. Нельзя продавать и масло без карточек.

Все это, конечно, устроится. Если нельзя продавать, то невозможно воспретить подарки. Хозяйка, у которой уродилось много картошки, подарит ее соседке, владелице трех коров, и получит от нее в подарок масла и сыра ее производства. Мы едим мало хлеба, и мадам такая-то готова брать его в обмен на получаемые ею по карточкам макароны, которых она не ест и накопила напрасный запас. Общественность вводит поправки в общегосударственный план, стройный, обдуманный и рассчитанный на ту «среднюю», которой в практике не существует. Если в Ницце нет молока — не поможет то, что наши коровы будут гулять недоенными; и наши куры продолжают незаконно нестись, не имея никакой возможности снабжать Виши продуктами своей плодовитости.

Мы, маленькие обыватели, лояльны и готовы к самоограничениям ради общего блага; мы охотно поделимся с ближним и дальним, но как это сделать без транспорта? И пока он не налажен, мы предпочтем руководствоваться своими местными условиями хозяйства, нарушая строгий закон в его бессмысленной и неосуществимой части, то, чего нельзя

получить по карточке, мы получаем по знакомству, и жизнь кое-как налажена.

------

За пределами нашего местечка, занятого осенними работами, производится «обновление Франции», о котором мы знаем только из газет, так как на нас оно ни в чем не отражается.

В городах сидят люди и усиленно мыслят. Они должны измыслить нечто совсем новое, так как вопрос идет об обновлении Франции. За их плечами стоит злая и насмешливая старушка-история и шепчет им на ухо: «Вот последняя новинка!» — и она вытаскивает из мешка рухлядь истекших веков, фосфорные спички, сальные свечи, греческий букварь, средневековое гетто, остракизм, правление мудрых старцев. Забавно видеть их радость! И городские перья скрипят казенным языком декретов.

В маленьком местечке все это читается, и газета откладывается для хозяйственных надобностей как немалая сейчас ценность. Но мысль занята другим — подошел сбор винограда!

------

Виноградниками покрыты долины реки Шэр. Виноградник есть в каждом самом малом хозяйстве. Отсюда нет большого вывоза вина, но свои нужды каждый удовлетворяет. Воспрещено выделывать из винограда и не только продавать, но и потреблять крепкую местную водку «мар» — род самогонной русской сивухи, хотя значительно крепче и несколько благороднее.

Сбор винограда — страдная пора. Здесь сохранилась патриархальность обычаев. Vendange* увлекает на виноградники всех жителей, и с участка на

* Сбор винограда (*фр.*).

участок они переходят толпой веселой и озабоченной успехом сбора. Убирают виноград не только у себя, но и у родных, и у добрых друзей. Каждый помогает каждому. Машин для выжимки вина немного, пользуются ими по очереди; к кому переходит машина — примитивный ручной пресс на высокой телеге, — к тому и идут работать, потому что сбор винограда с участка и выжимку вина нужно делать сразу, без промедления и задержки. Когда кончился сбор здесь, переходят на другой дружественный участок, платя работой за работу. К этому времени съезжаются родственники отовсюду, и всех их — и родных, и друзей, и наемных рабочих — нужно дважды в день кормить за огромным общим столом, и кормить хорошо, потому что работают люди в поле и за страх, и за совесть: суп, мясо, овощи, домашняя птица, много хлеба, без отказа старого вина.

Как же быть теперь, когда продукты отпускаются по личным карточкам? Нельзя же требовать от добровольных помощников и рабочих, чтобы приносили каждый свою долю пищи! Угощенье — честь хозяина, и кто лучше и вкуснее кормит, к тому охотнее идут. Это не плата за труд, это общий праздник, и обычаи vendange переходят из века в век, меняясь лишь в немногом, лишь в мелочах внешней формы.

Наш главный философ, мясник, утверждает: «Если я буду отрезывать у покупателя столько купонов, сколько полагается по весу проданного мяса, покупатель останется без купонов, — как я буду торговать дальше?»

И к купонам он относится лишь как к символам, которым можно давать разное толкование: мяса он отпускает, сколько у него спрашивают, но купоны режет экономно, не лишая доброго покупателя дальнейших возможностей.

Тем временем газеты, которым говорить не о чем, газеты на цепочке, газеты в наморднике, предлагают рецепты нормального питания.

Нет больше речи о великолепии французской кухни. Ученые окончательно убедились, что залог многолетия — сдержанность в пище. В образцовых «меню на каждый день» во всякое блюдо входит картофель, — как раз то, чем обычно богаты немцы, но в чем во Франции ощущается недостаток. В советах воздержания ссылки на итальянца, достигшего сдержанностью 103-летнего возраста.

В картофеле и в итальянце нам чувствуется влияние «европейской оси»; как будто чужое меню и не наши условия жизни. Что до долголетия, то такого процента глубоких старцев, как в нашем местечке, не найти, кажется, нигде: седьмой десяток здесь считается возрастом расцвета сил. Позвольте же нам жить по своим рецептам!

Местечко счастливое. Нам жаль городских жителей, издающих декреты и газеты, — но мы бессильны им помочь, как они пока бессильны загубить наше хозяйственное благополучие.

------

Спасает близость земли, подлинной кормилицы, — и в обеих зонах Франции делается модным лозунг возврата на землю. Так как этот лозунг обсуждается преимущественно людьми, прочно сидящими на стульях, то обсуждение его переплетается в кружевную неразбериху со всеми прочими модными лозунгами дня.

Почему опустели деревни и перенаселились города? Почему так много заброшенных бесхозяйных участков, возделывать которые некому?

И вот городские мыслители приходят к выводу, что нужно вернуть земле ее мистику и возродить веру в божественное провидение. Нужно воссоздать крепость семейную, разрушенную законами о разводе и разделений супругов; нужно восстановить право старшинства в наследовании, чтобы земля не

дробилась; вернуть крестьянам некоторые привилегии. Воззвать к прошлому французской расы, когда сельский рабочий будто бы жил одной жизнью с хозяином, делил с ним земные блага и был сыт за общим с ним столом.

Нужна мистика — но непопулярно было бы взывать к мистике церковной, христианской, отвергнутой гением завоевателей Европы; подразумевается «мистика светская», — так и пишут. Должно создаться некое мистическое общение людей на основе общности высоких идеалов. И вот тут мысль реформаторов попадает в опасный тупик: такое братство есть, и оно называется масонством! И смелый газетный передовик готов признать, что древнее масонство таковым было, и лишь современное стало великим злом, предавшись политическим мечтаниям. Какой опасный путь мышления! Ведь только на днях воспрещены во Франции все тайные общества! Читатель в недоумении. Нужно спешно пояснить: мистика патриотизма, героизма и... самопожертвования; мистика смиренного терпения.

О, мы терпеливы. Мы это доказали и продолжаем доказывать.

------

Я называю наше тихое местечко счастливым, — оно действительно пока живет в сравнительном благополучии. Это благополучие объясняется малостью его запросов к жизни, к культуре и к цивилизации. Большинство живет тою же самой жизнью, какую создали деды и отцы, добавив немногое: электричество, телефон, редко — радио.

Мало-помалу к этому уровню неумолимо и неизбежно снижается и жизнь городская.

Это уже не «реформа», а действительность.

Еще нет «возврата на землю», но уже налицо понижение культурных запросов.

Книг больше не печатается, — нет бумаги, разрушены издательства, бывшие писатели ищут иных заработков.

Выходят газеты на двух-четырех страницах, но все они — одинаковы, и французским в них остался один язык.

Нет жизни общественной при всеобщем разброде и боязни высказывать независимые суждения.

Нет свободы передвижения и нет общения с другими странами; впрочем, нет и никаких «других стран», по крайней мере в Европе; все занято германским «жизненным пространством».

Различие между городской цивилизацией и нашим маленьким бытом исчезает. Уже никто не упрекает наш городок за то, что в нем нет ни одного книжного магазина.

Я говорю: мы сравнительно счастливы и благополучны. У нас нет водопровода и канализации, — но их и не было. Половина населения живет без света, — но здесь ложатся и встают по солнцу. Нам предстоит холодная зима, — но не холоднее городской, так как у нас все же есть леса. Сахар всегда был у нас лакомством, а не потребностью. Если у нас нет чая и кофея, то уже давно, еще с прошлой войны, под этими ботаническими названиями разумеется совсем не то, что разумелось раньше; сейчас за «кофей» мы принимаем жареный ячмень, а «чаем» называем сероватые лепестки неизвестного растения, и лишение этих эрзацев уже не так ощутительно. Когда мы говорим о спичках, то разумеем преимущественно фосфорные. Нет мыла, — но во всем городке нет и не было ни торговых, ни частных бань, и только в одном доме, как курьез, поставлена ванна.

Мы так жили всегда — теперь предстоит так жить всей Франции. Наше относительное благополучие в том, что мы потеряли меньше, почти ничего.

Произошло великое уравнение, от которого пострадали так называемые культурные верхи.

Так случилось, что «тихое местечко Франции» стало мерилом жизненной нормы. За долгие годы жизни во Франции я еще никогда не ощущал ее такой подлинной и цельной, как живя здесь, в ее медвежьем уголке. Чтобы изучить состав и качество воды, нет надобности бросаться со скалы в море: достаточно одной капли под микроскопом. И, всматриваясь в стеклышко, я предчувствую будущую Францию, которая выйдет именно отсюда, а не из ее курорта, прославленного минеральными водами.

Не ошибались ли мы и раньше, считая ее Парижем — и только Парижем?

------

Для тихой беседы я мысленно усаживаюсь с вами за чайный стол. Мы будем пить настоящий чай, пить его с сахаром, не думая о том, что это — исключительная роскошь. Не скрою, что я не отрицаю ни ром, ни коньяк, ни шоколадные конфеты. Вы сегодня утром освежили себя ванной и можете повторить это перед сном. Вы мылись мылом, душистым мылом; ваши башмаки блестят — они сегодня начищены настоящей ваксой. Да, все это нам недоступно. Но не думайте, что я этому завидую. Жизненный комфорт можно понимать различно. Я провел сегодня несколько часов на реке с удочкой, слушая плеск воды и шум листьев, радуясь, что мой синий полотняный костюм рабочего, купленный на замену единственного «выходного», еще может согревать тело. На соседнем с нами участке земли рыдает осел, — разве это не самобытная музыка? В кухонной печи потрескивают дрова — вот и уют в городке, где у нас нет ни единого близкого человека, хотя бы только родного по крови, где никто не говорит на языке, на котором я пишу.

Нет, жизненные блага условны, их лишение лишь временно вызывает страдание; можно мыть руки пес-

ком, брить подбородок осколком косы, с удовольствием жевать сырую морковку, писать огрызком карандаша на обрывке оберточной бумаги, — лишь бы это было во имя чего-нибудь: во искупление или ради определенной цели. Ужасна бессмысленность человеческих испытаний, их явная ненужность. И разрушение может быть созидательным — когда разрушается зло, когда Ормузд побеждает Аримана. Но мы живем в дни механизированного безумия, когда летящая с пяти километров высоты бомба в 1800 кило не знает, где она упадет и что разрушит, когда гибель живого делается целью, а не средством.

Прошел год, и могут пройти еще года, в которые ничто не будет создано, кроме служащего для разрушения, и погибнет все, способное к процветанью и созиданью. Прошлое, веками выросшее, сносится с лица земли без единого намека на его возможную замену. Это уже не «во имя», а «все к черту!».

Гореть в таком огне позорно и бессмысленно, как и ежиться от холода, кутаться в оставшееся тряпье, синими губами подбирать картофельные очистки, видеть корчи и смерть близких и, в бессилии им помочь, хватать воздух оцепенелыми руками.

То, что так просто читается по-печатному, — «разрушены дома удачным налетом», «пожар наблюдался за семьдесят километров», — все эти ставшие привычными строки нужно осмыслить и разложить на малые живые пространства и единицы, — и увидать кирпич, дробящий голову, ощутить запах жареного человеческого мяса, услышать крики, распластывающие душу.

Картины дантовского ада — лишь забавные акварельки, веселый переплет кукольных страданий, пересказ страшных детских снов. Но ведь не только в этом картинно-страшном, в сенсациях безумной дуэли машин и орудий центр трагедии: не меньший ужас — только вглядитесь — в казалось бы тихом быте, в не скрипящем колесами откате культуры

в область первобытного, нравственно скотского, духовно убогого.

Только говорить об этом нет сил, рисовать – нет достаточных красок. Слова застывают в наступившем октябрьском холоде: напрасно отогревать их у печурки.

------

Слухи нервируют и не дают ни дня покоя. Проехала какая-то власть и удивилась, что еще остаются беженцы в нашей «демаркационной» полосе. – «Их не должно быть совсем!» – заявила власть – и уехала. И вот налаженная кое-как жизнь бесприютных людей под страшной угрозой. Сжавшись в комочек – от холода, от неуверенности, от собственной ненужности, от безысходной тоски, – мы прячем головы под свои ощипанные крылья, ожидая со дня на день, что придет некто и скажет: «Выкатывайтесь!» Молодой капитан, наш военный комендант, ничего не слыхал и не знает; мэр городка что-то слыхал, но тоже не уверен. Это ни от чего никого не страхует: испуганные комочки чувствуют занесенную над ними руку; она опустится – и люди потянутся по дороге, со скарбом за плечами, неизвестно куда, где их может ожидать такой же прием. Это гораздо хуже голода и холода!

И мы не знаем, как быть: подбросить ли дров в печурку или потерпеть холод? Мы запаслись ими на зиму, хоть на часть зимы; но ведь их нельзя захватить с собою, если нам предстоит апостольский пеший путь, – почему, зачем, куда?

------

День за днем усиливаются пограничные строгости; но все-таки нельзя совершенно лишить постоянного пограничного обывателя перешагивать линию разреза, тем более что по эту сторону живет часть рабочих,

обслуживающих оставшиеся по ту сторону заводы. И в утренние и вечерние часы велосипедисты, пешие и редкие фуры пересекают мосты пограничной реки.

Маленькие рассказы этих «людей обеих зон» иногда занятны, — особенно когда они касаются случаев «объединения».

Германский солдат просит местного жителя дать ему карту Франции.

— Нас отправляют в Брест. Говорят, что это уже на пути домой, в Германию. Покажите мне на карте, где Брест?

Объяснение происходит больше жестами, чем словами. Француз отрицательно качает головой и тычет на карте в выдавшийся в море полуостров:

— По пути? Нет, милый, совсем не по пути! Вот где Брест, вон он! А вот это — Ла-Манш, а вот тут Англия. Понял?

Вот как ошарашили немца!

— Ну, а что же он?

— Немец? А он только схватился за голову и спрашивает:

— Бум-бум?

— То-то и есть, что самый бум-бум.

------

Мимо окон нашей хибарки проезжают одноколки, доверху полные виноградом. Утром и вечером, на работу и с работы проходят сборщики винограда. Из дома в дом перевозят давильные машины. Vendange — в полном разгаре во славу Бахуса. Но идет дождь, лица работников — усталые и невеселые, и наши вакханалии ничем не напоминают картин Тициана.

Мэр города принимает любезно.

— Нет, это слух неосновательный, я его проверил. Вы можете оставаться здесь жить, но уже не как беженцы, а просто как чужаки. Не рассчитывайте ни на какую помощь.

— Мы и не просим помощи.

— Но если вы захотите вернуться в ту зону, это будет почти невозможно. Никаких поездов больше не будет. Разрешения также не будут выдаваться.

— Мы возвращаться не собираемся. Мы хотим только жить здесь спокойно.

— Вы можете жить.

Какое облегчение: мы можем жить в этой хибарке, нас из нее не выгонят. Перед нами три месяца дождей и три месяца снежных, — здесь климат суровее парижского, море далеко. Затем, может быть, наступит весна, опять будет тепло и солнечно, река выйдет из берегов и затопит луга. К тому времени что-нибудь произойдет — европейский мир или всемирная война, в которой будет гореть уже весь земной шар.

Расстояния кажутся огромными. Париж был отсюда в пяти часах езды; теперь он удален на недели, на месяцы, может быть, на года, может быть, навсегда. И все, кто там остались. Есть еще другие страны, по крайней мере были; они тоже недоступны.

Где-то есть библиотеки, храмы и подвалы обанкротившейся человеческой мудрости. Мы довольствуемся дровяным сарайчиком — источником тепла на ближайший месяц.

Почтальон проехал на велосипеде мимо нас — не остановившись у ворот; значит — на сегодня нет лазейки в иные миры, — нет даже далекого общения с живущими иной жизнью.

Начавшийся день долог. Чем его заполнить? Только не думами — они гнетут голову, и уже все передумано. Мухи, летом не дававшие покоя, внезапно исчезли. Удочки стоят в углу безработными; только самые отчаянные рыбаки могут двинуться сегодня на речку. С осени здесь удят на кровь — на сгустки крови, добываемой на городской бойне. Рыба любит кровь, но, как говорят, отравляется ею; человек выносливее. Холодок от кирпичного

пола. За окном опустился дождевой занавес. Нужно изжить этот день — и за ним изжить ряд других, которые отметит на стене самодельный календарь.

------

Здесь живут люди, жизнь которых почти не переменилась; для них мир остался на месте, и только временные затруднения напоминают о непрекратившейся войне. Сейчас даже моторов в небе почти не слышно — ни дозорных, ни учебных, ни неизвестного назначения.

Для нас, чужаков, тихое местечко стало своеобразной тюрьмой. Это ощущение отрезанности от мира, в особенности культурной отрезанности, никогда не проходит.

Наша тюрьма имеет, конечно, немало преимуществ перед излюбленными человечеством каменными коробками; ее стены посильно раздвигаются, она окружена полями и лесами, в ней не запрещено общенье с необычайно милыми и приветливыми простыми людьми, тоже чужими, но полными благожелательности, каковы французские обыватели, не оторвавшиеся от кормящей их земли. Но, как в образцовой тюрьме, чувствуются другие стены, окружившие тройным кольцом: полусвобода Франции, порабощенность Европы, недоступность остального мира, не включенного в ее границы.

Впечатление тюремного быта дополняется вынужденным бездействием, отсутствием и недоступностью культурной обстановки — книг, общества, какой-нибудь степени живых и не ничтожных, не слишком личных интересов и запросов, хотя бы намека на цель существования, на осмысленность будущего.

------

Как подпольные крысы, мы прогрызаем лазейки в эти иные миры.

Источники нашей осведомленности о его жизни начинаются с устных объявлений городского барабанщика. Он останавливает свой велосипед на скрещениях улиц и у избранных домов. Он извещает нас об административных распоряжениях, о ценах на продукты, о продовольственных карточках, о днях прививки оспы. Это — первая степень осведомленности, и ею большинство населения ограничивается.

Далее идут «слухи» и рассказы немногочисленных приезжих, проезжих и людей «обеих зон», которым разрешается перешагивать демаркационную линию, с тем чтобы к ночи они возвращались домой. От них мы знаем о том, что «по ту сторону» жизнь не сладка, что там все на строгом учете, что последние кули картофеля вывезены завоевателем (из всей несвободной Франции), что масло стало мечтой, яйца — сновидением, ячменный «кофе» — воспоминанием о далеких днях. Возможно, что иногда они слегка преувеличивают, чтобы сделать нашу здешнюю жизнь приятнее и терпимее. Они же — источник правды и россказней о внутреннем режиме оккупированных провинций.

Следующий источник познания внешнего мира — газетка, издающаяся в главном городе нашей провинции. В ней печатаются официальные бюллетени воюющих сторон; частные сообщения не допускаются по условиям перемирия. Она сообщает с выдержанной краткостью и о деятельности Виши, — тоже — в строго официальном порядке, без толкований и напрасных мудрствований. Остальной матерьял — местная хроника провинции, кто что украл и за что поплатился, кто на какую должность назначен, когда, куда и откуда приходят поезда, кто родился, кто женился и кто ушел в вечность, не дождавшись разрешения мировых событий.

И, наконец, — радио, редко кому доступное. Те немногие, у кого есть этот болтливый ящик, пытаются поймать что-нибудь на родном языке, но из чужой страны. Поймать нетрудно, разобрать что-

нибудь труднее, так как все соответствующие волны искусственно заглушаются германским Парижем.

Мало-помалу стена, воздвигнутая между двумя зонами, растет ввысь и крепится в затворах. Возврат беженцев подчинен строгому контролю, переход в свободную зону обставлен почти неодолимыми формальными сложностями, лазейки в стене тщательно замуравливаются. Для нас, приречных пограничников, наступили совсем тяжкие времена: у нас отнята наша река!

Сначала были отняты только мосты и правый берег — традиционные места воскресных обывательских прогулок. Затем было воспрещено пользоваться лодками, — и с этим помирились сравнительно легко, хотя профессиональные рыболовы приуныли. Далее было запрещено купаться, конечно, — все это германской военной властью; также примирились — да и лето кончилось.

И вот вчера мы мирно сидели на берегу с удочками, состязаясь с рыбой в хитрости и коварстве. На противоположном берегу зашевелились кусты — вышли солдаты в зеленоватых шинелях. На языке непонятном, хотя и с французскими носовыми звуками, а больше жестами, нам было сообщено, что последняя наша радость подпала под любимое немецкое «verboten». По хорошо протоптанным прибрежным тропинкам потянулись к городу члены почтеннейшей и безвреднейшей из человеческих организаций — «Общества любителей ловли рыбы на удочку», участником которого горжусь состоять и я. К вечеру об этом событии знал весь город, — об этом истинном несчастии седоволосых детей, проводивших на берегу все свое досужее время. В нашем городке все мужчины рыболовы, все магазины торгуют удочками, крючками, сачками, прикормом, пареной коноплей и живыми личинками мясной мухи. Огромный удар и по торговле! Горе и прачкам: им воспрещено стирать в речке белье.

Мир делается жалким и неинтересным. Мы вздыхаем и утешаемся одним: мы знаем повод к этим новым строгостям. В последние дни немало французских

и английских военнопленных, остававшихся в оккупированной Франции, бежали из лагерей и вплавь переправились через реку Шэр. Мы пострадали за них — как они в свое время пострадали за нас. Будем терпеть — нам еще остаются притоки нашей живописнейшей реки, где мы — полные хозяева.

------

Со свойственной немцам аккуратностью они вводят стандарт чувств и отношений в жизнь обеих зон. Люди не могут жить в такой полной расколотости семей, разделенных зонами, в такой неосведомленности о близких. И вот почтальон привез сегодня открытое письмо... из Парижа! Письмо печатное, по той же форме, какая установлена для пленных. Сейчас оно разрешено для надобностей семейной переписки. Вот его полный текст; он заслуживает увековечения:

Attention: Toute carte dont le libelle´ ne sera pas *uniquement* d'ordre familal ne sera acheminée et sera probablement ´detruite.

...le... 194... en bonne sańte... fatigué... légèrement, gravement malade, bleśse... t́ue... prisonnier... déćed̂e... sans nouvelles.... La famille... va bien... besoin de provision... d'argent... nouvellee, bagages... est de retour ̀a... travaille a`.. va entrer a` l'e´cole de... a ´eté resu... aller ` a... le...

Affectueuses pens´ees. Baisers... Signature*.

---

* *Внимание:* всякое письмо, содержание которого не носит *исключительно* личный характер, не будет отправлено и, возможно, будет уничтожено.

...такого-то месяца... 194... в добром здравии... устал... слегка, серьезно болен, ранен... убит... взят в плен... скончался... пропал без вести... Семья... поживает хорошо... нуждается в пропитании... в деньгах... новости... вещи... возвращается... работает на... пойдет в школу... был принят... идет в...

С наилучшими пожеланиями. Целую... Подпись (*фр.*).

Ненужное зачеркнуть. Нужное вписать. Ничего не вписывать между строками.

Попробуйте не зачеркнуть! Родные узнают, что вы легко, тяжело больны, умерли или находитесь в добром здоровье, что ходит в школу ваш несуществующий наследник. Но не пытайтесь вписывать, что вы в тоске и отчаянии: вам разрешается лишь быть усталыми. На случай холодных отношений вы можете зачеркнуть поцелуи.

Какая строгая обдуманность текста, какая исчерпанность возможных тем письма родным, с которыми невозможно увидаться.

И вот эта штампованная карточка — великое событие! Трудно представить себе, какую радость она вызвала, какое дала облегчение. Когда у людей отнято все — им бесценной кажется любая возвращенная вещичка.

Так в тюрьмах радостно волновало предстоящее свиданье через две решетки. Так в известном анекдоте еврей радовался простору, когда раввин позволил ему убрать из тесной комнаты козу, поселенную для утвержденья в мысли, что бывает еще хуже.

Вечером мы перечитываем полученную от родных и друзей кучу писем, не стандартных, не подчинившихся запретительным законам, просочившихся через заставы и загражденья и прибывших, иные — скоро, другие — с большим опозданием, путями неведомыми, доброхотной помощью добрых, знакомых и незнакомых людей.

Нет ничего приятнее запрещенного плода!

——————

Отсутствие общества можно заменить книгами; отсутствие книг труднее заменяется обществом. Что делать, когда нет ни общества, ни книг?

В тихом местечке две библиотеки: приходская и муниципальная; в первой около тысячи томов, пре-

имущественно благопристойных романов; во второй двести с небольшим, преобладающе труды классиков. Первой библиотекой пользуются многие, и она имеет свое скромное помещение в одну комнату; вторая занимает шкап в мэрии, и секретарь, ею ведающий, удивленно таращит глаза́, когда кто-нибудь спрашивает книгу. Ему приходится оставить на время текущую работу, отыскать ключ, подняться во второй этаж и принести оттуда переплетенный в черный холст томик, в котором нескольких страниц недостает.

Моя маленькая личная библиотека в Париже вдвое превышала обе здешние количеством томов и в сто раз ценностью. Это было эгоистично и несправедливо, и судьба исправила ошибку, лишив меня накопленных книжных сокровищ, — не в первый раз в жизни. И вот унылой осенью, в день дождливый и холодный, я ставлю себе вопрос: да подлинно — нужно ли окружать себя книгами и не довольно ли одной, хотя бы и с вырванными и потерянными страницами?

«Что вы хотите?» — спрашивает библиотекарша, как будто она может предложить все что угодно.

Вопрос, о котором я не подумал. Я лишь твердо знаю, чего я не хочу. Не хочу романов и вообще художественного вымысла, потому что никакой вымысел не превзойдет жизни в диких ее фантазиях. Я не хочу ничего современного, так как мы больны современностью и страдаем от нее.

Глаз скользит по корешкам непереплетенных книг и останавливается на двух: экспедиция в Гренландию и описание подземных пещер и пропастей. Вторую книгу я читал и раньше, это — подземные прогулки Норберта Кастерэ, бесстрашного исследователя земных недр. Но хорошая книга читается по много раз.

------

Мы отплываем на парусном судне из Бреста, Ирландским проливом, на Исландию, к юго-восточному

побережью Гренландии в месяц незаходящего солнца. Погода нам благоприятна, и мы любуемся в пути айсбергами и ледяными полями.

Сейчас Брест занят немцами, и наш путь загражден минами. Но никакого «сейчас» не существует, это только злая выдумка.

В конце X века Эрик Красный высадился на западном побережье Зеленой Земли и положил начало тамошним поселениям. В начале XV века все население оказалось вымершим, и только спустя еще два столетия Гренландия стала заселяться выходцами из Дании и эскимосами. Мы высаживаемся на берег и находим в зданиях, выстроенных на европейский манер, цивилизованных людей; радиостанцию, и нас приветствует одновременно прилетевший гидроплан...

Нет, я не хочу больше читать о Гренландии; она на гибельном пути.

С Норбертом Кастерэ я опускаюсь в провал неисследованной пропасти Фругато в африканском Среднем Атласе, — там сейчас не слышно небесных моторов и не падает огненный дождь.

Мы висим на стометровых веревочных лестницах в полной тьме провала, на дно которого еще никогда не ступала человеческая нога. Земная поверхность вся нам известна — на ней неуютно; исследованы морские глубины, завоеван воздух; только в земных глубинах остаются тайны и не нарушенная вмешательством злого человеческого гения многовековая жизнь сталактитов и сталагмитов, стремящихся друг к другу.

Подземные ручьи и реки, призрачные белоснежные и цветные пейзажи, иллюстрации к легендам и сказкам, скелет пещерных медведей, гениальные стенные рисунки художников, живших двадцать веков тому назад и не учившихся в академиях.

Только здесь еще жива чистая фантазия, не убитая и не разложенная на части наукой. В этих пропастях наша нога нащупывает твердое, завален-

ное осколками камней дно, — и мы можем, наконец, свободно вздохнуть в бесспорности подземной природы, даже если потухнет свеча.

Проходит какое-то время — и нет тоски по земной поверхности. Затем мы даем резкий свисток, и нас подымают. Крутясь и наталкиваясь на острые выступы, мы возвращаемся в мир, где нас ждут тревожные новости, гудки автомобилей, шум пропеллеров, радиопередачи, речи дипломатов и безвыходность человеческих общений. Каждая книга имеет свою последнюю страницу...

------

Франция должна пересоздаться и возродиться, — разве есть в этом какое-нибудь сомнение? Возврат на землю, упроченье семьи, оздоровление роста молодежи, экономический нажим на засилие трестов, охрана и общедоступность труда, удар по дурным политическим навыкам и по одряхлевшим учреждениям. Если во что-нибудь хочется верить, так это в добрые намерения и рост высоких чувств в постигшем страну страшном несчастии.

Погибшее многолетнее растение не возрождается с верхушки, — его будущая жизнь пойдет от корня. И корень — народ, внешне униженный, внутренне не побежденный, — маленькие люди земли, пахари и виноградари, пастухи и огородники, вдовы убитых и жены пленных, седоусые старики и возвращающиеся веселой гурьбой из школы дети.

Эта Франция не законодательствует и не пишет программ, разбитых на параграфы. Люди земли тяжкодумны, их шаг медленен, но их ноги ступают прочно. Они непокладисты и недоверчивы, но внимательно всматриваются и вслушиваются в бойкую и самоуверенную речь. Свой отзыв они дадут позже, и дадут его не на словах, а на деле. Сейчас им мешают сосредоточиться пролетающие над их головами тре-

угольники воздушных эскадр; они хмуро подымают головы и следят за полетом, цель которого им неизвестна и непонятна. Думать пора, но решать еще рано. Всегда на очереди свои домашние, бытовые заботы, и, только справившись с дневным хозяйством, можно перед ночью перекинуться с соседом односложными репликами. Слова скупы; каждое взвешено. Голоса единиц — но еще не общий голос, который обязывает.

Беру газету; она легка, как перо; в печке она сгорает, едва опалив сухую лучину. Завтра она опять прибежит, натараторит и, не договорив, пойдет на хозяйственные надобности. Она уверяет, что все ясно и все предрешено. Счастливая легкость мысли! Но своими качествами она не заражает человека от земли, обывателя тихого местечка.

------

Многие ли поняли происшедшую и происходящую трагедию?

Наше местечко приметно долголетием обывателей. В послеобеденное время на улицу выползают согбенные тягостью лет старики и старухи с живыми глазами. Опираясь на палку, смотрят на проходящих и проезжающих, догадываются о том, кто куда и зачем идет, отвечают на приветствия, перекидываются словами с ближайшими соседями.

Среди этих стариков немало таких, которые не только видели, но и помнят 70-й год прошлого века, когда на той же границе укрепился тот же восторжествовавший неприятель; а год 14-й для них лишь вчерашний день. Люди и события проходят — Франция остается: ее поля, леса, виноградники. И земля, если есть за ней любовный уход, не перестает родить. В этом доме они родились, в этом и умрут, передав детям, внукам и правнукам свой наблюдательный пост у ворот.

Может быть, они правы: в долгом беге времени пережитые месяцы — незаметный пустяк. Того, что происходит, не было, — и мы называем его небывалым, влагая в это слово смысл исключительности. Личная трагедия ранит больнее всех пережитых другими или созданных воображением поэта. Страницы истории страшны и кровавы, но они писаны не нашей кровью, такой алой и такой драгоценной. Прошлое для живущего — полувымысел; и в нашем сознании не всегда вмещается понятие «так было — так будет».

Но есть и другой подход. Кроме человека, жизнь которого неповторима, есть человечество, судьба которого едина. В этой большой фиктивной жизни происходит перелом еще не учтенного значения, низвергается ряд смыслов и верований, ради которых и создана сама фикция. Сумма единиц превращается в бездушную цифру, в которой теряется и исчезает значение единицы, обезволенной и приниженной. Будет жить великий муравейник, — но не будет муравья, живого существа в развитии всех его сил: только челюсти, дробящие по приказу природы, только механика движений, заменившая творческий мозг. И тысячи поколений будут создавать одно и то же в страшной бесцельности продолжения вида и рода.

Именно такова идея, нажавшая спускную кнопку первого бомбовоза: заменить живую жизнь механикой бытия. Она торжествует, она близка к победе. И если она победит окончательно — человечество вытеснит с земли человека. И это будет закатом солнца, его животворящей силы, его творческого смысла: в ровном горении массы потонет искра личности.

Об этом не могут думать долголетние старички у ворот, свеча которых догорает. И все мы, погруженные в свои маленькие горести, об этом не думаем. Наша трагедия фатальна, и завтрашний день мы оцениваем мерилом дней предыдущих: если сегодня

немного лучше, — мы уже счастливы. Можно ли ждать и требовать иного от тяжко больного человека, напуганного личным недугом?

------

Давно схлынул обратный беженский поток. Часть вернулась, часть застряла в свободной зоне без права на возврат; есть и такие, которым возвращение не сулит ничего доброго или которые просто не хотят жить «под немцами». Можно легко понять хозяина, не желающего возвращаться в дом, занятый незваными гостями.

Схлынули миллионы. Но еще можно видеть на больших дорогах жестокие картины.

В мае и начале июня ушли из деревень на юг тысячи крестьянских семейств, со старцами, детьми, скарбом, домашними животными и птицами. Городским беглецам было легче вернуться — на автомобилях, велосипедах, по железной дороге, пешком. Крестьяне, увезшие все свое имущество, без которого их жизнь и хозяйство немыслимы, задержались дольше других. Но еще менее мыслима их жизнь без земли, на которой они жили.

И вот время от времени появляются на дороге, направляясь к северу, огромные обозы, которые в иное время можно было бы назвать живописными.

Стучат и скрипят тяжелые телеги и фуры, нагруженные до верха жалким скарбом. Их влачат битюги, изморенные до потери сил. На возах старцы и дети, взрослые идут пешком.

Клетки для домашней птицы пусты — она съедена в беженстве; но на каждую семью собака, верный сторож, с хозяином не расставшийся и им не брошенный.

Движется черепахой и тарахтит трактор, тянущий за собой сразу несколько нагруженных фур.

Истинное переселение народов!

Эти люди не знают, что их ждет в родных местах, целы ли их дома, возможно ли будет восстановить хозяйство. Они не знают точно, где могут пересечь границу двух зон, так как постоянных пунктов для проезда нет и мосты то открываются для проезда, то по неделям остаются под запрещением. И никто не может дать точных указаний, — распоряжения местного, германского командования отличаются полной внезапностью.

Мы видим, как огромный обоз — целая деревня, — вчера подползший к нашему мосту, оказавшемуся закрытым, и направленный отсюда в отдаленный проездной пункт, сегодня опять скрипит и стонет по дороге, так как тот пункт оказался временно запертым, а вместо него будет — или не будет — открыт проезд через мост наш. Случается, что одни пункты оказываются открытыми только для легких автомобилей, другие — для тяжелых машин и лошадей, третьи — для пешеходов и циклистов. Но деревня разделиться не может, и весь обоз блуждает у самой границы, не зная, где ее перешагнуть.

На возах люди едят и спят в дороге. Расстояние, отделяющее их от родных мест, по существу ничтожно: несколько часов железной дороги. Но они едут неделями и месяцами, задерживаясь в пути из-за бумаг, проверок, дорожных поломок, несчастных случаев.

Кажется, что на этих возах свершаются судьбы, люди рождаются, страдают, умирают. Вместо радости возврата на лицах выражение такой усталости и безысходности, что мы, беженцы в квадрате, давно лишенные и подлинной своей родины, и насиженного места в чужой, живущие без ясного будущего день за днем, чувствуем себя счастливцами в сравнении с этим кочевым народом, который все-таки вернется же домой и продолжит свой привычный быт, прерванный военной грозой.

На высоком возу собака с двумя двух-трехмесячными щенками. Лаем и виляньем хвоста она открыто

выражает свое полное удовлетворение путешествием и тем, что она — счастливая мать. Ее дети вполне разделяют ее отношение к жизни. Новое поколение, рожденное в беженстве, они легко принимают мир и готовы любую пядь земли признать приемлемой для их зачавшейся собачьей жизни.

Как хорошо, что хоть кто-нибудь в наше время вполне доволен и счастлив!

------

Этими же дорогами, но еще не замощенными, не превращенными в гладкие шоссе, не проложенными так прямо, со счетом километров и указаниями предстоящих поворотов и скрещиваний, — двигались во все века беженцы, уходя от наступавших неприятельских орд.

Опять тихим вечером, когда наше местечко готовится заснуть, мы проваливаемся в прошлое, о котором говорят камни старых построек, осколки древнего быта, памятки Средних веков, названия городов, сохранившиеся корни местных фамилий.

Эра христианская. Заря пятого века. По обоим берегам реки Шэр богатые римские виллы. Они здесь только гости, римляне и пришедшие с ними народы; но гости знатные, которым привозят из южных стран драгоценные товары и даже редкие фрукты: финики, кокосовый орех. Они готовы здесь остаться и слиться понемногу с остатками населения, образовавшегося из прежних выходцев севера, юга и востока.

Но уже появились в Галлии и движутся к нашему местечку, к переходам через реку Шэр, новые народности — варвары, жестокие, сметающие на своем пути всякую культуру. Римские виллы разграблены, разрушены и сожжены вандалами, прокатившимися волной вплоть до Пиренеев. К середине века их сменят гунны, гуннов — вестготы. Еще позже в судоходной части реки появятся бретонские корабли.

Времена бурные и беспокойные — хотя, может быть, не беспокойнее наших. От страданий люди уходят в религию и, разрушив храмы богов древних, возводят новые своему найденному Богу, на которого вся надежда. Появляются отшельники, святые подвижники, и их лесные кельи вырастают со временем в монастыри. Культ Изиды легко перелицовывается в культ местного святого Eusice, подобно ей — любителя пчел. И в нашем городке cella sancti Phalerii* намечает место нынешнего храма, позже не раз разрушенного и вновь отстроенного.

Эти монастыри, эти храмы старательно сметают с лица земли новые пришельцы. Вырастают, гибнут и снова отстраиваются крепости и городки; иные исчезают совсем, лишь в земле оставляя приметные памятки для будущих археологов.

Мало-помалу история из легендарной становится писанной, но все же не чуждой легенд. Пришли в наш городок франки из Орлеана; отсюда направились походом на город соседний, приметный в истории Selles, — в семи от нас километрах пути. И случилось чудо. Первый солдат, поджегший город, лишился рассудка; в него вселился демон, и он сам бросился в огонь. За ним по той же причине бросились в пламя пожара и остальные. Но, загубив франков, демоны не спасли города: он сгорел начисто, за исключением немногих каменных зданий. Не всякое чудо идет на пользу!

Это произошло в VIII веке. Мало войн внешних — начались междоусобия. Появились в наших краях сарацины, призванные на помощь герцогом Аквитанским. Совсем поблизости, на берегу реки Шэр, был раскинут укрепленный лагерь Пипина-Короткого. И вдруг со всей внезапностью отразились в глади реки невиданные до той поры большие суда длинной формы с деревянными скульптурными украшениями,

* Келья святой Фалерии (*фр.*).

изображавшими страшных зверей, с непонятными резными эмблемами.

Новый народ, белокурый, голубоглазый, дерзкий. И, как всякий новый гость, принялся прежде всего жечь церкви, грабить монастыри и убивать жителей: «Furore Normannorum libera nos, Domine!»*

Оттого так много созвучных Скандинавии фамилий сохранилось в ближайших местах, вплоть до Вьерзона, где мы меняли поезд в бегстве из Парижа.

Так случилось к закату первого по Христе тысячелетия.

Период, несомненно, веселый и полный неожиданностей! Но так ли уж велика разница между ним и тысячелетием следующим, подкатившимся к нашим дням?

В 934 году за пределами нашего городка летали стрелы, сверкали мечи, ломались копья, — сражение, оставшееся памятным в истории. В 1940 году мы, мирные жители, убегали в лесок через поле, над которым рвались германские снаряды.

История до удивительности повторяется!

------

Не нужно думать, что в тихом местечке совершенно не бывает новостей, — что бы тогда делал муниципальный барабанщик, главный глашатай событий? И скажу больше: наши новости, объемом и значением крошечные, все же отражают в себе характер явлений более крупного масштаба.

На наших улицах можно иногда встретить семью преступников, родившихся неумело и непрактично от неарийских родителей; иногда это — эльзасцы, уже свыкшиеся с положением неприкаянных, иногда смельчаки, имевшие все нужные пропуски в германскую зону, но задержанные на границе, очевидно просто по признаку цвета глаз и количества детей.

---

* «Избави нас, Господи, от гнева норманнов!» (*лат.*)

В нашем местечке пользуются приветливостью населения маленькие герои, не пожелавшие безработно сидеть в лагере пленных и взалкавшие свободы, — французы остались свободолюбивыми.

Все, что происходит в обновленной Европе, до известной степени отражается и у нас, в размерах, конечно, скромнейших, но неизменно вызывающих обмен обывательских мнений.

В характере этих мнений нельзя сомневаться: ведь мы находимся в самом сердце Франции, старой и прекрасной. Здесь мало говорят о традициях, но ими живут. Здесь все новое, даже если оно кажется красивым, нужным и привлекательным, проверяется и вымеривается: подойдет ли это украшение к отслужившему, поношенному, изжитому, но испытанному и утвержденному старым опытом, сольется ли с ним, как пристройка сливается с домом предков. Французы традиционны, и одна из их лучших традиций — свободолюбие, неумение подчинять свои, привычные движения извне приходящему приказу. Не оказывая сопротивления, можно выждать время — и время все устроит, приспособит, уладит. Противоречия сгладятся. Традиции преодолеют напор недостаточно обдуманных новшеств. И, мало-помалу, жизнь войдет в свою колею.

Потому-то в обиженных и сжатых сердцах в дни крушения уверенностей и поражения страны все-таки нет сознания безнадежности, и в страшном несчастии человек может оставаться верным себе. Разве будущее так ясно открыто всем или хотя бы кому-нибудь? Разве воспрещается веровать в чудо или в прихотливость логики событий? И мы не знаем, на чью сторону обернется эта логика. Поскольку это зависело бы от нас, мирных граждан местечка, мы не усомнились бы дать ей желаемое направление. Но если мы проявили себя бессильными, — не продолжается ли в мире борьба других, не сломленных сил? Лояльные в своем поведении, мы

не отказались ни от свободы мнений, ни от права на надежды.

Так, с привычной сдержанностью, мы говорим другим; между собой мы говорим на более легком и свободном местечковом наречии, впрочем — легко понятном доброму французу любой провинции, сохранившему в несчастии отечества личное достоинство и душевную бодрость.

------

В 1922 году в Москве, когда в воздухе запахло нэпом, пятилетние дети спрашивали: «Мамочка, разве хлеб бывает белым?»

Мамочкам приходилось разъяснять ребенку, что хлеб некогда был белым и что он таким же станет опять.

Здесь мы едим белый хлеб, и в нем пока нет недостатка. Но сколько можно рассказать сказок и странной были и детям, и уже взрослой молодежи всех европейских стран!

Им можно рассказать, что четверть века назад человек стоил и значил больше бумажки, на которой написаны его имя, дата его рождения, профессия и местожительство и поставлены отпечатки его указательных пальцев. Не нуждаясь в этой бумаге, он брал палку, закидывал за плечи мешок и шел туда, куда ему идти нравилось.

Спокойно он перешагивал границы государств, за исключением одного, весьма обширного, но числившегося варварским, где было мало одного словесного утверждения своей личности.

Он жил и работал, где жизнь и работа ему улыбалась. Там, где он был иностранцем, он, как гость, пользовался исключительным вниманием.

Если ему не нравилась чужая страна, — он опять брал свой дорожный посох и уходил на родину, угадывая границы только по перемене в формах чи-

новников и в господствующем языке на вывесках магазинов.

Дети и молодежь недоверчиво смеются: разве могло так быть?

О, было больше! Писались письма из страны в страну, — и их никто посторонний не читал в пути. Издавались газеты, журналы и книги — и отвечали сами за себя. Покупая пищу, люди не становились в «хвост» и не предъявляли своих печатных прав на утоление голода, если, конечно, у них были деньги; впрочем, если не было, они малым отличались от людей нынешних, добавляющих к деньгам продовольственные купоны.

Так жили люди в Европе в дни, когда принцип «война — гигиена мира» не пользовался успехом и идея «вечного мира» не вызывала гомерического хохота. Издали это сказочное время кажется блаженным, но оно таким не было: человечество не знает периодов удовлетворенности и довольства своим положением. Оно изобрело слово «прогресс» и, откатываясь в глубины истории, продолжает думать, что идет вперед.

Но это не наши деревенские сказки. Люди от земли верят и в прогресс, и в вечное обновление, если только посильно возвращать земле то, что она ежегодно теряет. Плуг восстанавливает то, что отнимают серп и коса.

В прекрасные осенние дни заканчивается виноградная страда, без спешки, без выкриков, тем уверенным и спокойным шагом, которым печатают землю деревянные крестьянские «сабо». В этом великое успокоение. Забывая о прелести сказок прошлого и о страхе за будущее, тихое местечко собирает плоды летнего труда, готовит почву для будущего, стережет своих коз и коров, живет по солнцу и, зная бесспорное, терпеливо переносит временное.

Если бы меня спросили, где в общем крушении надежд можно отыскать зернышко законного оптимизма, — я ответил бы со всей уверенностью: «Толь-

ко — в тихом местечке Франции, в ее сердце, на границе ее незавершенных бедствий!»

———

Через высокую и неприступную стену, разделившую две Франции, иногда легкий ветер перекидывает листочки. И вот я получил из Парижа заблудившееся, не в меру наивное письмо с пригласительным билетом на концерт, опоздавшее всего на месяц. Бетховен, Дебюсси, Лист, Шуберт, Вагнер... Жизнь продолжается.

В давней дружбе с зеленым миром, я знаю, как страстно хватается за жизнь заболевшее или случайно поврежденное растение. Оно старательно выправляет надломленный стебель, рубцует рану, пытается дать новые побеги и, хирея, все же усердно образует хотя бы уродливый цветок, хотя бы тощий плод. Страстная борьба за жизнь! В одиночной тюрьме узник дружит с пауком, прикармливает мышь. Тяжко больному ставят у постели букет полевых цветов — живую память природы. В дни горя мы вспоминаем о счастливых днях.

Униженный Париж должен жить, как живут нетронуто его вечерние силуэты, прежним и еще большим простором дышат опустевшие бульвары, безмолвно говорит каменная и мраморная история. И мы знаем, о чем она говорит: о преходящих судьбах.

Жить должны и люди: есть, работать, отдыхать, гулять, смеяться, слушать музыку: «Патетическую сонату» Бетховена, «Тарантеллу» Листа, «Девушку с льняными волосами» Дебюсси. Это так естественно, и в то же время так странно представить себе это издали. Невольно рисуется образ раненой Лютеции, холод нетопленых квартир, очереди за тем, что раньше было горой навалено в огромных бараках центрального рынка, безработица, крайняя угнетенность духа, уверенная походка манекенов чужого, защитного цвета, которых в разговоре называют «они» и «хозяева».

Я говорил о саде и больных растениях. Иные из них выживают и возвращают себе прежнюю пышность. Вопрос в целости и прочности корней — в упорстве подземного существования. Лучший из садоводов — сама Природа. И никогда не нужно отчаиваться.

С высот собора Парижской Богоматери смотрят на город причудливые фигуры каменных чудищ. Они пережили века — и видели много. Им и на этот раз счастливо удалось избегнуть каменной смерти, которая реет над Кентерберийским собором, как в свое время низринулась на собор Реймса. Они удивительно похожи на наших старичков, выходящих за ворота в полуденную пору и наблюдающих живую жизнь глазами, слишком много видевшими, чтобы чему-нибудь удивляться.

## VI

Для сына и поклонника суровой русской северной природы только скандинавские страны заслуживают внимания и уважения. Срединная Европа скучна, южная противна открыточной живописностью и острыми ароматами, такими грубыми по сравнению с благородным благоуханием северных полей и лесов.

Я не люблю природы Франции, она кажется мне истощенной и худосочной. Мне смешон лес, который тянется лишь на несколько километров, река, которую легко переплыть, горы, на которые взбираются рядовые альпинисты. В заповедной стране, куда не пускают свободомыслящих, — да будет она не за это благословенна, — в родной моей стране за заставой моего родного города хвойный лес начинался, чтобы не кончиться, моя родная река была широка и бездонна, горы не исхожены и не обследованы в их выси и их недрах. В ней лето сжигало леса, зима замораживала дыханье; и в ней была нескончаемая весна во всех стадиях ее благодатного творчества.

Но я охотно делаю исключение для маленького местечка в сердце Франции. Нельзя восхищаться только грандиозными полотнами — бывают и прекрасные художественные миниатюры. Когда природа не искалечена, как в Версальском парке и его подобиях, она из ничтожного материала создает живую и скромную благодать. Нас окружают здесь ласковые картины — простор полей, ковры, здоровой многооттенковой зелени, берега змеистых речек, без умысла созданные живописные пятна селений и городков.

Здесь легко жить в освобождающей дух природе, — недаром здесь так много глубоких старцев, не желающих переселяться в еще более покойный, но неизвестный им мир. Но именно здесь особенно ярко чувствуется контраст естественного хода жизни и того страшного ее извращения, которое придумано человеком и в наихудшем своем проявлении называется войной.

Может быть, и смешно сейчас наносить на бумагу пацифистские мысли, — сейчас, когда пожар уже лижет стены новых стран и грозит победить океаны. Но ведь в том и весь ужас, что человечество либо воюет, либо готовится к битвам, и робкий шепот миролюбивых всегда оказывается неуместным и несвоевременным.

Тот, кто не связан с землей кровными узами, кто не чувствует, как пальцы его ног уходят корнями в родящую почву, — навсегда осужден на двойственность ощущений. Он может быть мирным по характеру человеком и отрицать всякое насилие; но и этому насилию он найдет оправдание, если оно вызвано сопротивлением, вынужденной защитой.

Нужно быть откровенными. Мы испытали все ужасы войны, были сами на волосок от смерти; и в эти дня мы страстно хотели только одного: чтобы любой ценой эти ужасы прекратились!

Любой ценой, даже ценой унижения, и потери свободы; выше этой цены не бывает ничего.

И вот, когда колесница смерти перекатилась через нас, жестоко нас изранив, и откатилась обратно, оставив нас подавленными и униженными залечивать свои раны, — мы жадно вслушиваемся в доносящийся издали гул моторов и артиллерийскую пальбу, уже не на нас направленную, и животно, зверски хотим, чтобы огонь войны палил ту сторону, которая нанесла нам обиду и поражение. Мы не только не нейтральны — мы воинственны в своей наступившей безопасности.

Как это может быть? Все знать, через все пройти, отринуть всякую мысль о возможности оправдания войны, — и все-таки сохранить в глубинах сознания жажду «репрессалий», почти всегда падающих на голову тех, кто менее всего повинен в событиях, на крови обывателей, никакой войны не хотевших, как не хотели ее мы! Двойственность души, от которой мы не можем отделаться, — мы, люди порода, маленькие политики и большие эгоисты.

Иначе мыслит «человек от земли» — ведь я пишу это в полусельском местечке Франции. Он тоже эгоист, но эгоист последовательный и почвенный. То, что происходит, касается его лишь постольку, поскольку гигантским размахом задевает и его земельный участок, его посевы, огород и виноградник. Это не значит, что ему чужд всякий патриотизм и не знакомо ощущение обиды. Но эти чувства подчинены в нем воле хозяина и труженика. Патриот своей земли, гражданин своей колокольни, последовательный, искренний, надежный и стойкий.

Что бы ни случилось, — спасти положение может только он, единственный — добывающий, творящий, без работы которого все живое исчезает. И в непрерывном ходе этой работы для него нет того, что волнует праздных и несозидающих: нет ни земного шара, ни Европы, ни Франции, — есть только вот этот клочок требовательной и родящей почвы, это бесспорное, не вызывающее сомнений.

В минуты отдыха, редкие в сельском быте, может и он отдаться игре разноречивых мнений, но в творческом деле истина для него бесспорна: земля существует для посева злаков и овощей, а не осколков стали и чугуна. И каждый крестьянин, по своей природе, убежденный «интегральный пацифист». Войны он не может принять ни под каким идеологическим соусом: она ему чужда.

Я настаиваю на этой капельке наблюдений потому, что не только будущим историкам, но и нам, современникам, хочется понять случившееся с Францией, которую так легко обвиняют в спешной сдаче оружия. Обвинять легко — нужно стараться понять. И лучше ошибиться, чем высказывать суждения, раскрыв только карты политиков и подсчитав онеры военной подготовки противников.

Должен учитываться — и превыше всего — голос земли.

------

Во Франции пустуют земли. «Человек от земли» охотно уходит в город.

Но вот передо мной живой пример отрицания города и его соблазнов, — вот этот человек, лет под сорок, загорелый, здоровый, красивый в своем костюме рабочего. Его отец, богатейший человек в округе, сам оторвавшийся от земли, живет постоянно в Париже. Вышли в люди и все дети — кроме этого, пожелавшего остаться крестьянином.

Он отказался продолжать образование, но он, несомненно, интеллигентен. Когда он захотел жениться на местной девушке, простой и не стремившейся в барыни, отец пригрозил ему лишением наследства. Он отказался от наследства и женился, порвав с отцом и положившись на свои силы.

У его отца прекрасный пустующий дом, с садом и парком; сын живет, как рядовой обыватель, со всей

крестьянской скромностью, но не лишая себя и удобств. Он сам пашет, сеет, выращивает виноград, разводит огороды. Жена — всегдашний его помощник. У них достаточно средств, чтобы жить богато и быть «господами»; но им удобнее и приятнее просто рабочее платье. Они держатся с достоинством и пользуются общим уважением и при всей сравнительной молодости — он член муниципального совета. Когда он идет за своей навозной телегой — с ним кланяются не менее почтительно, как если бы он шел с портфелем подмышкой. Но он не кулак — он усердный рабочий, любящий свое дело.

Что мешало ему уйти в город и стать дельцов или богатым бездельником? Только любовь к земле и крестьянству.

И если в ясный день оглядеться с высокого места и увидеть зелень здешних полей и ровные выгибы линий горизонта, — можно легко понять «человека от земли», не пожелавшего с ней расстаться: его расчет и его любовь — законна!

------

Газетный лист развертывается, небрежно проглядывается и бросается: в мире никаких новостей.

«Как обычно, вражеские самолеты летали этой ночью над столицей и бросали бомбы крупного калибра».

В войне есть свой быт. Движение вперед замирает, наталкиваясь на стену сопротивления. В прошлую войну люди закапывались под землю, и спор шел из-за маленького клочка, из-за какой-нибудь высоты, придорожной фермы, уцелевшего лесочка. Теперь научились окапываться в воздухе, и официальные бюллетени никак не могут найти ни новых выражений, ни ярких случаев, которые могли бы отличить день сегодняшний от дня предыдущего.

Так проходит месяц — и ужас становится тусклым бытом. Что-то еще разрушено, кто-то убит, и читатель кисло улыбается традиционным обязательным упоминаниям о пострадавшем госпитале, разрушенной церкви и убитых стариках и детях. В первый раз он ахнул, во второй сказал: «Опять?», в третий не поверил. Но если даже правда — есть предел и ужасу, и возмущению: быт побеждает нервную взволнованность.

И еще есть явления военного быта, о которых мы мало знаем. Несколько стран, в их числе половина Франции, заняты германскими оккупационными войсками. Солдаты в каждом городе и каждом маленьком местечке; не столько для охраны порядка, сколько для кормежки. В большие города приезжают офицерские жены — закупить остатки модного барахла, честно, лояльно, по неслыханно дешевым ценам. Создается своеобразный семейный и туристический быт, обособленный от местного, отгороженный от него строгими правилами поведения, но все же до какой-то степени в него проникающий. Общение неизбежно, и оно не может оставаться вполне бесследным.

О чем думает солдат, у которого есть время думать?

Легенды о «рвущихся в бой» давно утратили занимательность. Мечта каждого солдата — родной очаг, и никакие выгоды положения победителей, живущих сытно и на чужой счет, этих мечтаний не переборют. Никакие перебрасывания частей, обновления впечатлений, не могут протянуть в бесконечность сладость увеселительной прогулки по побежденной Европе; пустой досуг убивает воинственность, даже если в нее верить, если она не искусственна. В боях ее поддерживает смена напряжения усталостью, сознание опасности, жажда побед, как залога личного спасения; на покое солдат неизбежна делается человеком, переодетым обывателем.

Это — не выводы от ума, это знают все стратеги, и много мер принимается, чтобы бездействующая армия не разлагалась.

———

Мы можем говорить только о том, что знает и о чем догадывается маленькое пограничное местечко, которое по необходимости общается с «той стороной». Мы сторонимся выводов — мы только собираем беседа и анекдоты.

Но у нас есть одно преимущество: ни мосье Дюбуа, ни мадам Жанет, ежедневно бывающие на той стороне, не занимаются специальными исследованиями, а просто вываливают нам содержание своих бесед и рассказы своих потусторонних знакомых, обывателей городков, местечек, ферм, мельниц, содержателей табачных и других лавочек, владельцев и съемщиков полуреквизированных домов, где в четырех комнатах замиренная Франция уживается с представителями всепобеждающей армии.

У мадам Жанет тысяча и одна кузина. Одна из них служит сиделкой в больнице небольшого городка, где ей приходится ухаживать за больными обеих наций. Так, она выходила своими заботами германского офицера, который был настолько доволен уходом и так им тронут, что захотел непременно чем-нибудь отблагодарить добрую француженку, не отличавшую его от больных своей национальности.

Больничным сиделкам не воспрещается принимать от больных материальных выражений благодарности. Но это — от своих. Принять деньги или подарок от немецкого офицера в зоне оккупации — этого добрая француженка делать не может. И она решительно отказалась.

— Все больные для меня равны, благодарить меня не за что.

Офицер, конечно, понял. Но все-таки он что-то должен сделать, чем-то проявить свою благодарность.

И вот, спустя некоторое время, он вернулся из больницы, отыскал свою благодетельницу и сказал:

– Вы не хотели подарка, мадам, но вы мне позволите рассказать вам новость, которая должна вас обрадовать. Это – большой секрет, но вам я его открою, если вы мне позволите.

Перед секретом ни одна француженка устоять не способна.

– Скоро мы отсюда уйдем.

– Откуда?

– Из этих мест, а потом и вообще из Франции.

Что может знать маленький пехотный офицер оккупационного отряда? Но сенсация немедленно передается из уст в уста, облетает пограничную полосу, забирается вглубь по обе стороны. Совсем уйти из Франции немцы, конечно, не могут; но не освободят ли они еще несколько провинций, не отойдут ли к северу, пока хотя бы до Лауры, потом и за Париж? Что им делать в полуистощенных провинциях средней Франции, когда уже выкопан из земли и вывезен из страны весь картофель, кончился сезон овощей, наступает холодное время, а армия экипирована по-летнему? И полезно ли солдатам делаться обывателями, якшаться с населением, от которого им, воспитанным в строгой дисциплине и натасканным в разумных политических идеях, ничего доброго получить нельзя?

Так живем мы в мире то тревожных, то отрадных слухов, собирая последние овощи и фрукты и подготовляя землю к поздним осенним посевам.

------

Все к воротам! Женщины вперед!

Это значит, что есть чем поделиться.

Мадам Жанет слышала от жены мясника, что к мадам Брюно приехала с той стороны родственница и рассказывает о событии чрезвычайной важности. Англичане, которые знают все, устроили налет на городок, где был германский штаб, бросили бомбу и попали в самого главного...

– В Гитлера!

– Нет, в другого.

– Если штаб, то там Геринг, – поясняет мужчина.

– Может быть, и в него. И будто ему оторвало обе ноги и убило его на месте, и еще других. Он в это время выходил из казино.

– Оттого и флаг на мосту приспущен!

– И у офицера траур в петличке.

– А почему в газете нет ничего?

– Газеты не смеют.

– Она говорила, что немцы скрывают, чтобы англичане не узнали. Но те все знают! У них парашютисты. Узнали же они, что в Шатору приезжала контрольная комиссия бошей, и прилетели с бомбами.

Германский флаг на мосту действительно приспущен. С французской стороны смотрит толпа. Но по какой причине траур – точно неизвестно.

– И еще эта дама привезла листовку, какие разбрасывают англичане, летая над Парижем. Летали высоко, и ничего с ними немцы поделать не могли.

К вечеру листовка, размноженная добровольными переписчиками, ходит по рукам. Не все переписчики заботятся о знаках препинания, но все же понять можно.

Листовка не отличается изысканностью стиля и слишком категорична в установлении срока победы над Германией; это должно бы вызывать к ней недоверие, – она кажется дурным переводом с языка завоевателей. Но мы не умеем разбираться в тонкостях пропаганды и не доискиваемся источника. Позже ее опровергнет английское радио.

------

Беседа у ворот продолжается. Дама из Парижа сообщила так много интересного, что ее рассказов хватит на несколько дней.

Так, например, она точно знает, что произошло в столичном кинематографе на прошлой неделе.

Показывали «актюалитэ», картины разрушений в Лондоне и Берлине. Лондонские разрушения ужасны; берлинские сравнительно незначительны. Конечно, — умышленный подбор картин. Когда показывали Лондон, публика хранила молчание; но когда дело дошло до бомбардировки Берлина, раздались рукоплескания, сначала робкие, потом всеобщие. Испуганная администрация кинематографа заявила, что сеанс прекращается, и зрители должны очистить зал. Тогда публика стала требовать обратно деньги.

Рассказ вызывает восторг. Значит, остались в завоеванном и подавленном Париже смелые люди, добрые французы! Ну, а как же к этому отнеслись «хозяева»? Этого дама не знает, но у «хозяев» свои кинематографы, и они стараются не смешиваться с французской толпой.

С особым вниманием выслушиваются рассказы о продовольствии в занятой Франции, где почти не осталось картофеля, нет масла и яиц, плохо и с овощами, на все карточки и очереди. Карточки есть и у нас, но очередей нет, продуктов хватает на всех. Слушая о картофеле, молодая хозяйка мысленно подсчитывает, каков у нее запас для продовольствия и для будущего посева. Яиц мало, но куры не отказываются нестись. Мяса избыток, молоко еще не на учете, можно раздобыть и масла. Разумеется, так — в деревне, а в городах свободной Франции дело обстоит плохо, хотя, по-видимому, не хуже, чем в обобранной зоне. И все сходятся на одном выводе: хорошо, что мы не под немцами! И было бы еще лучше, если бы они ушли подальше, сначала за Луару, а потом и за Париж.

Сегодня – приезжая дама, завтра – убежавший из плена солдат. Рассказов всегда довольно, и слушаются они тем более охотно, что газеты целомудренно молчат или ограничиваются остротами и карикатурами на продовольственные темы, разумеется – не трогая зоны чужой.

Раздраженная дама кричит угрюмому мужу:

– Я обошла шесть парикмахерских – и нет краски для волос! А ты говоришь мне о картофеле!

Обгоняют друг друга автомобили нового типа: с торчащими самоварными трубами. Веселые голоса:

– Вы на чем едете?

– Мы на дровах. А вы?

– Мы на газетной бумаге.

Курица окружена толпой людей, ожидающих, не снесет ли она яйцо.

– Это возмутительное насилие, – клохчет курица. – Дайте мне минутку покоя!

Пока может человек смеяться – еще не все потеряно...

------

В городке событие: смена гарнизона. Собственно, это мало кого касается, и военная стража решительно никому и не для чего не нужна. Но нельзя забывать, что люди в военной форме выигрывают в глазах женщин, даже если они не совершили никакого подвига, даже если с ними произошло обратное, не доставившее им воинской чести. Накануне ухода солдат, по всем уединенным тропинкам и на берегу реки бродили грустные парочки, а после ухода проливались одинокие женские слезы. Горе, конечно, поправимое, так как на смену прежним прибыли новые кавалеры защитного цвета.

Но есть молодые люди еще более модные и пользующиеся успехом, причем не только у девушек, а и всего населения, от мала до велика; это – бежавшие из германского плена.

В прошлую мировую войну Франция была погружена в траур; ей тяжко далась победа, и нет местечка, в котором скромный монумент не напоминал бы о павших в боях. В нашем городке этот памятник разрушен снарядами нынешним летом. Сейчас траур во Франции почти не заметен, во всяком случае, не может идти в сравнение с тем, что я видел проездом через страну в 16-м году. Но количество пленных огромно и, по-видимому, доходит до двух миллионов. Правда, оно уменьшается, так как некоторые категории пленных, преимущественно служащие путей сообщения, освобождены для работ в оккупированной зоне, а другая часть освобождается собственными средствами: количество убегающих из плена чрезвычайно велико.

Убегают единицами, убегают и пачками, как из лагерей занятой зоны, так и из самой Германии. Убежавшие стремятся, по возможности, попасть в зону свободную, перейдя или переплыв границу, и естественно, что и наше пограничное местечко их видит. Как удается им преодолевать германскую бдительность — вопрос, обсуждению не подлежащий, но каждый случай радостно приветствуется, и каждый беглец на некоторое время делается героем дня.

Побеги из лагерей сравнительно близких, находящихся на французской территории, особых трудностей не представляют. Раз перешагнул удачно запретную черту, беглец сразу оказывается среди своих, от которых он может ожидать сочувствия и деятельной помощи. Страна ему знакома, язык родной, двери приветливо отворены. Как это ни странно, но передвижение в области оккупации гораздо менее сложно, чем в свободной Франции, где чаще требуются документы и всякие разрешительные бумаги. Обратное — при бегстве из самой Германии, из Польши, Чехии, Голландии, стран чужого языка и чуждого населения. Я знаю беглеца, который, уйдя из лагеря северной Франции, был на другой день в Париже, а еще через

сутки дышал воздухом свободной зоны; и знаю другого, который затратил на бегство из Германии три месяца.

Рассказы беглецов слушаются, конечно, с напряженным вниманием, тем большим, что у многих в плену близкие или дальние родственники. Им можно отправлять посылки и писать коротенькие письма, но от них вести доходят редко, и никаких описаний своего быта они присылать не могут. В зоне оккупации жены иногда добиваются свидания с мужьями, и даже случается, что выхлопатывают их из плена; что делается в лагерях дальних — остается неизвестным. И если вообще в Германии жизнь не сладка, то жизнь пленных — тем более.

И сердца полны беспокойства, особенно с подходом зимних месяцев. Вяжутся фуфайки и чулки, тщательно изучаются правила отправки посылок пленным, — правила, разобраться в которых тем труднее, что они часто меняются. Тяжелее всего, что об очень многих военных до сих пор нет точных известий.

Бежавшие из плена не часто жалуются на дурное с ними обращенье. Война есть война, и плен не гостиница первого разряда. Строгость и дисциплина, но без преувеличений, в особенности в лагерях на французской территории.

Стерегут пленных преимущественно резервисты почтенного возраста. Питание плохое, но и сами их сторожа питаются немногим лучше пленных. Знающие ремесла — сапожное, портняжное — устраиваются лучше и пользуются большей свободой, облегчающей, кстати сказать, и побег.

В лагерях германских — больше строгости и еще хуже питанье. Но там сторожат не столько германские солдаты, сколько австрийцы и даже мобилизованные, нередко и женщины.

Пленные рассказывают о настроениях в самой Германии. Вряд ли они много видели и много знают;

притом им было некогда заниматься в чужой стране наблюдениями. Из их рассказов мы ловим то, что может дать нам надежду на скорое окончание войны, — ведь есть же предел человеческому терпению!

Все в один голос говорят о том, что труден не побег из лагеря, а сложный путь возврата домой. Пленным не разрешается иметь штатскую одежду; даже фуфайки, которые им присылаются родными, должны быть цвета защитного.

Какое несчастье! И мадам Леруа, и мадам Дюпон, и еще несколько жен послали мужьям прекрасные фуфайки, над которыми усердно работали, фуфайки всех цветов, кроме защитного, невеселого и неприятного для глаз. Значит, все это было послано напрасно!

— Я бы связала и послала другую, но где взять и шерсти? Такой шерсти больше не достать.

У соломенных вдов на глазах слезы.

------

В десятке километров от нас перешли и переплыли реку Шэр целой группой двадцать человек пленных из лагеря, находящегося в оккупированной зоне Франции.

Бежали без особого труда; и путь до границы свободной Франции также был не сложен. Добравшись до нашей реки, они залегли в кустах, чтобы переправиться под утро. На рассвете разделись, навязали на голову свертки с одеждой и обувью, нашли место помельче и двинулись, кто как умел, к противоположному берегу, кто по грудь и шею в воде.

Когда они были на середине реки, на германском берегу показался конный патруль. Они считали себя погибшими и не знали, вернуться ли им и сдаться или попытаться спастись, достигнув берега неширокой реки.

Протекла мучительная минута – патрульные не стреляли. Не заметить большой группы пловцов патрульные не могли; но не раздалось ни окрика, ни единого выстрела, и беглецы добрались до французского берега.

Случай необъяснимый:

– Видно, были добрые солдаты!

Германский солдат дисциплинирован, и «добрый», и не добрый одинаково. Но разве психологически не возможно и не понятно, что немецкий солдат не видит причины стрелять в бегущих французов, с которыми войны уже нет? И не проще ли ему отвернуться и «не заметить», чем пробивать пулей головы плывущих? Тысячи людей незаконно переходят границы оккупации, как сотни тысяч переходят ее законно. Во всем этом не легко разобраться патрульному резервисту. Наконец, почему действительно и не предположить в нем простое человеческое чувство, – не отрицать же его в целом народе!

Или почему не предположить, что долгое пребывание в завоеванной демократической стране действует несколько разлагающе на дисциплину солдат страны «тоталитарной»?

------

Своя земля! Она всегда священна!

Маленький случай с пленным французом. Взятый где-то на границе Бельгии, он после разных мытарств и скитаний был доставлен в лагерь военнопленных, находившийся рядом с его родной деревушкой.

На небольшом, огороженном колючей проволокой пространстве, сначала без всякого прикрытия, позже под натянутым на столбах холстом, были сгружены и заперты несколько тысяч пленных, которые мокли под дождем и спали плотными рядами прямо на земле.

Кормили их исключительно пареным ржаным зерном. В первый день такая пища даже нравится; на второй день она оказывается не только недостаточной, но и трудно переносимой; на третий день внушает ужас и отвращение — и тогда же начинаются болезни. Через неделю в лагере гуляла смерть.

И тут же, рядом, родная деревня, в которой осталась жить семья.

Если бы деревня была далеко, можно бы убежать из лагеря, укрыться дома, как-нибудь выправить бумаги и сделаться свободным; или, наконец, проникнуть в зону свободную и там ждать окончания войны. Но в такой близости скрыться невозможно — легко обнаружат, а убежать далеко, когда семья рядом, — совсем глупо. Самое нелепое положение, в какое может попасть человек. Виден недалеко свой дом, а приходится жить за проволокой, спать на земле и пухнуть от голода и пареной ржи.

Жена пленного добилась свиданья с ним — издали они и так видели друг друга. Потом пошла хлопотать по начальствам: отпустите моего мужа! Зачем его держат в лагере, когда рядом его дом? Косить нужно, огород убирать и копать! — И муж просит начальство: тут, рядышком, моя земля, мой дом, семья, — зачем мне есть и спать, как собаке, когда за три шага все для меня готово?

Не отпустили. Но когда очень надоел, разрешили ходить домой обедать, не одному, а с конвойным. Собиралась семья, отец с нею обедал, как свободный человек, получал свою порцию и конвойный. Ели медленно, не торопясь, чтобы выгадать время. И были счастливы: хоть на час, а вместе, все дома.

А потом лагерь снялся — его перевели вглубь Германии. И когда пленных уводили, один из них долго оглядывался на свою землю, на свой дом. И никак не мог поверить: неужели в последнюю минуту ему не скажут: «Ну, ступай домой, ведь ты здешний!»

Как это можно — привести человека домой, на его землю и опять увести неведомо куда?

Это из наших местечковых рассказов; подслушано у ворот.

------

Еще рассказ спасшихся из плена солдат. Мы положительно начинаем верить в то, что и в деревянных немецких солдатиках теплится живая душа!

Рассказ красочный, полный чувства, годящийся в детскую хрестоматию.

В одном месте есть на реке разводной мост, который, когда проезда по нему нет, охраняется лишь одним часовым. Двое беглецов, очевидно, не найдя другой возможности переправы, решили попытать счастья здесь. Правда, мост разведен, но здесь река и без моста легко проходима, а у беглецов, уставших и изголодавшихся, кончился запас сил для трудной переправы, а может быть, просто они не умели плавать.

Подумав, решили поговорить с часовым.

Разговор жестами. Подошли, ткнули себя пальцами в грудь, затем указали на противоположный берег.

Немецкий солдат тоже ткнул себя пальцем в грудь и показал на винтовку. Он — часовой и обязан стрелять.

Постояли, помялись, опять прибегли к жестам и на этот раз к общепонятному слову. Палец на себя, палец на него:

— Камрад!*

Попали на человека, наскучавшегося по дому, замученного дисциплиной; сегодня здесь, завтра опять пошлют в огонь. Давно война ему отошнела. Что ему в том, что два французских камрада перейдут речку? Разве он зверь?

---

* Товарищ (*фр.*).

Поставил винтовку, снял свою каску, швырнул ее на землю и опять ткнул себя пальцем в грудь:

— Камрад!

Затем отвернулся, обеими руками закрыл лицо и стал спиной к реке.

Жест понятный, и беглецы не заставили себя ждать — живо прошли глубокое место по крылу моста, спустились на мелкое и вброд дошли до берега.

Перейдя — обернулись, чтобы хоть рукой помахать в благодарность. Но немецкого камрада уже не было. Он тем временем поднял каску, почистил ее рукавом, взял винтовку, — и стоял на том берегу не камрад, а строгий часовой. Ничего он не видел и ничего не хочет знать. Его дело стоять, где его поставили, и охранять мост.

На нашем языке это называется братаньем, на языке войны — нарушением дисциплины, за которое расстреливают. Солдат это знает, но знает и то, что его жизнь стоит недорого, как дешево стоит жизнь и его французских беглых камрадов. И отчаянным жестом братства и человечности он внезапно придает своей жизни, рискуя ею, новую, огромную ценность. Хоть этим пусть она будет оправдана!

С того берега не видно его солдатского лица; но, конечно, прекрасно на этот раз лицо германского деревянного часового!

------

Дисциплина? Но если даже предположить, что она добровольна и основана на сознательном чувстве долга, — есть чувства выше и непосредственнее: чувство человечности. Не всякий немец обязан быть исповедником мрачной и лицемерной религии кантианства.

И есть братанье — и братанье.

Мы наблюдали здесь братанье отвратительного типа, когда эльзасские девицы, эвакуированные еще в на-

чале войны, в первый же день прихода завоевателей, «объединились» с ними на глазах всего населения городка, давшего им приют. Не позволю себе обобщения: это были не эльзасцы, а лишь отдельные эльзасские девицы, внезапно защебетавшие по-немецки и попытавшиеся обратить несчастье Франции в личный праздник.

Их поведенье было отмечено всеобщим молчаливым негодованием, ничем внешне не выраженным; французы умеют быть сдержанными в чувствах, и бестактность единиц не отразилась на их отношении ко всей массе беженцев. Но, в конечном счете, эти беженцы пострадали больше, чем все другие: их возвращение в Эльзас сопровождалось рядом сложнейших мытарств в полосе оккупации. Им пришлось неделями и долее задержаться в дороге, у них отобрали запасы съестных продуктов, которыми они запаслись здесь, и многие из них писали сюда с дороги отчаянные письма, высказывая страстное желание вернуться в приветливый городок.

Естественна неприязнь к завоевателю, погрузившему страну в траур и лишившему ее чести. Только в спортивных состязаниях да демократических выборах побежденный галантно первый протягивает руку победителю и его поздравляет; и все-таки лучше не заглядывать ему в душу. Но и «завоеватель» и «страна» — понятия отвлеченные, существа без истинного лица. Свою любовь и свою ненависть мы можем питать только к живому лицу. Вот этому французу нет причин ненавидеть вот этого немца, если именно он, вот этот человек в германской форме, не причинил ему ни горя, ни убытка.

Только очень слепой и бездушный человек может питать ненависть к нации, к расе, к стране, — слепой или нравственно нездоровый, и не напрасно антисемитизм называют нравственным сифилисом.

Чтобы люди двух стран, двух наций, наряженные в защитную одежду, напали друг на друга, нужен

приказ извне, нужна действительная или надуманная причина, искусственная настроенность, то, что мы вправе называть обманом обобщения, иллюзией личной вражды к незнакомому, но такому же, как и я, человеку. Без этого их встреча привела бы не к бою, не к убийству, а к братанью. К тому она и приводит в тех случаях, когда повод созданной вражды отпадает, падает искусственная настроенность и подымает голову простая и естественная человеческая приязнь, интерес друг к другу, взаимное понимание. И преодолеть остается только «приказ извне», холодную дисциплину без всякого ее внутреннего оправдания.

Мы видим, как это преодолевается — порой героически, с риском заплатить за это дорогой ценой.

Человечество никогда не могло обходиться без войны; и многие скажут, что и впредь оно осуждено на вечные кровавые бойни. Счастье оптимизма нам не дано. Но кто захочет лишить нас всякой веры в возможность в некоем далеком еще будущем некоей поправки к будто бы «естественному» закону человеческих отношений, той поправки, которую пока делает нарушающий этот закон часовой на мосту?

------

Как сказывается в мелочах характер двух народов!

Бог немцев — порядок и дисциплина; бог французов — свобода во всех ее проявлениях. Берлин — разлинованная доска с настроенными на ней казармами, Париж — каменный сад, выросший свободно, великолепный пространствами и гармонической путаницей архитектурных гениев.

Немец так натаскан на долг, порядок и подчинение, что не допускает и мысли о том, что могут быть люди, иначе созданные и не признающие категорический императив за неколебимую нравственную

истину. Властвуя в чужой стране, немцы искренне думают, что эту страну благодетельствуют и что каждый разумный ее гражданин охотно подчиняется их приказаниям. Встречая сопротивление, они считают его своевольством немногих невоспитанных или недовоспитанных еще единиц, сопротивление которых не трудно сломить окриком, наказанием, если потребуется — жестокостью.

И они не понимают, что во Франции никто не хочет им подчиняться, ни один человек, что они могут временно согнуть и подавить чужую волю, но ни угрозой, ни даже благодеяниями они французского сердца не завоюют, и, в первую же минуту их слабости, любая овечка превратится в волка.

Когда они встречают помеху своим действиям, они ищут преступных людей или целую преступную организацию, не подозревая, что этот «преступник» — каждый человек, эта организация — весь народ, по обе стороны занятой ими линии, что сговариваться некому и не для чего: все понимают друг друга с полслова, и всякий поможет другому обмануть бдительность «хозяина».

На этой уверенности немцев в своей непобедимости, в стройности своего порядка, в благодетельной силе внушаемого ими страха и в том, что никто не решится рисковать головой из-за пустяка, — легко играют люди иного склада, знающие о других ценностях и верные своим богам. И высшее удовольствие для французского обывателя, самая большая его радость — «оставить немца в дураках».

Я не могу привести многих примеров, — эти строки пишутся в ходе событий, и у меня нет права называть имена людей и даже городов или указывать приемы и способы «обхода неприятеля». Могу использовать только несколько рассказов, в которых место, время и имена не имеют значения.

Из лагеря в глубине Германии бежало сразу двадцать четыре пленных француза. Бежали вместе, но

в пути разошлись из понятной предосторожности. Судьба двадцати — неизвестна, четверо пробрались благополучно в наши края — в зону свободную.

— Как вы пробирались в самой Германии?

— Нелегко. Труднее всего с питаньем, хотя у нас был небольшой запас. Старались миновать города, шли по ночам. Но там особого надзора нет, главное — мужчин совсем не видно, все на фронтах. Может быть, и не все товарищи добрались до Франции, а нам повезло.

— Во Франции легче?

— Во Франции мы дома. Что нужно — попросишь, отказа не бывает. Дают и адреса, где можно переночевать, где получить одежду. Иные подвозят от места до места, только скажи, что беглый пленный. А от Орлеана до самой границы нас подвезли на машине немцы. Стрелой докатили!

— Как немцы?

— А так, приятели! Мы в дороге раздобыли гармонию. Денег нет — вот и играли на гармонии, то по кабачкам, а то и прямо на улице. Публика слушает, — деньги дает. Услыхали немцы — понравилось им. Затащили нас играть в свой ресторан. Полно солдатни! Ну мы целый вечер играли. Угощали, конечно, и денег дали. Звали непременно и завтра прийти туда же.

— Завтра мы не можем! Надо нам ехать дальше!

— Куда вам ехать? Вы кто такие, из каких мест? Рассказываем, что мы — рабочие, приехали в Орлеан на денек, теперь нужно возвращаться на работу. А завод наш там-то и там-то, — назвали завод, близкий к пограничной линии, где нам указали переправиться.

— А на чем поедете?

— На чем нам ехать? Боимся — придется пешком, потому и торопимся.

Один немец говорит:

— Вас наши ребята подвезут. Завтра туда едет военный грузовик.

Сейчас нас познакомили со своими — и назавтра мы погрузились господами. Ехали весело, забавляли гармоникой. На расставанье выпили, закусили, все на их счет. Они поехали дальше, по своим делам, а мы, расспросив у добрых людей дорогу, — прямым путем к реке, к переправе.

И вот что удивительно! Первый человек, у которого мы спросили дорогу, конечно — француз, простой крестьянин, говорит нам:

— Дорога простая. Да вы, верно, беглые из плена? Тогда вы возьмите по берегу левее, а как дойдете до села, там зайдите во второй с дальнего края дом, и вам человек покажет, где река мельче. Охрана там есть, но вам скажут, в какой час переправляться. Там это все налажено хорошо!

Там все и вышло. Пришли, постучали, впустили нас в дом, а там еще двое таких же гостей. Дождались часа — и все переправились.

— Хорошая организация!

— Никакой нет. Просто — живет человек близ берега, знает. Мы хотели ему заплатить, но он не взял.

— Я, говорит, этим не занимаюсь, я крестьянин. А услужить вам всякий согласится, дело понятное. Вас тут прошло сотни две, не меньше.

— А как же немцы не пронюхали?

— Кто же им скажет? Все люди свои, доносить некому.

И дал нам еще адресок на той стороне:

— Зайдете, посидите пока обсохнете. Погода сейчас холодная.

------

Эти — спасают если не жизнь свою, то свою свободу: есть из-за чего рисковать. Но я знаю пример, когда человек, имевший на выбор «законный» и «незаконный» переходы через границу оккупации, вы-

брал последний, как более соответствующий французскому свободолюбию. А может быть, тут играет роль желание посмеяться и доказать «хозяевам», что и строгость их не всех пугает, и любезность их не всякому нужна.

Вздумалось человеку, живущему постоянно в Париже, навестить родные места в свободной зоне. Он приехал в пограничный городок, хорошо знакомый, чтобы осмотреться и попытать удачи. В кафе городка разговорился с германским офицером, — благо, по-немецки говорил сносно. Узнал от него, что разрешения на переход в свободную зону тут получить нельзя, нужно ехать в другое место, явиться туда-то, предъявить то-то, обосновать просьбу тем-то, ждать столько-то и так далее.

— Ну а нельзя, так я и просто перейду, без всяких пропусков.

Офицер вежливо объяснил, что это незаконно и очень опасно. Не знаю, добавил ли, что законы и правила священны, справедливы и полезны и что граждане должны их строгое соблюдение считать своим долгом и своей честью, как это и делают, например, граждане великой Германии, победившей полмира и имеющей победить вторую его половину.

— Впрочем, — сказал офицер, — я могу, в виде исключения, оказать вам эту услугу, так как угадываю в вас порядочного человека. Писаного пропуска дать не могу, но если сегодня вечером вы придете на мост, я прикажу вас пропустить, взяв ответственность на себя. Явиться вы должны в мое дежурство, в такие-то часы.

И было это так красиво, благородно и законно, что французу стало почему-то противно: черта ли ему одолжаться германскому офицеру? Жили своим умом, никаких разрешений не спрашивали, да еще у чужеземцев и завоевателей!

— Нет, знаете, я все-таки перейду сам, своим способом. А завтра, в час вашего дежурства, при-

ду к мосту с другой стороны — поздороваться с вами.

Не хочет — как хочет. Несомненно, офицер решил, что человек шутит и, конечно, воспользуется его предложением, ибо это законно и не сопряжено с опасностью. Главное — законно.

Возможно, что он и до сих пор так думает, тем более, что его собеседник, перейдя границу «своим способом» еще до его дежурства, здороваться на мост так и не пошел:

— А ну его! Не хотелось зря обижать. Все равно ведь он не поймет, почему я так сделал.

------

Лето и осень были прекрасны в нынешнем году, хотя один чересчур сухой месяц повредил огородникам. Пишу эти строки в последних числах октября, и только второй день чувствуется близость зимней угрозы и важность иметь добрый запас угля и дров. Деревенский житель об этом мог позаботиться, городскому надеяться не на что.

Когда эти строки увидят свет, переменится так многое, что мои записки станут только дешевым материалом для историка, и историка не событий, а настроений. Нужно жить — и мы живем; и, живя, день за днем мы ждем чего-то, что должно случиться и чего мы не знаем, даже не можем предположить.

Мы ждем. А так как ждем мы всегда самого худшего, то застрахованы от больших разочарований. Мы страхуем себя и тем, что изверились в прочности союзов и соглашений, заключаемых на «вечные времена». Впереди неверный день, сомнительный месяц, полный неизвестности год, — не говорите нам о золотых тысячелетиях! Сейчас ни одна добрая хозяйка не составит меню обедов на неделю впе-

ред, — она не знает, что найдет на ближайшем базаре.

Это, может быть, прискорбно, зато позволяет воображению не очень расстраиваться неожиданностью событий, за которыми могут последовать еще более неожиданные. И потому сейчас все происходящее принимается как временное, сколько бы ни твердили о его прочности.

———

Исторические речи, исторические встречи... Что делали бы историки, если бы всякий истекший день был «поворотным пунктом»? Они закружились бы в вихре прошлого и отстали бы на века от своей эпохи. Мы видим, как линяют «исторические» имена и из газетных заголовков проваливаются в мелкую хронику и полное забвенье. И как «великие даты» уминаются во второстепенный календарный столбик, который ни один добрый учитель не заставит учеников вбивать в их утомленную голову.

В приходорасходной книге отдельные цифры умирают, когда подведен баланс; но для этого должна исчерпаться вся страница ежедневных записей. Страница испытаний Европы не закончена, черта не подведена, баланс еще сомнителен; не будем торопиться ставить исторические клейма на стенографических записях каждой влиятельной беседы!

Все это — между прочим. Мы еще не знаем, что нам готовит завтрашний день: радость или очередное горе. Наши местные огородники вскапывают осенние гряды и сажают рассаду капусты. Их расчет почти безошибочен, вопрос лишь в проценте и в качестве урожая. Все остальное, сегодня кажущееся важным, трагическим, завтра может оказаться радужным и сияющим мыльным пузырем, который лопнет без особого треска.

———

«Франция завтрашнего дня будет тем, чем ее сделают французы». Обязательная политическая фраза, призывающая к бездейственному ожиданию широких мероприятий в духе господствующего национализма. Тут и диктуемая обстоятельствами новая международная ориентация, тут и поход против «нежелательных иностранных элементов», и «положение о евреях», и воспитание молодежи в духе классицизма, и все, что не говорится, но чувствуется в воздухе. Все это прикрывается ни к чему не обязывающей общей фразой, столь соль же громкой и затасканной.

А между тем, по существу это положение очень верно, и завтрашний день страны (не одной Франции) определяется действенностью духа ее граждан, совершенно независимо от того, что готовится для них на политической кухне. Будущее созидают не умствующие, а делающие. Картофель выращивает не законодатель, а огородник; золото добывает не государственный банк, а рудокоп.

Внешне побежденная Франция — страна прочных старых традиций, нелегко подчиняющаяся случайности настроений. У нее нет вкуса подчинения — и она останется независимой. Именно сейчас это сказывается с удивительной ясностью, почти — я бы сказал — картинно. Неизбежная принужденность — пришедшая извне и отражающаяся на житейских мелочах — вызывает объединенное сопротивление; я имею в виду не оппозицию каким-нибудь правительственным мероприятием хозяйственного порядка, этого мы не наблюдаем, — а род общественного единения и взаимопомощи во всем, что стоит в связи с положением «побежденных», вынужденных считаться с волей чужого хозяйствования. В зоне свободной это сказывается, конечно, меньше, в зоне занятой обнаруживается ярче и систематичнее, и, конечно, «хозяева» это должны чувствовать: французами управлять нелегко, дух рабства и зависимости им не свойственен.

Именно этим качеством народа будущее его определяется гораздо больше, чем изобретательностью дипломатов.

Перемирие было принято как неизбежность, но оно не убило надежд. В данном положении страна согласилась бы принять и тяжкие условия мира, — у нее нет сил сопротивления. Но, соглашаясь на все, она внутренне не сдается и не видит причины перестать быть той Францией, исторически сложившейся, которая долго была идеологическим светочем и естественным центром европейской передовой мысли.

В борьбе идеи навязываемой с идеей врожденной последняя не может не победить. И «будущее Франции» определится не системой политических учреждений, а несомненной прочностью ее духовных устоев. Это, конечно, общие фразы, но я не посягаю на более точные определения и более детальные выводы из того психологического материала, который может доставить «тихое местечко».

———

Городок, в котором мы живем, не имеет написанной истории, — один из множества старых городков Франции. Но церковь его стояла прочно в XV веке, когда сюда, сначала дофином, затем королем приезжал не раз Людовик XI. Стар — может быть, того же возраста — и крестьянский домик с каменным полом, холодящим мои ноги, как стары крыши домов соседних, крытые черепицей, заросшей мохом. Это и есть Франция, видевшая много, пережившая века и оставшаяся Францией. Живя здесь — спокойнее смотришь на ее будущее: ее прошлое было очень прочным.

## VII

Думать и писать о войне и только о войне — тогда стоит ли думать и писать? Как угольная пыль на

лице и на одежде, машинное масло на руках по локоть, хлюпкая жижа под ногами. Отчаянными взмахами рук мы пытаемся переплыть реку печали, но подводное чудовище ухватило зубами и тянет ко дну.

Не в картинности чувств дело, это только чтобы как-нибудь резче, не словами, а образами выразить страшную угнетенность мысли, ее подавленность злейшею из дневных злоб, жажду чистого воздуха и настоящих, живых и здоровых жизненных запросов.

Ведь жили же мы иначе и когда-нибудь будем жить опять вне этого повседневного проклятия. Отшвыриваешь газету — в ушах пулемет, на зубах сгустки крови, ни земля, ни небо больше не милы.

Черт бы побрал мудрость веков и уроки истории!

Волосатый предок с низким лбом и оскаленной челюстью протягивает лапу и насмешливо приветствует: «В чем, собственно, разница, в том, что ты бреешься?» Взмахнув палицей, он крушит храмы наивной философии и картонные домики гуманизма. Впрочем, в его тысячелетних пещерах найдены образцы высокого примитивного искусства, так что гордиться ему нечем: он тоже ошибался, пытаясь работать на вечность и мечтая пересоздаться в поколениях.

Пользуясь тем, что снова разрешено ловить рыбу в реке Шэр, натягиваю резиновые сапоги, перекидываю за спину рыболовную сумку и с удочками бреду по мокрой траве к берегу пограничной реки.

Высоченные вязы и тополи сбросили лист, оставив на ветвях зелеными только пучки омелы. Я ускоряю шаг, чтобы не думать о том, что омела — паразит, питающийся соками благородного дерева: нужно всячески спасать мысль от навязчивых уподоблений.

Я знаю, конечно, что ловить сейчас рыбу безнадежно, она ушла от холода в глубину реки; но не

добыча важна, а важно убить время, не заслуживающее оправдания. Мы всегда живем в надежде, что час, который наступит, будет лучше и честнее часа истекающего. Ошибаемся — и веруем дальше. В этом наше спасение. Тем временем у мальчика седеют волосы, а взрослый незаметно приближается к кладбищенским воротам, куда уже вошли старики.

Было бы жутко, если бы жизнь на одну минуту остановилась — с ней остановился бы и спасительный бег надежд. Сквозь прибрежный кустарник холодно улыбаются струи реки.

В железной коробке с дырочками меня ненавидят земляные черви. Дырочки — человеческая милость: для дыхания. Но, конечно, и расчет, чтобы живая приманка не гибла напрасно. Возможно, что мы только тогда перестанем убивать друг друга, когда нам станет душевно немыслимо насаживать червяка на крючок и на эту наживку вытягивать рыбу из ее стихии: двойное убийство.

Волосатый предок, в сущности, прав, и нечестно отталкивать протягиваемую им руку. Первобытная палица, бумеранг, стрелы, сабля, винтовка, пулемет, танк, бомбовоз — различие в названиях и уничтожающей силе, при полном совпадении целей. Удочка, конечно, такое же орудие убийства, хотя бы и в руках человека, пишущего трогательные и высокочеловеческие слова. Иначе говоря — выхода, как будто, не видно?

Выхода нет, но возможна какая-нибудь последовательная и подлинная граница. Вот я с детства — страстный рыболов, но не могу быть охотником. Червяка — да, но насадить на крючок корову или даже птицу не в моих силах. В чем вопрос? В количестве крови? В очевидности страданий и их похожести на наши, человеческие? Но, уверяю вас, я слыхал, как стонет и как кричит пойманная рыба, и знаю, как ей хочется жить.

------

Граница есть, должна быть, но она не здесь. В своем саду я сотнями и тысячами отравлял улиток и уничтожал личинок майского жука; я опрыскивал табачным раствором травяных тлей и буду делать это впредь, если вернусь в свой сад, где этим я спасал бескровные и менее похожие на живое существо растения.

Впрочем, Франциск Ассизский чем-то кормил птиц и зверей, чем-то тоже живым, — наука отвергла границу между растением и животным. И тот же святой убивал миллионы живых существ, когда он дышал и пил ключевую воду. И сколько насекомых он попирал ногами, этот друг всего живого! «Брат мой волк», — но сестра ли мне блоха?

И я забрасываю в воду извивающегося от боли червячка, чтобы поймать окуня, которого я убью и съем.

------

Забавно это, во время мирового пожара говорить о праве зажечь спичку. Но беседа оправдывается тем, что и мир-то загорелся от взаимного удара кремня и огнива в давнем споре — что выше и священнее: человек или человечество? И можно ли во имя человечества приносить в жертву отдельного человека?

В данное время можно считать окончательно установленным, что Вавилонская башня строилась из детских кубиков. Ее строители исходили из идеи, что отдельный кубик сам по себе ничего не стоит: так себе, лишь идеальная геометрическая фигура. Но, накладывая кубик на кубик, так чтобы один давил на другой и все они друг на друга, можно достигнуть неведомых высот и полного отрыва от земли.

Рассуждая строго математически, прочность и устойчивость подобной башни вне всякого сомнения, и ее высота не имеет предела. Ошибка же была в том, что кубики оказались не только фигурами, но и жи-

выми существами, и достаточно было одному из них пошевелиться, чтобы башня упала и рассыпалась. Пошевелиться кубик имел полное право и законное основание: лежа внизу и выдерживая на себе огромную тяжесть, он убедился, что никаких высот он лично не достигнет, сколько бы ни росла ввысь Вавилонская башня. Приблизительно то же самое мог сказать про себя и всякий другой кубик, ничего не выигравший, но много проигравший в своем положении. Поэтому кубик чихнул — и все полетело к черту.

«Смешение языков» тут ни при чем. При различии языков у людей могут быть одни и те же ощущения, одна и та же воля. Боль от страданья одинакова легко выражается немецким лаем и французской напевностью; я предпочитаю словарь русского чертыханья. При желании, каждый на своем языке, мы можем составить хор радости славословия, только бы не заставляли нас отказываться от доброхотной мелодии и следовать слепо за обязательным барабаном.

Если этот образный язык непонятен, то можно выразить мысль и проще: многое можно совместно обсудить и принять, на немалом сойтись и примириться; но будь проклято «счастье всех», если оно склеено из несчастий каждой единицы. Прежде чем мы перетаскаем на спинах друг друга в рай, у половины из нас отнимутся ноги.

Коллектив — прекрасная идея, как макароны — превосходное блюдо. Но если их заправить минеральным маслом и забивать в глотку ружейным шомполом, — взвоют даже голодные. Впрочем, это опять образ, притом неаппетитный.

По какому поводу все это говорится? Разумеется, не по поводу перекраски морщин старой Европы и придания ее лицу моложавости. Это говорится по поводу острого ощущения, что скоро нас уставят рядами и квадратами, слоем на слой, попросив по возможности не чихать и не мыслить, а для того,

чтобы мы не сомневались в удобстве и роскоши такого положения, создадут новую, и уже окончательную философию, окончательный и новый символ веры («да не будут тебе бози иные разве мене»), уничтожающий все сомнения впредь на веки веков и воспрещающий всякую творческую фантазию. И хочется забить тревогу скорее, сейчас, потому что после трубного гласа будет уже нельзя ни говорить, ни кричать, ни писать, ни даже выть от душевной боли.

------

Морозные дни наступили сразу; земля скована, до полудня трава бела от инея, и только высокое, но уже зимнее солнце чертит на ней темные талые рисунки. А еще на минувшей неделе приходилось, сидя на берегу с удочками, сбрасывать пиджак. Огородники едва успели выкопать свеклу и кормовые овощи, снять последние бобы, обновить зимние гряды. Усталая земля просит отдыха. Счастлив, кто запасся дровами и углем. По календарю — середина осени, но это, конечно, настоящая зима, прихода которой ждали с опаской.

Мы не знаем, что делается в больших городах, сколько тряпок натягивают на себя замерзшие люди в нетопленых квартирах, сколько калорий потребляют, чтобы не замерзла мысль и не застыла надежда. Сами мы эгоистически жмемся ближе к кухонной плите. Кухня в деревне — главная комната, спальня — северный полюс. Прекрасно спится в холоде, но наступающий день страшит: нужна большая решимость, чтобы сбросить одеяло.

Мои житейские записи превращаются в дневник всякий раз, как наступают «события». Конец лета и начало осени тихое местечко прожило без событий, — восстанавливая мирный быт, приспосабливаясь к условиям вынужденной пограничной жизни,

слушая рассказы приезжих, проезжих, беглецов. Сейчас мы опять на пороге событий. Мы ждем, что скоро откроется для нас свободный доступ на тот берег реки, что на мостах исчезнут красные флаги со свастикой, восстановится свободная почта и отойдет далеко от нас линия оккупации.

Какой ценой будет куплено это благо, мы не знаем и учитывать не можем, — да это и не важно. Нам достаточно, что германский офицер, живущий по ту сторону в доме мадам Жанет, которая имеет постоянный пропуск, сказал ей на днях:

— Мадам, мы скоро уйдем отсюда на правый берег Сены.

Мадам Жанет не выразила сожаления. Она не светская женщина, она торгует овощами по обе стороны реки, разделившей ее земельные владения. Она только с живостью осведомилась, когда это произойдет.

— Мы уйдем в первую неделю ноября. И хотя этот отход некоторым образом приближает нас к дому, я должен сказать, что мне лично очень жаль оставлять такое прекрасное местечко и таких симпатичных людей. Мы чувствовали себя здесь как бы среди друзей.

Мадам Жанет опять промолчала, хотя это было неприлично.

— Конечно, — заключил офицер, — есть французы, которые относятся к нам враждебно, и это сразу видно по их лицам. Но я думаю, что их немного, и что это не лучшие из французов. Во всяком случае, мы сохраним о пребывании здесь отличные воспоминания.

Очень любезные слова, и, вероятно, искренние. Разговор шел по-французски, и оборот фраз свидетельствовал о хорошем знакомстве германского офицера с приемами французской любезности. Мадам Жанет догадалась все-таки выразить чувства со своей стороны:

— Мне очень приятно это слышать!

Нам тоже было приятно услыхать рассказ мадам Жанет о ее беседе, тем более что этим как бы подтверждается подобная же откровенность другого офицера, беседовавшего с кузиной мадам Жанет. Рассказ, как всегда, сначала обошел ближайшее окружение мадам Жанет, затем распространился по городу, наконец, вызвал оживленные обсуждения среди стариков, вышедших в обычное время за ворота, несмотря на холод.

Таким образом, мы знаем то, чего не знает или не говорит печать. Насколько это верно или правдоподобно, — нас это не касается. У нас свои сведения и свои уверенности.

Во всяком случае, этот первый этап предстоящего и уже намеками объявленного нам соглашения держав о союзе для пересоздания Европы нам нравится, так как открывает нам тот берег реки. Мы не сговариваемся о плате — это сделают авторитетные люди, вершители судеб. Но мы хотим того же, чего хотят и о чем твердят и они: восстановления единой территории, слияния двух Франций и национального единства. Многим, как мадам Жанет, не нужно будет иметь разрешения для прохода на свои владения.

О большем мы пока не думаем. Мы принимаем факт и обсуждаем его в своем кругу, не вынося комментарий далеко за околицу.

------

Я пишу не о подлинных фактах и не о подтвердившихся событиях, а о беглых слухах в маленьком местечке, которое верит своим людям больше, чем официальным сообщениям. Если вздор — он обнаружится; если правда — она останется.

Подмечаются мелочи и передаются из уст в уста. Германский офицер может ошибаться или может обманывать. Но не обманывает французский рабочий с той стороны, помогающий вывозить все машины и все мате-

риалы, до последней гайки и до ржавого гвоздика, с завода, который спешно ликвидирован и куда-то переносится. И почему стали с такой легкостью пропускать через мосты в обе стороны людей и машины, — а еще недавно были строгости, доводившие деловых пограничных людей до нервного истощения? Все это мы наблюдаем, взвешиваем, соображаем, делаем свои выводы. Мы, конечно, склонны к оптимизму — нельзя за это людей осуждать; но наш оптимизм не лишен почвы. Наконец, он вообще — прекрасная черта, особенно в наше время, когда он стал еще большей редкостью, чем масло, мыло и спички.

Следовало бы, собственно, ввести для оптимизма продовольственные карточки: на каждого придется мало, но зато придется на каждого; взрослым меньше, грудным детям и старикам усиленный прирез. Дети еще не знают, старики видали виды и раньше, — и мир не перевернулся.

Мы не сеем слухов тревожных — мы культивируем радостные. Что может быть радостнее освобождения родной земли, какою бы ценой это ни достигалось? Особенно если плата в рассрочку...

------

В нашем городке живет дурочка, к которой все привыкли, но человека стороннего ее вид поражает. Она любит сидеть на приступочке, на бойкой улице, и обычно что-нибудь жует. С некоторыми прохожими здоровается кивком, других ни за что ни про что обкладывает отборными словами.

Дурочка — слово нежное и не очень в данном случае подходящее. Дурочке этой лет двадцать, здоровенная, толстая, топором скроенная девица с лицом совершенной идиотки, слюнявая и неопрятная. Ее матери предлагали поместить дочь в приют для подобных выродков, но мать не согласилась: пусть живет здесь, при ней, дурного она ничего не дела-

ет, а если кого ругает, то обижаться на нее не приходится. И отстояла свое неудавшееся детище.

Удобный повод поговорить о вырождении нации и о необходимости ее омолодить!

Но дело в том, что наряду с дурочкой в нашем городке доживает дни сотня стариков по сто лет каждому, и они, слава Богу, здоровы; что касается до молодежи, например солдат нашего гарнизона, то зависть берет смотреть на их дородность. Они несколько неуклюжи и неотесанны, много лишнего мяса; но и в таком состоянии — если бы борьба шла врукопашную — каждый свалил бы троих немецких солдатиков, тонких, ловких, выхоженных, но всегда остающихся деревянными. Когда эти немецкие солдаты завоевали наш городок (потому что борьба была не рукопашная), а потом для разумного препровождения времени бегали по дорогам стройными рядами в белых трусиках, наши девицы стройностью рядов любовались, а единицами — нет: очень уж жидки и белобрысы, без племени и без пламени, не по чему шлепнуть. Не то что мы любим жирок и развалку, а чтобы был человек в своем человеческом подобии, в полном теле и с запасцем; и щеки не бледные, а с молодым румянцем.

Будто бы существуют какие-то народы молодые и какие-то старые. Потом вдруг, пройдя краткий курс принудительного воспитания, старый народ делается молодым; так случилось с немцами и итальянцами, которые таким образом помолодели и решили завоевать мир. Удивительно все это получается просто, и притом доказывается научно: и логическими выводами, и статистическими таблицами. Потеснись народ старый, — дай народам молодым жизненное пространство.

Пред наукой мы, конечно, преклоняемся, хоть она создана и взращена народами старыми. Но история, и притом особенно история Франции, свидетельствует о случаях, когда народ старый, со всеми внешними признаками вырождения — от голода и дурного

правления, — достигнув предела падений и несчастий, внезапно, не пройдя периода оздоровления под руководством вождей, лишь бурно всколыхнувшись, начинал диктовать всему миру великие идеи, которыми затем жили столетия. И достигалось это не силой оружия, а пламенем убежденности, вспышкой гения, тлевшего под спудом. История говорит об этом так убедительно, что в наше время догадливые реформаторы «молодых народов», уничтожив остатки «прав человека и гражданина», возглашенных некогда французским народом, все-таки называют это не утратившим популярности словом «революция».

Нужно сознаться, что эти соображения и исторические справки очень затрудняют выработку правильного и отвечающего ходу событий взгляда на наше настоящее и наше предстоящее. Что-то, несомненно, должно произойти, какой-то путь должен быть избран, а какой — не ясно. Ухнуть ли, перекрестившись, в объятия бездны или ухватиться за кустарник и попробовать обождать: может быть, и в старом мире не все погибло, может быть, есть о чем пожалеть.

Вот почему ребенок, когда его ведут в образцовую школу, пугливо держится за мамашину юбку.

———

За своими пределами Франция встает для иностранцев в образе, неточно отражающем подлинную среднюю Францию.

Это слова не мои, а академика Лакретеля в одном из худеньких номеров некогда толстого «Фигаро». И академик прав, хотя во многом другом ошибается, например в утверждении, что, по мнению иностранцев, из Франции исходят «наиболее смелые идеи» и что она законодательница новых вкусов. Он считает современных французских писателей космополи-

тами и новаторами, по крайней мере в глазах иностранцев.

Это, конечно, неверно, во всяком случае, для последних десятилетий крайнего упадка французской литературы, не только в области идей, но и в области литературного стиля. Ее отсталость разительна, при сопоставлении с литературой скандинавской, американской, английской и русской; французский писатель устал.

Но мы, иностранцы, действительно недостаточно знаем среднюю Францию, которой приписываем черты неустойчивости и легкомыслия, — вывод из прочитанных романов.

В ее городах мы видели легкий пробег автомобилей; но вот сейчас мимо моего окна вереницей тянутся битюги, запряженные в шитые, на век вперед, одноколки, — сегодня в городке перепись и медицинский осмотр лошадей. В больших городах трепыханье ущемленных партийных склонностей и мнений, — здесь, в сердце Франции, прочное, приземлившееся ожидание, готовность упорствовать в сохранении своего лика, своего быта и прочной веры.

Мы видели и знали политическую накипь, парламентскую возню, смену лиц и влияний, халтуру идеологий; это не была та Франция, которая цепко держится за свою землю, свое хозяйство и чтит каменную кладку своей истории. И нам, конечно, придется переучиваться.

Двадцатилетняя слюнявая дурочка найдется в любом местечке любой страны. Нельзя, задев ее рукавом, увлекаться быстрым выводом о вырождении нации. Я благодарю судьбу, вынудившую меня изменить большому городу ради тихого полусельского приюта, случайной зеленой тюрьмы на берегу реки. Это дает возможность не только увидать лошадей, от четвероногого образа которых давно отвыкли глаза, но и узнать людей стойких и здоровых, непохо-

жих на столичных адвокатов, газетчиков, бульварных фланеров и публику кинематографа.

Там была на живую нитку шитая общественность, которая расползалась по швам от каждой искры радио; здесь прочный союз единого мышления и общей воли, согласие без лишнего сговора, на основе общих нужд и охотной взаимопомощи.

------

В статье академика из «Фигаро», на которую я ссылался, есть значительная фраза, написанная со всей осторожностью: «Униженная поза несовместима с мощным усилием выпрямиться, которое требуется от Франции».

Но мы не видали здесь ни разу позы унижения и не слыхали слов испуга или подобострастия!

Когда пришлось — мы укрылись в лес от артиллерийских снарядов, как укрываются от грозы; когда гроза пронеслась — мы вернулись к полевым работам.

В создавшихся новых условиях стесненного быта мы приспособились, не кланяясь, и чуждые звуки навязанных речей мы слушаем, учитывая их вынужденность и временность.

------

В нашей местности все родственники между собою, и только несколько застрявших из-за войны сторонних элементов портят впечатление полной семейственности. У мадам Жанет тридцать две кузины по обе стороны моста: двадцать две кузины свободны, десять оккупированы. Через этих последних, оккупированных кузин мы осведомлены о потусторонней жизни.

Одной из них особенно не повезло: ее обширный дом почти целиком занят чинами германской армии,

и только одна комната оставлена для хозяйской семьи. Жильцы ведут себя довольно мирно и питаются лучше хозяев, так как на той стороне все, что полагается, реквизировано, и население обложено родом подати: столько-то и столько-то всякого продукта должно доставляться в военную комендатуру.

Гарнизонный офицер любит комфорт. Поэтому солдат принес хозяйке огромный кусок сливочного масла с указанием, что ежедневно по утрам хозяйка должна намазывать этим маслом столько-то кусков хлеба для господина офицера. Масло — предмет большой роскоши, и хозяйка исполнила приказ со всей благоразумной экономией: размазав тонкий слой масла на толстом куске хлеба, как даже в хорошие времена приготовляла для членов собственной семьи. Но солдат вернулся и знаками объяснил, что это неправильно, масла мало. Тогда кузина применила другой прием, и офицер остался доволен: масла было больше, чем хлеба.

У нас этот рассказ произвел большое впечатление: вот как едят немцы!

Все ли они так едят — не знаем; сомневаемся. Мне же этот рассказ кузины понадобился для сопоставления с прочитанной в газетах заметкой о проектах образцового питания германской армии.

«В ближайшее время, — говорится в этой заметке, — германский солдат будет самым сытым солдатом на свете. Ученые Германии делают бесчисленные опыты производства синтетических продуктов, и их достижения огромны. На днях был изготовлен торт на масле, добытом из каменного угля, и приглашенные эксперты признали торт великолепным. Разумеется, широко применяется также соя. Особенное внимание обращено на достижение возможно малого объема продукта при его усиленной питательности, что очень облегчает транспорт, и т.д.

Короче говоря — знаменитые кубики и пилюли, о которых говорили так много еще в начале века одно-

временно со знаменитым проектом (в эпоху Русско-японской войны) перевозки солдат в замороженном до определенного градуса виде на дальние расстояния, как перевозится рыба, оживающая при отеплении.

Человек ест из потребности и ради сытости. Но сверх того человек любит поесть: пожевать, посмаковать, а то и набить брюхо до отказа. Солдат — человек. И мы здесь видели, а кузина видит и по сей час, как не удовлетворяют германского солдата кубики и синтетические пилюли.

Когда мы были «завоеваны», наши магазины наполнились солдатней, с германскими марками и французскими франками в кармане. Эти солдаты уже прошли половину Франции, правда — спешно и без долгих задержек, но все же с полной возможностью попользоваться продуктами, о которых они давно забыли. Их менее всего привлекали консервы, больше всего — шоколад, конфеты, печенье и шампанское. Не вообще вино, и не крепкие ликеры, а дорогое шампанское, которое им обходилось дешево, пять пфеннигов за франк.

Они покупали шоколадные плитки горками и объедались до тошноты. Охапками уносили печенье и набивали им карманы. Конфеты они грызли, как орехи, и облизывали сладкие пальцы. Что до шампанского, то они не всегда доносили бутылку до дому и часто раскупоривали ее тут же, в магазине, лакая шипучую жидкость через горлышко, переполняясь газами, отрыгивая, проливая вино на гимнастерки. Бутылками были усеяны улицы, кучи бутылок валялись на лесных полянках, и когда наши оккупаторы ушли, все квартиры их недолгого постоя были завалены бутылками, иногда допитыми только до половины: больше не ушло в человека.

Один инженер, проехавший сотню километров по линии германского наступления, утверждал, что можно составить немалый капитал, собрав в грузовики

разбросанные по дорогам и лесным опушкам пустые винные бутылки, преимущественно от шампанского.

Это не только гурманство и совсем не жадность. Это — естественная реакция после долгого сидения на «синтетической» пище, на точно рассчитанном количестве необходимых человеку витаминов, на «самом здоровом режиме», на омерзевшей сое и тортах из каменного угля. Даже после очень сытного обеда неплохо съесть ломтик рокфора или горгонзолы и выпить чашечку настоящего черного кофею (был такой продукт в давние времена, ныне нами позабытый). После обеда синтетического хочется, очевидно, набить оскомину сладким шоколадом и залить пьяным шипучим напитком.

Поэтому, вероятно, и офицер, жилец кузины мадам Жанет, зная, что скоро придется расставаться с нашими краями, обильными молоком и маслом, и переходить на кубики и пилюли, изобретенные учеными Германии, торопится есть тартинки, в которых масла больше, чем хлеба.

Он вонзает в верхний слой тартинки верхнюю челюсть, которая входит легко и без препятствий, лениво надкусывает нижней челюстью слой нижний, не представляющий особого интереса, и, помогая языком, упихивает эту несинтетичную, но симпатичную пищу в глотку и далее.

И в эту сладкую утреннюю минуту не напоминайте ему о кубиках и пилюлях, лучшем питании лучшей в мире армии!

———

Представьте себе простого сельского человека, который читает газету. Его пальцы с большей легкостью управляются с тяжелой мотыгой, чем с листами бумаги, его мозг не приспособлен к изворотливой мысли и чтению между строк. К печатному слову он относится с осторожностью, но почтительно: пишут

люди образованные и осведомленные. Могут, конечно, и они ошибаться, могут иногда сознательно водить нашего брата за нос, но все же это не бабья болтовня у ворот. Притом сейчас существует цензура, которая должна следить за тем, чтобы человек не очень завирался.

Он начинает чтение с военной хроники. Берлин сообщает, что германский воздушный флот проник куда хотел и причинил огромный урон англичанам, разрушив военные заводы и аэродромы, сбив несколько десятков самолетов и потеряв только два своих; в ту же ночь английский флот сделал попытку налета на Германию, но был прогнан и лишь сбросил несколько бомб в чистом поле, убив корову и кролика. Лондон, со своей стороны, сообщает, что в Англии ночь прошла спокойно, потерь почти нет, а воздушный английский флот сделал удачный налет на Берлин. Все самолеты, вернулись на свои базы, вражеских сбито двенадцать штук.

Дальше он читает, что хотя Германия и обобрала дочиста завоеванные страны, но голод в ней продолжается вследствие суровой английской блокады. Однако из других источников сообщается, что Германия, парализовав действия английского морского флота, блокировала, в свою очередь, Англию и лишила ее всякого подвоза.

Передохнув, он переходит к сведениям характера дипломатического и опять недоумевает, как это удается любому дипломату любой стороны, куда бы он ни приехал, встретить сердечнейшее отношение и полное согласие с его предложениями, в то время как его противник повсюду наталкивается на кислоту отношения и уклончивый ответ? Затем каждый из них едет или летит дальше, страшно довольный своими успехами, о подробностях, впрочем, помалкивая, как и полагается хорошему дипломату. Что касается СССР, то союз его с Германией прочен и неколебим, хотя есть основания предполагать, что он его мо-

жет нарушить в любой удобный момент и уже стягивает войска к границам.

Голова читателя пухнет, и он идет ее проветрить: пашет, боронит, мотыжит, унаваживает, сеет. И уж тут все верно и без обмана, и каждый час труда окупится что у него, что у его соседа, друга или врага, в равной мере.

------

Три года тому назад один французский иллюстрированный ежемесячник («Crapouillot», juillet 1937) посвятил целый номер подбору образчиков морочения головы или, по французскому выражению, забиванию черепа (le bourrage de crânes). Подбор примеров был поистине изумителен, и для периодов военных и для мирного времени. Никаких комментариев — только цитаты из газет и журналов и из них же иллюстрации и карикатуры, при полном беспристрастии отношения. Лишь несколько вскрыты приемы информационной кухни, — ловкий монтаж старых фотографий, фантастические интервью и прочее. В свое время все это читались и рассматривалось доверчиво и с восклицаниями ужаса, радости, удивления; затем оказывалось сознательной ложью или просто нелепостью, — но читатель уже переходил к новым сенсациям, забыв о прежних и не занимаясь их проверкой. Таковы же «исторические фразы» и патриотические восклицания, свидетельства о «войсках, рвущихся в бой», о героическом ликовании матерей, сыновья которых «пали жертвой долга», о сожалении раненого, что лишь одну ампутированную ногу он возложил на алтарь победы. Великолепен, например, монтаж фотографии русской коровы, которая в прошлую войну подняла на рога германский аэроплан, снизившийся на вражеской территории и хотевший снова подняться (иллюстрация французской газеты). Для изображения немецких зверств в Польше использована

фотография одесского еврейского погрома — только надписи переделаны. Превосходна беседа корреспондента газеты «L'Humanité» с советским рабочим, родившимся в 1805 году, женившимся 80 лет от роду на 30-летней девушке, народившей от него детей (последняя дочка в 1905 году), 100 лет от роду поступившим в школу, а 130 лет с наслаждением читавшим «Правду» и «Большевик», свои любимые газеты. С другой стороны, не менее талантливо писалась в 1919 году о реквизиции в России молодых девиц от 16 до 25 лет для потребностей Красной армии («Matin») и об общей национализации женщин в СССР.

Нам уже не кажется странным и неприличным, когда орган печати в своих рекламах называет себя «свободным, искренним, независимым, правдивым», — мы только пожимаем плечами и недоверчиво настораживаемся, как если бы к нам подошел незнакомый человек и, отрекомендовавшись, присовокупил, что он не утащит у нас из кармана ни кошелька, ни даже платка. Но в наше время к печатной лжи прибавилась ложь эфирная, которая нам преподносится не в бесстрастном начертании букв, а убедительным голосом. А так как волны радио не считаются с границами, а беззастенчиво входят в любой дом любой страны, так как ими пользуются как сильнейшим орудием пропаганды, то неправда стала обязательной, до известной степени стратегическим приемом.

Может возникать вопрос о степени лжи, о ее наглости или ее ненужности, но чистая правда давно уже немыслима и в политике, и в деле военном.

Когда один, мягко сказать, преувеличивает, другой вынужден поступать так же, иначе средний вывод читателя и слушателя всегда будет не в его пользу. Когда почти все женщины красят губы, цвет губ ненакрашенных кажется неестественным и болезненным.

Мы настолько привыкли ко лжи, что чистосердечное признание нам кажется подозрительным: не кроется ли под ним еще больший провал или нераскрытое преступление? Мы пробегаем строки и прослушиваем слова; но выводы наши делаем по прочитанному между строк и замолчанному говорившим.

Для нас ложь, собственно, уже перестала быть ложью, то есть сознательным обманом: принимая ее как закон и обычай, мы можем обманываться только в ее процентном исчислении. Для нас — жителей большого города, привычных политиков.

Но она еще смущает и тревожит обывателя тихого местечка и человека от земли. Ему очень хочется, ему необходимо кому-нибудь и во что-нибудь верить, на что-нибудь и кого-нибудь полагаться.

Верить некому. Положиться не на что. Извне сюда приходит только обман. И правда остается только в земле, в труде, в общении с ближайшими людьми, доказавшими свою правдивость долголетним добрососедством.

------

«Историческая встреча», от которой будто бы зависят ближайшие судьбы Франции, встреча вождя побежденных с вождем победителей — произошла неподалеку от наших мест. Как люди простые, но деловые, мы от этой встречи ожидали не очень многого, но очень для нас важного, например, немедленного освобождения того берега реки и, следовательно, принадлежащих нашим согражданам земельных участков по ту сторону. И сроки для этого назначали также «исторические», например 5 ноября, день выбора президента американских штатов, или 11 ноября — день перемирия 1918 года. Со сроками мы ошиблись, но надежд не теряем.

Конечно, всякий прошедший день принадлежит истории, но не всякое событие достаточно для ее крутых поворотов, и не следует торопиться с

оценками. Много моментов, окрещенных историческими, кануло в пучину полного забвения, как немало поворотов под острым углом ускользнуло от внимания усердных наблюдателей и оценщиков только потому, что не сопровождалось барабанным боем. Лояльные граждане, мы охотно выполняем данный нам свыше совет доверчивого ожидания. И, не заглядывая нескромно в будущее, мы вспоминаем о прошлом.

Прошлое Франции насыщено историей, и нет маленького местечка, которому было бы нечем гордиться; если это не замок, то башня; если не церковь, то хотя бы колокольня. Наш городок состоит под покровительством святого Фальера (Phalier), который здесь жил, умер и покоится в гробнице местного собора. Он был чудотворцем, и Людовик XI, очень боявшийся болезней и смерти, не раз обращался к святому за помощью и даже обещал за это на весь срок своей жизни избавить жителей городка от тяжелых личных налогов. Соответствующая королевская грамота до сих пор сохраняется в Парижской национальной библиотеке.

К сожалению, в самом городке не сохранилось никаких архивов и документов, относящихся к его истории, и единственное, что мне могли предложить в муниципии по исторической части, это — разрозненные томы сочинений Александра Дюма, ни разу не упомянувшего в своих романах наш город.

Впрочем, я и не решился бы снова углубляться в дебри истории. К счастью, для более позднего ее периода, при исключительной живучести местного населения, достаточно свидетельских показаний. Одна здешняя дама мне сказала:

— Если вас интересует история города за последние пятьдесят лет, то обратитесь к моей матери, — она все знает и все помнит.

Но она знала и помнила только историю семейную, правда — всех местных жителей, так как со всеми

связана близкими или далекими узами родства. Она хотела также рассказать мне в подробностях историю прошлой мировой войны, но я не настолько молод, чтобы нуждаться в освещении столь недалекой эпохи. Тогда она сказала:

– Вот вы часто бываете на реке, удите там рыбу. Не встречали вы там старушку, которая пасет коз? Поговорите с ней!

Старушка найдена. Она ничем не замечательна и похожа на десятки таких же старушек, одетых в дюжину юбок и не расстающихся с вязальными иглами. Вяжет она на ходу, так как ее козы, обгладывающие кустарники, не сидят на месте.

Ей 82 года, если, конечно, она не делает скидки. О, в молодости она была хороша собой, так хороша и так рано развилась, что родители побаивались за нее, когда пришли сюда немцы...

– Какие немцы?

– Ну, в ту войну, в позапрошлую.

Тогда ей было двенадцать лет. Немцы подошли к реке, и каждый день можно было ждать, что они займут городок. Пронесся слух, что немцы забирают себе всех молодых и хорошеньких девушек. Так все были напуганы, что решили самых красивых девушек попрятать по чердакам и там держать, пока пройдет опасность. Запрятали и ее. Все это она помнит, ну как если бы вчера это было. Сидели несколько дней, и пищу им туда приносили, и носа они оттуда не высовывали. Сначала было сидеть занятно и весело, потом надоело.

– И пришли немцы?

– А как же, пришли.

– Что же они делали?

– А то же, что и нынешние. Все забрали: коз, коров, кур, яйца, сыр. Но пробыли недолго, меньше, чем теперь, и ушли обратно за мост, там и остались. Девушек не тронули.

– Докуда тогда доходили немцы?

– До памятника, мосье, до самого памятника павшим за отечество.

– Да ведь памятника тогда не было?

– Памятника не было, а доходили они до этого места. И то только один солдат до него дошел, остальные не успели.

– И что же еще было?

– Еще что? А ничего больше и не было. Постояли за мостом, а потом совсем ушли. И нынче так же будет: постоят и уйдут.

Больше ей нечего рассказывать.

– А как же вы жили тогда, когда были вы девочкой?

– Так и жили. Родители работали, а я пасла коз.

– Где пасли?

– А где же пасти? Здесь и пасла.

– Так всю жизнь и прожили?

– Так и прожили. Хорошо прожили. И еще поживем, сколько доведется.

Я, было, разочаровался – что же это за рассказ о былых временах? А потом подумал: да ведь это же и есть история, самая подлинная история в трех словах.

– Постояли и ушли.

А были и тогда «исторические моменты», события, встречи, календарные даты. Менялось лицо Европы, сокрушались границы, лилась кровь, «войска рвались в бой», произносились округленные фразы. А что, собственно, случилось? Там, где пасла коз девушка, теперь пасет коз она же, став старше на семьдесят лет. И козы – прямые потомки тех коз, и обгрызают они листья того же колючего боярышника, и жизнь, привычно работая спицами, вяжет теми же петлями ту же шерстяную вязь.

Только на пустом месте, до которого тогда дошел один солдат, полувеком позже, после новой войны, поставлен памятник, который в еще новую

войну, в минувшем июне, начисто снесен артиллерийским снарядом.

Историческая беседа закончена.

------

Шаркая войлочными туфлями по асфальту или песку улиц, мадам Жанет, спешащая на базар, кидает встречным отрывочные фразы:

– Пятнадцатого декабря!

Это – новый срок, сменивший пятое и одиннадцатое ноября, дни несостоявшегося ухода немцев.

– Слышали? Пятнадцатого декабря! – повторяют встречные встречным.

И к вечеру мы уже все знаем, что теперь нам осталось ждать сравнительно недолго. Правда, с отходом немцев ослабеет и наша осведомленность, так как отодвинется граница, и капитан кузины мадам Жанет переменит местожительство, но мы идем на это охотно. Мы ничего не будем знать, как ничего не знают живущие в больших городах незанятой Франции: в Монпелье, в Лиможе, в По и даже в Виши. Вся надежда останется на каменщика, перевозящего багаж беженцев в Париж. Но мы вздохнем легко, когда наша река и наши участки на том берегу опять вернутся в полное наше распоряжение.

Разве эта сверлящая наш мозг мечта не разделяется всей Францией? Или вы думаете, что нам достаточно получать от родных из той зоны печатные открытки, на которых самое любопытное вытравлено таинственной жидкостью германской цензуры? Или вам не известно, что все свекловичные поля и сахарные заводы остались там? Правда, здесь находятся все мыловаренные, но их производства мы не видим, оно загадочно исчезает, эмигрируя в неприятельскую сторону по нам неизвестным причинам. Во всяком случае, знайте, что наша грудь, грудь Франции, перерезанная пополам,

кровоточит и страдает. Тут не одни практические соображения, мы не эгоисты, мы граждане, мы патриоты, мы, лишь временно затаившие свою боль и свои обиды. И мы ждем первого шага к освобождению.

Офицер кузины мадам Жанет сказал:

– Никаких распоряжений нет. Но когда будут – мы, конечно, лишнего дня не останемся. Вы понимаете, мадам, что и нам хочется быть ближе к дому. У меня остались в Германии жена и дети.

Это трогательно и нас примиряет. Он посылает своей жене наше масло; мы не можем посылать много нашим пленным, от которых так редко приходят известия.

Мы очень страдали бы, если бы время от времени неизвестно как и почему родившаяся дата не обещала нам перемены положения. Почему эту дату мы перенесли на декабрь? Потому, конечно, что это ближайший месяц. Почему на пятнадцатое число? Но вы понимаете, что в выборе срока мы не властны и зависим от согласия победителя, а победитель придает большое значение этому числу: 15 сентября должна была сдаться гордая Англия, затем ее падение было отложено на 15 октября, затем еще несколько затянулось. И, во всяком случае, середина месяца – приметная и удобная дата. Кроме того – близость Рождества. Нам так хотелось бы праздновать его с легкий душой, а может быть, и в кругу родных, с которыми мы сейчас разделены.

Муниципальный барабанщик ничего не может сообщить. Когда мэр города распорядится – будет всем объявлено; а пока и сам мэр не знает. Жандарм тоже не знает, он советует помалкивать. Подробнее высказывается содержатель дровяного склада, человек положительный и не чуждый высокой политики: «Они там хотят устроить новую Европу. Пожалуй, к пятнадцатому числу будущего месяца не

поспеют. Я вон и с дровами не могу управиться. Машина без бензину, а на лошади всего не перевозишь».

------

От таинственного срока нас отделяет целый месяц: уже середина ноября. За последние шесть месяцев природа делает для Франции все, что может: весна, лето и осень изумительны, и я провожу часы на берегу реки без пальто. По вечерам луна скользит по прозрачным облакам, и городок, с силуэтами его готических крыш, похож на выставку маленьких пирамид. В ветреные дни высокие и уже безлистые тополи гудят, и в их шуме можно услышать и стук поезда, и говор толпы, и возмущение, и жалобу, и протест, — все, что подскажет фантазия.

Мир велик, и непонятно, почему именно это затерянное местечко оказалось нашим убежищем; еще недавно даже имя его было нам неизвестным. Есть десятки, может быть, сотни мест на земном шаре, где жить было бы так естественно и легко объяснимо, географические имена которых знакомы с детства и полны определенного содержания: с иными из них связывает родственность (не хочу говорить — национальность), с другими культура. С тихим местечком Франции нас связал случай и человеческое сумасшествие.

Это не жалоба на судьбу; она, судьба, делает что может: знакомит с миром в его великом и малом, в его логике и его нелепостях. Нельзя не благодарить ее за усердие, хотя очень часто она преувеличивает.

Не вижу особого труда привыкнуть к хибарке с кирпичным полом. Труднее мириться с тем, что сейчас испытывает вся Франция: с оторванностью от всяких внешних проявлений развития человеческого духа.

Нет науки — есть только попытки не дать умереть служившим ей организациям и учреждениям.

Нет литературы — остались безработные писатели, не знающие, как им перестроить свое сознание.

Нет никаких искусств — висят картины старых мастеров и еле звучит музыка ушедших дней.

Через внезапно выросшие стены никто не перебросит к нам ни новую книгу, ни иностранную газету, ни отрывок мелодии, сложенной каким-нибудь далеким композитором, не оглушенным разрывами бомб и воем сирен.

В области оставленных нам неизношенных еще идей — поворот под острым углом, — поворот вынужденный, искусственный, никого не убеждающий и ни в ком мыслящем не вызывающий сочувствия и удовлетворения.

Здоровому, но связанному по рукам и ногам человеку вливают в рот лекарство, и он детским жалобным голоском пытается уверить своего коновала, что поправляется и возрождается к новой жизни. Но, конечно, втайне он мечтает съесть бифштекс с поджаренным луком, порвать путы своих рук и дать коновалу в зубы.

------

Вернемся, впрочем, к картинам природы. Луна, ныряющая в ледоход облаков, ударяется головой в темную тучку и, в бессилии сразу выплыть, серебрит ее края. Так как при желании можно увидать в небесных проказах любые очертания, то в темном пятне я подмечаю довольно правильную карту Европы. На изрезанных берегах полусветы, на материке мрачность. Это и есть предумышленный и предуготовленный рай, новое откровение. Но какие силы дремлют в затоптанной земле? Она отлично унавожена трупами, и она лежит под паром. Этот зимний покой принять ли за смерть живого? Что

дальше? Придет огородник и насадит капусту линованными рядами, похожими на улицы Берлина? Слепая уверенность того, кто не знает силы неумирающих корней! Нет, нужно верить в весну — или уж ни во что больше не верить, тогда и не жить. Упорству живого духа мы не знаем пределов. Одно из чудес человеческого строительства — Ангкорский храм; но и его развалины давно обвиты свободными и цепкими лианами, заросли стволами деревьев.

Мы видим на глобусе знакомые изгибы границ, условные цветные пятна, черные змейки рек с притоками, мушьи точки городов. Мертвые символы! В действительности это — родящая земля с обиталищами живых людей. И у живого свои замены. Чехия, Польша, Норвегия, Дания, Бельгия, Франция, — но лучше читать так: чехи, поляки, норвежцы и так далее. Чехи, гордящиеся старой культурой, поляки — историческими невзгодами, норвежцы — упорством труда; у каждого народа свое лицо. Директор нового института красоты хочет всех их причесать под один «индефризабль», — привязав к креслу и завязив их кудри в щупальцы спустившегося с потолка железного спрута. И причешет, пожалуй! Но волосы отрастают не у одного Самсона, а искусственные кудри размывает время, гребенка и дождик. Не швыряйте устарелого словаря идей — он еще пригодится не для одних исторических справок!

В Париже жили когда-то паризии; жались кучкой на острове, обмываемом Сеной. В разное время там побывали римляне, гунны, норманды, русские, англичане, пруссаки, и не как гости, а как хозяева и благодетели. Там и сейчас парадный прием. Не знаю ни одного француза, который думал бы, что капустная сигара лучше родного свирепого «капораля», разлагающего даже глиняную трубку! И не найдете ни одного, который променял бы маленького Беранже на великого Гете. Время лечит раны —

порошок выводит тараканов. И только потому отложим в сторону образы и язык Эзопа, что не хочется быть патриотами за чужой счет.

Это не мысли; это — наблюдения. Одно бубнит радио, другое видит глаз; и видит не только в облаках, где скользит луна, но и на земле, где не спеша рыхлят почву и выжимают вино терпеливые люди.

Мы живем в самом сердце Франции, и часто сердце чувствует иначе, чем мыслит голова; но и голова не всегда говорит то, что она думает. Или — будем справедливы — она подбирает выражения. Я очень люблю язык этой страны! Он не богат, но отлично сработан. Его фразы легко переводимы; но в нем есть оттенки, в которых только француз вполне понимает француза, для других прегражден вход в языковое святилище. Именно поэтому, чтобы не очень расшнуровываться, всякие французское письмо кончается одинаково: «Veuillez agréer, Monsieur, l'expression...»* Так можно писать и другу, и лютому врагу.

Как ни прекрасна погода, но и она переменчива. Луна, выкупавшись досыта в серебре облаков, окончательно нырнула в темный провал неба. Из французской хибарки тянет русскими щами, — и есть полный смысл временно прервать наблюдения.

## VIII

Пришла, наконец, зима, настоящая зима. Затвердела земля. Остатки зеленой травы, голые ветви деревьев, черепичные крыши, валик и цепь примитивного колодца, дверь нашего домика, выводящая из комнаты прямо на улицу — все покрыто по утрам белым инеем.

Природа прекрасная, и было бы можно любоваться зимним изданием картин природы, если бы здесь умели жить зимой, — как умеют в России. Но фран-

* «Примите, сударь, заверения...» (*фр.*).

цузский быт не приспособлен к тому времени года, которое в северных странах доставляет столько очарований; зима здесь — очередная неприятность, холод — несчастье, притом всегда словно бы неожиданное и непредусмотренное. Мне это напоминает девицу в короткой юбке, тонких шелковых чулках и ажурных туфельках, которая бежит по улице, полусогнув ноги в коленках, дрожит, старается улыбаться и уверена, что так это и должно быть, что законы моды выше законов природы и что современная женщина покрыла бы себя несмываемым позором, надев фланелевые панталоны, валеные ботики и шесть юбок, как надевали наши бабушки. Я часто себя спрашивал: как же это французы не простужаются, не наживают хронических ревматизмов, не подрывают себе здоровье на всю жизнь? И оказывается, что это очень просто: они простужаются, страдают ревматизмами и посильно себя калечат. И удивляться решительно нечему.

Нынешняя зима, как бы ни была она мягка, будет жесточайшей и памятной. Мы, деревенщина, жители лесов, как-нибудь протопимся и проживем. Мы выскакиваем по утрам из-под одеял и, танцуя, бросаемся к печкам и печуркам. И когда разгорается огонек — можно жить и улыбаться, не весело, но не так уж и кисло. Но мы — счастливое исключение, при всей неприспособленности здешних домов и хибар. В больших городах начались великие страдания: думают и говорят только о холоде в домах, и только о холоде пишут в письмах. Пишут одинаково из Парижа и из городов свободной Франции, с севера и с юга. Жизнь в нетопленых домах страшнее отсутствия сахара и жиров; но когда одно соединяется с другим — жизнь становится нестерпимой мукой.

Русские — нежелательные, во всяком случае — надоевшие иностранцы. Какая ошибка, какое заблуждение! Именно сейчас они могли бы быть бесценно полезны своим огромным опытом революционных годов!

Разве не нам, русским, принадлежит слава изобретения так называемых «пчелок», жестяных печурок, которые выделывались из магазинных вывесок, похищаемых по ночам, при лунном свете, и топились газетой, свернутой в жгут?

А наши «гофрированные печки», плоские и глубокие, с трубой, выведенной за окно, печи, на которых готовится обед на троих с помощью одной тонкой ножки венского стула, — и обед прекрасный, из целого ряда блюд: 1) суп из картофельных очистков; 2) жаркое из покойной извозчичьей лошади; 3) пшенка на колесной мази; 4) селедка, копченная в самоварной трубе ароматным дымом еловых шишек; для согревания — горячий настой брусничного листа, корней одуванчика и приятной травки, называемой медвежьим ушком.

А наши лампы, в которых драгоценный керосин расходовался не больше литра в три месяца: заткнутый пузырек с продетым в пробку старым шнурком от башмака!

А наш хлеб 1921 года, в котором ценнейшей примесью была лебеда!

А наше мыло из песку, наши шляпы из сукна письменных столов, штаны и блузы из портьер!

Наши знаменитые заплечные мешки, без которых не выходил на улицу, в поход за съестным и за служебными «пайками», ни один уважающий себя человек, хотевший продлить на неделю существование!

Трепещи, Европа! Многолико «безумство варваров», и не от одной «восточной дикости» могут страдать народы, — к не меньшим бедам приводит и «реальная политика». Не потому ли сейчас так улыбается северный медведь, сменивший недавнее безумство самым реальным благоразумием?

Было бы исторической несправедливостью, если бы то, что выпало на долю России, не испытали и народы Запада в какой-нибудь мере. В какой? Не в большей

ли? Перед чем стоим мы, дрожа от холода лишь во вторую зиму войны, которую историки, за использованием слова «великая», назовут величайшей?

Но угрожать не нужно: Европа и без того трепещет!

------

Так, гордо накричав, мы немедленно снова сжимаемся в комочек, потому что кричим не из равнодушного «оттуда», а из горящего дома.

Если бы каждый текущий день не подготовлял нас ко дню завтрашнему, если бы мы не каменели с постепенностью органических почвенных отложений и не обрастали бы наши сердца и наши мозги защитной коркой из рога и шерсти, все менее проницаемой, если бы кто-нибудь из нас, незнающий и счастливый, проспав год, впервые проснулся сегодня, — он так и остался бы счастливым, сегодня же сойдя с ума или взяв билет на тот свет.

С безумием свыкаются.

Сначала оно наблюдательно летает над вашей головой, затем швыряет огонь в вашего соседа, пока, хорошо наметившись и наметавшись, не нацелит стотонную тыкву в несросшуюся макушку вашего собственного младенца. Вчера — окраинный завод, сегодня — жилой дом на случайной улице, а завтра вы сделаете большую ошибку, зайдя замолить грех в старинную церковь в центре родного вашего города.

Не помню, в каком «утопическом» романе в один день разрушаются столицы взрывом радиоактивной, бесконечно разрывающейся бомбы. Автор шутил, автор выдумывал пустяки, он не хотел пугать, — он сам сейчас закричал бы «чур меня» от перепуга. Для сегодняшнего дня он несколько преувеличил — завтрашний день его обгонит. Сбиты три самолета. А может быть, четыре — велика разница? Только пятеро молодых людей не будут жить, да лишних

двадцать родных в слезах и трауре! Отбросим чувствительность, и ужасное преступление становится подвигом. И так живем мы, в преступном мире с оледенелым сознанием.

В главном породе нашего департамента на днях судили беженку, убившую обрубком дерева свою малолетнюю дочку. Убив — похоронила; похоронив — хотела покончить и с собой, но не сумела. В общем — пустяк из беженской жизни, рядовой случай. Чем окончился суд — не знаю, может быть, даже оправданием; но начался он, конечно, тюрьмой. Беженка убила только одну девочку, и убила в дни, когда по небу летали над дорогами мальчики и убивали из пулеметов и девочек, и взрослых беженок, их матерей. Беженку посадили в тюрьму, мальчики продолжают летать. Она — преступница, они — герои. Вы морщитесь и говорите: «Да, но какая же это параллель! Совершенно разные явления». Я всматриваюсь в ваше лицо и вижу клыки, рога и струйку крови, стекающую с языка. Я тоже делаюсь зверем и готов, взметнув топор, всадить его между вашими рогами. Как трудно вообще понимать друг друга! Затем мы рассаживаемся по своим креслам, читаем газеты и отвечаем на вопросы о новостях: «Ничего особенного, все то же, налет немцев на Лондон, англичан на Берлин».

А может быть, мы — пещерные жители? Не хочу вас обижать, но щупаю свою голову; мне кажется, что у меня неандертальский череп!

———

Интересы бывают экономические, политические, научные, художественные и другие. Но у нас, обывателей тихого местечка, затерянного на географической карте Франции, бывает только один интерес — житейский, который мы не разлагаем на составные части, хотя в каждый данный день он может соответственно ме-

нять оттенки. Сейчас в нем преобладают два вопроса: о том, как и чем поддерживать огонек в печке, чтобы можно было шевелить пальцами, и когда отойдут подальше от нас завоеватели.

Любопытно, что те же вопросы занимают и завоевателей. С одной стороны, не приходится жалеть чужого леса, с другой стороны, война не была подготовлена на зимний сезон, а предполагалось рядом блестящих ударов закончить ее к осени.

Это было заявлено настолько громко и убедительно, что и сейчас, в декабре, солдат оккупационного отряда удивляется, почему его недостаточно греет гимнастерка.

Сверх того, у каждого человека, какой бы он ни был национальности и чем бы ни занимался, есть на свете место, где все его навыки и потребности получают наибольшее удовлетворение. Это место называется домом, торжественнее — родиной.

Мадам Жанет, которую я неоднократно рекомендовал как наилучший источник наших сенсаций, мадам Жанет, имеющая постоянный пропуск в «ту зону», где живет одна из тысячи ее кузин, — эта мадам Жанет удивилась сама и удивила нас сообщением, что германский офицер, раньше любезно сообщавший ей последние новости, разумеется, не представляющие большой военной тайны, на этот раз сам обратился к ней с вопросами.

Поеживаясь в шинели на рыбьем пуху и потирая германский нос немецкими пальцами, он спросил мадам Жанет, не слыхала ли она на той стороне, когда предполагается отвод отрядов оккупации в пределы меньшей от дома удаленности, например хотя бы к Парижу?

Мадам Жанет ответила:

— Нам пока точно неизвестно, но могу вас уверить, господин офицер, что мы не меньше вашего этого желаем, причем, поскольку это зависит от нас, готовы и на большие уступки, вплоть до пол-

ного освобождения наших границ от вашего присутствия.

Так ему и сказала.

Мадам Жанет — человек разумный и неплохой дипломат.

Мадам Жанет уверена, что это было бы наилучшим соглашением интересов двух стран и двух наций, призванных ко взаимному сотрудничеству и пока в малом это сотрудничество проявляющих.

Мадам Жанет учитывает, конечно, всю трудность столь быстрого поворота политики и, в особенности, поворота чувств, еще недавно неприязненных. Но она возлагает упование, если не на общность целей, то на общность страданий, ее собственных, ее кузины и германского офицера, вместе с подчиненными ему солдатами, уже потребившими и истребившими в отведенных им пределах все, доступное потреблению на месте, увозу и отсылке на родину.

Эту весьма примечательную беседу мы обсуждали как в частном соседском собрании у ворот, так и в очередях за продовольственными карточками, а также в молочной, где цельное молоко отпускается теперь только для детей, взрослым же продается снятое, и фермеры не знают, что им делать с остающимися сливками, так как сбивать и продавать на месте масло выше положенной меры воспрещено, а транспорт его недостаточно налажен, да и не оправдал бы расходов. На последнем собрании мы решили единогласно: «Выслушав сообщение и одобрив поведение мадам Жанет, перейти к очередным делам».

------

В числе очередных дел у нас было намечено обсуждение еврейского вопроса, которое долго откладывалось за отсутствием в нашем местечке оседлых евреев. Однако с течением времени обнаружилось,

что есть еврейское семейство, эвакуированное из Эльзаса в общем порядке, но застрявшее в нашем городке в порядке частном, по случаю воспрещения репатриации евреев в Эльзас.

Так как мы уже давно свыклись с мыслью, что Эльзас перестал быть Францией, то и меру эту считали продуктом творчества иностранного, нашей идеологии не родственного.

Однако не так давно наша идеология была пересмотрена и исправлена, правда, — не нами самими, а теми, кто почувствовали право и призвание ее пересоздать. Декретов, нас лично не задевающих, мы здесь никогда не читаем, для этого нет свободного времени у людей, живущих по обычаям предков и не склонных специально изучать сложнейшую и лишь немногим доступную литературу законотворчества. Но мы читаем газеты и наблюдаем, с каким трудом, с какими невероятными и тщетными усилиями эти газеты стараются доказать, что ограничение прав граждан еврейской расы ничуть не противоречит великим традициям французской национальной и вероисповедной терпимости, а также является одним из условий выправления (redressement* — самое модное сейчас слово!) Франции.

И действительно, единственно искренними и последовательными остались только те органы печати, которые и раньше строили свое благополучие на антисемитизме; остальным, не имеющим навыка, приходится пользоваться чужими словами и чужими навыками в подборе и использовании матерьяла.

Чувствуется естественная стыдливость людей, которые как бы вынуждены с жестами благовоспитанности делать нечистое дело, танцевать в грязной луже, манерно подбирая белую кружевную юбочку. Защищая данный им лозунг, они в то же время выгораживают лично себя: «Я отнюдь не антисемит, но возможно

---

* Возрождение (*фр.*).

ли допустить...» и архивная справка о том, как один еврей оказался не только вообще нехорошим человекам, а и преступником.

Наиболее образованные приводят цитаты из Библии о предосудительном поведении Авраама, продавшего Сарру, о хитрости Иакова, сделавшего выгодную спекуляцию на чечевичной похлебке, о совершенно гнусном поступке Каина, до сих пор оставшемся безнаказанным. Но, конечно, отдается почтительная дань памяти Гейне и гениальности Эйнштейна (который, по ошибке, именуется Эпштейном), — и в то же время умалчивается об ученых и профессорах, вынужденных уехать в Америку, о врачах, адвокатах, потерявших право практики и работы.

Очень известный международный еврейский деятель, Вл. Жаботинский, умерший в нынешнем году, сказал однажды: «Мы дали миру гениев. Позвольте нам иметь хоть одного мерзавца!»

Но приводить ученые доводы могут там, в городах, в лабораториях по обработке общественного мнения реактивами германской марки. Нас, мирных обывателей, это ни в какой мере не касается. У нас свои суждения, хотя тоже основанные на фактах и наблюдениях. Так, например, мы знаем, что глава застрявшей в городке семьи не торговал своей женой, старший сын не убивал младшего, а спекуляция на чечевице вообще невозможна, потому что всю чечевицу съели немцы, и по ту и по сю сторону. Знаем также — и это обострило в нашем сознании еврейский вопрос, — что глава семьи, почтенный и еще не старый человек, внезапно умер, не то от болезни, не то от огорчения, и как теперь будет с его семейством — неизвестно.

Чужому горю, естественно, сочувствуют. Из этого совершенно не следует, что французские полугорожане-полукрестьяне воспылали юдофильством. С тою же отзывчивостью они отнеслись бы к горю и несчастью семьи греческой, турецкой или самоедской,

даже немецкий. В том-то и вся простота и высота их души, что никак они не могут усвоить себе идеи расовых различий и необходимости класть кого-нибудь под ноготь за то, что он нерасчетливо выбрал предков.

Издан закон — мало ли издается законов! И издаются законы обычно для того, чтобы кто-нибудь от них пострадал. Издаются, потом отменяются. И сейчас именно такое время, что приходится говорить не то, что хочешь, и делать не то, что сделал бы в обстоятельствах нормальных, по воле свободной.

И на собрании, у ворот мадам Дюбуа, опять же единогласно, выносится резолюция: «Считая опубликованную меру временной и явно вынужденной, собрание выражает сочувствие семье покойного и спешит разойтись по домам ввиду наступившего обеденного времени».

И, правда же, это решение честнее и более соответственно «великим традициям», чем оговорка тех стыдливых публицистов, которые, с одной стороны, не могут не признать, с другой — вынуждены поставить на вид, с третьей... кто знает, как все в будущем повернется и в каком они могут оказаться положении...

------

Есть в наших частных и общих собраниях одна черта, не отметить которую было бы несправедливо. Это — отсутствие склонности к самоуничижению, склонности довольно модной.

Если верить печати «той стороны», Франция последних десятилетий, может быть даже последнего века, не занималась ничем, кроме политических и хозяйственных ошибок, и вся ее история, начиная с великой революции, должна идти насмарку.

В таком обширном масштабе мы не можем ставить вопроса уже потому, что для него не хватит

пространства ни у ворот, ни даже на скрещенье улиц. Ограничиваясь историей более современной, основанной на документах, имеющихся у секретаря мэрии и барабанщика, мы решительно утверждаем, что ошибки были, не быть ошибок не могло, но нет оснований лишать страну ни чести ее далекого прошлого, ни доблестей более поздних времен.

Марианна, конечно, в трауре, но своих кораблей не сжигала и не отказывается ни от радостей жизни в будущем, ни от самостоятельности своей исторической роли.

На простом обывательском языке все это выражается иначе. Войну мы проиграли. Почему проиграли? Потому что не наготовили столько оружия и танков, сколько есть у Германии. Но разве тот народ только и хорош, у которого много пушек и танков? Этим не взяли — возьмем другим; еще неизвестно, чем дело кончится.

Всякое бывало и прежде — и Франция не погибла. Не погибнет и сейчас. Но собрание не может одобрить унизительных для Франции путей спасения. В верхах торгуются — и правильно поступают; есть такие, которые были бы готовы уступить по всем статьям из любезности и подобострастия к победителю. Нет, лучше уж перенести, что есть, перетерпеть и большее, но вперед не забегать и не расшаркиваться. Пошаркали, и довольно. Притом мадам Жанет решительно заявила, что рано или поздно, по ее сведениям, немцы отойдут от нашей реки. Почему отойдут? Потому что уже почти все съели, а что не доели, то заберут с собой. Германский офицер, между прочим, сказал ее кузине, которая отказалась взять плату за реквизированную для него квартиру: «Вы были любезны ко мне, мадам. В благодарность я дам вам совет: перевезите заранее в свободную зону все, что считаете особенно ценным, потому что, когда мы будем уходить, мы не уйдем с пустыми

руками. И вы понимаете, мадам, это будет зависеть не от меня...»

Очевидно — один из пунктов предложенного стране «сотрудничества». Но столь же очевидно, что с каждым днем пребывание здесь становится все более напрасным и не приносящим особых выгод. Не лучше ли подождать, пока оно не станет приносить чистый убыток? Тогда будет легче торговаться!

Вот почему по последнему пункту собеседования на собрании решено: «Считая терпение высокой гражданской добродетелью, занять выжидательную позицию, поручив мадам Жанет продолжать выполнение возложенных на нее дипломатических обязанностей. Ценные предметы из занятой зоны посильно вывезти в свободную».

Так поработав, мы расходимся, полные надежд. Что будет — то будет, но что бы не было, Франция не погибнет...

------

Не сомневаюсь, что лишения и страдания Франции, как и всякой другой страны, терпящей последствия войны, вызывают всеобщее сочувствие.

Не сомневаюсь, что человек, живущий в нормальных условиях жизни, ужасается, как люди могут жить, испытывая крайние ограничения в важнейшем, особенно в питании.

Не сомневаюсь и в том, что они, слыша и читая об этих лишениях, все же никогда не могут себе представить ясно, что это значит, до каких пределов недостаток в одном сказывается и на всем остальном, как жизнь постепенно крушится не столько в крупном и очевидном, сколько в мелочах, которые кажутся ничтожными, но в действительности определяют всю эту жизнь.

Я беру, к примеру, рядовую, ту, которая именуется «мелкобуржуазной»: минимум безбедного удобного существования, достаточного довольства.

Вы просыпаетесь в привычный для вас час. Встаете, берете ванну, бреетесь, одеваетесь, выходите из дому или работаете дома, получаете и пишете письма, завтракаете, встречаетесь, с людьми, читаете, обедаете, так или иначе проводите свой вечер и ложитесь спать. Обычный средний день, без роскоши, излишеств, чрезвычайных событий, но и без лишений.

И вот в него вводятся поправки.

Вы выспались — если вас не мучили мысли и не беспокоил холод. Встать очень трудно в нетопленой комнате, и вместо размеренных движений вы должны двигаться преувеличенно (например, танцевать), чтобы хоть сколько-нибудь согреться. Не пытайтесь выработать в голове план сегодняшнего дня, если не догадались сделать это еще в постели! Идите скорее пить ваш кофей.

Вы знали кофей прежний, настоящие, черно-бурые, хорошо пережженные и перемолотые зерна. С этим вы простились навсегда. Понемногу вы привыкли к подозрительному порошку, еще сохранившему тот же запах, — но это тоже в прошлом. Вы свыклись и с разными иными суррогатами, которые прежде презирали, сейчас и они стали роскошью. И вы пьете — если способны — нечто, чему нет названия и что сохраняет лишь цвет прежних напитков.

От сливок, буржуазного предрассудка, вы перешли на хорошее молоко белого цвета. Затем оно посинело, став снятым; затем вообще исчезло. Но вы храните в памяти образ коровы, полезнейшего из домашних животных.

Вы клали два куска сахару; затем — один. Затем перешли на сахарин. Но и сахарин кончился. Впрочем, в древности люди не знали сахара, а жили прилично.

Вы не лишены хлеба. Раньше это были вкусные булочки, затем простой хлеб из пшеничной муки. Затем хлеб стал сероватым, наконец, совсем се-

рым. Наполовину он из бобовой муки. Его запрещено продавать свежим — только вчерашним! Ваша порция уменьшается в объеме и весе. Иногда хлеба вообще нет, — и состояние вашего кошелька тут не при чем, и совесть ваша спокойна.

Вы, может быть, любили сливочное масло? Забудьте об этом раз навсегда! Об этом говорить не стоит.

Предположим, что вы сидели за столом в халате — лишь умывшись. Теперь можно побриться и одеться. Вы счастливы, если не ощущаете недостатка в мыле, годном для стирки белья. Но от ванны пришлось отказаться, — горячей воды не может быть даже в лучшем и наиболее благоустроенном доме. Вы можете побриться, если сохранился запас лезвий для бритвы; сейчас доставать их трудно. Но не лучше ли отпустить бороду?

Пора работать. Неудобство в том, что нет той бумаги, к которой вы привыкли. Нет тех перьев. Нет ленты для пишущей машинки. И будьте осторожны с машинкой — вы не найдете для нее запасных частей. Но со всем этим вы кое-как справляетесь, терпеливо поджидая возврата к гусиным перьям.

Вы курите? Помните, как вы говорили: «Я признаю только этот табак!»? Теперь вы признаете всякий, и рады, найдя его в магазине. Но спичек нет; к счастью, еще целы ваши зажигалки. Плохо лишь то, что нет бензина. Старайтесь курить меньше или бросьте совсем, как делают мужественные люди.

Время завтрака. Надеюсь, что вам не предписана никакая диета? Это было бы невыполнимым! Мяса сегодня нет — не «мясной день». Но и в мясной день мяса может не оказаться. Вы вегетарианец? Это удобно, особенно если вы не настаиваете на картофеле, фасоли, шпинате, артишоках, спарже и фруктах. У вас итальянская склонность к макаронам? Можете получить по карточке на две-три тарелки

в месяц. Но это уже не итальянские, а выделки туземной. Сегодня белые, завтра они приобретут грязный оттенок. Но сыру к ним, конечно, нет, ни пармезану, ни любой его замены. Салат найдете всегда, если можете есть его без оливкового и иного масла, например вареным. Рыба? Да, но на чем ее жарить? В общем — лишения невелики, лишь постарайтесь отказаться от привычек и изысканного вкуса. Сыты не будете, но и с голода не умрете. Мечтайте на досуге о сахаре и жирах.

Вы привыкли прилично одеваться? Превосходная привычка. Берегите ваши костюмы, — вы уж не найдете больше такой материи. Портные не исчезли, нет только ниток и иголок. Но горе вам, если у вас износилась обувь!

Вас интересуют новости дня? Можете выписать газету. Она выходит в размере страницы, но не может печатать того, что вас более всего интересует. Присядьте к радиоаппарату.

Что это за шум и треск? Это — новейший паразит: станция заглушения неприятных сведений. Остроумное изобретение, усовершенствование того специального аппарата, который пытались ставить для укрощения соседей потерявшие спокойствие и равновесие жертвы радио; правда, за такое нарушение частных прав полагалась по закону краткосрочная тюрьма.

Утешьтесь в ваших горестях перепиской с друзьями. Написали им? Перечитайте внимательно, нет ли в письме какой-нибудь неприятной правды; не забудьте, что до ваших друзей это письмо будет прочитано неизвестными вам лицами, в дружбе с вами не состоящими. Все в порядке? Ничего лишнего? Теперь закурите этим письмом сигару, потому что ваши друзья живут в стране, с которой нет почтовых сообщений. Впрочем, не закуривайте сигары, так как сигар нет.

Вам нужно побывать в соседнем городе? Это свободно, если, конечно, вы не иностранец, обязанный

сидеть в позе недвижимой, как пред фотографом. Если же вы — гражданин этой страны, то сядьте за руль автомобиля, поверните его, потыкайте все полагающиеся кнопки, убедитесь, что бензина нет, и поспешите к автобусу, которого нет по той же причине. И тогда шагайте себе пешком. Но если вы находитесь в зоне «жизненного пространства», то шагайте лишь до определенного часа вечера, иначе вы попадете не туда, куда вас влечет. Тем же путем вы можете вернуться обратно; ставьте ноги осторожно, чтобы не повредить подошвы — потеря невосстановимая.

Если в пути вам захочется поесть или выпить, — зайдите в ресторан или кафе. Прежде чем спросить что-нибудь, припомните, какой сегодня день и что вы имеете право в этот день потреблять в публичном месте. Затем выньте вашу продовольственную карточку и приготовьте купоны на мясо, на хлеб, на картофель и пр. Затем положите все обратно в карман и идите дальше, потому что — откуда в придорожном ресторане будут для вас запасы в военное время? Наивный человек!

Вы заболели? Позвоните вашему врачу. Впрочем, телефон не действует. Ну пойдите к нему сами, если в силах. Застали? Что сказал вам врач? Что он лишен права практики! Но нужно было догадаться об этом раньше и найти врача чистой арийской крови. Впрочем, в аптеках нет лекарств; есть только липовый цвет, лавровый лист и почти не бывшие в употреблении горчичники. Но вы молоды, вы и так встанете на ноги!

Совсем плохо? Тогда вспомните, нет ли у вас где-нибудь в чулане старого большого ящика с крышкой. Это очень важно! При остром древесном кризисе, какой сейчас переживает воюющая и отвоевавшая Европа, гробовщики иногда не могут выполнить заказов. Опыт русской революции свидетельствует о чрезвычайном удобстве применять в таких случа-

ях обширный ящик с надписью «верх», «низ», «мясные консервы». Особенно ценны ящики длинные, так как в коротких у покойника устают ноги, согнутые в коленках.

И вот — вы благополучно скончались, доставлены кем-нибудь на кладбище, занумерованы, упрятаны под землю, засыпаны; временно в насыпь над вашей могилой воткнута для памяти головешка. Отдых, тишина — самое спокойное и счастливое состояние. Если вы умерли в чужом городе, о смерти вашей жена и дети узнают скоро: через месяц-два; если в чужой стране — придется ждать окончания войны. Ваш друг не напишет некролога — негде напечатать. Ваша смерть не огорчит кредиторов и не обрадует должников. Не оставляйте завещания, но не забудьте о последнем долге: накануне смерти передайте соседу неизрасходованные продовольственные купоны! Это запрещено, но с мертвого не взыщется, а живой человек сохранит о вас благодарную память.

------

Шутка — лучший способ переносить лишения и горести. Прекрасно читать в тюрьме маленькие рассказы Марка Твэна. Я проделал этот опыт в 1905 году, в последние дни московского вооруженного восстания, сидя в одиночной камере Таганской тюрьмы. Надзирателем был неплохой и очень заботливый старик, с которым у меня установились наилучшие отношения. Все тюремные ощущения повышены, и, читая Твэна, я катался по койке в счастливых конвульсиях, держась за живот, так что старик, заглянувший в дверное окошко, испугался и предложил мне позвать врача. В Москве еще стреляли орудия, судьба арестованных была недвусмысленна, и он никак не мог поверить, что мне просто весело.

Сейчас люди спасаются анекдотами и карикатурами по части продовольственной, — это невинно и не встречает цензурных препятствий. Я их не буду здесь приводить, — они только на месте кажутся остроумными, а «сытый голодного не понимает».

Но шутка спасает только до той поры и той меры, пока не начнут сами собой сжиматься кулаки и не обострится до чрезвычайности зрение. И тогда вы увидите и там и тут, и близко и далеко, — повсюду разбитые жизни, неоправдавшиеся мечты, незавершенные деяния; поля невспаханные, нивы несжатые, дороги, разрушенные движением орудий убийства и налетами стальных чудовищ. Вы увидите тогда бога войны в его современном образе, не напоминающем барельефы и фрески былых времен: его талья перетянута, в его глазу монокль.

Он уверен, что творит великие дело; ни на минуту не сомневается, что своей лающей командой вещает тысячелетиям. Прокатывая чугунный вал по телам современников, он фабрикует счастье будущих поколений, по которым прокатится вал еще <более> тягчайший.

Он, этот бог войны, механизировал не только все движения, но и все чувства, и для каждого дозволенного им проявления человеческого чувства у него есть в запасе напетая пластинка.

Как все палачи, он сентиментален и умеет одним нажатием пуговки выдавливать из-под затуманенного монокля точно считанное количество слез.

Убивая мужей, он оплакивает вдов и детей; швыряя бомбу в жилой дом, он полон скорби от этой печальной необходимости.

Свинцовым горохом он поливает обезумевших от страха беженцев, записывая их неведомые имена в синодик искупительных жертв, о которых он вознесет молитву в день победы.

Он раздает кресты, давая новое толкование символу искупления.

Свою бычью шею, низкий лоб и звериный лик он считает наследием славных предков, признаком высокого благородства божественной расы.

И он побеждает тупой железной своей уверенностью и тяжестью бронированного кулака.

Там, где он прошел — вянет зеленый лист и гаснет солнечный свет. Не то, не только то страшно, что гибнут недожитые жизни; страшно катастрофическое снижение человеческого духа. Если победа обеспечена бицепсам — к чему извилины мозга? Если торжествовать должно разрушение — стоит ли строить? Зачем было сказано так много прекрасных слов и написано столько книг, страницами которых мы любовались, авторам которых верили и именам их обещали бессмертие? Что дали нам, чему научили нас эти скопища духовных ценностей, библиотеки, музеи, храмы науки, святилища музыки, кудрявые рощи поэзии? Только тому, что знал и пещерный человек, дубинной пробивший себе дорогу среди других животных к будто бы высшей жизни! А без веры, пусть вера наивна, пусть иллюзорны цели, — жить невозможно.

Не стоит жить без веры; пресна, безвкусна, ничем не украшена такая растительная жизнь! Вянут человеческие души под грохот орудий.

Стыдливо вянет и шутка: нам больше не смешно.

------

Я вижу, как бледны мои страницы. Посвященные мелочам обывательской жизни, они ничего не говорят о подвигах. Неужели нет подвигов и нет героев в такое исключительное время?

Есть подвиги. И есть герои. Но эти подвиги не могут быть описаны; эти герои безымянны. Еще не пришло время говорить о тысячах простых людей, не позволяющих своей стране замереть в унижении и страхе. Они рискуют своей свободой и жизнью,

спасая свободу и жизнь беглецов из плена, помогая одной части Франции переносить свою внешнюю оторванность от другой.

Все это делается с полным бескорыстием, с совершенной самоотверженностью и — при всей многосложности хитрых приемов — с удивительной простотой, потому что — как же можно поступать иначе? Нельзя же отказывать своим в помощи против общего врага, которого напрасно навязывают в сотрудники?

Если Франция была силой вынуждена положить оружие, то это не означало ее духовной сдачи. И ее население никогда не откажется от пассивного сопротивления. «Наша война окончена», — ежедневно твердят газеты; «наша война не кончена» — говорит чувство каждого француза. Разве тяжелораненый, выбывший из строя, не остается воином? — «Это не мир, это только перемирие; мы должны терпеливо ждать, когда можно будет заговорить о мире». — «Да, мы терпеливы, мы ждем; и пока мы делаем все, чтобы будущий мир не оказался для нас слишком невыносимым». — «Мы, побежденные, ничего не можем переменить!» — «Да, но многое может само перемениться, и мы не хотим терять в это веру!»

Так на речи официальные возражает тихое местечко. Кто смеет отрицать, положа руку на сердце, что так мыслит вся Франция?

------

Последние дни трагического для Франции 1940 года. Мне хотелось закончить свой дневник не искусственной календарной датой, а каким-то событием, хотя бы не мирового, а только здешнего, местечкового значения.

Таким событием мог бы быть отход завоевателей от правого берега нашей реки. Надежды на это возлагали все обитатели тихого местечка; об этом

мечтали с не меньшим нетерпением и германские военные пешки, поставленные бередить рану Франции.

Но вот миновали все намеченные сроки — и ничего не случилось. «Историческая встреча», от которой ждали освобождения Парижа, потонула в мелочах ненаписанной истории, и осенний разлив реки Шэр еще больше подчеркнул разрыв двух Франций.

Мы реже собираемся у ворот, мы с меньшей охотой ловим и обсуждаем слухи. Нам остается терпеливо ждать решения большого спора воюющих держав. Но конца этому спору мы не видим.

Счастливее нас оказались несколько коммун соседней провинции, где неожиданно свершился тот именно отход, какого мы ждали для более близких наших соседей.

Мы ничего не знаем о его причинах, — вряд ли они существенны; просто — доедено все, что можно было доесть, увезено остальное. Так вереницей уходят с обглоданных веток гусеницы, так переселяются многие представители животного мира, питающиеся живыми соками. Но, уходя, они оставляют мертвым высосанное ими тело.

О, нет! Здесь тело не оказалось мертвым — только замученным. Какой праздник! Какое ликованье! Спешная уборка всего нечистого, всяких следов чужого солдатского постоя... Содраны со стен и заборов оскорбительные приказы и объявления, грубые плакаты противоанглийской пропаганды, отменены стеснения, освежен и очищен воздух не только в домах, но и на улицах. Радость на лицах, объятия, поздравления, — как будто не этот маленький клочок земли, а вся Франция стала свободной. На площадях коммун толпы народа, освобожденные от занятий школьники, французские солдаты и офицеры, знамена и венки у подножия памятников павшим, обязательные возгласы, которые сегодня не вынужденны, не казенны и не фальшивы.

В миниатюре — то, что будет во всей Франции, когда судьба, поиздевавшись, положит конец ее долготерпению.

Когда это будет?

------

«Quand donc les hommes vaudront-ils mieux que les loups? Hélas! Pauvre XIXème siècle!»*

Это строки из письма, написанного в 1870 году, в дни осады Парижа пруссаками. Нужно изменить в них только цифру века, прибавив единицу, — остальное останется неизменным для сегодня, как, может быть, и для века будущего.

В мэрии нашего городка обнаружился шкап с забытыми книгами, которыми никто не пользуется и которые даже не внесены в писаный каталог для пользования немногочисленных читателей. Среди этих книг немало изданных в 70-х годах прошлого столетия.

Я отобрал себе десяток. Книги о тогдашней войне, ее хроника, воспоминания ее участников, осада Парижа, быт занятых и оставшихся свободными провинций Франции.

И тогда река Шэр намечала своим течением границу. И тогда истинными мучениками и героями войны были не солдаты, а маленькие обыватели, страдавшие от голода, от насилия и спасавшие друг друга всеми хитростями, на какие способен изобретательный ум сильного человека в борьбе со стихией бедствия.

Переменить даты, имена людей, лишь несколько изменить географические названия, — и будет книга о современном лихолетии Франции. Но написанная с такой откровенностью, на какую мы посягать не

---

* «Когда же люди сделаются лучше волков? Увы! Несчастный XIX век» (*фр.*).

можем, или *еще* не можем. В одном все страны ушли далеко вперед: в ущемлении свободного слова.

Я читаю: «Во время войны мы ужасаемся войне. Нужно до войны вооружаться неколебимой решимостью против этого бича, хуже всяких желтых лихорадок. Почему мы не предлагаем всему народу подписать протест против войны?

Когда на границах гремят орудия, когда вы дрожите за свою собственность и свою жизнь, выбираете ли вы выражения для проклятий виновников этого зла? Вы раздражены, вы напуганы, вы не щадите ни императора, ни короля, ни принцев, ни министров.

И вот — вы уже ничего не боитесь; вы уже успокоились; вы надеваете спальные туфли и благодушно читаете у камина свою газету. Еще не кончилась война, как вы уже вернулись к своим старым предрассудкам, и вы готовы сохранить все узы, которые связывают вас со старым миром.

«Едва армия отошла ют наших границ — протесты против войны теряют прежнюю энергию.

О, нищета сознания и слабость разума!».

Выписка из парижского издания 1871 года.

Если так писали семьдесят лет тому назад — стоит ли повторять сейчас те же слова? Для чего? Для того, чтобы они, так ярко и верно отражая сегодняшнее наше сознание, были завтра забыты?

В воспоминаниях людей того времени можно прочитать рассказы о страшных примерах человеческой бесчеловечности, о массовых выселениях, издевательствах, грабежах, расстрелах, о мучениях, которым подвергались военнопленные того времени.

В своих записках я избегал говорить о том, чего не видел своими глазами, — чего и не мог видеть в тихом местечке Франции, где неприятель погостил лишь две недели. Я оставляю неиспользованным матерьял чужих свидетельств и наблюдений, лишь

оговорив, что он столь же страшен и показателен, как и отзвуки войны 70-го года.

Лицо звериное не очеловечилось. Люди не переменились ни в чем. Возможно, впрочем, что стало меньше лицемерия, что зверства стали откровеннее, что найдено им больше оправданий, что ложь стала бытом. Но даже и это спорно, и пещерный человек может спать в спокойной уверенности, что он был прародителем стойкой, неизменяющейся расы.

И это не все. Еще недавно, меньше четверти века назад, мы могли верить в «последнюю войну». Найдется ли сейчас хоть один человек, сохранивший эту наивную веру?

Что дала нам наука? Чему послужило искусство?

И не трагично ли то, что ни к чему не нужны и эти печальные признания, которых уже никто не будет оспаривать?

В конце концов, все спасение человека только в том, что он умеет быстро забывать. Так, на месте города, уничтоженного землетрясением, вырастает новый, который также будет разрушен. Но люди в нем живут, и на этаж надстраивается этаж новый. В какой-то нежданный момент земля дрогнет — и все превратится в мусор и людскую кашу. Потом мусор очистится, и вырастет город новый.

———

Тягостное однообразие жизни. Как в тюрьме, день тянется долго — дни быстро мелькают.

Вчера — сегодня — завтра отличаются друг от друга только названиями, но отличить одну неделю от другой нечем.

Иногда тоска освещается надеждами, ни на чем не основанными; так же без причины эти надежды тухнут.

Все реже почтальон останавливает у ворот свой велосипед: никому нечего о себе сообщить; поне-

многу все застывают в томительном ожидании, придавленные к земле холодом, нуждой, бездеятельностью. Время от времени приходят вести о смерти людей, имена которых когда-то были известны; теперь эти люди уходят в нестрогой очереди возраста, полузабытыми и ненужными.

------

На правом берегу бросился в воду и утонул германский солдат. Эпизод, который мог занять на один день внимание тихого местечка и который никоим образом не входит в военную хронику.

Кто был этот солдат, почему он поторопился уйти из жизни, что толкнуло его в воду, — никто не знает. Дешевка жизни лишает этот эпизод всякого интереса.

Можно придумать объяснение. Можно на этом кусочке канвы вышить крестиком трагическую картину личной жизни. Можно, наконец, обобщив явление, поговорить об усталости германской армии, об упадке ее духа. Солдат бросился в воду в месте, где распухшая от осенних дождей река особенно широка и где вода крутится воронками. Его тело не найдено.

Не все пограничные германские солдаты — немцы; среди них немало мобилизованных чехов. В сношениях с местными жителями они спешно подчеркивают свою национальность; они это делают, как бы извиняясь: только военная форма делает их врагами. И они не обязаны быть патриотами чужой страны, связавшей их волю.

Французы это понимают — и думают о своей молодежи, увезенной в Германию из оккупированной полосы. Об этом не полагается говорить громко; это даже отрицается. Тем больше об этом говорят, и тем больше насупливаются брови.

------

Тихое местечко готовится встретить Новый год. К этому празднику каждый житель свободной Франции получит добавку к своему скудному питанию: 40 граммов сыру и 100 граммов рису. Сверх того, он может еще на Рождестве использовать часть своих продовольственных купонов, выданных на первый месяц предстоящего года.

Я обрываю свои записки, не дожидаясь кануна Нового года. Я не знаю, за что поднять свой новогодний бокал.

Моя родная страна считает себя нейтральной. Обуздав чувства личные, я не хочу быть плохим гражданином. И не хочу говорить пустых слов, подняв бокал за мир всего мира.

На границе двух годов я наполню толстостенный крестьянский стакан местным свежим вином и выпью за тихое местечко, давшее нам приют.

За левый берег прекрасной реки Шэр!

За мирный городок в сердце Франции!

За землю, кормящую его трудолюбивых жителей!

# Письма о незначительном



«Qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait le complice des menteurs et des faussaires».

*Ch. Péguy**

*(27.12.40)*

Я обещал вам писать о незначительном, — о важном, сенсационном, пусть говорят другие, владеющие кабелем и волнами радио, или, на крайний случай, обладающие фантазией и даром пророчества. Условия жизни в свободной Франции не таковы, чтобы, важно развалившись в кресле и пуская кольцами дым, высказывать веские суждения о важных предметах. Здесь холодновато, далеко не сытно, жить приходится в тесноте, а за стеной нашей свободы недоверчивый гость, расположившийся хозяином. Это сужает круг житейских тем, во всяком случае, вводит в рамки дозволенного их обсуждение.

Есть два выхода: говорить о важном, но лишь то, что можешь, или говорить, что хочешь, но лишь о невинном и незначительном. Вместо оперы с купюрами — не лучше ли исполнить целиком пустяковые романсы; по крайней мере — полным голосом, скромным ненавязчивым тенорком, рассчитанным на малую залу.

Мне всегда казалось, что судьбы мира решаются не спорами гигантов мысли и действия, а трудовыми усилиями средних и малых единиц. Исторические моменты эффектны, слова нет; ими отмечаются этапы в учебниках, им приписываются отличия столетий и эпох. Но жизнь строится из повседневных кусочков, которые лепятся друг к другу и один на другой без лишнего шума и ненужной суеты. Без малого не на чем вырасти великому, без манной крупы, всыпанной в кипящее молоко, не на чем вскочить и лопнуть воздушным пузырям.

Можно привести в доказательство много образов и сравнений. От копеечной свечки сгорела Москва. Рим спасли бестолковые гуси. В басне малый комарик победил царственного льва. Если в вашу постель попадет сухая

---

* «Тот, кто, зная правду, не выкрикнет правду, сделается соучастником лжецов и фальсификаторов». *Ш. Пеги* (*фр.*).

хлебная крошка, — сколько мук она причинит, — не меньше доброй занозы. В наших сказках Иванушка-дурачок всегда водит за нос великих мудрецов и решает любые загадки. И от малого до великого всегда — рукой подать.

Это значит — не нужно чураться пустяков. В капле воды — целый мир. В бабьих очередях у дверей магазинов рождаются великие революции. И откуда нам знать, где в толстом канате порвется последняя, решающая дело ворсинка?

В мелочах жизни кроются тайны народных судеб, — невидные глазу полипы строят коралловый остров. Что такое морской прибой? Натиск ничтожных водяных частичек! И я говорю: не будем презирать малых слов о малых делах. Их защита — в их скромности, польза — в безвредности, сила — в шепоте.

Потому-то, оставив на долю парадных бойцов описание великих битв и славных подвигов, — с подобающей скромностью будем говорить лишь о незначительном, а читающий да разумеет.

И да будет это — предисловием.

*Chabris*

## С Новым годом!

*(31.12.40)*

Это — одно из самых запоздалых писем; оно пишется в канун Нового года, но прочтется, когда новый год уже разовьет пары и помчится вперед, раскидывая карточные домики частных, общественных и народных благополучий.

Я не мог поступить иначе, хотя знаю, что наши настроения не совпадут; написать и послать письмо загодя — значило бы его подделать, писать сегодня — не застать даже объедков вашего новогоднего стола. Шампанское выпито, бокалы разбиты! Я живу в стране винограда, и сегодня, в полночь, приветствую вас, заокеанские друзья, толстенным крестьянским стаканом холодной воды; шампанское еще летом все выпито здесь чужим народом, простое вино не пенится и не играет, — не стоит до него унижаться.

Мы знали лучшие дни — и не были горды; сейчас мы дорожим своей гордостью европейских нищих, на которых косо смотрит американский барин: уйти? помочь? подать? — но как бы самому не втянуться в эту грязную историю!

Бедны, очень бедны европейские народы; бессильны, голодны, не видят конца мучительным опытам пересоздания старой, в тупик зашедшей жизни ценою крови и взаимного истребления. Но одним мы богаты — возможностью отправить вам по воздуху изобильный рог душевных пожеланий.

И мы желаем вам от души самых серых суток, самой будничной, ничем не замечательной жизни. Чтобы на вашу долю не выпадало ни исторических

моментов, ни исторических фраз. Чтобы утром, пробудившись, вы точно знали предстоящий вам день, и ночь ваша была бы не тревожна. Чтобы не было среди вас ни героев, ни предателей, ни поводырей, ни бессловесной скотины. И там, где человек рождается, там бы он и помирал, прожив положенный ему умеренный срок, носа не задирая, ни к чему не стремясь, ни во что не веря, ничему не завидуя.

Да хранит вас судьба от малейших перемен в вашей жизни, разве что кому уж совсем невмоготу; пусть тогда он подтянется до положения терпимого и выносимого и на нем замрет, не шевелясь, чтобы не вышло хуже. Да хранит она, судьба, и грядущие поколения от ваших опытов создания для них земного рая. И да втемяшится в ваши головы и сердца благодетельный кол сознания, что неспособные создать для самих себя хотя бы десятилетие покоя и безмятежного процветания, мы тем менее способны подготовить золотое тысячелетие для потомков, не виноватых в том, что мы их народили.

Не удивляйтесь этим новогодним пожеланиям; они продиктованы опытом нашей европейской жизни, доказавшей, что лучшее есть величайший враг хорошего, как всякое движение есть враг покоя, мудрость же заключается в том, чтобы нацепить на собственный пуп блестящую безделушку и сосредоточить на ней все свое внимание. Кто этого не понял, тот обрек себя на страдания и верный проигрыш, даже если он играет мечеными картами против самого доверчивого и наивного противника.

В так называемых исторических событиях не рождается ничего значительного, никакая сталь не закаляется, не очищается никакое золото, а что было, то обращается в бросовый шлак. И столь яркие на вид переживания, принимающие порой вид героических подвигов и патриотических жертв, оказываются на проверку ощущениями низшего порядка, унижающими душу и испепеляющими остаток

человеческих чувств. Ложью пропитывается бытие, ложью слизкой и вонючей, которая своим смрадом душит всякое подобие огня, отравляет всякое дыхание. Бойтесь и бегите «роковых минут», дорожите патиной времени и легкой плесенью чувств. Лучшее из растений — плющ забвения, лучший из цветов — гриб на старых древесных корнях.

Хотелось бы и нам тоже воспевать новую весну народов и слагать героические былины. Но история этих дней схватила нас за ворот, потрясла и неопровержимо доказала, что «тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен, в тишине знает прожить, от суетных волен мыслей, и топчет надежну стезю добродетели к концу неизбежну», — о чем догадывался еще напрасно забытый русский поэт Кантемир, земля ему да будет пухом!

------

Теперь, уже без восклицаний и парадоксов (если это парадоксы — так ли?), мне хочется послать американским друзьям простой сердечный привет, — и тем русским беглецам из Европы, с которыми было съедено немало соли за общим столом и изломано немало копий в мышьей суете жизни, — и тем незнакомым читателям, вниманием которых так часто злоупотребляю.

На войне неприятель старательно разрушает мосты через реки и каналы, топит пароходы и транспорты, помогающие сношениям между странами и людьми. Мы страшно разъединены, мы безжалостно разбросаны по свету. Порвались и повисли концами в пространстве родственные и дружеские связи, подкошено в корне культурное общение. Уже не осталось в Европе ни наших русских зарубежных журналов, ни газет, ни способных работать издательских предприятий. Мосты, нас соединявшие, взорваны и обрушены, духовному общению положен конец.

Вот я говорю с вами — но вашего голоса не слышу, не вижу напечатанным даже того, что пишу. Это очень трудно и тяжело — говорить с немым собеседником, с воображаемым лицом, которое никогда не ответит. Такова наша здешняя судьба. Но хотелось бы, по крайней мере, думать, хочется пожелать, чтобы то, чего мы здесь лишились, возродилось за океаном, куда отплыло от наших берегов немало литературных общественных сил. Может быть, в иных формах — формами дорожить не стоит, — в содружествах обновленных, освеженных новым живым участием, более приспособленных к новой стране и новым читателям. Чтобы только не потухли... не факелы, уж какие там факелы!.. а плошки подлинной русской, хоть и не российской мысли. Чтобы можно было покрасоваться и побахвалиться своим плетеньем и вязаньем, своей резьбой по дереву и меди. Каким ни на есть, а все же своим; оно не всегда было хуже чужого: не будем гордецами, но гордыми будем и останемся.

## Закат культуры

*(2.1.41)*

Мыслью и вниманием попробуйте перенестись сюда, в воюющую или отвоевавшую Европу, — и вы увидите, до какой низкой степени упали культурные ценности, все без исключения.

Крест на науке. Еще выходят (не во Франции, конечно) запоздавшие номера научных журналов, где напечатаны статьи прекрасных чудаков, от жизни отсталых, — и этим ограничивается всё. Мобилизованы ученые, знания которых могут быть полезны для войны, для защиты и нападения, для создания синтетических эрзацев, для службы прикладной, резко полярной чистому знанию. Совершенно перестали существовать и быть кому-нибудь нужными все науки гуманитарного порядка. Полупусты уни-

верситеты, за отсутствием ушедшей на войну молодежи. Международная научная связь надолго нарушена и прервана. Да и сама мысль человеческая отвлечена от задач познания мира треском внешних событий и мелочами необычайно усложнившегося быта. Существует целый ряд научных опытов и наблюдений, в которых один день перерыва может погубить все, сделанное за многие годы, — сколько должно было произойти таких непоправимых несчастий! Какое огромное значение имеет преемственная передача знаний и практических приемов опыта, от сил слабеющих к силам молодым, — и сколько разрушено и еще будет разрушено таких связей!

Урон, наносимый культуре войнами, всего очевиднее сказывается на художественной литературе. Можно почти безо всяких оговорок сказать, что она в Европе прекратилась. Ее убили не только внешние причины — остановка издательского и типографского дела, невозможность значительного тиража книг, закрытие границ, прекращение переводов. Если бы только это! Если бы писатели, которым негде печатать и издавать, тем временем накапливали сокровища своих «портфелей» на будущее время! Но это не так. Писатель прочно связан с жизнью, из которой черпает свои образы и весь материал своих работ. Но все заслонено образами кровавого спора, принижен быт, искалечена психология человека, затруднена созерцательная работа.

Никогда послевоенная литература не давала ничего исключительного и всегда убивала сама себя однообразием сто раз перепетых мотивов. И это понятно: переживания военного времени, при всей их бурности, ничтожны содержанием и душевно низки качеством. Для настоящего творчества необходим покой созерцания, углубленность мысли, смена свободно рождающихся образов, естественный рост быта; нужна возможность для писателя не слишком дорожить временем для поиска и подбора лучших

слов для его лучших мыслей, и эти его мысли и его творческие образы должны выстояться, вылежаться, стать неизбежными для него самого и убедительными для его читателя. Это невозможно в дни постоянных тревог и особенно — в дни повержения и гибели идей, замены которым не найдено.

Всякая творческая работа требует свободного отклика, поощрения, соперничества, известной степени соборности, — без этого творчество вянет или вырождается в отшельнические, самовлюбленные формы, по существу своему убогие. Этих условий больше нет в Европе; писатели с готовым именем разбрелись по газетам, их труд измельчал, работа стала срочной, поспешной, подчиненной случайной злобе дня. Силам новым и молодым вообще нет применения. Нужен труд фабричный, земледельческий, нужны летчики, солдаты, дипломаты, сиделки, — но писатели и художники никому больше не нужны; это — самый несчастный класс безработных.

Но если бы даже они были нужны, — их голос не мог бы звучать по-прежнему в странах, где стеснено свободное слово, где отданы под подозрение и под надзор и художественный вымысел, и даже простая фотография (в самом прямом смысле слова). На наших глазах задохлось и увяло свободное искусство в России; теперь пришла очередь Западной Европы. И не следует утешаться мыслью, что это лишь временно. Да, временно, но надолго! Искусство, как гриб, требует развитой и спелой грибницы, почвенных основ, высокого общего уровня; этот общий культурный уровень настолько понизился и так катастрофически падает дальше, что напрасно ждать чудесных цветов на истощенных и поврежденных морозом ветках, какая бы прекрасная весна ни сменила жестокую зиму.

Всякое творчество, всякая система познания мира в своей основе религиозны. И вот наши дни резко

отмечены крахом религиозных устремлений, подменой их суеверием и церковностью. Не искание источников и причин бытия, не открытие нравственных путей, а боязливая молитва готовому и обязательному богу о своих маленьких нуждах, упование на рыночную или бесплатную благодать, опошление высоких символов веры, ползание на брюхе перед утвержденными безошибочными истинами.

В таком состоянии умов — источник гниения и смерти искусства.

После «великой» войны 1914—18 гг. (не пора ли, черт возьми, лишить ее величавого титула и вообще сдать его в архив!) вся европейская литература пришла в упадок. Только Скандинавские страны, от войны не пострадавшие, сохранили прежний высокий уровень, да не вполне сдалась Англия, менее других стран испытавшая бедствие. Можно смело и откровенно признать, что послевоенная литература не выдвинула в Европе ни одного бесспорного имени, которое можно бы поставить в ряд, если не с Толстым, то хотя бы с Анатолем Франсом. Что же будет теперь? До каких низин мы спустимся?

И сколько десятилетий потребуется, чтобы вернуться хотя бы к прежнему уровню и начать новый подъем? И кто поручится, что к тому времени не подоспеет еще новая серия «великих событий»?

———

Я обещал писать о «незначительном» и пишу о гибели культуры. Кажущееся противоречие — только кажущееся! В учете военных побед и поражений, в предвидениях и пророчествах, в спорах о переустройстве Европы, — многие ли помнят о неизбежности всеобщего проигрыша, многим ли кажется важной и своевременной и значительной такая тема?

## Параллели

*(7.1.41)*

Исторические параллели соблазнительны. Возможно даже, что увлечение ими порождало немало тактических ошибок. Все наши знания строятся на опыте прошлого, а служить должны для будущего, обстановка которого будет совершенно иной. Открываемые нами «законы природы», как и издаваемые законы общественного поведения, стареют и делаются неверными и неприменимыми в следующую же минуту; они уже — архив, история. Книга, мною написанная, уже не будет завтра моей книгой: я перерос ее и мыслью и искусством, я написал бы ее сейчас лучше или, во всяком случае, иначе.

Стратегия — не наука, а сумма утративших смысл выводов из случайных военных событий; это не мешает штабному генералу соображать, как в подобном случае поступил бы Александр Македонский, хотя ясно, что этот великий полководец не только от бомбы, а и от револьверного выстрела убежал бы во все лопатки. И все-таки газетные стратеги через три строки в четвертую ссылаются на исторические прецеденты.

С того момента, как немцы вторглись в Бельгию, вплоть до занятия Парижа, эти стратеги сравнивали несравнимое: войну 1914—18 годов с нынешней; и это давало им возможность успокоительных выводов, по крайней мере, надежд. И даже упускалось из виду участие в той войне России, без которого с Францией произошло бы приблизительно то же, что случилось сейчас. Когда же эта историческая параллель не оправдалась, — начали вспоминать о Франко-прусской войне 1870 года.

Сходства, пожалуй, еще меньше, но сами по себе сопоставления настолько занимательны, что кое о чем вспомнить стоит.

В 1870 году сочувствие Европы было не на стороне Франции, объявившей войну Пруссии без серьезных оснований, по мотиву оскорбленного самолюбия. Считалось, что к войне Франция вполне подготовлена, что поход на Берлин будет простой военной прогулкой. Маршал Лебеф уверял, что «хотя бы война продлилась год, не будет недостатка ни в одной пуговице для солдатских гетр». Маршал Нэль утверждал, что взять Париж невозможно. Осведомленные лица признавали, что «французская армия доведена до крайней степени силы». Только Тьер в этом сомневался, за что его обвиняли чуть ли не в предательстве. Даже оппозиция боялась не столько поражения, сколько победы, которая упрочила бы положение Наполеона III.

В первые же дни войны выяснилось, что далеко не все благополучно. Война была объявлена 19 июля. 20 июля интендантский генерал Блондо телеграфировал в Париж, что в Метце нет ни сахару, ни кофею, ни рису, ни водки, ни соли, ни сала, ни сухарей. 21 июля генерал-комендант 2-го корпуса телеграфировал из Сент-Авольда, что ему посланы огромные тюки ненужных в данный момент стратегических карт, но нет ни одной карты границ Франции. Генерал Мишель в тот же день сообщил: «Я прибыл в Бельфор; я не нашел моей бригады; не нашел дивизионного генерала. Что мне делать? Я не знаю, где мои полки». Несколько генералов заявили, что они вынуждены избегать всяких столкновений с неприятелем, так как у солдат нет патронов. О том же сообщил генерал Дюкро, не нашедший в Седане ни амуниции, ни продовольствия для войск. Сверх того оказалось, что мобилизованные солдаты бродят без толку по стране, не находя своих частей и не зная, куда им направиться. Тот же генерал Блондо сообщил любопытную вещь: он назначил военным интендантом одного из

корпусов кавалерии генерала Шмитца, который не явился, «так как никогда не существовал».

Воздержимся от параллелей, лишь упомянув для примера, что в нынешнюю войну офицеры отступавших отрядов радовались, найдя туристическую карту Франции, тогда как у каждого германского солдата есть штабная карта, а иногда и цейссовский бинокль.

Говорят, что нынешнее поражение Франции беспримерно по быстроте. Но в 1870 году война началась 19 июля, а 2 сентября, то есть через полтора месяца, она фактически закончилась поражением при Седане, о котором так кратко, но мило телеграфировал жене бежавший император: «Армия разбита и взята; я сам в плену. Наполеон». Дальше идет история не войны, а военной агонии и революции. Безнадежно до конца октября держался осажденный Метц. Держался окруженный Париж, который пруссаки и не пытались брать. Как и в эту войну, последние надежды возлагались на линию Луары, где никакого войска не было и куда полетел на воздушном шаре Гамбетта в наивной надежде ее организовать.

Париж держался 123 дня; он был взят не оружием, а измором, и убито при осаде было меньше 200 человек на два миллиона жителей. Перемирие было подписано 27 января, но немцы вошли в Париж только 3 марта и пробыли в нем только три дня. И какой смысл был им оставаться в революционном городе, где были съедены сначала лошади, затем собаки и кошки, затем мыши и крысы и, наконец, слон зоологического сада? Их роль военная была завершена седанской победой; их новой ролью была помощь версальскому правительству в удушении Парижской коммуны.

В деталях французского поражения мало исторических параллелей. Но при желании их нетрудно усмотреть в других любопытных мелочах. Февральское

бегство правительства в Бордо, «национальное собрание», «историческая встреча» Жюля Фавра с Бисмарком в имении Ротшильда, решение правительства переехать в Версаль. Сейчас еще рано говорить о том, какие параллели внутренних событий сулит будущее, ход которого замедлен тем, что война, законченная Францией, продолжается ее бывшей союзницей Англией, и исход борьбы никому не известен. Пока вне всяких параллелей Париж. Но еще при вступлении в него немцы говорили: пока мы здесь — ничего особенного не может случиться; но когда мы уйдем — управляйтесь сами! Очевидно, и они не забыли о Париже 1870–71 годов.

Людовик Галеви писал в своих «Заметках и воспоминаниях»: «Многие французы находят удовлетворение в мысли о том, что Франция перенесла поражение необычайное и что ни одна нация, столь возвышенная в славе, не падала так низко в несчастии». Любопытное психологическое наблюдение, но так смело может сказать человек только о своей стране и своей нации, в устах чужака это прозвучало бы непозволительной дерзостью. Вообще же размер горя нередко служит мотивом утешения, — его необычайность, его поразительность. Особенное удовлетворение оно может вызвать у тех, кто его предсказывал или хотя бы предвидел. Оно может доходить до ликования в политических кругах, протестовавших против действий, приведших к несчастию. Вспомните нашу войну с Японией; может быть, некоторые параллели возможно найти во Франции и сейчас. И уж если не удовлетворение случившимся, то быстрое и жадное его использование.

Возвращаясь к 1870–71 годам, было бы любопытно поискать параллелей в быте Парижа тогдашнего, осажденного, и нынешнего, занятого неприятелем. К счастью, они невозможны (или пока невозможны) в отношении продовольствия несчастной столицы. Голода в Париже нет, хотя есть, как и во всей

стране, значительное недоедание. Тогда голод был вызван осадой и полным прекращением подвоза продуктов питания, теперь тем, что Франции не только приходится, по условиям перемирия, питать огромную армию завоевателя, но и смотреть, как увозится в Германию все, что было запасено и что производится населением Франции. Если так будет продолжаться, то вопрос о собаках, кошках и крысах (лошадей почти нет, а слоны не в счет) может стать из исторического злободневным.

Во внешнем виде Парижа есть одна очевидная параллель. В 1871 году писали про город: «Никаких экипажей. Париж принадлежит пешеходам». Развитие цивилизации внесло одну поправку: «и велосипедистам». Но Париж тогдашних пешеходов был бурным: его улицы не переставали волноваться за все время двух последовательных осад: прусской и версальской; сейчас они пусты и мертвы.

«Во время осады, — писали тогда же, — обычная жизнь, с ее прогулками и развлечениями, ни на один день не прекращалась. Она продолжалась и в дни Коммуны». Она продолжается, в известных границах, и сейчас; в Париже открыты театры, процветают кинематографы, ослабела лишь жизнь ресторанов и кафе.

Из всех человеческих привычек устойчивее всего вызываемые жаждой развлечений. Лондон, ежедневно и еженощно засыпаемый бомбами, ухитряется отдыхать на зрелищах, танцах и пении; во время воздушных тревог его нервное веселье переносится в подземные убежища. Если бы не было у людей этой счастливой способности временно забываться, — снаряды разрушали бы исключительно дома умалишенных.

Занятая зона Франции отрезана от нормального общения с зоной свободной: ни телеграфа, ни почты, ни посылок, ни проезда. Но общенье, конечно, происходит — всякими тайными путями, изобретаемыми человеческой изворотливостью. Как общался с внеш-

ним миром осажденный Париж? Способов было, конечно, и тогда немало. В их числе был один, сейчас неприменимый. В одной книге воспоминаний, составившейся из переписки этого периода, о нем упоминается: почти все опубликованные после письма пересылались при помощи воздушных шаров, по-видимому, с достаточной регулярностью.

Историки войны и революции 1870—71 годов отмечают отсутствие во Франции того времени исключительно крупных политических фигур, сколько-нибудь равных деятелям эпохи Великой революции. Историкам наших дней придется высказаться о людях переживаемой нами эпохи, — чьи имена они выделят и возведут на исторический пьедестал, каких трудов это будет им стоить? Впрочем, мы всегда несправедливы к своим современникам. У тогдашней Германии был Бисмарк, которого изображали лысым с тремя волосками; герой современной Германии изображается с наполеоновским коком и усиками Чаплина.

На поражение Франции монархической через полвека ответила победой Франция республиканская. В 1870 году бежал император Наполеон; за ним, с помощью американского дантиста Эванса, бежала из Франции императрица Евгения. В 1918 году пришлось бежать императору Вильгельму. Бегство царственных особ продолжилось и в войне нынешней. Это, если хотите, тоже исторические параллели.

Бисмарк хотел ради безопасности Германии превратить Францию во второстепенную державу. Этого не случилось, и союзники войны прошлой могли бы сделать то же с побежденной Германией; этого тоже не произошло. Чего достигнет новый реванш, задача которого еще обширнее: теперь под угрозой не одна Франция. Дьявол качает исторические качели: вверх — вниз. Итальянский король стал императором; предсказывать рано, но напрасная спешка «реальной политики Италии» может нечаянно пре-

вратить императора снова только в короля. Все это не очень важно, но все же занимательно.

Искать параллели — не значит ли это отрицать прогресс? Прошлой войной предполагалось закончить эпоху человеческой дикости и начать золотой век мира. Нынешняя война, по мысли главного ее героя, должна окончиться не веком, а целым тысячелетием европейского и мирового блаженства. Будут пушки перелиты на кухонную посуду, взрывчатые вещества пойдут на удобрение полей, самолеты будут развозить любовные письма. Но не надоест ли такая мирная жизнь? Не скажут ли потомки: «Фу, как скучно!» — и не попробуют ли снова стрелять друг в друга? Одним словом — ждать ли нам исторических параллелей и в близком и в далеком будущем?

Когда Коммуна 1871 года была разбита и уничтожена, а Париж завален трупами, газета «Debats» разрешилась восторженным словом: «Какая честь! Наша армия отомстила за свое поражение бесценной победой!»

Вот — параллель, которой да не будет в нашей тяжкой и смутной современности!

## О бюллетенях

*(14.1.41)*

Если попробовать отрешиться от всякой чувствительности и впечатлений и читать военные бюллетени со спокойствием языковеда, — придется представить себе большую холодноватую комнату, в которой у стола, заваленного депешами, сидит человек в форме и составляет тексты для опубликования. Это его обязанность и его специальность. Он знает, что должно быть сказано, что умолчано, что подчеркнуто, что выражено небрежно, иногда с оттенком иронии.

Бюллетень не должен быть ни правдой, ни ложью; и то и другое — дурной тон. Он должен содержать

веские доводы в пользу нашей стороны, но не допускать возможности веских опровержений. Главным образом он должен предугадывать все возможные сообщения и толкования противника и заранее подвергать их сомнению. Если, например, предвидится, что противник сообщит об исключительно удачном воздушном налете, то, не отрицая факта налета, необходимо указать точно, почему этот налет не удался и почему усилия, на него затраченные, оказались напрасными. Если занят противником важный военный пункт, то, признав факт, своевременно с небрежностью указать, насколько этот пункт незначителен и с каким расчетом он уступлен в общих стратегических соображениях. При этом в бюллетене того же дня полезно перенести внимание на другой фронт или другой пункт военных операций, где допустимо на этот раз серьезное преувеличение собственных успехов. В случае весьма крупных поражений о них в ближайшие дни не сообщается, а предоставляется печати подготовить общественное мнение общими рассуждениями о предстоящих трудностях и возможных испытаниях, в конечном счете обеспечивающих победу. Что касается до действительных собственных успехов, то о них следует говорить сдержанно, в тоне обычной уверенности, центр внимания перенося на цифры и точные географические названия. Цифры успеха сообщаются не сразу, а в порядке нарастания числа взятых пленных, орудий, амуниции и так далее.

При военных операциях характера затяжного бюллетени невольно делаются однообразными и, так сказать, скучными. Их стараются несколько оживить сводкой недельных, месячных или сезонных успехов, высмеиваньем таких же сводок противника, опубликованием имен особенно отличившихся летчиков или командиров подводных лодок. Информация делается до известной степени литературой, с допущением полемики.

Мы так привыкли к военным бюллетеням, что давно утратили чувство здорового их восприятия. В сущности говоря, каждое военное сообщение есть рассказ об организованных массовых преступлениях — убийствах, нанесениях увечий, покушениях на жизнь, на собственность, на свободу личности и неприкосновенность жилища. За исключением немногих преступлений (сексуальных, против религии, некоторых форм домашней кражи, шантажа, подделки торговых документов и проч.), все остальные, содержащиеся в уголовных кодексах, узаконяются войной, которая сама по себе есть высшая форма преступления (соединение убийства, насилия и вооруженного грабежа). Против такого узаконения, то есть признания этих преступлений ненаказуемыми, возразить нечего, так как законы устанавливаются и отменяются государством. Но возведение преступлений в подвиг и как бы гражданский долг относится к области нравственной, не подвластной государственной регламентации. Таким образом, восхищаясь военными победами, мы отвечаем за это сами и никого не вправе упрекать и осуждать.

Теперь всмотритесь и вслушайтесь в смысл хроники разрешаемых и восхваляемых преступлений, именуемой военными бюллетенями.

Для опорочения «успехов» противника говорится: «Сброшенными бомбами повреждены частные дома и убито несколько лиц гражданского населения».

Частный дом — пустяк, не заслуживающий особого внимания. Лицо гражданского населения также убыток незначительный. Какое лицо — значения не имеет: безымянная единица, ряд единиц обоего пола.

«Снарядами убиты девять человек; все — мусульмане».

Точная выписка из бюллетеня. Не только лица гражданского населения, но еще и туземного, а не европейцы. Убыток еще более ничтожен, успех еще

более опорочен. Думая украсть туго набитый бумажник, вор вытащил кошелек с разменной монетой.

«Следует отметить новый рекорд летчика (такого-то), сбившего свой двадцать второй аэроплан».

Примечательно местоимение притяжательное «свой». Это — его самолеты, это им убитые минимум шестьдесят человек приблизительно одного с ним возраста и одной профессии. В свою записную книжечку он внесет на приход их число, так как имен их он не знает. Это его личная гордость и его заслуга.

Когда-то индейцы скальпировали убитых ими и скальпы, подсушив, носили на поясе. За это их называли дикарями и считали полулюдьми. Может быть, тут есть какое-нибудь, от нас ускользающее различие, как есть оно в примере убийства девяти мусульман, людей неполноценных, второго и третьего сорта.

Рядом с бюллетенем — заметка о местном происшествии «Раскрытие зверского преступления», — арестован, наконец, субъект, зарезавший жену и двоих детей. На допросе злодей сознался, что убил их, так как был без работы и нечем было их кормить. Хотя косвенно эта причина — военная, но частных преступлений война не узаконяет.

------

Да, все это — старые слова, и примеры старые, много раз пережеванные. Их может писать гражданин страны нейтральной, сидя в стране отвоевавшей и печатая в стране, еще не вступившей в войну. Но все подобные речи уничтожаются единым возражением: «Там, где идет дело об интересах общего порядка — страны, государства, народа, — интересы частные отходят на задний план».

Есть истины, ставшие таковыми не потому, что их истинность доказана, а лишь от постоянного их употребления. Чтобы дерево давало плоды, нужно стричь его приемами опытных садоводов. Это со-

вершенно несомненно и доказано тысячи раз. Доказано, что это выгодно садоводу, — но никто не интересуется, выгодно ли это дереву и его веткам, согласны ли они на операции и на усиленное плодоношение. Правда садовода резко расходится в данном случае с правдой ботаника: обрезка дереву крайне вредна и уменьшает срок его жизни, калеча его правильное развитие. Басня о расхождении интересов общих с частными и об обязательстве уступок рассказывается детям, которые, в свою очередь, расскажут ее своим детям, и величайшая неправда становится истиной.

## Русская загадка

*(14.1.41)*

Русские загадки трудны даже и для русских. Что, например, такое: «Берег звякнет, утка крякнет, собирайтесь, детушки, ко родимой матушке»? Предупреждаю заранее: ничего общего с будущим эмиграции. Или: «Развалющие мои косточки, никто вас не купит, не возьмет, отнесу я вас за тын-городок»? Несколько ближе к положению эмиграции, но тоже не о ней сказано. Или еще: «Шитовило-мотовило, по-французски говорило, спереди шильце, сзади вильце, сверху бело полотенце»? Разгадок не привожу, чтобы дать больше работы забывающим русский язык.

Каково же иностранцам разбираться в «русских загадках». На чьей стороне Россия? И хотя не подлежит сомнению, что она на своей собственной стороне, все-таки вопрос считается открытым. Предполагается, что в какой-то момент «берег звякнет, утка крякнет» — и все полетит вверх тормашками (вот тоже загадочное слово, над которым бьются языковеды).

Лично меня такое предположение переполняет гордостью: трепещи, Европа! И когда туземец, забыв на время, что мы — вредные элементы, закидывает

удочку в мутную воду нашей национальности и заискивающе спрашивает: «Ну, а как вы все-таки думаете?» — я делаю лицо не менее загадочное, чем сама «русская загадка», и медлительно отвечаю: «Как вам сказать, будущее выяснит, пока же вряд ли что-нибудь имеется в виду». И хотя я знаю ровно столько же, сколько и этот туземец, но чувствую, что кажусь ему лицом значительным и осведомленным.

А ведь, пожалуй, загадки никакой и нет. Два соперника дерутся, третий стоит в стороне и наблюдает. И не только любуется, а и подзуживает: «А ну, дай ему под микитки! в зубы, в зубы норови!» И нет ему никакого интереса в том, чтобы борьба кончилась, — всякий лишний удар, всякое новое увечье доставляет ему и прекрасное зрелище, и невинный доход. Когда обе стороны лягут костьми, — сторонний зритель погладит бороду и сядет за стол съесть и свою и их порции. Не вы ли говорили о реальной политике? Это и есть реальная политика, выражающаяся формулой tertius gaudens*.

Но, может быть, этот третий проиграет, если один из дерущихся окажется победителем? Может быть, но невероятно! Во-первых, он уже выиграл и продолжает выигрывать за счет борющихся; во-вторых, в такой борьбе не бывает победителей — бывают только побежденные, и даже выжившему придется долго зализывать раны. В-третьих — реальные политики думают о настоящем и ближайшем будущем, которое история запишет на их счет; отдаленное сокрыто от нас туманом, о нем будут думать наши дети и внуки. Наконец, на крайний случай, можно добить лежачего и выиграть на этом, разом разрешив «русскую загадку».

Только не ждите от реального политика никаких моральных жестов! Политика разума исключает мо-

* Третий радующийся, то есть тот, кто выигрывает от распри двух сторон (*лат.*).

раль. Как быть с провозглашенной высокой идеологией? Во-первых, идеология — надстройка, во-вторых, не эта ли идеология отвергалась «моралью» Европы? Не она ли осуждена? Не с нею ли боролись? Кто же может теперь настаивать на ее последовательности?

Много на свете загадочного. Мы живем под новым созвездием — Вопросительного Знака. И в этом хаосе, в этой путанице и неразберихе, единственно просто решается только пресловутая «русская загадка».

Это, конечно, не должно нам препятствовать важничать, рисоваться и отвечать туземцам: «Как вам сказать, все зависит от того...»

### «Персонализм»

*(17.1.41)*

Кончится война — что будет дальше? Какое-то внешнее переустройство Европы неизбежно. Возможно ли, нужно ли и внутреннее переустройство общественной жизни? Дело не в государственных границах, не в национальных распределениях; дело в человеке, в его труде и его легком дыхании.

Война — плохое время для социальных опытов. Но когда она кончается, эти опыты рождаются сами собой, не справляясь о том, подготовлены ли к ним умы и общественная обстановка. Что-то, следовательно, должно быть обдумано и взвешено заранее.

Прошлая война имела своим последствием опыт коммунистический, не оправдавший ни своей идеологической сущности, ни своего названия. Подавив частный капитализм, заменив его государственным, коммунизм одновременно уничтожил и свободу личности, даже в той мере, в какой она была в строе прежнем.

Из этого печального опыта параллельные ему течения, фашизм и нацизм, взяли целиком его отрицательное и в некоторой части его положительное: была подавлена свобода личности, но и свободе экономической, источнику социального неравенства, был положен некоторый предел. Эти три новые идеологии, образовав дружественную «ось», столкнулись со старым, демократическим строем и вызвали его крушение в Европе.

Сейчас наметилась новая общественная идеология, уже получившая кличку «персонализма». Ее основные положения таковы. Свободы общества индустриального, капиталистического, основанного на противоречии интересов, приводят к войне, — внутренней или международной. Эти «свободы», экономическая и личная, между собой непримиримы. Свобода обогащения означает право немногих лишать миллионы людей возможности сносного существования; в плане международном это приводит к подавлению малых национальных группировок. Следовательно, так называемая «экономическая свобода» должна быть обуздана. Одновременно с этим свобода личности, то есть свобода быть личностью, иметь все права и возможности всестороннего личного развития, — эта свобода должна быть утверждена и обеспечена. В масштабе международном это означает право народностей на самоопределение и самостоятельное существование.

Теоретически это просто, практически потому сложно, что эти «свободы» не только противоположны, но и взаимно переплетены; не два противника, стоящие друг против друга, а сцепившиеся в борьбе за жизненные интересы. Чтобы этот клубок распутать, нужно пересоздать общество, воспитав его в ином понимании принципа «свобод», в сотрудничестве, в дружбе, в любви.

Теория не новая, но она впервые поставлена в масштабе международном. В ней призыв не к бунту,

а к сознанию, не к диктатуре, а к защите прав личности, отрицающих диктатуру вождей, как и диктатуру масс.

Она утопична, как все общественные идеологии. Вряд ли в этом можно видеть ее недостаток. Ее достоинство в том, что она ставит неколебимым принципом свободу человеческой личности — без всяких оговорок. До сих пор именно этот принцип прежде всего нарушался послевоенными новаторами, обесценивая и уничтожая все их возможные достижения.

Персонализм сейчас в особой «моде» в Англии, что и понятно: только там, в развитой общественности, возможен призыв к сознанию, а не только к страстям.

## На ту же тему

*(17.1.41)*

Если бы опросить всех людей, чем они готовы сегодня пожертвовать, чтобы через сто лет человечество сделалось счастливым, — я не думаю, чтобы сбор добровольных жертв оказался внушительным, даже если люди поверят, что их жертвы не будут напрасными. И, однако, почему-то предполагается, что благополучие будущих поколений важнее благополучия настоящих и что можно разрушить мой маленький дом с дровяной печуркой и выгнать меня на мороз, утешив тем, что мои правнуки будут жить в гораздо большем доме с центральным отоплением. При этом меня не только не спрашивают о согласии, но даже не справляются, есть ли у меня дети и готов ли я признать грядущие поколения за своих потомков. Не спрашивают меня и о том, верю ли я в утешения и полагаюсь ли на обещания утешителей. Больше того: я отнюдь не думаю, чтобы центральное отопление давало больше счастья, чем согревающая меня примитивная печурка.

Таковы, в сущности, все планы и проекты устроения человеческого счастья: выигрыш в будущем ценою несчастья в настоящем, вечное пожертвование реальными благами ради призрачного благополучия предполагаемых единиц или масс, которые будут в свое время приглашены поступить так же. Теория искупительных жертв, которая сама по себе могла бы быть весьма высокой и достойной, если бы за нею не стояло принуждение.

Есть, вероятно, какой-то внутренний порок в построении подобных проектов. Предположим, что лично я ничего не имею против самопожертвования, тем более что жертвовать мне, в сущности, нечего, кроме жизни, которая достаточно использована и никакой ценности больше не представляет; не «счастье будущего человечества», до которого мне нет никакого дела, а простое любопытство может легко поощрить меня добровольно прыгнуть собственной персоной в кружку мирового сборщика. Но я буду отбиваться руками и ногами, если меня обяжут это сделать или предпишут мне верить в чужую выдумку и считать ее непогрешимой истиной. Никакая чужая истина, хотя бы на ней были вышиты голубым бисером ангелы, для меня не обязательна; при надобности я найду свои истины уже тем самым лучшие, что я не назову их непогрешимыми и никому насильно не навяжу. Мало того, я буду защищать и всякого другого, над кем захотят учинить такое же насилие, — если он помощь мою примет или ее попросит. Впереди всех идеологий, религий, учений, политических и экономических теорий, всех обычаев и законов, впереди всего, о чем мы можем договориться или на чем разойтись, — примат свободы моей человеческой личности, которою я не поступлюсь ни ради чего и ни во имя чего.

Это не эгоизм; это — естественное человеческое право, попранное и попираемое одинаково диктато-

рами и проповедниками социальных теорий, ищущими компромисса прав личности и коллектива. Компромисса быть не может, — его последствием всегда будет насилие и война. И именно поиски компромисса довели Европу до настоящего заката, — не красочного и печального, а отвратительного и грозного, сулящего те же переживания и всему так называемому культурному миру, — миру людей, опутавших себе ноги обожествлением воли коллектива, глотающего личность, как лягушка комнатную муху.

### Река

*(Между 4 и 12.2.41)*

Начало февраля, вторая волна холодов во Франции. Эта вторая волна мягче, снежнее и не грозит затянуться. «Ужасная погода» — говорит укутанная в тряпки и шали соседка и подтверждает почтальон, едва справляющийся на снегу с велосипедом. Я их понимаю, но думаю про себя: «Какая прекрасная погода, почти настоящая северная зима». Если, конечно, просто любоваться и дышать, без гражданских мыслей о топливе, расстройстве транспорта и поломанных ногах.

Сегодня, по-видимому, начало оттепели. На обильно выпавшем за ночь снеге уже образовалась вкусная хрупкая корочка, шины проехавшего грузовика оттискивают на темной мокрой полосе бесконечный ряд белых крестиков. На двор прилетают птицы, ища чего-нибудь, ну хоть чего-нибудь поклевать, потому что в лесах и полях найти нечего.

Во всякое время года красива и разнообразна только река, и я осторожно, с остроконечной палкой, в резиновых сапогах, спускаюсь к ней по скату боковой улицы; сейчас огородами пройти к ней нельзя — все затоплено водой, просочившейся сквозь почву, так как река отгорожена высокой дамбой. Дорожка ведет к мосту мельницы, стоящей на ост-

рове, и с дорожки можно свернуть на дамбу, чтобы прогуляться у самого берега реки.

Вода затопила и остров, и «немецкий берег». Стволы деревьев стоят среди воды, украшенные снизу кружевом ледяной манжетки. На нижних ветках кустарников груды стеклянных подвесок. Вода идет и возвращается, в бурных местах образуя воронки. В снежных берегах она кажется почти черной. С деревьев падают хлопья и стекляшки. Ни одной минуты река не одинакова, и не узнать в ней ни летней, ни осенней, не найти знакомых насиженных рыбацких местечек. Негатив природы летней: темное стало светлым и наоборот. Я помню снег в Риме — большое событие! Фонтаны казались черными, и в садах из снега торчали многоцветные левкои. И еще помню ледоход на реке Каме, — но об этом вспоминать не стоит. Французская река, на которой я живу, хоть и мала, но так хороша, что мне кажется, будто она говорит по-русски.

Вы не любите природы? Вам милее большой город? В городах тревожно, в городах слишком много знают и потому не могут жить спокойно. Лучше всего жить отрезанным от остального мира снежным заносом, когда даже почта спотыкается и теряет по пути газеты. И даже радио вчера извинялось, что из-за снежных бурь оно вынуждено не распространяться о том, что делается на севере и на экваторе. Собственно, отсюда и мое лирическое настроение, вызвавшее прогулку на берег реки и подкрепленное этой прогулкой.

Старый человек, свидетель многих катастроф, говорю вам: цените часы и дни бесшумные и бесцветные, когда ничего не случилось и истории нечем похвастаться! Чем бледнее событиями жизнь — тем она внутренне светлее и ярче, тем она плодотворнее. Богатство переживаний родится в духовных лабораториях, а не в уличных схватках, не в международных столкновениях. Бури ломают сознание,

калечат любовь, губят человечность. Важно произрастать, а не кидаться из стороны в сторону, теряя в суматохе и суетне добытое в тиши. Скучно? Значит, вы еще не знаете величайшей скуки, к которой приводит бесконечная повторяемость истории, кажущейся новой в отрезках, а в длительности лишь повторяющей свои обезьяньи ужимки.

Только река во всякое время года прекрасна бесконечным разнообразием: в ней никогда не бывает двух одинаковых всплесков бегущей невозвращающейся воды.

**Счастье или свобода?**

*(Между 4 и 12.2.41)*

Какова конечная цель человеческой жизни: счастье или свобода? Вопрос ставится и обсуждается в стране, лишившейся свободы. Вопрос, конечно, неправильный, уже одним тем, что одно понятие включает другое, что оба они неопределенны и слишком субъективны, что они не в одной плоскости. Но французское счастье (bonheur — добрый час) не имеет нашего всеохватывающего смысла; мы бы перевели это слово «благополучие», его содержание слишком матерьяльно. И все-таки раз вопрос ставится, нужно на него ответить.

Ставится он не без хитрости. В этой формуле подсказывается, что основной девиз поколебленной гражданственности не может быть самоцелью и не такая уж ценность. Цель жизни, конечно, достижение счастья, то есть полного удовлетворения потребностей. Нужна ли для этого свобода, личная, политическая? Если несвободный человек может достигнуть полного матерьяльного благополучия, — зачем ему нужна свобода? Но этого мало: подлинно ли она нужна ему для полноты благополучия духовного, не в ней ли, напротив, лежит постоянный источник неудовлетворенности?

Свобода мысли и действий предполагает ответственость за них; тем самым она связывает волю. Если вам предлагается общественный порядок, при котором вся ответственность перелагается на органы власти, за вас законодательствующие и управляющие, и если этот порядок действительно обеспечивает ваше благополучие, — разве это не прямая для вас выгода, не достижение жизненных целей? Вы можете сказать, что не верите в такой строй. Но это уж иной вопрос, практический; мы же рассуждаем чисто теоретически.

Впрочем — разве нет примера идеально развитой государственности, где все равны в бесправии, все удовлетворены и никто не ропщет? Науке известны войны муравьев, но муравьиная революция ни разу не наблюдалась. Между тем в муравейнике нет, по-видимому, ни свободы личности, ни свободы мысли, ни даже трудового самоопределения; все намечено и установлено строжайшими и вечными законами, не допускающими никаких уклонов. Все поголовно рабы коллектива, в жертву которому принесены даже запросы пола. Счастливы ли муравьи? Во всяком случае, они удовлетворены этой жизнью, так как за тысячелетия и даже миллионы лет протеста не выражали. Пример полного отсутствия свободы, окончательной механичности движений, безропотной преданности государству. Не есть ли это — идеальный строй? В нем даже нет особо стоящей власти, есть только символ власти — коллектив.

Свобода личности может быть средством, но может ли она быть самоцелью? В этом центр вопроса.

Вопрос политический, мизерно поставленный, нашептанный в полицейских целях, внезапно вырастает в религиозный. Ответ на него может быть только один. Если без свободы не может быть счастья, то это значит, что свобода есть высшее человеческое устремление, отказаться от которого он не может

никакой ценой, но в жертву которой может быть принесено все, всякое материальное и духовное благополучие. Иными словами, она выше челове-ческого, она — элемент божественного в человеке. Возведенная на такую высоту, она не может быть сравниваема с таким земным понятием, как bonheur, как человеческое счастье, и самый вопрос отпадает.

Это не значит, конечно, что так именно и отвечают него философствующие литераторы, обычно разумеющие под «свободой» право голосования, а под «счастьем» — ренту или достаточный служебный оклад. Они не столько отвечают, сколько уклоняются от ответа: разве можно угадать заранее, какой ответ наиболее обеспечит bonheur завтрашнего дня?

### Парадоксы

*(12.2.41)*

То, что мне хочется сегодня сказать, настолько просто, что при привычной предвзятости и усложненности наших представлений чрезвычайно трудно выразить даже образами, лучшим в таких случаях приемом.

В какой-то счастливый момент мы чувствуем загрязненность тела и запыленность мысли, ощущаем жажду чистоты и обновления. Мы берем ванну, одеваемся во все чистое, разрешаем парикмахеру превратить нашу голову в ароматный мандарин. Тот же и в то же время совсем другой человек, очистившийся от всякой скверны и дышащий полной грудью; главное — не ощущающий влияний и запахов вчерашнего прокуренного дня и обязательных мнений. Нет больше этой липкой паутины привычно заученных слов, взятых из передовых статей, нет оскомины кисло-сладкой злободневности и нет склонности к коктейлю патентованных истин. Чистый

воздух, солнечный свет, свежесть во рту и свобода суждений.

Обычно мы до крайности опутаны разными обязательствами: обязательствами быть на одной из сторон в международных столкновениях, обязательством определенности политических идеалов, такой, а не иной оценки исторических или современных деятелей, — вообще бесконечным рядом нами принятых и подписанных договоров, которыми и определяется в чужих глазах наша личность. Даже то, что мы серьезно считаем независимостью суждений, обычно не более чем легкое отклонение от мнений принятых и господствующих, некая ересь в пределах одной и той же церковности.

Я, кажется, начал настолько издали, что к звонку не доберусь до дому, поэтому попробую перейти к примерам. Вот читаем мы о происходящих военных операциях в Африке. Лично я читаю о них с тем большим интересом, что в дни триполитанской авантюры жил в Италии и читал восторженную политическую дребедень Габриэле д'Аннунцио о героических завоеваниях колодцев, которых было некому и нечем защищать. Но не в том дело. Мы — соответственно направлениям нашей нейтральности — сочувствуем успехам англичан или итальянцев, совершенно упуская из виду, что человека здорового, не искривленного политикой, должно поражать совершенно другое, что дело происходит не в Англии и не в Италии, а как бы два подравшихся субъекта ворвались в чужой дом и там переколотили мебель и посуду и убили и поранили непричастных к их ссоре хозяев. Дерутся европейцы, страдают от этого африканцы — эфиопы, негры, арабы, люди, законно ненавидящие всем пылом своих цветных сердец обе воюющие стороны. И именно в этом и весь смысл, и весь ужас происходящего, и именно об этом мало кто думает.

Пример другой — и из совсем другой области. В силу ли «национальной революции» или просто по сча-

стливой мысли догадливого человека, рушится и заменяется своей противоположностью государственный строй в какой-нибудь стране (что мы сейчас наблюдаем приблизительно дважды в месяц).

Политики до мозга костей, мы объясняем это соотношением общественных сил, внешними причинами, торжеством такой-то идеи, гениальностью или наглостью таких-то деятелей. Между тем легкая прогулка по всеобщей истории культур привела бы здоровое и не зараженное предвзятостью сознание к мысли о природных качествах материала этого самого человеческого сознания, о способности этого материала уставать, как устает всякая материя, в том числе и металл (это известно всякому технику). Без видимых причин начинает плохо работать машина; если дать ей отдохнуть, она без всякой починки может работать дальше, будь это мотор автомобиля, карманные часы, стило, ножницы, лезвие бритвы. Не усталостью ли материала сознания объясняется то, что народ, сегодня преданный определенным политическим идеям, завтра с полным равнодушием посылает их к черту, чтобы послезавтра ним вернуться? Иначе было бы невозможно объяснить, почему, например, в странах, защищающих или готовых защищать оружием идею демократии, в целях этой защиты прежде всего уничтожаются все основные виды приложения этой идеи на практике (свобода слова, печати, собраний и проч.), причем это принимается как естественная и идеи не нарушающая мера, это — почти не вызывает удивления?

Ясное и здоровое, отдохнувшее, обмытое, обритое, одетое в чистое сознание должно отметить в приведенных примерах их внутреннее противоречие, их кричащую нелепость. Но сознание усталое, прокопченное политиканством, замусоренное обрезками и опилками обязательных суждений, назовет (и не без права!) наши соображения парадоксами. Я говорю «не

без права» потому, что парадокс есть логическое умозаключение, не совпадающее с умозаключениями господствующими, но не менее их приближающееся к истине. Но сверх того, парадокс есть бродило, сила движущая и направляющая, без которой мысль обречена на застой и умирание. Коперниково вращение земли было парадоксом. С другой стороны, господствующая аксиома «прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками» чуть было не убила точнейшую из наук, нашедшую спасенье только в метафизике.

Что касается до цели этих простейших рассуждений, то она также проста. Хочется удержать себя и других от соблазна умственной партийности, от нашей отвратительной привычки, предстоя тысяче возможных решений, обращать внимание только на два, предложенные в готовом виде: «за» или «против», оставляя остальные без рассмотрения, быстро становясь в ряды новобранцев одной из сторон и с тупой добросовестностью проделывая всю установленную гимнастику движений по чужой команде. Это раньше можно было делить мир на черное и белое, на левых и правых, избирая себе подходящий цвет и желанную сторону. Сейчас, сокрушив все положительное и все отрицательное, мы стоим в центре многопутья под многоцветной радугой, — и ни один путь, ни один цвет не заказан для свободного и пытливого искания. Только скопцы мысли перетаскивают с собой трухлявый багаж через сухопутные границы и океаны, — и штаны, и жилетку, и титул заслуженного журнала, и запах трупного разложения, и напетую дудочку девизов. Для кого все решено, тому почетное место в покойницкой. Кто хочет жить, тот должен снять все путы с ног и за исходную точку принять великое сомнение, здоровое и полновесное зерно всякого знания.

Потому что, если что-нибудь завело нас в тупик, то именно слепая и ленивая вера в дважды-два-

четыре, в политические и социальные таблицы умножения, напечатанные на внутренней обложке ученических тетрадок. Читающий да разумеет!

## О нации, о чести и прочем

*(17.2.41)*

Очень долго будут говорить (а ведь еще и историки есть!) о том, как могло случиться, что гордая недавним прошлым Франция вдруг оказалась разбитой наголову в какой-нибудь месяц.

Говорят об этом и сами французы, и, нужно признать, судят себя строже, чем судят их посторонние. Я сказал бы даже: слишком строго и не всегда справедливо. Самообвинение, самобичевание, доходящее (в печати парижской, то есть не совсем французской) до самооплеванья, — должно иметь свои основы и свои границы; иначе это перестает быть не только благотворным, но и пристойным.

Границы должны быть и в самозащите, порою вызывающей изумление. Когда, например, защищая французскую нацию, утверждают, что она, вопреки внешности, «дисциплинирована и легко доступна управлению, раз ей представляется возможность следовать за вождем» (выраженье газеты «Кандид»), — то подобная защита может звучать и оскорблением, хотя бы потому, что и вожди бывают разные, и стадность — не высокое национальное качество. Если бы французский народ действительно был «легок для управления», то задача немцев, оккупировавших половину страны, была бы разрешена; к счастью, это не так.

Вообще нет ничего условнее и спорнее характеристики национальных качеств народа, в особенности такого, как французский, образовавшийся из ряда последовательно наводнявших страну народностей, которые трудно даже исчислить: сканны, иберийцы, лигуры, кельты, кимвры, римляне, вандалы, гунны,

франки, норманны, — и это только до конца первого тысячелетия по Христе. Много ли общего между эльзасцем и провансальцем, между жителями Нормандии и, например, басками, происхождение которых до сих пор остается неустановленным. И можно ли исключить из понятия «нация» туземное население обширных французских колоний?

Во всяком случае, если единство французского народа в дни тяжких испытаний бесспорно, единство выдержки надежд и мечтаний, то не следует делать отсюда вывода о «легкости управления», о рабском смирении и готовности подчиниться любому политическому игу. Такие «похвалы» можно объяснить только боязнью слишком поспешных преждевременных проявлений духа свободной гражданственности, всегда отличавшего французскую культуру.

Отыскивая причины военного поражения, нередко проводят параллель между нравственным состоянием Франции 1870 года и Франции современной, ссылаясь на «дурное управление» и полную военную неподготовленность. Но Вторая империя была уничтожена не войной, — она хотела себя спасти войной; ее близкое падение было неизбежно вне всяких внешних осложнений. Уже в шестидесятые годы Франция была разложившимся государством, внутренне прогнившим. Этого никто не может сказать про Францию перед нынешней войной, имевшую свои внутренние пороки, но вполне жизнеспособную. Несомненно преувеличивается и военная неподготовленность Франции наших дней. В 1870 году поражение было обеспечено полным отсутствием всякой подготовки, созревшими изменами, грандиозным прусским шпионажем, корень которого был в императорском дворце, а разветвления опутывали все правительственные учреждения. Франция нынешняя казалась слабой в борьбе с врагом, уничтожившим в целях вооружения всякое проявление гражданской свобо-

ды в своей стране, подавившим всякую возможность дыхания, создавшим беспримерный строй рабства. Чтобы быть «подготовленной», Франция должна была сделать у себя то же самое или большее; этого она не сделала и не могла сделать, не отказавшись целиком от лучших своих традиций; но было сделано многое, если не всё, что могла сделать страна, не теряя своего лица, не превращаясь в деспотию и военный лагерь.

Вероятно, с точки зрения государственной это было ошибкой. Все несчастье в том, что государственность не имеет ничего общего ни с понятиями нравственности, ни с вопросом о достоинстве нации и ее духовных качествах. Военный примат Германии не подлежит сомнению. Но доказывает ли это или докажет ли в будущем примат духовный германского народа? Кающиеся и самобичующие слишком торопятся в самоосуждениях. Даже война еще не кончена, тем более не завершен исторический период Европы, нами переживаемый. Суд не произнесен — и приговора мы угадать не можем.

Между силой и правдой — вековечный спор. И когда вопрос ставится о чести народа, — он решается не победой оружия.

------

Если я позволяю себе касаться вопросов как будто политических и военных, то только потому, что в беседе о них особенно отчетливо подмечается предвзятость наших ходячих суждений, условность и путаница таких выражений, как страна, государство, нация, народ, как и понятий об их чести и достоинстве. Человек, подвергшийся нападению бандитов и оказавшийся слабее их, чести как будто не теряет; к нации отношение почему-то иное: ищут сейчас же признаков ее вырождения. Страна высокой старой культуры, порабощенная силой ору-

жия, должна ли каяться в том, что она не принесла эту культуру в жертву богу войны?

Я не хочу быть пристрастным к одной из воюющих сторон, — хотя пристрастие и не считаю пороком. Итальянцы пока не отличились стратегическими доблестями и не проявили военных успехов, — осуждать ли за это итальянский народ, видеть ли в этом его духовную слабость? Англичане выказали необычайную военную стойкость и героизм, признаваемый даже их врагами, — разве это лучшее, что можно сказать об англичанах как нации? Немцы считают себя накануне завоевания не только Европы, но и целого мира, — дает ли это им право на звание лучшего в Европе и в мире народа? Не было ли в Германии чего-то гораздо большего и ценного, чем ее нынешняя военная мощь? Россия проявила змеиную мудрость в столкновении народов, — неужели именно этого рода мудростью мы должны гордиться? И Италия — не Дуче, и Германия — не Фюрер, и СССР — не товарищ Сталин. Подобные упрощения не только национально обидны, но и мыслительно слабы.

Присутствуя при петушином бое, мы, естественно, учитываем прежде всего боевые качества петуха. Но люди все же не петухи, и старинная формула «мужчина — воин, женщина — утеха воина» с течением времени должна была подвергнуться сомнению. Если бы мы могли быть вполне смелыми в суждениях, мы ставили бы вопрос: в чем больше достоинства и человечности, в победе или в поражении? Вопрос не такой уж нелепый, если вспомнить хотя бы о толстовском «непротивлении злу» или о евангельском совете подставления левой щеки на смену правой. Я этого вопроса не ставлю, не чувствуя себя достаточно добродетельным или просто по робости; но уже самая трудность его постановки указывает на степень спутанности наших суждений обязательными подходами и предвзятыми понятиями, преодолевать которые мы почти бессильны. В дан-

ном случае бессилие и непротивление никак нас не оправдывает, так как в области идеологической оружие не смертоносно.

Такие темы не современны, это — темы будущего. Ставит их не текущий день, а культурное сознание. Что касается их развития и ответа на них, то это лишь постольку спешно, поскольку завтрашний день не сулит нам повязки на уста и смирительной рубашки на случай проявления так называемой «свободной гражданственности».

## О войне, Вольтере и прошлом

*(24.2.41)*

Половина мира воюет, другая половина готовится к войне. Весь мир жаждет окончания войны. Когда война окончится, весь мир будет готовиться к новой войне.

Немцы начали войну, требуя для себя «жизненного пространства»; заняв оружием пространство, которое они себе требовали, они завоевали также жизненные пространства других народов: австрийцев, чехов, поляков, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов и румын. Русские, не нуждаясь в пространствах, тем не менее отняли их у поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын и финнов. Англичане, защищая права и пространства других народов, рискуют потерять свои; французы уже потеряли. Итальянцы в погоне за новыми колониями потеряли старые. Греки, испугавшись потерь, неожиданно сделали приобретения. Эфиопы, к которым их пространства возвращаются, видят их пока занятыми англичанами. Балканские славяне остаются в неуверенности, приобретут ли они чужие или потеряют свои пространства. Японцы завязли в пространствах Китая и не знают, как им выбраться. Америка, стоя в стороне от европейской всеобщей свалки, обращает в себя в неприступную крепость.

И все-таки мир, писавшийся раньше через «и» десятеричное, несомненно, жаждет мира через «и» восьмеричное; страстно жаждет и делает все противоположное своим желаниям. И будет делать впредь.

Раньше рассуждали так: войны хотят единицы: правители, капиталисты, авантюристы; войны никогда не хотел и не хочет ни один народ.

Всякий раз, когда это сознание делалось всеобщим, происходили революции, и власть переходила к народу. Пересоздав весь строй своего управления на новый лад, народ прежде всего создавал новую армию — для новой войны. Такова Великая французская революция; такова великая русская. Таковыми будут, конечно, и предстоящие в близком или далеком будущем революции во всех странах, сейчас втянутых в войну.

Что же такое война? Рок? Отрицание свободы человеческой воли? Или она действительно «гигиена мира»? Или извечное проклятие?

Сотни великих мыслителей говорили и писали о войне, и ни один из них не мог ни указать на ее внутреннюю причину, ни найти ей оправдания или простого объяснения в человеческой природе. Есть много животных, которых природа снабдила орудиями защиты и нападения: клыками, когтями, жалом, клювом, ядовитыми железами; и все-таки в мире животных «война всех против всех» — только человеческая выдумка, плод неглубоких наблюдений: животный мир не знает войны в пределах одного вида; сомнительное исключение — муравьи. Человеческий организм совершенно лишен смертоносных орудий; он приспособлен лишь для мирного труда. Каким образом человек стал кровожаднейшим из животных? В то же время мы придумали слово «человечность» (гуманность), чтобы этим высоким качеством выделить себя из остального животного мира.

Нужно ли ставить себе эти вопросы? Есть ли хоть какая-нибудь надежда на их разрешение? Работает

ли в этом направлении наш разум? Делается ли «человечнее» наше сознание?

И что можем прибавить мы к словам Вольтера, сказанным по поводу войны почти двести лет тому назад: «Во что обращаются понятия — и что мне за дело до человечности, добродетели, скромности, терпимости, нежности, мудрости, милосердия, — когда полфунта свинца, брошенные в меня с расстояния шестисот шагов (!), разрушают мое тело и когда я в возрасте двадцати лет умираю в невыразимых страданиях, среди пяти-шести тысяч умирающих, в то время как глаза мои, открывшись в последний раз, видят разрушенный огнем и железом город, где я родился, и мои уши слышат последние звуки — крики женщин и детей, гибнущих под развалинами».

Что изменилось с той поры? Только — расстояние орудийного выстрела!

------

Мы, пишущие, знаем многое, чего не знают только читающие. Мы знаем, например, что строки, подобные цитированным, считаются и разумными, и честными, и человечными, и уместными, пока нет войны; когда она приходит — те же строки, без изменения единой запятой, внезапно превращаются в неуместные, вредные, антипатриотичные, почти бунтовские.

Христианская церковь осуждает убийство; государственные законы карают не только убийство, но и покушение, но и подстрекательство, но и восхваление убийства. Детям в школах внушают не разорять птичьих гнезд. Затем та же церковь благословляет оружие и идущих в бой; тот же законодатель карает за отказ идти на войну, за подстрекательство к отказу; та же школа заставляет детей изучать «славные страницы» исторических побед и завоеваний.

Все это говорилось и повторялось тысячи раз в самых убедительных, сильных, негодующих выражениях самыми блестящими и смелыми людьми. Пусть опять говорит Вольтер о войне: «Всего изумительнее в этом адском предприятии, что каждый главарь убийств благословляет знамена и взывает к Богу, прежде чем идти истреблять своих ближних. Если ему счастливо удалось убить только две-три тысячи людей, он Бога не благодарит; но если огнем и мечом он истребил их тысяч десять и в виде милостивой добавки он разрушил и стер с лица земли еще какой-нибудь город, — тогда на все голоса поется песня в честь всех сражавшихся и особо о каждом акте варварства».

Какая сила слов, какая неподкупность мысли! И тот же Вольтер, великий фернейский старец, писал изящнейшим стилем приветствия Екатерине Второй, по случаю ее побед над турками.

С обидой и негодованием отшвыриваю томик Вольтера — какая непоследовательность!

Затем, отложив в сторону и это, мной написанное, и погрузившись в мысли о происходящем сейчас в Европе и Африке, думаю: «Как было бы хорошо, если бы вот эти поскорее наколотили этим! Да так бы наколотили, чтобы...»

------

В какой-то день, и да будет он благословен, война кончится. В какой-то очень светлый день, когда перемирие, истощение или революции взорвут враждебную напряженность. Пророчествовать не стоит, но этот день желанен.

Едва ли на тысячу людей найдется десять таких, которым конец войны не представляется началом возврата к прошлому, к тому, что было и что как будто не ценилось достаточно: освещение по вечерам, распахнутые окна, спокойный сон, семья в сбо-

ре, громкие голоса, не искажающие лицо улыбки. Для огромного большинства война прежде всего — утрата прошлого; только для немногих она — становление перед будущим, лица которого не видно.

Мы даже не можем сказать, что это будущее счастливо для победителей, несчастно для побежденных: в современных войнах экономически выигрывают только страны, оставшиеся в стороне от бойни. Официальные победы укрепляют и замораживают в странах-победительницах их политический строй, препятствуя естественному ходу его развития; обратное — в странах, потерпевших поражение, где случившееся несчастье побуждает искать его причины и вынуждает к полному пересмотру отношений общества к власти. Прошлая война дала этому достаточно примеров, нынешняя, конечно, даст еще больше.

Река в половодье выходит из берегов, затапливает поля и леса, иногда причиняет большие бедствия. К лету она войдет в свое русло, — но это уже не та река и не те берега. Прежней Европы не будет ни при каких условиях. И не будет прежней жизни, на чьей бы стороне ни осталась официальная победа. Прежними могут остаться — и остаются обычно — только человеческие ошибки и заблуждения, и первая из них — уверенность, что оружие может что-то созидать; но его разрушительная сила бесспорна.

Война вспыхивает в один день; ее последствия рассасываются десятками лет. К сожалению, у человечества плохая память, — она исчерпывается в одном поколении. Мы, свидетели истории, можем тысячи раз повторять себе, что эта война будет последней; для мальчиков, сейчас играющих на улице в солдатики, всякая новая война будет первой, — мы не можем внушить им горечи и силы пережитых нами испытаний.

——————

Есть один старый, общепризнанный и в корне своем неправильный образ: бесконечная дорога, по которой идет человек; глаза его смотрят в будущее, за его плечами — завершенное прошлое.

В мире реальном происходит совсем иное. Реально только прошлое, и то, что мы называем «прогрессом», есть накопление прошлого. Так как будущего нет, то не к нему, а к прошлому обращены наши глаза; к будущему мы повернуты спиной. Поток прошлого не отстает от нас, а вечно теснит нас, и вся история есть борьба с его непрерывным накоплением. Мы не идем вперед, а вынужденно отступаем, и в неведомую даль уходит не то, чего нет, а то, что было и отмирает в памяти, что уже перестают видеть наши глаза.

Именно поэтому мы не создаем нового, а лишь пересоздаем и приспособляем ранее использованный материал, так как создавать из ничего невозможно. Точнее — мы бессознательно противимся нарождению новых реальностей, природа которых нам неведома, новых комбинаций, никогда нами не испытанных и еще не существовавших; они появляются помимо нас и делаются реальностью лишь в тот же момент, как становятся прошлым — в момент своего рождения. Поток истории стремительно несется от будущего вглубь прошлого. Это сказано слишком давно, чтобы быть только парадоксом.

Отсюда наша привязанность к прошлому, наше возражение, что оно может целиком возвращаться. Даже самые смелые новаторы строят свои идеалы лишь по готовым образцам истории. Коммунизм идет не дальше Коммуны, социализм — первобытного христианства (в его предполагаемой окраске), фашизм избрал эмблемой связанные прутья римских ликторов, наци хотят быть нибелунгами. Французская «национальная революция», о которой так много сейчас говорят, хочет зачеркнуть «ошибки демократии», то есть весь

последний исторический период; если можно — также и 1789 год; недаром смельчаки именуют нынешние реформы — реставрацией. Никакое повторение целого отрезка прошлого невозможно, как невозможно и избегнуть его повторения в новых комбинациях. Все предстоящее уже было в зародыше в прошлом, — как тысячелетняя жизнь эвкалипта уже содержалась в семени, из которого вырос его ствол.

———

Будущее, как мы его понимаем, может возбуждать любопытство и питать надежды; но, не будучи реальностью, оно не может ни восхищать, ни вызывать негодования; соблазняя ум, оно никогда не говорит сердцу. Только прошлое может нас очаровывать, и секрет его очарования в его невозвратности и неповторяемости в пережитых нами формах, что не мешает ему оставаться бессмертным.

Мы не испытываем ничего, кем-нибудь раньше не испытанного, и не говорим ничего, до нас не сказанного; но пережитое нами светится вдали особым, неповторимым огнем, и нами сказанное слово, самое обычное, только раз произнесено этим голосом и только в этот момент, — и уже никогда так сказано не будет.

Будут войны — но никто не испытает того и так, что и как пережили мы; будет мир — но он не может вернуть нам того, что было до войны и что в нас самих ею разрушено. Вероятно, поэтому наш личный опыт не убедителен для наших потомков; если бы он хоть в малой мере мог быть для них убедительным, они брали бы из нашего опыта только лучшее и с ужасом отбрасывали худое. Но человек, как щенок, родится слепым и сам пытается творить свой мир заново. И мы ничего никому не можем обещать, никого ничему не можем научить. И если мы станем мудрыми, то только для себя.

Может быть, это справедливо. И, может быть, такая жизнь интереснее.

## Четыре времени года

*(28.2.41)**

Очень хочется петь весеннюю песню, и так трудно шевелить синими губами. Простите все-таки, если я займу вас сегодня не откликами французской жизни, а лирикой. В моей хибарке, заменившей ограбленную культурным народом парижскую квартиру, расцвели на подоконнике в банках хилые гиацинты; в огороде, где никак не может прорасти посеянный рано горох (и, конечно, укроп — не может русский человек обойтись без укропа!), появились в междурядьях и под кустами первые подснежники, те самые, прелесть цветенья которых в зеленоватых прожилках их слабых колокольчиков. Уже подстрижены кусты роз, культура которых не высока в этой полосе Франции, так что я, большой любитель ухода за ними, оказываюсь учителем и хожу по соседям подстригать прошлогодние побеги на три и пять глазков. Но это еще не весна, даже не календарная, и мартовское солнце слишком часто умывается ледяной водой. Еще нужен уголь, еще дымят сырые дрова, еще щемит пальцы на ногах, покалеченных холодом каменного пола, еще не тянет на берег с удочками.

Мы могли бы, конечно, как неисправимые патриоты, поговорить о весне нашей и сравнить ее со всеми веснами всех прочих стран, — не к выгоде последних. Но я боюсь, что это говорено и переговорено много раз. Мало-помалу выветривается самоварный и сарафанный патриотизм в скитаньях по свету без верного пристанища, и уже можно

* Этим числом помечена автором, но закончена, по-видимому, в первых числах марта.

любоваться чужой природой, находить удовлетворение в чужой жизни, даже не сделавши ее своей. Разбежавшись мыслью — делаю прыжок через океан и попадаю в городе незнакомом в среду людей, завершивших все этапы странствий, предначертанных нашему поколению для небезропотного, но честного выполнения. Кажется, дальше идти уже некуда, дальше возможен только возврат в землю отцов, или... вообще в землю: «ибо прах ты, и в прах обратишься».

Годы проходят и прошли — как год единый. Тоже и у нас было свое ожидание весны и свои ранние подснежники. Выпускала береза сережки, в полях появлялись проталины и черные грачевые островки, шумно пролетали в выси пернатые самолеты из теплых курортов в места родного гнездованья, великий Художник выдавливал из тюбиков зеленую краску на потребу природы, пока только для фона, а там будет многоцветная роспись; и люди улыбались и ждали: вот она, весна, теперь все пойдет по-новому!

Но весной опасны утренники для слишком спешных посевов, так что было немало разочарований. О чем жалеть? Было в этой нашей спешке много красивого, и уж если сожалеть, то лишь о том, что больше стало нечем очаровываться и не в чем ошибаться. Иллюзии повреждены морозом. Очень мы стали мудрыми, мудрее всех, и, право же, нет в этом никакой радости.

Мудрыми стали, конечно, не сразу и не все. Присматривались, прицеливались, оправдывали, объясняли, великодушно прощали, самоотверженно отступали, давая дорогу и новым людям и новым идеям, пока не догадались, что меняются только костюмы и украшения, а люди все те же, и истины их стоят не дороже наших. Приятно все же и сейчас видеть убежденных староверов, для которых все случившееся объясняется только ошибкой перстного сложения и сугубой аллилуйей. Собираются в зару-

бежных своих молельнях перед темными от времени и лампадной копоти иконами старого письма, выполняют в строгости поясное метанье и пальцами, длинными и худыми, перебирают четки и лестовки установленных канонов. Из седых висков надергивают волосики для кисточек, уставно мажут на проваренных в масле досках лики прежних святых, издают журнальчики под прежним девизом объединяющихся пролетариев и в борьбе обретаемого права. И это почтенно, и это трогательно, потому что все дело в силе веры, а не в ее содержании, и достойно молиться любому пенью, только бы не с ленью. Тоже и протопоп Аввакум сидел в срубе на цепи пятнадцать годов — а не сдался, не захотел простить тайных римских шишей, богоборцев и прилагатаев, напитавших народ аспидовым ядом, казнил словом Никона, дьяволова сына и овчеобразного волка.

Да, была и у нас своя весна, и за весной, как полагается, наступило лето. Вы не подумайте, что я ищу непременно параллелей между временами года и политическими этапами нашего бытия. Это может выйти случайно, а говорить хочется просто о природе, без скрытых мыслей. Лето — трудное для поэзии время года; для него не придумано стольких испытанных шаблонов, как для весны или излюбленной Пушкиным осени. В моем саду под Парижем лето приносило мне всегда немало разочарований. Для него заготовлялось с весны в посевных ящиках и на грядках множество цветов, но больше двух третей пропадало невысаженными от тесноты, засухи, простуды, насекомых и, может быть, от излишне любовного ухода. Когда к июлю доцветали первым цветом розы, жасмины, кончались тюльпаны и белые лилии, — вдруг оказывалось, что горячим летом нечем заменить пышности весеннего цветения. Да и любоваться некогда, все время уходит поливку, на мотыженье, на последнюю пикировку,

на борьбу с вредителями. Только деревья в эту пору утешают пышностью и тенью, а плодовые — сочными и сладкими дарами. Летом хороши большие леса — где их найдешь в оголенной Европе? Нам, людям уральским, угодить трудно по этой части. Но там, где есть река, в реке есть рыба, по берегам кусты, — там лето благостно, и о лете последнем, проведенном здесь, страшном и трагическом, я вспоминаю без проклятий: природа уже изгладила тягость пережитых впечатлений, как умеет делать только она, только ее божественная сила.

В юности счет жизни ведется по прожитым веснам («ее семнадцатая весна»), в зрелые года — по летам («сколько вам лет?»); осень засчитывается только одна — последней любви; зима вспоминается лишь для украшения речи («сколько лет, сколько зим не видались!»). Образ весны для меня ясен. Это, конечно, не бесплотная девица Боттичелли, расшвыривающая срезанные цветки, а ледоход и несущаяся по полю, задрав хвост, корова. А вот лето — его образы для меня спутаны обилием чужих картин. К прохладе только в верхушках раскаленного леса, к волнам тончайшей смолы, к этому хвойному богатству и счастью примешивается в памяти отравленный воздух европейских столиц, так много раз сменявших одна другую: Рим летом пахнул пригорелым маслом, Париж — вареным асфальтом, Лондон — копченой кожей, Берлин — капустной сигарой, столицы Скандинавии — свежей рыбой, столицы Балкан — жареным поросенком и базаром. Российские поля золотой ржи, французские виноградники, болгарские долины роз, норвежские фьорды, итальянские апельсинные сады, лондонские парки, затоптанный Булонский лес, серые оливы средиземного побережья, каштановые кудри Тосканы, голые скалы Черногорья, — все это как будто под одним, но всюду разным горячим летним солнцем спуталось в памяти и слепит своим калейдо-

скопом. А ведь еще бывает лето, мне неведомое, под разными тропиками Рака и Козерога, и еще там, где люди будто бы ходят не вверх ногами, а тоже по-нашему. В детские годы лето казалось мне баржей, груженной арбузами, с которой матросы ловко, из рук в руки, кидали на берег зеленые в белую полоску шары. Или на реке Каме мелью, на которую села трехсаженная белуга. Или на два-три месяца загоревшейся от неразбросанного и незатоптанного костра лесной полосой; и небо тогда туманно-тяжелое, и воздух тяжел для дыханья, и медно-красное солнце смотрит угрюмо и зловеще.

Потом, с неумолимостью бега времени, желтеет и багрянеет лист, птицы учат детей далеким полетам, зверь отъедается и перешивает пальто на зимнюю шубу, поэты начинают понимать, что одной поэзией не проживешь, печники знать не хотят никакой безработицы, пахнет яблоком и кочерыжками капусты, откашливаются перед сезоном драматические актеры, среднеевропейское время переводится на час — не разберешь, в какую сторону. Земля густо усеяна семенами трав и деревьев, пауки записываются в летчики, мухи предпочитают сидеть дома; на фронтах спешно доколачивают друг друга и уже начинают ссылаться на плохую видимость, обещая продолжение в следующий теплый сезон, вожди, окружив себя телохранителями, произносят речи, объясняя народам, за что они, народы, их, вождей, так любят. Телохранители бурно рукоплещут, народ безмолвствует. Так идет дело до первого снега или до слякоти, заменяющей белые звездочки в теплых странах.

Остается, в порядке той же лирики, преодолеть зиму, и это, клянусь, не представило бы трудности, если бы белые поляны давних прекрасных воспоминаний не были завалены мусором позднейших, уже чисто европейских впечатлений, в частности — если бы не последняя зима, с которой все еще не может спра-

виться заново почищенное и до блеска натертое мартовское солнце, — я пишу в самых первых числах этого военного и по имени, и по обстоятельствам месяца. И если бы — следует прибавить — снег таял не только на вершинах гор, а и на запорошенной им голове.

Круг замкнут, движение продолжается. Мы опять предстоим лучшему времени года — весне, пробужденью жизни в природе, — и только человек может соединять с нею надежду истребить как можно больше себе подобных.

Нынешней весной перелетным птицам придется изменить свой обычный, вековой маршрут — западное побережье Европы, двойной огиб берегов Британии, Северным и Балтийским морем в Скандинавские страны и дальше к ледяным полям. Этот путь будет прегражден для них огромными механическими птицами, страшными хищниками. Закрыт для них путь и из Африки через Сицилию, Капри, Албанию, по линиям пляжей и течению больших рек к центру Европы и в Россию. У них отнимается воздух, как отнимается море у рыб, миллиардами гибнущих от взрыва мин и от морских сражений. Редко кто думает и мало кого занимает, какое количество животных всех пород, от диких до домашних, от слонов до белок, от птиц до рептилий и рыб, погибает нечаянными и невинными участниками человеческих безумств. Не знают об их паническом бегстве, их попытках массовых переселений. Стоит ли думать о них, когда гибнут люди! — какая простая и легкая логика! Не из жалостливости говорю, а от великого нашего стыда.

------

Четыре времени года различает только сельский человек, самый сейчас модный, самый в почете, всех прибежище и надежда.

Все, чем мы бедны и чем богаты, производится и питается землей. И когда все усилия обращены на разрушение, жизнь поддерживает только земледелец.

Отсюда к нему такое внимание и почтение, что даже в пролетарском государстве, на руководящем съезде бюрократов, земно кланяются крестьянину и грозят кулаком пролетарию. Белые рабы, военнопленные, отправляются в чужие для них поля замещать воюющих хозяев и батраков, и в этой работе они не видят ни позора, ни измены своим, хотя, казалось бы, помогают врагу. На их завоеванных и занятых родинах посылают в поля городских юношей и подростков, приучая их к единственно бесспорному и благороднейшему труду, к общению с землей, всеобщей кормилицей, источником всех благ. Возвращаются крестьянину почет и привилегии, его обхаживает законодатель, ему улыбается горожанин — за хлеб, за вязанку хвороста, за курочку и весенние яйца; ему тащат всякое свое барахло, зная, что деньгами его теперь не купишь, денег у него достаточно, а покупать на них нечего. Нам, жителям полудеревенского местечка, все это видно. И, копаясь на своих огородах, мы чувствуем себя как бы участниками в торжестве признания земли, в отдаче ей забытого долга. Только бы в почтительных заботах не дошли до чрезмерности, до несносной опеки! Земле нужно не покровительство, а усердное соучастие в ее труде; а уж как, с чем управиться — она сама знает.

Вместе с почетом крестьянину возвращен почет и его ближайшим помощникам: лошади, корове, козе, барану, курице. За моторную машину не дают тысячи, за лошадь платят сорок тысяч; машина ржавеет в гараже — нечем пустить ее в ход. Лошадь стоит в теплой конюшне, хотя бы мерзли сами хозяева. И за телушкой уход почтительнее и внимательней, чем за женщиной в родильном приюте.

Еще холодна земля; но молодые белые корешки уже сосут соки. Выползают букашки, вывинчиваются из земли коробочки слизняков, червяк греется у корня трав.

Что бы ни случилось в мире — все не в счет и ни к чему, если на поправку нащих ошибок не придет в своей доброте и благосклонности весеннее солнце, не зачинит наши заплаты и не простит нас если не с любовью, то с высоким своим равнодушием: «Живите дальше и ешьте друг друга, если ничего более мудрого не можете извлечь из мною рожденного вашего бытия!»

## Тоска и Россия

*(20.3.41)*

Всякая затянувшаяся трагедия время от времени переходит в скуку. Невозможно жить в вечном напряжении — колышки струн сами ослабляются. Очень возможно, что это унылое рассуждение совпадет как раз с грохотом обвалов, с фейерверком самых решительных событий, — но все равно они тоже пресекутся полосой тоски и тяготы. И чтобы уйти от них, нам нужен каждый раз большой заряд наркоза.

В часы европейской оскомины усиленно думается о России. И невольно, и с охотой. Чужих мыслей угадывать не хочу, а сам скажу, что Россия мне кажется сейчас единственной страной, где стоило бы жить. Самой интересной и самой, конечно, незнакомой. Она не для нас одних такова; для всех загадочна и преисполнена возможностями. Проще и понятнее всего ее иностранная политика, самая реальная и самая догадливая, чтобы не сказать мудрая: ждать, пока не истекут кровью, золотом и бензином все воюющие народы, а когда это произойдет, подсчитать доходы и явить себя благо-

детельницей усталого человечества, указав ему, каким образом наживается капитал с соблюдением невинности. Русским патриотам предоставляется на выбор: или, рассуждая государственно, признать, что пока что российская политика безошибочна и единственно мудра: или же, воздев очи к небу, вынести этой политике нравственное осуждение, — но уже тогда отказаться от всякой государственной державной идеологии. Есть, пожалуй, еще и третье решение: не давать в себе патриотизму заглушать человеческое чувство; но это трудно, очень трудно. Нужно для этого долго проскитаться по свету, забыть о кровных и родственных связях, научиться любить землю вообще, человека вообще, возрастить в себе и бесстрастие и беспристрастие, национально оскопиться. Такое достижение не радует, оно опустошает душу; но возможно, что оно необходимо, хотя столь же возможно, что оно только своеобразный защитный цвет. Сверх того — твердо знаю, что именно оно и есть главный источник той тоски, которая время от времени пересекает и преодолевает нашу взволнованность событиями дня.

Нужно быть откровенными. В своих суждениях о нашей родине мы связаны тысячей условностей. Основная из них — ощущение обиды, у каждого своей и за себя. Обида, конечно, в том, что мы исключены из русской жизни, и, по внутреннему ощущению, исключены несправедливо. Казалось бы, в такой огромной стране только каждому должно найтись место, но и каждое мнение могло бы быть ценным и учитываться, как в любой другой стране, где уживаются и рядом работают люди резко несходных взглядов, и именно их сотрудничество создает необходимую и благотворную для страны среднюю. Страсти, в сущности, давно потухли, и для очень многих, притом для самых в прошлом заядлых противников российской революции, ее нынешний строй, с крепкой властью, с великодержав-

ностью, с душком монархического нового «Боже, царя храни», с национальными устремлениями, с восстановлением почти целиком прежних границ, утраченных при «похабном мире», — такой строй должен быть и приемлемым, и соблазнительным. Остается только вопрос об именах и лицах, старая и острая к ним неприязнь, да полинявшие неприязненные знамена. Так для огромного большинства. И это большинство могло там превосходно ужиться. Затем идут слои чисто беженские, случайные, ушедшие в свое время испуганной толпой, малым отличной от такой же толпы, там оставшейся и легко приспособившейся к жизни. И только для десятков или немногих сотен их непримиримость принципиальна и неистребима, не с коммунизмом, который давно выродился и выдохся, а с «тоталитарной» государственностью, не желающей признать моральных надстроек, для кого — наивных, а для кого — первозначущих и главенствующих в их полемическом мировоззрении, без которых они вообще не мыслят жизни, но борьба за которые сейчас в России явно немыслима.

И есть еще одно. До сих пор России, стране несвободы, политического террора, противополагалась Европа, где личность человека уважалась, убеждения не преследовались, была возможна духовная работа, общественная деятельность, где были живы традиции, в которых воспитывались поколения и русских интеллигентов и которыми был подточен и разрушен прежний деспотический строй. Все это было, конечно, относительно, и многие отдавали себе отчет в том, что социальный строй Европы и непрочен, и не заслуживает прочности, что русская революция, политически не оправданная, в других отношениях дала миру урок, который без последствий не останется. Во всяком случае, в Европе русский эмигрант, как и неполноправный гражданин, мог жить и работать с изве-

стной гарантией независимости его личности и его убеждений. Это исчезло, этого больше нет. Нет ни старой Европы, ни ее свободных учреждений, ни личных гарантий, ни так называемого «гостеприимства», ни национальной терпимости, ни прежнего «легкого воздуха», ни простого уюта и безопасности. Война вынудила всех иностранцев разойтись по домам, — всех, имеющих свой дом; только политические беженцы остались в разных странах сучками в чужом глазу. Ощущение необходимости иметь свой дом сейчас сильнее, чем когда-нибудь. Притом при сравнении своего с чужим преимущества чужого в значительной степени утратили свою прежнюю привлекательность. И если уж безразлично, где «пропадать», то лучше пропадать дома, среди людей родного языка, на земле, с которой связали воспоминания детства и события взрослой жизни. В конце концов — история блудного сына, который, вероятно, вернулся в отеческий дом по подобным же причинам. Тяга домой сейчас обуяла многих русских, и как нельзя было прежде, так тем более странно было бы теперь выносить им за это какое-нибудь осуждение. И оправдания этой тяге не к чему придумывать: она естественна и, как все естественное, тем самым законна. Другой вопрос, чем эта тяга завершится, благополучным ли возвратом или напрасным унижением, обиванием официального порога.

Взгляды могут не совпадать. То, что одним представляется возвращением на родину блудного сына, то другие назовут его возвратом на блудную родину. Русские всегда были строги к своей стране. Тот язык, которым говорят об СССР его теперешние граждане — в газетах, в публичных выступлениях — явление новое, прежним поколениям незнакомое; язык ура-патриотизма и самовосхваления. Нам была знакома противоположная крайность неудовлетворенности и самобичевания. Но никакой патриотизм

не вытравит из души одного убеждения, точнее — логического довода: не может быть ни великой, ни счастливой, ни совершенной та страна, часть граждан которой находится в вынужденном или добровольном изгнании. Во все времена можно было по количеству политической эмиграции судить о несовершенстве строя той страны, которая лишила их возможности жить и работать на родной почве, лишила священнейшего из человеческих прав. Эмиграция, какова бы она ни была, всегда — самый страшный и самый несомненный укор, самое неопровержимое свидетельство гибельных внутренних недочетов, прежде всего — политической деспотии, отсутствия гарантий свободы личности и свободы мысли. За два последних десятилетия демократические страны Европы переполнились беженцами и изгнанниками России, Италии, Испании, Германии, стран «вождества», сменившего прежние монархии. Сейчас мировая путаница прибавила к этому эмиграцию военную, типа иного, более мешаного, но вызванную все тем же явлением — торжеством насилия. И нет никакой разницы в том, изгоняют ли коммунистов или это коммунисты изгоняют инакомыслящих; в обоих случаях политический барометр одинаково показывает «повышенное давление» и, следовательно, нестойкую и дурную погоду. Тут не может быть никаких оправданий, никаких ссылок на временность и государственную необходимость; государство — отвлеченное понятие, и только гражданин — реальная и живая единица, источник и мерило прав.

------

Все это, конечно, «рассуждения», тем более напрасные, что менее всего мир интересуется положением многочисленных эмиграций, как бы ни была трагична их судьба.

В частности, его взгляды обращены на СССР — единственную неослабленную в Европе силу. Предполагается, что в какой-то, далекий или близкий момент, СССР сочтет своевременным выполнить свой мудрый и хорошо обдуманный план выступления, и одна из чаш весов подбросит другую к потолку. Может быть, это и случится, но гаданья на такую гигантскую тему не входят в задачи моих незначительных бесед. Хочется отметить здесь другое, маленькое, но очень любопытное явление, притом весьма поучительное для тех, кто пытается давать событиям нравственные оценки.

До какой степени все в мире переменилось! С какой быстротой и внезапностью была забыта «измена» России в мировую войну. Правда, для такого забвения имеются достаточные поводы, и особенно неудобно говорить о веревке в доме повешенного, а свежеповешенных уже двое, и есть, по-видимому, еще кандидаты. Нужно при этом сказать, что оба случая «измен» из позднейшей истории далеко не вызвали такого решительного осуждения, каким была заклеймена Россия, хотя и принесшая жертвы несравнимые и неисчислимые. Суд не равный, и истории придется сделать смягчающую поправку к прежнему приговору, слишком поспешному и партийному. Но слово презрительного осуждения было сказано, клеймо было положено, и нам, русским, пришлось его носить. И вот прошло немного лет, и к прежнему изменнику тянутся руки и улыбки, его сочувственного взгляда ищут, несмотря на всю недвусмысленность его поведения, и если о чем мечтают, то именно о новой его измене, за которую ему простили все прежнее и возвеличили его в будущем.

Какая страшная месть истории! И какая справедливая месть! И еще — какое крушение нравственных оценок и критериев! Как это поучительно для наивных, полагающих, что воюющие государства руководятся мотивами морали и справедливости, а не

интересами мирового господства, или, мягче выражаясь, не жизненной необходимостью. Лирика еще не вышла из употребления, и прежние высокие термины еще пестрят в речах политиков. И если случится то, чего столь многие ждут от России, если и она выйдет из выжидательного покоя, — ту же лирику мы услышим в ее мотивах, притом безразлично, чьи надежды она оправдает и к каким склонится объятьям. Но если современная война, во всех ее настоящих и предстоящих этапах, внесет человеческое сознание хоть каплю здорового, то вся эта лирика быстро переведется на рубленую прозу. На прозу страшную, обличительную для мирового обмана, в котором купаются народы. Но только вряд ли в «тьме горьких истин» мы обретем больше счастья, чем нашли в «нас возвышающем обмане».

------

Издали мы даем России, ее политике, ее международному поведению зарубежную оценку, судим о ней, как европейцы или как американцы. Что уцелело бы из этого нашего к ней отношения, если бы мы жили «дома»?

Вот вопрос, ответить на который никто не может. Мы не знаем даже границ нашего незнания России. Это все возрастающее незнание мы можем сравнивать только с такой же, а может быть, с еще большей неосведомленностью российских граждан в сути происходящего за пределами Союза. Если наши предположения не свободны от страсти и непотухшей обиды, — там понятия и оценки преподносятся готовыми и не могут быть проверенными. Нужно поставить себя на место людей, давно искусственно отрезанных от общения с миром, отвыкших от этого общения, смотрящих в окошечко гигантской берлоги сквозь искусственно окрашенные окна,

искажающие и внешние очертания событий, и их внутренний смысл. К незнанию привыкают, с ним сживаются, как с часами, неверно показывающими время, как с суррогатом точного измерительного прибора.

Вряд ли можно сомневаться в том, что, живя в России, мы с половинным интересом следили бы за происходящим в остальном мире, радуясь, что наша хата с краю и наша позиция полна неисчислимых выгод. Пожар в доме соседа — зрелище, а не несчастье, пока, конечно, нет прямой угрозы, что огонь перебросится и на нашу крышу. Из всех нейтральных стран Россия единственная, которой не приходится бояться вынужденного участия в мировой бойне, во всяком случае, в ближайшем будущем. На ее долю выпала счастливая возможность таскать из огня каштаны с полной безнаказанностью и полной уверенностью, что отнять их обратно ни у кого не хватит сил. Всякие моральные осуждения — только пустые слова, и кто может сомневаться, что сильному простится все по первому его угрожающему жесту или за первую им обещанную поддержку? И кто оспорит, что такая позиция не может не быть источником национальной гордости и была бы им в любой стране? История выносит порочащие приговоры лицам, но никогда — странам. В политике морально то, что приводит к конечной победе.

Живя в России, мы, вероятно, забыли бы многое, что нас здесь волнует и что делает партизанами одной из борющихся сторон. И это было бы естественным. В то же время в этом сознании есть что-то оскорбительное; во всяком случае, оно, не уменьшая тяги «домой», не уменьшает и тоски, перемежающей живое чувство отклика на события, — тоски, которую не преодолеет, очевидно, никакая перемена мест, никакой опыт откровенной с самим собой беседы.

———

Как чужды, как психологически непонятны нам сейчас причины и мотивы крестовых походов или европейских религиозных войн, Варфоломеевской ночи, длительной и кровавой борьбы католичества с протестантством! Вряд ли можно сомневаться, что нашим потомкам будет столь же странной и психологически чуждой наша эпоха борьбы демократий с авторитарностью, этих двух разделов политического фанатизма, двух преходящих религий, от которых со временем останется только дымный и кровавый исторический след. Историк попытается и там и тут ввести решающий экономический фактор; нет ничего легче, как попросту зачеркивать труднообъяснимое. Но и этот фактор — экономическую борьбу — не сделает ли будущее столь же мудреной психологической загадкой, изжитым фанатизмом? Каким новым «паспарту» придется заменить нынешний всеотмыкающий марксистский ключ? Отмыкающий все, кроме тайников человеческого духа.

Смена понятий, смена терминов, смена толкований. А в общем столь ли уж подлинно велико расстояние от Пунических войн до вчерашних столкновений на Африканском побережье?

## Нейтральные

*(24.3.41)*

В эту войну впервые появилось в применении к некоторым нейтральным странам выражение «невоюющие». Не участвуя непосредственно в вооруженной борьбе, иногда даже не прерывая нормальных дипломатических отношений, государство не скрывает своего сочувствия одной из воюющих сторон и оказывает ей открыто поддержку. Такова Россия, с начала войны выразившая сочувствие и оказывающая помощь нацизму и фашизму, такова Америка, энергично помогающая в борьбе демократиям.

В положении невоюющих стран есть оттенки; так, вынужденное «сотрудничество» Франции, кормящей не только германскую армию, но и гражданское население Германии, нельзя, конечно, признать за проявление подлинного сочувствия, как и болгарское соучастие в войне не может быть признано добровольным и основанным на естественных склонностях (пишу эти строки в дни вступления в Болгарию германских войск).

Нейтральными, а иногда лишь «невоюющими» являются и отдельные частные лица разных подданств и национальностей, в зависимости от степени их сочувствия и рода их деятельности. Остаться в своих чувствах действительно нейтральным может только человек, по своему развитию или по своей удаленности от мира совершенно не отдающий себе отчета в происходящем, на судьбе его никак не отражающемся: ребенок, дикарь, слабоумный, житель необитаемого острова. В разгар прошлой войны в России, на севере, были поселения, где никто не слыхал о войне, не слыхал даже и о предшествовавшей войне с Японией. В прошлую же войну, зимой 1914 года, я имел счастье встретить в Неаполе только что приехавшего из экспедиции русского ученого, который, выйдя с парохода на берег, с удивлением узнал, что обычного проезда из Италии в Россию нет. — «Но почему?» — «Из-за войны». — «Какой войны? Кто с кем воюет? Как? И Россия тоже?» Но это был не нейтральный, а просто счастливый человек.

Вот я пишу, и я уже не нейтрален, я лишь невоюющий, мое сочувствие одной из сторон сомнению не подлежит. Поскольку наша деятельность, хотя бы самая малая, направлена на защиту наших взглядов, мы тем самым оказываем посильную помощь стороне, которой наше сочувствие отдано. Немыслимо полное бесстрастие для живого и мыслящего человека, даже если ненависть к самой войне, к кровавой и преступной человеческой бойне, к подобному спо-

собу решения человеческих споров, уравнивает в его глазах обе стороны. Какой-то оттенок в невольных оценках всегда скажется и проявится, если не в отношении к государствам, понятиям отвлеченным, то в отношении к живым единицам, их образующим, к их отличительным национальным качествам. Никакая рассудочность, никакая идеологическая холодность и неумолимость не уравняют чаши весов нашего суждения, пока в груди нашей не замирало чувство, не обязанное считаться с логикой.

Но есть особого рода духовный нейтралитет, основанный не на принципе «моя хата с краю», не на расчете выгод такой позиции и не на двустороннем холодном умствующем отрицании, а на совершенно противоположном: на равном человеческом сочувствии и сострадании живым единицам, от имени которых правители государств совершают преступление, именуемое войной. Этот нейтралитет не ищет виновного, не вмещается в спор, не производит оценок. Внеразумно, сверхлогично, слушая только голос чувства, видя только страдания, он со всей искренностью не хочет и не может делать никаких национальных и иных различий между жертвами войны, никогда и ничем самой войны не оправдывая.

На этом принципе построена идея краснокрестной помощи, аполитической, анациональной помощи человека человеку. Международный Красный Крест в свое время сделал ошибку, попытавшись вмешаться в самые методы военных действий и определить границы недопустимого; тем самым он как бы оправдал то, что оправданья иметь не может. Так, например, появилось осуждение разрывных пуль при допущении разрывных артиллерийских снарядов и бомб, — одно из величайших и очевидных лицемерий. В бесчеловечном напрасно искать степеней и оттенков и вышедшая из употребления сабля была ничем не человечнее иприта. Если в нынешней войне до сих пор не применялись удушливые газы, то не потому, что

стороны считают их применение слишком жестоким, а только потому, что они его одинаково боятся и не придумали достаточной защиты; изобрети одна из сторон идеальный противогаз, — она немедленно расторгла бы молчаливое соглашение. Если взятых в плен не расстреливают, раненых неприятельских солдат не приканчивают, гражданское население занятых областей не вырезывают поголовно, его имущество до конца не расхищают и если иногда, потопив судно, спасают экипаж, — то и это все делается не по чувствительности, а по прямому расчету, ожидая такого же поведения противника. Единственный сдерживающий мотив в войне — боязнь реванша, и когда граница считавшегося недопустимым перейдена и реванш последовал (бомбардировка мирных городов и частных зданий), никакими призывами к милосердию не остановить дуэли противников.

Не дело «духовного нейтралитета» определять и утверждать степени бесчеловечности. Прикрывая своим символическим знаком полевой госпиталь или поезд, Красный Крест в условиях войны тоталитарной уже не достигает цели, — защиты раненых; скорее он навлекает пущую опасность, так как его знаком пользуются для камуфляжа в особо важных случаях, и он может служить лакомой приманкой. Это, конечно, печально, это ужасно, но это и совершенно естественно, потому что выделение раненых в особую неприкосновенную группу при всей понятности и высокой человечности этой попытки в своей основе нелогично: чем докажете, что убивать людей здоровых менее жестоко, чем убивать тех, часть которых все равно обречена на смерть, а часть на жизнь калеками. Следовательно, вопрос нужно ставить иначе: убивать этих несчастных для противника бесполезно. Но если именно это отмечается защитительным символом, то тем самым он как бы решается утверждать закон-

ность убийства тех, на кого не простирается его защита. И из этого порочного круга никогда не выбраться, пока ищешь законное в беззаконном, человечное в жестоком.

Что же делать? Не помогать, не облегчать страданий, не пытаться воздействовать на человеческие совесть и чувства? И в чем же тогда действенная роль духовного нейтралитета?

Вероятно, нужно делать то, что до сих пор делалось, и даже так, как делалось: залечивать раны, ампутировать ноги, добиваться освобождения пленных инвалидов, кормить детей разоренных стран, равно относясь к народам стран враждующих, невоюющих, нейтральных. Вероятно, нужно пытаться ограничивать военные жестокости договорами, соглашениями, посредничеством, работой лиг, крестов, съездов, всеми возможными мерами. Но, наверное, нужно что-то иное и гораздо большее, согласованное с сознанием, что все и меры и все эти действия — только боязливая отписка нашей совести, только уплата за сомнительное право не причислять себя к разряду диких зверей, а именоваться царями природы.

Что такое это «большее», я не мог бы высказать словами рассуждения и признаю свое бессилие выразить образами, хотя и думаю, что это — единственный верный способ. Какой-то взрыв мирового протеста, какое-то «восстание ангелов». Или, может быть, рождение гениев, сошествие нового богочеловека, ослепительный свет, понтонный мост на одну из ближайших звезд. Или что-то гораздо более простое и скромное — эпидемия доброты и благости, превращение плотоядных в питающихся воздухом, всеобщая атрофия воинствующих чувств. Не все ли равно, к каким нелепым или хитрым образам прибегнуть, и разве это хуже, чем истерически крикнуть: «Взорвем все, что грозит взрывами, уничтожим все, грозящее уничтожением!» При таком

призыве прежде всего встает перед нами образ... городового, поднятой палочкой прерывающего течение чересчур смелых мыслей.

———

Я потому говорю о «духовном нейтралитете», что именно сейчас Франция ждет американской помощи детям, — и в Марсель уже прибыл первый пароход. Скажем так. Если бы иногда люди не позволяли себе роскоши красивых и благородных поступков, стало бы жить вообще невозможно. Даже в швырянье воробьям ненужных кухонных крошек есть много утешительного. В Гибралтаре живет особая, мавританская порода обезьян; их осталось лишь до сотни, и о них заботятся солдаты, усердно их подкармливая и не позволяя обижать; разве, прочитав об этом, не делается немножко легче дышать? Вот уже два года, как швейцарские крестьяне и маленькие буржуа берут на прокорм детей из воюющих стран: французов, немцев, итальянцев. Франция кормила детей испанских и лишь недавно, сама оскудев, вернула их на родину. Этих детей содержали рабочие и масонские организации (последние теперь распущены за «вредность»).

Я помню голодный 1921 год в СССР и помощь АРА в пострадавших губерниях. Она не всегда была нам понятна. Как общее правило, она оказывалась «способным выжить», так как всех удовлетворить, конечно, не могла. Вероятно, так нужно, так правильно; меня такое деление детей на «живучих» и «нежизнеспособных» приводило в ужас, но мы все были тогда нервны и не соглашались считаться с логикой вещей. Здесь, во Франции, не будет, конечно, такого деления. Нельзя даже отдаленно сравнивать французское недоедание с ужасами, царившими в СССР в голодный год, когда смерть так косила деревни и села, что между ними

зарастали травой дороги, когда людоедство перестало быть случайностью, и выработалась даже особая кулинария — начинали есть всегда с головы, которая скорее портилась. Полная повесть об этой године еще никем не написана, счет еще не предъявлен, — и уже это время забывается и забыто. Тогда от голода умерло в Поволжье пять миллионов людей — плевое дело для многомиллионной России. Люди считали себя счастливцами, когда находили «питательную глину», особенно жирную, которая давала ощущение некоторой сытости и не сразу убивала. Я сохранял образчики хлеба из лебеды, коры, навоза, с примесью той же глины, — как жаль, что они погибли и не украсили музея. Отбросив политику, люди «духовного нейтралитета» ринулись на помощь голодающим, — наивные люди. Далее следует поголовный арест этих «нейтральных», долгая тюрьма, ссылка и для некоторых остракизм — жизнь за границей. История не написана, но она должна быть написана; не хотелось бы умереть, ее не дождавшись. Знает ли мистер Хувер, какое счастье быть арестованным и не ждать расстрела за организацию помощи голодающим? Вряд ли это когда-нибудь приходило ему в голову!

Аполитичной, бесстрастной, нейтральной должна бы, кажется, быть чистая наука. Пользуются образом Архимеда для выражения равнодушия к преходящим событиям: «Не тронь моих чертежей». Правильно ли? Легенда говорит только о его равнодушии к смерти. Но та же легенда утверждает, что Архимед был первым из ученых, позволивших себе определить науку на службу войне; ему приписывается изобретение системы стекол для воспламенения солнечными лучами неприятельских судов. Хотелось бы оправдать Архимеда: пусть он изобрел только зажигательное стекло, достаточное для закуривания тогдашних папирос, — предполагая, что люди его времени не были лишены

удовольствия сладкого самоотравления. И еще — бесконечный винт, зубчатое колесо и систему подъемных блоков. Сохраним уважение к науке.

Образом бесстрастия мне скорее представляется земледелец, один из тех, которые сейчас, ровно и методично налегая на заступ деревянными сабо, переворачивают ком земли книзу зеленой молодой травой или заботливо остригают виноградную лозу, оставляя по здешней системе только один-два побега на низкой толстой культяпке. В молчанье весенних полей — одинокие фигуры, к которым невольно чувствуешь величайшее почтение. И больше старики — молодежь французская в плену, а юношество, только что мобилизованное на сельские работы новым декретом, еще не сорганизовано и не отправлено на помощь отцам и дедам, — декрет слегка запоздал к пробуждению природы. О чем эти люди думают? О возможности летней засухи или, наоборот, лишнего изобилия дождей? О скудости фосфатов для удобрения и трудности достать бордоскую жидкость для борьбы с вредителями? И хотя в наших пограничных краях небо не перестают бороздить германские военные самолеты, но мысль крестьянина не занята их полетами. Только иногда подымет голову, неодобрительно взглянет — и снова копает, мотыжит, приводит в порядок прошлогоднюю лозу. Ему нет никакого дела до Балкан и до Среднего Востока; нет ему дела и до расовых вопросов или замены фригийского колпака Марианны — диктаторской «франциской» и маршальским жезлом. Кстати, франциска, боевой топор, была в одинаковом употреблении у франков и у германцев. Очень подходящий символ для сотрудничества.

Крестьяне — единственная порода людей, знающих истину если не абсолютную, то, во всяком случае, неизменившуюся с тех пор, как период

кочевой и скотоводческий сменился оседлым и земледельческим. История катается по полям тяжелым обозом, но следы ее колес всякий раз перекапываются и сглаживаются. Самое большее — плуг наткнется на осколок снаряда; пахарь наклоняется, подымает его и швыряет на межу; на минуту какая-то беглая мысль о современном чиркнет по бороздкам его мозга — и опять зароется в комья влажной весенней земли.

Образы могут и обманывать. Но это не важно; важно, чтобы они действовали на нас успокоительно. И чтобы хоть иногда пробуждали в нас надежду на то, что «все минется, одна правда останется».

### Противоречия

*(20.4.41)*

Стараясь разобраться в происходящем и определить свое к нему отношение, мы пользуемся упрощенными понятиями. Обычно мы прежде всего присоединяемся к одной из борющихся сторон и ей приписываем все качества, которыми наше присоединение оправдывается. В дальнейшем мы доверяем ей, лишая всякого доверия сторону противную. Такое упрощение удобно тем, что оно не вызывает в нас внутреннего разлада. Люди партии, нации, страны легко делятся, как на Страшном суде, на овец и козлищ, на добрых и злых, дружественных и враждебных нашему строю идей, на служителей Бога и сторонников дьявола.

Это, конечно, неправильно. Между днем и ночью бывают предрассветные и предзакатные сумерки; добро и зло имеют формы переходные и смешанные, и огромное большинство людей принадлежит к типу среднему между ангельским и демоническим. И правды единой нет, как нет незыблемой истины. Кроме того, при нравственных оценках мы с трудом отличаем злую направленность воли от ошибок разума и заблуждений совести. Если относительно себя и

данного времени возможны ясные и обоснованные заключения, то в отношении человечества и его будущего мы бродим в потемках, так как будущее нереально, лишено всякой плоти, и мы не можем знать, что станет благом и что злом для наших потомков. Так, например, одни искренно считают, что человек будущего оправдает свою жизнь полной уступкой прав своей личности коллективу, в то время как в глазах других это было бы величайшим несчастьем и источником страданий и личности и самого коллектива. И что считать счастьем, что несчастьем для человека? Счастлив ли рабочий муравей, лишенный целого ряда естественных органических потребностей и не сознающий этого лишения? Если, как в утопическом романе покойного Е. Замятина «Мы», хирургически устранять у человека его тягу к проявлению личности, — назовем ли мы это счастьем и пожелаем ли такого счастья для себя?

В мире происходит кровавая борьба двух идей, кажущихся нам отчетливыми и резко противоположными, и каждый определяет их по-своему. Одним война представляется спором между демократией и диктатурой. Для других она — столкновение рас германской и англосаксонской с участием на каждой из сторон сочувствующих или вынужденных. Третий вам объяснит, что это междоусобица двух империализмов, борющихся за господство на суше и на море. В бесконечных официальных толкованиях мотивов войны одна сторона твердит, что она борется за свободу и за мир народностей, отстаивающих свое право на самоопределение и самостоятельность жизни, другая доказывает, что это — мощный протест молодых и жизнеспособных народностей против засилия выродившихся народов, захвативших все богатства и жизненные пространства. И еще иные скажут, что это последний бой между статикой и динамикой, между золотом и трудом, принципом равен-

ства и принципом иерархии, идеей свободы и идеей авторитета. Примечательно, что большинству происходящая схватка кажется явлением новым, небывалым и впервые ставящим перед человечеством ряд сложнейших вопросов, решение которых сделает мир иным, чем он был прежде.

Буря и неясность этих вопросов, утомляющих сознание, вызывают естественное желание свести их к упрощенным представлениям, поделить все на черное и белое, правду и неправду. Но стоит вглядеться и вдуматься пристальнее, и правда станет спорной, в неправде появятся оттенки законных оснований. Демократия борется с диктатурой, — но первое, что вынуждена делать демократия, это — ограничивать себя и давать власти исключительные полномочия, близкие к диктаторским; нельзя, с другой стороны, отрицать, что диктатура, утверждаясь насилием и террором, в дальнейшем держится все же признанием и поддержкой большинства населения (Германия, СССР). В какие-то моменты народы, воспитанные в принципах демократии, с необычайной легкостью и почти без протеста принимают единоначалие, устраняющее их от всякого участия в управлении страной; достаточен пример Франции, с полным равнодушием принявшей перемену конституции, отмену выборного начала, уничтожение парламента и Сената, политическую цензуру и ряд ограничений гражданской свободы, приведших к тому, что в полосе, занятой неприятелем, в некоторых отношениях (например, в смысле свободы передвижений и сношений почтовых), стеснений оказывается гораздо меньше, чем в полосе свободной. Что касается до «главы государства», который облечен всеми правами и возможностями диктатора, то его популярность и безграничное к нему доверие не подлежит никакому сомнению, — правда, относится это не столько к системе, сколько к личности диктатора. Во всяком случае, это — факты, мимо которых

нельзя пройти, над ними не задумавшись и не попытавшись найти им объяснение.

Старые народы утверждают, что они хотят свободы и мира и потому подняли оружие против системы, опирающейся на насилие и грабеж. Молодые народы возражают, что они задыхаются без жизненного пространства и протестуют против захвата народами старыми власти над миром. Кто прав? Война в разных ее этапах подтвердила беззастенчивость «системы насилия», уже уничтожившей мирное существование целого ряда европейских государств во имя жизненного пространства. Но в том, что жизненное пространство необходимо Германии и Италии, — этого «старые народы» не отрицали, как нельзя отрицать и того, что Англия была настоящей владычицей морей. С другой стороны — почему народы германский, итальянский и даже японский должны считаться молодыми, а их противники — старыми? Это только словесная игра, не имеющая никакого подлинного смысла. Югославия, недавно создавшаяся, имела, конечно, больше прав на звание государства «молодого народа», чем Германия, и можно ли называть, например, канадцев старым народом... И не новый ли мир, Соединенные Штаты, дает пример образцовой демократии? Кто старше, Япония или Китай, на жизненные пространства которого она покушается?

С той же демагогической легкостью Германия, страна капиталистическая и жадно стремящаяся к империализму, выступает против капитализма и империализма Англии. Стремление «нести культуру» в страны колоний, то есть уничтожать их собственную культуру и фактически истреблять черные расы, — не общо ли это для обеих борющихся «идей»? Кто поработитель и кто освободитель африканских народов, чье иго для них предпочтительнее. Внутри самой Европы, всегда под знаменем света и свободы, насильственно освобождаются народности от прав на

самостоятельное существование, причем одна сторона благодетельствует их огнем и мечом, другая, во имя их спасения, играет их судьбой, не будучи в силах оказать им настоящую помощь.

Борьба труда и капитала. Но вот частный капитал исчезает и на смену ему приходит капитализм государственный. Приносит ли это труду хотя бы раскрепощение? В СССР накануне двадцатипятилетия гигантского социально-экономического переворота рабочие лишены права свободного выбора «хозяина», права передвижения, и условия их жизни несравненно хуже, чем в Европе и в Америке, в странах капиталистических. Там же до сих пор применяется труд принудительный, рабский. Война, несущая освобождение труду, прежде всего опутала его ограничениями. Германия живет сейчас трудом порабощенных ею народностей, вынужденных помогать ей против своих соотечественников. Там, где нет прямого законодательного принуждения, оно предписывается обязательством «патриотизма», чувства прекрасного, когда оно свободно. Наци называют себя социалистами, — что может быть лицемернее такой игры соблазнительным словом? И кто не играет другим, еще более соблазнительным словом «свобода»?

Борьба рас? Редкий из народов Европы не представляет из себя такой путаницы кровей, в которой не разберется ни историк, ни микроскоп. Французы, которым приходится во имя сотрудничества обзаводиться германскими эрзацами, пытаются определить свою расу, являющуюся производным от скрещения бесконечного ряда прошедших через Францию народностей; в результате они приходят к убеждению, что они... французы, то есть жители определенной территории, объединенные общей историей и прочными навыками; большего никто сказать не может. Недавно один искренний исследователь высказал соображение, что для охраны французской

расы необходимо бороться против фабрикации ангелов (абортов), против сифилиса, алкоголизма, ввоза кокаина, ухода сельской молодежи в города и распадения семьи. Справедливо, и нечего возразить, кроме того, что «раса» тут не при чем, что все это чрезвычайно нужно и полезно семье негра, женатого на польке, бабушка которой была еврейкой, а прадед эфиопом. Но если то, чем считают себя славными немцы, есть результат чистоты расы, то можно ли не пожелать им скорейших усиленных скрещений с кем угодно, за исключением человекоподобной обезьяны, которая не внесет больших изменений в их расовые признаки. И если две расы, будь то германская и англосаксонская, борются одним оружием, стараясь лишь превзойти друг друга его убийственностью, если цель у них одна — ослабить, уморить голодом, истребить друг друга, то вопрос должен ставиться не о преимуществах одной из них перед другой, а о том, какое между ними можно найти различие, в чем оно выражается, какая система стекол даст возможность его усмотреть.

Борьба права и силы? В этом противоположении заложено самое большое недоразумение. Всякое право создается, санкционируется и защищается силой; когда оно бессильно себя защищать, оно перестает быть правом. Народ, страна имеют право на самостоятельность, пока она у них не отнята. Здесь нужно говорить не о праве, а о справедливости, понятии порядка нравственного, никого не обязывающем, для каждого своем. Старый мир верил в законы человечности, новый мир смеется над ними, хотя злоупотребляет их соблазнительными формулами, все в тех же демагогических целях. Вообще же нет такого нравственного положения, которое каждый не мог бы истолковать в свою пользу — со всеми практическими выводами.

При любой степени скептицизма все же нельзя не признать, что война, причины которой многосложны

и глубоки, могла быть избегнута, если бы ее не вызвала вспышка чувства справедливости, резко поруганного; отрицать это могут только те, кому необходимо ради вульгарного упрощения понятий всякое историческое событие объяснять материалистически. Возможно даже, что нам довелось присутствовать при последнем случае проявления человеческой коллективной совести, не считающейся с благоразумным расчетом, при акте рыцарства, который уже никогда более не повторится, чем бы ни закончился кровавый спор. Но, став на эту точку зрения, нам, свидетелям не только подвига, но и разгула низких страстей, захватничества, ударов в спину слабым, пришлось бы делить все народы Европы на совестливые и бессовестные, венчая эллинов и сербов лаврами, предавая презрению русских и венгров. Кто осмелится на такой огульный суд? Он был бы такой же ошибкой, как осуждение Франции, сложившей оружие не по прихоти правящих лиц, а общенародному требованию, что не помешало ей остаться преданной идее защиты нарушенной справедливости. И почему тогда весь мир, с негодованием отнесшийся к политике СССР, продолжает явно или тайно возлагать на него последние надежды, сознавая при этом, что за такую помощь идее «справедливости» пришлось бы заплатить прежде всего признаньем и утверждением произведенных Россией захватов?

Такова сложность и путаница антагонизмов, среди которых мы живем и вынуждены мыслить. Но напрасно думать, что они — принадлежность только нашего времени. Они стары, как мир, и не могут быть разрешены, так как их источник — не только несовершенство человеческой природы, но и несовершенство правды и справедливости, их временность и относительность. В прошлой истории мы не только оправдываем, но и возводим в подвиг то, что для своего времени возмущало коллективную

совесть, если, конечно, можно называть этим термином мнение культурного большинства. И никто не предугадает, какую оценку современным нам событиям дадут наши потомки, на чьей стороне они усмотрят правду. Это, конечно, не значит, что мы должны предугадывать их суд и, применяясь к нему, отказываться от наших оценок и свободных мнений. Если и нет абсолютной правды, для всех времен годной, то нашей сегодняшней правды это ничем не умаляет; для нас она священна и единственное мерило всякого проявления человеческой деятельности.

## Осколки

*(23.4.41)*

Читаю во французской газете: «Наша страна, по своему географическому положению, самая красивая в мире...».

Перечитываю, вдумываюсь. Почему это он, собственно? Пишет человек, который много путешествовал, значит, видал немало. Франция — приятная страна, и красивых мест в ней немало, хотя ее «географическое положение» ничем не замечательно. Можно сказать «красивая страна» про Италию, про Испанию, про Швейцарию, — но не прибавляя «в мире». Потому что еще есть Норвегия, есть Далматинское побережье, есть Которский залив, есть Япония, есть остров Таити, есть еще сотни красивых и красивейших мест; я не говорю: «Есть Россия», хотя в ней можно найти все красивое, встречающееся в других странах... и на этом месте мои думы прерываются догадкой: знаю, почему он так пишет!

И Гоголь потому же писал в знаменитом своем отрывке: «Чуден Днепр при тихой погоде... и т.д. Редкая птица долетит до середины Днепра».

Тоже — преувеличение необъятное. Курица, конечно, не долетит, но курица не птица. Воробей

не то что не долетит, а просто не полетит, это не его дело. Любая же перелетная птица перережет, не заметив, «голубую зеркальную дорогу, без меры в ширину (до километра), без конца в длину (2146 километров)». Справки: Волга — 3400 килом<етров>, Иртыш — 3712, Енисей — 4300, Лена — 4599. Но учтите любовь человека и его невольное прекрасное увлечение! Я, например, утверждаю и всегда буду повторять, что Волга — приток Камы, впадающей в море. Ибо я родился на камских берегах.

Все армии называются обычно «доблестными и непобедимыми», а итальянская, сверх того, «покрывшей себя неувядаемой славой», хотя не существует в Европе армии, которая хоть раз в истории не была бы поколочена; за исключением ватиканской, вооруженной алебардами, а в последнее время ружьями столетнего образца. Все национальные литературы — величайшие, даже литература народов Коми и Мари, обижающихся, когда их соответственно называют зырянами и черемисами. Один москвич возмутился, когда иностранец сказал ему, что в Париже есть метро. В бытность мою в Черногории, еще самостоятельной стране, я спросил черногорца: «Есть у вас знаменитые художники?» Он только свистнул — и повел меня знакомить. Я сказал: «Здравствуйте, П.!» — Мы с П. вместе писали голую натуру в Римской свободной школе; я коекак сдал экзамен, хотя я бездарен и едва держу в руках уголь; П. провалился и уехал на родину расписывать потолки. Люблю повторять рассказ про мою знакомую нижегородскую девицу, которую спросили за границей: «А сколько в Нижнем Новгороде жителей?» Она, не колеблясь, ответила: «Кажется, около четырнадцати миллионов». — «Неужели?» — «А что вы думали?» Правда, она сказала это по неопытности, сама точно не зная, но уж раз сказав, твердо стояла на своем и впредь. Потому что она была, черт возьми, настоящая патриотка, как

черногорец, как Гоголь, как москвич, как житель географически прекраснейшей в мире страны.

Когда вы читаете военные бюллетени, вам ведь не нужно справляться об источнике сообщения, вы и так догадываетесь, по характеру текста, кто его писал. Если наш налет, то удачный, если их — сущие пустяки, то есть разрушен госпиталь, церковь, музей, убиты женщины и дети. И это — ложь лишь на две трети, на третью треть патриотизм.

«Творческий гений нашего народа», «великие традиции нашей страны». Был я однажды в русском губернском городе, где только что замостили булыжником главную улицу. Городской голова, вынув из кармана клетчатый платок и приготовившись, спросил меня:

— А что, скажите, вы вот катались по заграницам, — видали вы там такую мостовую?

Я с ужасом ответил, что не видал. Тогда он громко прочистил нос и сказал:

— То-то и есть. Вот и напишите об этом в газетах.

Я забыл и не написал. Теперь вспомнил и добросовестно записываю.

------

История двух германских солдат. Я согласен предположить, что они не немцы, а чехи, поляки, вообще славяне, взятые в Австрии по набору. Они со своим отрядом несли охранную службу на границе полусамостоятельного государства. Они не были достаточно проникнуты германским патриотизмом. Им, сверх того, не хотелось умирать, а их отряд должны были скоро отправить на линию боя. Здесь, на временном отдыхе, они знали, что пограничную линию переходят беглые военнопленные, бельгийцы, французы, англичане, поляки. Раз перейдя, эти беглецы уже спасены, — их не выдадут. На их

совести были случаи, когда они могли бы выслужиться, задержав слишком неопытных или слишком дерзких смельчаков, — но они не сделали этого. Они испытывали острое удовлетворение от сознания, что благодаря им люди спаслись и теперь вне опасности. Болтать об этом нельзя, но можно, стоя на дежурстве, смотреть в сторону, где нет войны, так утомившей и тело, и душу. Дезертирство не казалось им преступлением, — война ведется против интересов народа, к которому они принадлежат по крови; они участвуют в ней, как рабы, а не как убежденные. Пусть их интернируют, это все же лучше, чем кормить собой рыб где-нибудь в Ла-Манше или кончить самоубийством. При таком настроении им все равно не выдержать долго и не миновать военного суда.

Сговорившись, они решили бежать, и это было очень просто, гораздо проще, чем пробраться через границу военнопленному. Бежать решили под утро, перед рассветом. На той стороне не скрываться, а просто явиться к местным властям и признаться во всем откровенно. Они не хотят воевать и готовы на все иное, вплоть до тюрьмы. Но если уж воевать, то не на той стороне, которая одела их в солдатскую форму. Их должны понять.

План побега оказался слишком сложным: все вышло еще проще, чем они думали. Рано утром они были на той стороне, на улицах пограничного города, где первый же встречный, поняв, что это — беглецы, указал им, куда они должны явиться. Поблагодарив, они легко вздохнули и вошли во двор дома, который им указали. Там было много солдат, были и беглые военнопленные, их соотечественники. Их расспрашивали, им дружески жали руки. Затем их провели к начальству, которое, допросив и составив протокол, отправило их под арест. Но ведь это только для формы?

На заре другого дня, когда на улицах еще не было прохожих, их отправили под конвоем тех солдат, которые жали им руки. Солдаты были смущены, мрачны и не говорили с ними. Солдат должен исполнять, что ему приказано, что бы ни говорила ему совесть. Их довели до германского поста и взяли расписку в получении. Они не сопротивлялись, были бледны и ничего не понимали. Они даже пробовали улыбаться, — все это было так похоже на шутку. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Конвойные вернулись, между собой не говоря. Не отвечали и на расспросы товарищей. Да и расспрашивали их мало и не настойчиво.

Так рассказывали в нашем городке; мужчины молчали, женщины ахали. У нас ходит много разных рассказов, часто невеселых.

------

Когда я выхожу в огород прополоть кудрявую морковь, промотыжить гряду лука — растущее богатство, на нижнюю ветку вишни вспархивает откуда-то зяблик и кричит мне на своем языке непонятное, вероятно, угрозу, что — в случае чего — он проявит чудеса героизма и самоотвержения. Должно быть, у него поблизости гнездо. Мы мало-помалу знакомимся, и я, продолжая заниматься полезным делом, вступаю с зябликом в беседу. Я разъясняю ему, что ничто на свете не прочно и что в какой-то момент он может так же легко потерять гнездо, как я потерял свое, гораздо более солидно устроенное. Он отвечает, что наши военные дела его совершенно не касаются, и он нейтрален. Тогда я рассказываю ему историю.

Эта история — один из многих случаев. Что такое зяблик? Хрупкая пичуга. А существуют львы, тигры, леопарды, медведи — звери сильные и страшные даже для человека. В городе Бельфасте, в Ирлан-

дии, они сидели в зверинце по клеткам или отделенные от зрителей глубокими рвами. Они тоже считали себя нейтральными, хотя в действительности были пленными. Когда же однажды на Бельфаст случился налет бомбовозов, директор зоологического сада обеспокоился — и еще больше испугались городские власти. Ведь если бомба упадет в саду, она может не только убить зверей, — это еще полбеды, — а может освободить их, что представляет большую опасность для жителей города. Сделать для них подземные убежища? Но им невозможно внушить скрываться всякий раз, как завоют сирены, — а держать их всегда под землей — верная и медленная для них смерть.

Особенно было жаль директору бенгальского тигра, — огромный и редкий экземпляр. Да всех, в сущности, жалко; жалели их и сторожа, приставленные к зверям и давшие каждому кличку.

После совещания были приняты меры. Их выполнить решили при последней кормежке. В клетки зверей принесли по изрядному кусу свежего мяса, и сторож, просунув сквозь толстые прутья решетки порцию больше обычной, сказал ласково тигру: «Ну, Томми, уже поешь в последний раз».

Как всегда, звери бросились на мясо с жадностью и рычаньем, а сторожа отошли в сторону, чтобы лучше уж не видеть; дикие звери были для них словно бы как дети, особенно бурый медведь, хоть и великан, а существо, в сущности, добродушное. Яд был очень сильный, и ждать пришлось недолго.

Так что вот, зяблик, какие дела. Кстати сказать, и птиц сейчас сильно посократили повсюду — очень дорога кормежка, и людям самим зерен недостает. Летай себе, пока свободно, а за будущее никто поручиться не может. Летая, оглядывайся на кошку.

Он присмирел и перестал насвистывать свои любовные и свои военные мотивы. Страшна кошка — люди страшнее.

------

Это — как бы сказочки для детской хрестоматии, где всегда немало места отводится делам военным — подвигам героев, гению полководцев, патриотизму защитных шинелей, рвущихся в бой. Вряд ли в новые учебники внесут и новые сюжеты, характера мирного, трудового, человечного. Был, между прочим, проделан в одной семье опыт внушения детям ужаса и отвращения к войне, насилию, убийству. Им рассказывали — даже без необходимого смягчения — о том, как шальной снаряд калечит и убивает мирных людей, детей и женщин, как разрушаются многоэтажные дома и под развалинами гибнут целые семьи, иногда смертью медленной, как вообще ужасна война, сколько она приносит бед и несчастий и побежденному, и даже победителю. Дети слушали с вниманием величайшим и были взволнованы, — многое, очевидно, запало им в душу. После между собой шептались, что-то такое соображали, и на другой день старший мальчик попросил отца: «Купи мне, папа, ружье, мы будем играть в войну, и я буду офицером».

## Пещерный человек

*(28.4.41)*

Провал человека современного ставит на очередь вопрос о восстановлении чести первобытного человека. Это чувствуется, и иные ученые люди уже начинают признаваться в несправедливом к нему отношении. Он сумел завоевать место в истории искусств, и не только блеснул техникой рисунка и архитектурными талантами, но и успел создать школу художников, преклоняющихся перед ним до слепого подражания. Ему может позавидовать любая художественная и ремесленная историческая знаменитость, так как ничьи произведения, удавшиеся или бросовые, законченные или только в наброске, хорошо сохранившиеся или пришедшие в полную вет-

хость, притом никогда не подписанные, не собираются с такой тщательностью, как его, будь то рисунок, каменное орудие, наконечник стрелы или точило для бритвы, или просто удобная подставка для ноги, когда первобытная женщина делала себе педикюр. Высок и интерес к его физической личности. Черепа великих мыслителей и деятелей, развративших или покалечивших десятки тысяч себе подобных, покоятся в склепах и саркофагах или чаще всего дотлевают в земле, — черепа людей первобытных собираются как высокая ценность, нумеруются, изучаются, вымериваются и сохраняются в великом почете, защищенные впредь от натиска неумолимого времени. И нет большего огорчения для археолога, как если берцовая кость, им найденная, оказывается на проверку отбросом ближней скотобойни, подкинутым его соперником по университетской кафедре.

Нам знакомо уже очень отдаленное от нашего времени искусство. Исследователи горных недр, в особенности течения скрытых ручейков и потоков, открыли тайные пристанища (если только не художественные студии) пещерных людей, без центрального отопления и следов мягкой мебели, но с необычайной росписью стен за двадцать и более тысячелетий до нашей эры. Вся прелесть, конечно, в бездоказательности, так как не каждый обитатель пещеры, чувствуя приближение смерти и заботясь об установлении точной ее даты, догадывался класть рядом с собой труп или кости зверя своей эпохи, мамонта, пещерного медведя или хотя бы ангорской кошечки, которую так любила его жена. Мог в пещеру забраться ученик местной приходской школы и на досуге начертать на камне перочинным ножом портрет знакомой коровы, впоследствии удачно сошедший за слона, бывшего предметом поклонения и религиозного культа. Но шутки в сторону, рисовали эти пе-

щерные люди поистине замечательно, лишь не соблюдая перспективы, так как их единственной перспективой было — поразить будущее человечество.

Чего мы совершенно не знали, это — нравственного облика отдаленных наших предков. Исходя из намеков на преклонение их перед крупным зверем, из отсутствия у них лампадок, кружек для бедных и морализующей литературы, мы приписывали им чувства скотские и поступки противообщественного и даже уголовного характера. В этом было много недодуманного и непроверенного. В иных пещерах находили нагромождения человеческих костей, частью раздробленных, словно бы из них высасывали мозг. Но дело в том, что такие же и много большие скопления костей будут найдены со временем под развалинами зданий нашего времени, в братских могилах, в отложениях земной коры и морского дна. И будут нашими потомками выведены нелестные о нас заключения, тоже, пожалуй, вплоть до людоедства, между тем как пока это еще не в ходу, хотя и внесло бы разрешение в продовольственный вопрос.

В общем, мы до удивительности ничего не знаем о жизни наших доисторических предков. Только показатели внешние. Пещерный человек несомненно прятался, и очень тщательно, — как прячемся и мы при первых завываниях сирены, прячемся гораздо тщательнее в любой час дня, а не только ради покойного ночлега. Кто может сомневаться, что в дальнейшем ходе нашей культуры города переселятся под землю, где будут заводы, продовольственные склады, музеи, детские приюты и дома для тех, кого мы не без смелости называем умалишенными. Будут там, конечно, и улицы, все ниже и ниже, в соответствии с развитием военной техники. Пещерный человек защищал себя от диких зверей, которых мы теперь содержим в зверинцах, воплотив их образ в ближних и дальних наших со-

седях, от которых приходится защищаться. Пещерный человек, по-видимому (хотя доказательств нет, ибо все тленно), презирал одежды, во всяком случае нашего фасона и материала. Но был иным климат, и он чувствовал себя не более несчастным, чем в нашу зиму дама в тонких чулках и короткой юбке. Пещерный человек не знал автомобиля и самолета, — но он мог не иметь в них и надобности, не чувствуя ни спешки, ни утомления и совсем не желая портить воздух бензинным перегаром. У пещерного человека не было литературы — и здесь я натягиваю вожжи нашей расскакавшейся мысли: что такое литература?

Недаром сказано в первых строках Священной книги: «В начале было Слово». Печатный станок убил искусство письма, как оно в свое время убило камень. Камнем было первое слово, оставленное для потомков человеком, когда впервые он почувствовал потребность продлить в веках свою мысль. Камень на камне, притесанные или только приложенные, были уже понятием или фразой, пока здания не стали поэмами. Моисей в пустыне видел эти записи прошлого, нагромождения каменных знаков, еще «не связанные железом», как свидетельствует Библия. Еще без начертаний, эти каменные строки, грубые по виду иероглифы, стали произведениями мудрой мысли, пока пирамиды, своим пространством, счетом глыб, соотношением с миром звезд, тысячей нам до конца неизвестных намеренных условностей, не представили книгу астрономии, философии, счета, точных мер и постепенно исполняющихся пророчеств. В них начала геометрии, в них почила чистая поэзия. Вплоть до изобретения печатного станка, сбросившего мысль с ее подзвездных высот, литературой была каменная и деревянная архитектура — ее остатки от времен древнейших живы в мерзлотах Сибири, как и в пампасах Америки. Доисторический писатель был вольным каменщиком, — горе

современному, им быть переставшему. Та азбука нами забыта, и мы наивно и неверно читаем пещерные рисунки, древние циклопические постройки, долмены, позднейшие пагоды и храмы. Слово, вначале бывшее, потеряно в веках, — и нам искать его, а не говорить, что не было литературы у косматого предка; у него не было только наших военных бюллетеней, писанных для толпы дешевыми и лживыми иероглифами.

Он был поэтом неизмеримо выше монпарнасских, не возбуждая себя ни кофеем, ни кокаином и не подписывая стопки тесаных плиток своим именем, которое никому не нужно — нужна лишь векам завещанная мысль. Из этих каменных стопок выросли впоследствии парфеноны и готические соборы, — как же мог он, еще в пещерах владевший дивным резцом, быть зверем, как мы хотим его изобразить? Он мог убить ближнего, нуждаясь в его самке, нашей пра-пра и т.д. бабушке, но не кидал зря многотонной скалы на головы тех, кто не делал ему зла. Его самка вылизывала своих детей, а не истребляла их на фабрике ангелов. И он жил свободной особью, не путая себе ног своими же законами и не ставя никого командовать и управлять собой и судьбой своей семьи. Мы несправедливы к пещерному человеку и неправильно толкуем лицевой угол и кости его черепной коробки.

Поэзия и нравственность тесно связаны с религией; и мы говорим, по-прежнему ничего не зная: он был грубым язычником, первобытный человек, он молился им же поставленной каменной глыбе, он превращал в богов все, что его страшило или было недоступно его пониманию: солнце, стихии, небесные явления, зверя, дерево, огонь. Ему неизвестно было единобожие и единый нравственный закон. Так говорят величайшие многобожники и поклонники самодельных идолов, ведущие за них кровавые войны. Идол — золото, идол — нефть, идолы — политическая

идея, государственный строй, демократия, раса, нация, право, закон, суд, полиция, общество, пролетариат, футбол, портрет вождя и кинематографическая звезда. У нашего предка был бог один — природа в ее красоте, силе и необъяснимости человеческим разумом; там, где кончается знание, начинается вера и посвященное постижение творца, поэта, мыслителя, и в какие это выльется формы — второстепенно, каждый создает свои символы и дает им свое толкование, и свою веру каждый вправе облечь и украсить своим ритуалом. И кончается вера там, где ее изъявления штампуются машиной для всеобщего обязательного потребления, продаются в публичной лавочке и, как случилось с иероглифом, превращаются в бездушную букву. Обращаясь в штандарт, вместе с верой умирает и нравственость, из вольного порыва, своего у каждого, делаясь обязательством. И если пещерный человек был иным, чем мы, то он мог быть только цельнее, чище и выше нас во всех проявлениях своего духа, — как цельны и чисты линии мамонта, нанесенные им на пещерный камень и кость кабаньего клыка. Живя в самое бесцензурное время, в самых свободных условиях, он возмущенно бросил бы палицу во всякого, кто попытался бы начертать на стене не только «воспрещается», но и смягченнее: «просят не курить и не плевать».

Такова наша защитительная речь в пользу напрасно обижаемого и несправедливо судимого отдаленного предка, не пугавшегося родства с обезьяной, но отвергшего бы, конечно, всякое родство с современным человеком. Его история теперь тщательно изучается, и это правильно и может принести неистощимую пользу: может быть, именно в далеком прошлом мы и найдем указания: как устроить свою жизнь и свои взаимоотношения, чтобы создать преграду надвигающемуся на нас с такой неумолимостью, вождями обещанному социальному блаженству?

## Будущее

*(2.5.41)*

Стараясь предугадать будущее, которое пока еще туманно, но уже вырисовывается грозным силуэтом, я не думаю о тех мыслителях и деятелях, веривших каждый по-своему в прогресс, которым предстоит перевернуться в гробах, — я мысленно вижу тех, кому придется стать перевертнями живыми. При самом большом оптимизме, при исполнении самых основных наших желаний, — все равно придется поставить крест на прошлых наших умонастроениях, на понимании целей, на всем обиходе жизни.

Ветер на свои круги возвращается, но разбитая на мелкие куски посуда, как ее ни склеивай, служить не будет. Это — при высоком оптимизме, оснований для которого не много. Но позволь себе на минуту усомниться в том, что на свете есть справедливость и что зло побеждается добром, — и тогда придется готовиться к самому худшему, какое посильно создать наше воображение. И признак этого наихудшего уже готов схватить за горло людей нашего поколения, воспитанных если не в условиях, то в принципах уважения к свободе личности, в мечтах о социальном равенстве, в уважении к нравственным заповедям, в неприятии мирового господства грубой механизированной силы.

В полной картине трудно себе разом это представить, но каждый в своей личной жизни уже без особого труда предугадывает — один со смущенным недоумением, другой с настоящим ужасом. Прахом пойдет труд, которому отдана лучшая часть жизни, станут или уже стали негодными и неосуществимыми планы дальнейшей работы, и многие, чья жизнь и деятельность немыслимы без совершенно определенной идейной установки, окажутся у края пропасти, через которую не перешагнешь и не перелетишь никаким напряжением воли.

Не всякий способен уйти в себя или свое подполье, тем более что будущее сулит нам не только препоны действиям, но и гонения на творческую мысль. Когда-то думали, что это не так важно, что мысль остается свободной, даже если тело в оковах; но это неверно, она так же ломка, как и человеческая воля; и речь здесь идет не о героических единицах, а о среднем человеке.

Что же будет? Будет самое печальное. Будет то, что сила вещей перегнет и переломит совесть. Произойдет сначала робкое и застенчивое, затем спешное и усердное перекрашиванье, нам, русским, хорошо знакомое по нашей недавней истории. Мы называли это приспособлением. Осуждая, мы забывали или не хотели помнить, что приспособление — естественный закон, в явлениях природы подмеченный Ламарком, развитый Дарвином, в истории общественной подтвержденный итогами многих политических переворотов. Я не настаиваю на точности параллели, — пришлось бы сделать слишком много оговорок. Но — действительность перед глазами. С какой быстротой народы, гордившиеся своими свободными учреждениями, своей высокой и доказанной терпимостью к различиям национальным, религиозным, расовым, своим признанием свободы любого искреннего убеждения, — вдруг, испытав удар силы внешней, идеологически чуждой, или только опасаясь ее натиска, отказываются от всех недавних священных ценностей или, по меньшей мере, заявляют себя нейтральными, как будто в вопросах искания истины и справедливости возможен и допустим нейтралитет. Не все, — и в истории народов еще остаются золотые страницы; не все, но огромное большинство, и не слабейших, способных на наибольшее сопротивление. Не слабейшие ли, напротив, являют пример массового героизма? И не их ли клич «свобода или смерть» звучит еще прекрасным анахронизмом?

Судить народы — не наша задача; для этого нужно слишком хорошо и близко знать их жизненные условия и возможные силы их сопротивления. Но перед нами отдельные люди, высоко подымавшие голову, говорившие пламенные речи, призывавшие к «борьбе до конца», — и слинявшие с поспешностью, далеко превысившей инерцию полученного ими удара. И стыден не испуг (нет солдата, который не боялся бы бомбы), стыдна рождающаяся на лицах приветственная, хоть и кривая, улыбка, первый жест перестраховки. Вторым этапом будет отказ от прежних связей, сознание «ошибок» в прошлом, пока, наконец, бунтарь не пойдет на поклон новому хозяину положения, который, подражая Ленину, скажет «в большом хозяйстве всякая дрянь может пригодиться». Раз сдавшись, человек прежде всего старается оправдать свою сдачу, объяснить ее не человеческой слабостью, а искренностью, обдуманностью, зрелостью мысли. Если есть возможность, он найдет в своем прошлом все данные для настоящего своего поведения, если это слишком уж неправдоподобно, он признает себя некогда совращенным и ныне прозревшим. И этот человек будет самым жестоким хулителем своих прежних сподвижников, их самым пламенным врагом и самой верной собакой простившего его барина.

Как будто такой строгий суд не согласуется со словами о том, что на прошлом, каково бы ни было предстоящее, придется поставить крест. Придется. Нет истин неколебимых, нет методов безошибочных. Только застывшая мысль превращает в идолов ею же созданные ценности. Лучшее враг хорошего, и нет положения, которое бы подлежало пересмотру, если сама жизнь подвергнет его сомненью. Но есть разница между сознательным и свободным отказом от того, что могло казаться неприкосновенным, и изменой ему по чужому приказу, по боязни занесенной над головою палки, по сооб-

ражениям корысти или просто — ради внешнего жизненного благополучия. В вечном творческом искании истины, в постройке здания лучших человеческих отношений камень подбирается к камню, и строитель дорожит не каноном, — а общей гармонией, верностью основной руководящей идее, не опрокинутой рядом испытаний, оставшейся целью строительства. Природа в своей эволюции цели не знает, или она от нас скрыта, и приспособление происходит бессознательно; так, по крайней мере, говорит нам наука. В создании человеческого общества мы хотим руководиться ясным сознанием, тем отличая себя от всего остального живого мира. И, меняя методы приспособления, мы оставляем неприкосновенными высокие цели, во имя которых все это делается, — тратится столько усилий и порой льется столько крови, всегда напрасной.

Будущее грозно. Оно может отбросить нас далеко и надолго по уже пройденному пути, как это много раз случалось в истории. То, что нам предлагают, как новый домысел, как последнее достижение социального творчества «молодых народов», может оказаться на проверку возвратом к формам изжитым и доказавшим свою негодность. Техника уничтожает пространства, но она же возрождает средневековые стены между странами и нациями, заставляя их оберегать себя стальными бронями и не только углублять города в землю, а и добиваться наилучших воздушных заграждений. Люди мечтали об общем, всем понятном языке, даже создавая его искусственно; но общим оказался только язык вражды и орудий, и напрасно пропали опыты международных предприятий, ученых съездов, широких мирных договоров, обмена духовными достижениями, выставок промышленности и искусства. Совершенно в таком же положении оказывается и человеческая личность; ее призывают жертвовать своим правами коллективу, но этот коллектив не единение свободных лич-

ностей, а стадо, гонимое самоставленными пастухами. Это уничтожает и жажду, и смысл жертвенности. И ей остается замкнуться в себе, как раку-отшельнику, найдя или создав себе неприступную известковую крепость, чтобы смотреть оттуда на сторонний мир с недоверчивостью и боязнью. Создается не трудовое общество, не пчелиный улей, символом которого так часто злоупотребляют, а в лучшем случае колония полипов, существование первобытное, неизмеримо далекое от того, каким наше будущее рисовалось лучшим умам и сердцам благородным. Значит, опять годы и годы, может быть, века должны быть затрачены на то, чтобы из этого состояния низших существ переходить к более развитым формам, затрачивая на это энергию целого ряда поколений. Есть от чего идеологам прогресса перевернуться в своих гробах!

Как остановить этот новый откат нашей истории в Средневековье? Его хотят остановить, выставив против силы силу, против кулака — кулак более тяжелый и сокрушающий. Трагедия нашего сознания в том, что мы не видим другого способа, чем этот, подсказываемый чисто животным нашим состоянием, хотя и пытаемся исповедовать религию духа, побеждающего внешнюю силу, — образ Георгия Победоносца. Только этот способ кажется нам единственным без потери времени, без отступления «на заготовленные позиции». Но мы знаем, что он может оказаться просчетом сил. И тогда перед нашими мечтами встанет образ другой, победы Давида над Голиафом, последней судороги слабых и уставших народов, которая также не раз решала слишком затянувшиеся споры, доказывая, что «король был гол».

По учебникам международного права, войны кончаются мирными конференциями. Учебники могут ошибаться — или недоговаривать. Что бы ни произошло, прошлое, каким мы его знали, вернуться

не может, и даже откат в века не был бы прошлым. Он был бы только показателем круговращения истории, вернее — ее спирального бега из неведомых нам времен — к временам еще более неведомым.

## Противоречия настроений

*(17.5.41)*

В связи с войной вносится в человеческий быт так много изменений, что какие-то из них могут оказаться полезными и несколько смягчать общий отрицательный итог. Так, например, горожанин-европеец стал дышать лучшим, чем обычно, воздухом. Относительно Парижа, в котором нет автомобилей и не отапливаются дома, вычислено, что зимой 1941 года уличный воздух содержал почти вдвое меньше пылевых частиц, чем в 1939 году (60 000 против 112 500, при норме средних городов 34 000 и деревни 9500). Оскудение продовольствия в городах вызвало отлив некоторого процента их жителей в деревни, к работам на земле, — что также способствует укреплению здоровья, во всяком случае, смягчает последствия недостачи питания, но и ограничение питания само по себе оказывается полезным для тех, кто злоупотреблял жирами, сахаром, мучной пищей, в особенности пряностями; вынужденное вегетарианство также имеет хорошую сторону. Еще большее значение имеет трудность добывания спиртных напитков и дорогих, исключительно вредных, сортов табаку. Исчезли некоторые другие наркотики, как кокаин, морфий, опиум и проч. В том же Париже ограничена до крайних пределов ночная ресторанная жизнь, для здоровья губительная; во многих странах Европы перевод времени на два часа вперед дал выигрыш в пользовании дневным светом. Введение потребительных карточек создало известную степень социального поравнения, а общность переживаемых

несчастий укрепила начала взаимопонимания и взаимопомощи. При добром заряде оптимизма можно найти еще много полезных последствий войны, ускользающих от внимания (например, рост познаний в области географии), но отрицательные следствия слишком подавляют значение положительных, служащий к ним лишь весьма слабой поправкой.

В области роста умственного сознания — вопрос очень спорен. Если даже считать это сознание независимым от принуждения и от разнообразных видов пропаганды, о его нормальном развитии говорить нельзя уже по одному тому, что лично испытываемые несчастия отклоняют мысль от заключений и выводов характера общего; неблагополучие и неспокойствие духа — самые плохие учителя. Философское бесстрастие сейчас такая же или еще большая редкость, как чашка настоящего ароматного мокко. Вполне «не от мира сего» только люди, потерявшие память от ран и контузий. Государства еще могут называть себя нейтральными, но отдельный гражданин — сообразно своему умственному развитию, своим нравственным запросам, или по расовому и национальному родству, или по личным интересам, — неизбежно на стороне кого-то, кому он желает успеха и победы. Это сказывается и на его отвлеченных суждениях. Но — продолжая держаться линии оптимизма — одно полезное следствие натиска событий на сознание отметить можно; это — крушение косных уверенностей и пробуждение здоровых и плодотворных сомнений, антитез, без которых немыслимо синтетическое мышление.

Сейчас очень затруднены наблюдения в больших масштабах; между европейскими странами, большинство которых лишено самостоятельной жизни, нормальное общение или невозможно, или до крайности затруднено. Нет ни свободной, ни даже полусвободной печати, уста замкнуты, никакой «подсчет

мнений» (на манер американского) невозможен; нет даже представительных учреждений, прежде дававших если не верную картину, то некоторый намек на эволюцию настроений в разных странах. Даже в пределах одной страны наблюдения могут быть только случайными и выводы из них весьма спорными. Мы живем в обстановке искусственно создаваемых информаций, когда за голос страны принимается ряд утверждений, рекомендуемых стране к принятию и руководству лицами, которых случай поставил во главе управления. Чтобы осведомиться о действительных мнениях, нужно в этой стране жить и почерпать их из непосредственного общения с ее населением, преимущественно сельским, как более численным и менее поддающимся случайным сторонним влияниям.

Франция представляет из себя сейчас любопытнейшую картину кажущихся противоречий. С одной стороны, ее объединяет общность перенесенного ею внешнего поражения, — удар по национальному самолюбию, полная неопределенность будущего, которое строится вне ее участия, жестокие экономические испытания, вплоть до голода, связанность инициативы. С другой — некоторая тень самостоятельности, какой другие покоренные страны лишены совершенно, слабая возможность договора с победителем и отстаивание своих жизненных и политических прав. Разделенная на две зоны, занятую и свободную, она в разной степени испытывает натиск чужой воли. В зоне занятой это чувствуется непосредственно и остро, в свободной — в форме отраженной и несколько смягченной и пассивным сопротивлением, и обычной чиновничьей волокитой. В тех случаях, когда какой-нибудь пункт «национальной революции» или «сотрудничества» носит явные признаки навязанности, его применение тормозится, может быть, и помимо прямой воли французских властей, проявляющих полную лояль-

ность в исполнении условий перемирия. Такое различие условий быта создает оттенки в психологии населения разных зон. Эти оттенки проявляются в том, что в зоне оккупированной разложение общественной мысли сказывается резче и определеннее, в особенности в таком остром вопросе, как «сотрудничество» (в самом широком понимании). Для обывателей сельских районов, уже достаточно обобранных, не может быть двух мнений об экономическом сотрудничестве; для центров промышленных и городских вопрос стоит иначе, и шаг от примиренчества к действительному сочувствию для них тем более естественен, что война явно затягивается и ни на какое «чудо» рассчитывать не приходится; что касается до мотивов «чести», «патриотизма» и проч., то в противовес им давно уже выработано достаточно условных формул и хитроумных толкований, способных не только оправдать, а и возвысить до подвига любой недвусмысленный жест. Несколько иначе обстоит дело в зоне, именуемой «свободной», где давление извне передается отраженно, в скрытом виде и несколько смягченной, во всяком случае внешне, форме, и где остается некоторая иллюзия самостоятельности и возможности возврата к трудовой жизни во имя интересов личных и интересов Франции, а не ее завоевателей. До последнего времени незанятая часть Франции пользовалась — пусть в слабой степени — привилегией общения с внешним миром (почта, телеграф, даже иностранные газеты) и, как более осведомленная часть страны, могла окрыляться тайными надеждами на неожиданный поворот событий. Даже принципы «национальной революции», как бы к ним ни относиться, представлялись продуктом внутренней, домашней политики, делом самозащиты, а не смиренного подчинения. Правда, это положение меняется как раз в то время, как пишутся эти строки (официальное принятие «со-

трудничества» со всеми последствиями, запрет иностранных газет и проч.). Во всяком случае, здесь, в незанятой зоне, раскол общественного мнения не так резок, хотя также происходит преимущественно по линии деления на город и деревню.

Было бы чрезвычайно трудно с большей или меньшей точностью учесть степень приспособляемости и степень естественной оппозиции; еще более трудно в данных условиях об этом говорить и писать. Истекший год внес изменения в психологию населения, и усталость от лишений может действовать в двух противоположных направлениях, — как это и происходит на деле. Но нужно все-таки помнить об общности испытаний двух Франций и общности источника ее бед. Малейший поворот во внешних военных событиях меняет временное соотношение общественных мнений, далеко не установившихся.

С дальнего расстояния наблюдатель-иностранец никак не поймет, что же это за страна, население которой, по-видимому, без малейшего протеста, с полным внешним спокойствием соглашается на отмену демократических традиций, завоеванных борьбой поколений в целом ряде революций? Где прославленное французское свободолюбие, расовая и религиозная терпимость, и духовная независимость, где привычка к свободе слова и печати, где навыки выборного самоуправления, недоверие ко всяким неограниченным полномочиям власти, где, наконец, простая гражданская гордость? Даже учитывая силу испытанного в поражении нравственного удара, ослабившего сопротивляемость и направившего внимание на экономические недомогания, учитывая боязнь открытого вмешательства победителей во внутренние дела, — все же можно было как будто ожидать хоть каких-нибудь внешних проявлений недовольства, яснее выраженной оппозиции, сверх

подпольной коммунистической, которая ни в какой степени не выражает настроений широких слоев и подчинена директивам зарубежным. И наблюдатель недоумевает. Но он должен прежде всего учесть то, что мы назвали «крушением уверенностей» и «рождением сомнений». Оно может и не касаться основных традиций, несколько туманно выраженных прежним государственным девизом «свобода — равенство — братство», но понимание и практическое осуществление этих принципов несомненно поколеблено в гражданском сознании, уже тем одним, что демократические учреждения в их реальной форме себя не оправдали. Нужна какая-то коренная их реформа, хотя, может быть, и не совсем та или даже совсем не та, что предлагается сейчас под титулом «национальной революции». Но если естественно немедленное крушение старого, то для строительства нового времени еще не наступило, — и это сознает всякий; торопливость нужна только тем, кто боится упустить время и не воспользоваться замешательством страны для осуществления под сурдинку или явным натиском под покровительством чужеземной силы своих старых реакционных мечтаний. Широкие слои населения готовы терпеть любые опыты в этом направлении, лишь бы как-нибудь просуществовать стране в эпоху безвременья, определяемого длительным состоянием «перемирия», своеобразного висения в воздухе, которое никакая перемена во внутреннем строе преодолеть не способна.

Таким образом, с одной стороны — ощущение временности и непрочности внутренних реформ, с другой — полная неизвестность, сколько еще времени придется оставаться в том же положении, вызывают противоречия настроений, в которых разобраться очень трудно. В конце концов, люди привыкают ко всему, даже к рабству; если не привыкают, то

приспосабливаются. И никто не предскажет, в каком состоянии умов застанет Францию окончание войны или хотя бы освобождение ее территории от загостившегося бывшего неприятеля, пригласившего ее к сотрудничеству, во всяком случае не из чисто гуманистических побуждений.

**Будущий победитель**

*(17.5.41)*

В затянувшейся и грозящей затянуться еще на года борьбе между Германией и Англией все более выясняется лицо будущего победителя — СССР.

Не России, которой эта победа не нужна, и не Сталина, мудрость политики которого в выжидании и подзуживании. И не коммунизм победит, потому что уже давно нельзя называть коммунистическим государственный строй СССР. Победит символ, икс, неизвестное, последняя надежда усталых европейских народов, и не одних европейских. Все испытано, ни в чем не найдено спасенья: ни в демократии, ни в правлении вождей, ни в помесях социализма с капитализмом, ни даже в религии военной силы. Остается неиспытанным только то, что дал русский опыт и что, по его огромности и непонятности, до конца не изучено и для незнающих его полно соблазна. Пока это было страшным — потому что страшен и кровав русский опыт! — оно отпугивало многих и привлекало таинственностью и красотой обмана только людей социально обездоленных, которым нечего терять; но когда пришлось пережить не менее страшное — нынешнюю войну, сокрушившую повсюду и гражданскую свободу, и устойчивость быта, и все крепости личного благополучия, когда сокрушились все кумиры и удар испытали все общественные классы, — стало всем нечего терять, и русская соломинка выросла в глазах многих в спасительное бревно. Побеждает не

реальность, побеждает предположение, загадка, заманчивость надежды. Хорошо ли это, плохо ли, — не в том дело; важно, что это ново и не испытано, следовательно, не опровергнуто. Не может завершиться обычной «мирной конференцией» борьба на истощение. Она окончится истощением и всем тем, что за ним неизбежно воспоследует, какие бы временные подкрепы ни ставились, каких бы марионеток ни сажали на вакантные престолы, какие бы ни подготовлялись обновленные географические карты. И тогда СССР, огромная страна, сохранившая и людей и силу, внезапно окажется оазисом в мировой пустыне, сохранившим и людей, и силу, единственным победителем, к которому и сейчас уже протягиваются руки и устремляются чаяния.

Можно этому сочувствовать или не сочувствовать, можно видеть в этом выход или конечное крушение, — дело вкуса и политических взглядов. Одно не нужно забывать: в «русском опыте» убито немало исторических чаяний, и принципы Великой французской революции, создавшей современную демократию, и иллюзии Парижской коммуны, давшей имя коммунизму, и даже весь строй политических идей, подготовивших великую революцию русскую в том виде, как она представлялась поколениям ее идеологов, — но в том же опыте разрешено немало вопросов, в клубке которых запуталась и завязла современная европейская мысль: вопросы расовый, национальный, религиозный, и все, сопряженные с господством капиталистического строя, разрешены несовершенно, но, во всяком случае, решительно и необратимо; нерешенным или, справедливее сказать, утвержденным в его жесточайшем виде, остается только вопрос о свободе человеческой личности, вообще — о политической свободе, тот самый, который был пробным камнем предшествовавших европейских «буржуазных» революций и который сейчас, в дни Второй мировой

войны, вообще снят с очереди и повсеместно, даже в лучших демократиях, отдан под надзор и сомнение. Таким образом, до известной степени уравнявшись в минусах, СССР прежде всего притягивает и соблазняет внимание масс отчетливо выраженными, все равно действительными или кажущимися, плюсами своего социального строя.

Это не частное мнение, основанное на тех или иных личных взглядах, сочувственных или не сочувственных; это лишь сводка беспристрастных и авторитетных заключений европейских политиков самых различных направлений. И этом источник трепета перед СССР и его как будто двусмысленной политикой в войне. О «русской загадке» пишут сейчас всюду, и в выводах сходятся и те, кто боятся, и те, кто возлагают надежды. В сущности, загадка давно разгадана, и нет в том ничего удивительного, потому что она была загадкой для детей младшего возраста. Нет ничего более простого российской внешней политики, самой откровенной из существующих, как и самой из них «внутренней», рассчитанной не на ход военных событий, а на ход настроений утомленных народов. Эта политика целиком «аморальна», аморальнее даже тоталитарной германской, — и в том вся ее сила, в окончательном отвержении всяких нравственных надстроек, потерявших смысл и уважение в волнах окутавшей мир лжи. Там, где слово предоставляется оружию, Евангелие может спокойно лежать в кармане, иначе оно будет мешать верности прицела. Признают это, конечно, все, но признаются в этом немногие; и, повидимому, больше практической мудрости в откровенности, чем в лицемерном кощунстве. Тому, что идеалистам кажется (и не напрасно) глубоко отвратительным, реальные политики не могут не рукоплескать. И СССР заслуживает аплодисментов, которые уже раздаются.

Пророчество о том, что в борьбе воюющих держав победит невоюющий СССР — тоже не частное мнение. Едва ли не лучше всех это понимает и предчувствует Италия (называя страну, приходится понимать под ее именем правящие круги). Италия имела коммунистический опыт. Она очень боится распространения военного пожара, которому явно способствует Россия. Спешно устраивая свои будущие «пространства», аннексируя взятые с помощью Германии территории, назначая царьков, она хотела бы как можно скорее все это закрепить за собой прочно, и ей нужен скорый мир, так как ее потери значительны, а самостоятельные силы скомпрометированы. Тем страшнее ей русская опасность — повторение прошлого. В кругах ватиканских, отличных от правительственных, также опасаются «мировой революции», на которую метит Россия. Там высказывают мысль, что СССР сознает свою военную слабость, доказанную походом на Финляндию, и теперь прилагает все силы, чтобы продлением и расширением войны ослабить всех, выиграв на этом. Естественно опасается политики СССР и Англия, против которой Советский Союз весьма склонен поднять восточные народы, что и доказывается как будто необъяснимым обещанием оказать поддержку Ираку. Сложнее отношение Франции, вообще менее всего знающей и понимающей СССР. «Национальной революции» СССР не может не быть враждебен ввиду ее не только политической, что для СССР безразлично, а и социальной реакционности; что касается населения, не только рабочей, но и обывательской массы, то она продолжает возлагать упования не столько на Англию, сколько именно на Россию, на ее выступление в какой-то момент и на освобождение от непопулярного и унизительного «сотрудничества». Это не означает склонности к коммунизму, которым в форме примитивнейшей, полной противоречий, Франция заражена; это — жажда отмщения

и спасения чести, — надежда если и наивная, то, во всяком случае, понятная. Любопытно, что те же пророчества о конечной победе СССР можно услыхать из уст германских офицеров в оккупированной области, и нет ничего удивительного в том, что часть военнопленных в Германии поставлена на работы по укреплению на границах с СССР. Чем дальше война затягивается, тем более укрепляются и надежды, и опасения. Отличное понимание положения дела высказывают, например, газеты швейцарские, для которых «русская загадка» уже исчерпана.

Пророчества не всегда сбываются; но и сбывшись, они могут иногда оказаться неточными и непредусмотренными в деталях. Не нужно обладать исключительно пылким воображением, чтобы представить себе послевоенную и, естественно, послереволюционную Европу пересозданной не по германской схеме и не в форме соединенных штатов, от которой многие ждут спасения, а в форме уничтожившего границы обширного советского союза, во всяком случае на первых порах. Ничего поразительного в этом не было бы, нравится это кому или не нравится, раз определится предположенный нами победитель. Но форма — одно, а другое — содержание. У Европы была в прошлом своя история и были свои навыки, которые бесследно не исчезают. Нынешний советский строй вышел из рабства и низкой культуры страны; и рабство, и относительная невысота культуры в нем остались непреодоленными. Трудно себе представить, чтобы до подобного уровня могла спуститься Европа, как ни скользит она по наклонной плоскости. Следовательно, в целом советский строй, каким мы его знаем, к ней неприложим, и заранее ясно, в чем должна выразиться к нему поправка. Основной вопрос в том, считать ли сущностью этого строя политическую диктатуру или коренную ломку отношений социальных. И к первому и отчасти ко

второму Европа достаточно подготовлена, но если второе не может не быть всеобщим, иначе никакой «союз» неосуществим, первое мыслимо не только временно, но и в разнообразных оттенках, во всяком случае, не в форме «диктатуры над пролетариатом», как это случилось в СССР; европейский пролетариат на такой форме остановиться не может. Притом верховенство Москвы возможно в период подготовки переворотов, но длительно оно, конечно, неосуществимо. Здесь и начинаются сложности, которые могут предполагаемую «победу СССР» превратить в поражение основ «октябрьской революции», и прежде всего в самой России. Достаточно подумать о том, каким не только откровением, но и потрясением явилось бы для нынешнего Советского Союза открытие двери в Европу, до сей поры наглухо запечатанной. Последствия этого трудно учесть даже приблизительно.

Могут показаться фантастическими такие рассуждения; но они не фантастичнее того, что произошло с Европой и что уже вышло за ее пределы. Кассандр было немало — но ни одна из них не договаривалась до таких пророчеств. То, что высказано выше и что сейчас обсуждается многими, не выходит за пределы логики событий и их последовательного развития в противоположность уже случившемуся, низвергшему не только логику, но и простую математику. Может ли кто-нибудь думать, что Европа, повоевав, восстановится лишь с некоторым изменением государственных границ и с выходом из строя некоторых держав, сохранив в остальном радугу политических и социальных оттенков. И кто согласился бы на этом помириться? И кто не знает, что за внешними войнами следуют войны внутренние с неумолимостью рока. Только фанатики могут строить план будущего на основании вчерашнего победного бюллетеня, не учитывая совершенно глубоких психических изменений в тех народных мас-

сах, с которыми в дни войны не считаются, так как они еще не проявились наружу и недостаточно определились. Будущее для нас закрыто — но сомневается ли кто-нибудь, что оно чревато «великими возможностями»?

### О чести

*(23.5.41)*

Когда в 1918 году Россия заключила с Германией отдельный мир, она была названа предательницей, ее мир — похабным. Не было бранных выражений, которыми бы не заклеймили ее поступок, несмотря на то, что мир был заключен совсем новыми людьми, не имевшими ничего общего с теми, которые обещали союзникам верность; несмотря на то, что потери России были огромны, что ее военное участие сыграло решающую роль в конечной победе союзников, что русским наступлением был в свое время спасен Париж, что предшествовавшее миру «братанье» на фронте и самая революция много способствовали разложению германской армии, что от заключенного сепаратного мира пострадала территориально только Россия. Осуждение было таким безусловным, что еще в прошлом году, незадолго до взятия Парижа и заключения перемирия Францией, в одной парижской газете крупный и влиятельный журналист, сейчас занимающий важный официальный пост, напечатал статью с историческими справками (не будем их приводить и оспаривать) о постоянных предательствах России на всем протяжении ее истории.

Осуждали мир и сами русские, во всяком случае, те из них, которые, оставив пределы России, не знали и не видели, что дальнейшее участие России в мировой войне было немыслимым: никакая сила не могла воссоздать армии, превратившейся в полчища людей, стремившихся как можно скорее, в поездах,

на крышах вагонов, пешком, побросав оружие, разойтись по домам и своим деревням, так как под «революцией», всем населением принятой и одобренной, под объявленными «свободами» они прежде всего разумели прекращение войны, смысла которой они не понимали, — если вообще есть смысл в человеческой бойне. Быть дома в дни, когда этот дом пылает, им было необходимо. Революция обещала им землю; в этом было ее основное значение; и они торопились эту землю занять. Нужно было видеть эту днем и ночью катившуюся с запада вглубь страны солдатскую лавину, чтобы понять, что остановить ее невозможно и судить ее смешно, что этот уход был следствием не разлагающей пропаганды (и она, конечно, сыграла свою роль), а того душевного состояния, которое всегда владеет солдатской массой и сдерживается только суровыми мерами военной дисциплины, угрозами суда и расстрела. Нет армии, будь то германская, солдаты которой не разошлись бы немедленно по домам, если бы дисциплина на минуту прекратилась. Впрочем, то же случилось и с армией германской накануне всеобщего перемирия.

То, что произошло тогда в России, повторилось в прошлом году во Франции, с тою только разницей, что было вызвано не революцией, а всеобщим сознанием немыслимости дальнейшего сопротивления. Но война была прекращена здесь не солдатами, нарушившими дисциплину, а командующими верхами; не случайно всплывшими лицами, а старыми политиками, пользовавшимися доверием, в несомненном согласии (как и в России было) с большинством населения страны. К Франции мировое общественное мнение отнеслось гораздо терпимее, хотя уход ее с военной сцены сразу дал неприятелю огромнейший, до сих пор длящийся перевес, притом в самый критический и решающий момент, чего в русском случае не было. Россия была лишена чести, — у Франции честь

не отнята, и даже ее бывший союзник, Англия, не объявила ее народа предателем и врагом. Чтобы закончить параллель, нужно отметить, что внутренний российский переворот, во всяком случае, в его первичной форме свержения самодержавия, вызвал приветствие союзных стран и явился угрозой Германии, — во Франции прозошло обратное; и нужно подчеркнуть, что сепаратный мир России не повлек за собой даже отдаленной мысли о каком-нибудь «сотрудничестве», с бывшим врагом, а пункты мирного договора не предусматривали никакого оказания экономической или военной помощи.

Франция перенесла трагическое несчастие, но чести не потеряла; поражение не есть потеря чести, и даже заведомая военная слабость не может быть упреком стране, имевшей перед собой более важные жизненные задачи, чем непрестанное вооружение. Во внешней силе нет почета, в уступке этой силе нет национального унижения. Утверждая это со всей убежденностью, мы тем самым утверждаем и ненарушенную честь других пораженных народов, которые были вынуждены сдаться на милость победителя или впредь сдадутся; и мы, конечно, уже не услышим больше прежних упреков русскому народу, так свободно раздававшихся и почти не встречавших возражения. В писаных историях придется сделать некоторую поправку, иначе угрожает опасность упрека истории, которая пишется сейчас.

Но что же такое «честь», о которой сейчас так много и так охотно говорят. Возможно ли вообще распространять понятие чести, чисто личное, на поведение народов, в лучшем случае выражающее только волю большинства, в обычном случае — тактику правительств, а в некоторых даже лишь мысль одного человека, обладающего безграничной властью. О степени чести можно говорить только там, где народное волеизъявление ничем не ограничено — где найти сейчас такую страну? Осно-

вана ли на велениях чести так называемая «реальная политика», точный учет внешних и внутренних сил и обстоятельств во имя выгод географических, экономических, политических своей страны, — выгод, как их понимает сегодня правящая власть. Если да, то тогда всякая политика страны, приносящая ей немедленную выгоду, должна быть оправдана. Тогда никакого значения не имеют так называемые права наций на самоопределение, на покойную трудовую жизнь, на какое-нибудь свое место в пространстве, на свой язык, свои обычаи, свое искусство. Тогда понятие чести уравнивается с понятием преобладающей силы, и напрасно и смешно поднимать вопросы о верности договорам или об изменах, — эти выражения теряют всякий смысл: честно то, что выгодно или кажется выгодным.

Так и приходится рассуждать, если в основу человеческих отношений класть соображения частных государственных организаций. Но человек неисправим: ему все кажется, что из созданных им для себя законов нравственного поведения можно делать выводы общие, пригодные для семьи (честь семейная), для общества (честь общественная), для государства, даже для союза государств (принципы Лиги Наций). Заблуждение основано на предположении существования вечных, неизменных и ко всему приложимых законов морали; современный философ нам скажет, что у каждого индивидуума своя мораль, так же в целом неповторимая, как неповторима личность человека, и вообще любого живого существа, вплоть до микроорганизмов. Но в этом заблуждении была и остается своя красота и своя оправданность. Мы, например, отлично знаем, что нынешняя война вызвана рядом сложнейших причин, преимущественно экономического порядка, что в ней отразилась и борьба за мировое господство, мировые рынки, что она обусловлена крайне неудачным и искусственным мирным договором, завершившим войну

прошлую, что известные элементы «правды» есть с обеих сторон, как обе стороны не безгрешны и в обмане, — но можно ли отрицать присутствие и чисто гуманистических побуждений в том «неблагоразумии», с которым явно не подготовленные к войне страны выступили — и не могли не выступить — на защиту малых народов, самостоятельность которых была подвергнута жестокому испытанию. Какими бы «реальными» соображениями ни руководились политики, — их поддерживало моральное одобрение мыслящих слоев их стран, требования национальной чести, отзвук идеалистических чувствований. Это совершенно несомненно, и обидно слышать, когда во Франции, сводя счеты с прошлым, констатируя неблагоразумие начавших войну правителей, отрекаются от лучшего в этом недавнем прошлом: от настойчивого веления совести. Возможно, что эта война — последняя, в которой мотивы моральные действительно играли некоторую роль, — впоследствии будут на них лишь лицемерно, по привычке, ссылаться. Честь человека есть признание соответствия его поступков велению его совести и высказанных им убеждений. Честь семьи, общества, нации — верность общеизвестным их традициям. Понятие о чести приложимо только к свободной личности или к коллективу свободных единиц. Говорить о чести государства, искусственной организации принуждения, не имеет смысла. Когда правитель страны, говоря от имени нации, требует доверия, ставя залогом свою личную честь, он тем самым утверждает, что все, им предпринимаемое, будет в полном соответствии с установившимися традициями народа, к которому он сам принадлежит; но это не есть обещание несомненных материальных выгод, — лишь гарантия чести, и лишь в пределах ее нерушимости могут быть заключены выгодные для страны соглашения. Мы сейчас присутствуем во Франции при таком торжественном обете, — и весь мир внимательно следит, до

каких пределов понятие чести растяжимо и где оно может перейти в «реальную политику», то есть в прямое свое отрицание. Это уже не деятельность государства, это — действия определенной личности, пользующейся до сих пор почти безграничным доверием вследствие ее высоких душевных качеств и большого жизненного опыта. В то же время это ставка на честь национальную, на верность традициям, которые могут казаться пошатнувшимися, но, в конечном счете, должны себя оправдать, — иначе честь, не поколебленная внешним поражением, была бы утрачена в иных условиях, уже не оправдывающих. То, чем кончится этот опыт, определит, конечно, и внутреннее состояние страны, когда ее население получит возможность более самостоятельного распоряжения своими судьбами, от чего оно сейчас добровольно отказалось. Но, отказавшись от действий, оно оставило за собой суждения и оценку действий передоверенных. В дни, когда пишутся эти строки, никакое точное и последнее суждение не может быть вынесено, ни французским народом, ни наблюдающим за его судьбами мировым мнением. Нужно учитывать и случайность колебаний, и неточность информации. Нужно не забывать и характер партнера, с которым Франции приходится договариваться. И еще нужно помнить, что в судах чести требуется величайшая выдержка, осторожность и внимательность и к крупному, и к кажущимся мелочам, от которых иногда зависит характер выносимого приговора.

## Малая печать

*(30.5.41)*

Ежедневная печать, даже зависимая, остается большой силой. Читатель или верит, или не верит газете; в обоих случаях он находится под ее влиянием. Не веря, он руководится ее заключениями,

делая из них противоположные выводы. За время войны читатели газет изучили условность языка официальных сообщений и довольно сносно в них разбираются. Официальные утверждения, свои и чужие, обычно на веру не принимаются, так как их содержание может оказаться лишенным всякой почвы; но официальные опровержения читаются всегда с живейшим вниманием, так как они беспочвенными никогда не бывают; раз что-нибудь понадобилось опровергнуть, значит, оно в какой-то мере произошло, чем и были вызваны «неправильные» частные сообщения. Читатель может и ошибаться, но в общем его рассуждения логичны. Раз он находится под опекой, значит, от него скрывается все, что могло бы доставить ему огорчение или вызвать его неодобрение; поэтому он ищет замолчанное между строк и равнодушен к самому тексту сообщения. Положение ненормальное, как ненормальна и сама опека.

Макрокосму большой прессы соответствует микрокосм провинциальных газеток, и нет ничего любопытнее, как наблюдать эволюцию их настроений под влиянием перемены политики в верхах и соответствующих инструкций. Большая пресса старается сохранять свое лицо и известную дозу самостоятельности суждений; ее аудитория более требовательна и может сужаться и расширяться в зависимости от степени доверия и интереса. У местных маленьких газет аудитория постоянна, так как газета скорее доходит до читателя и необходима ему для справок хозяйственных, особенно сейчас, когда каждый день чем-нибудь дарит, то объявлением о выдаче продуктовых карточек, то изменением базарных цен: без местной хроники не обойдешься. В то же время маленькая газета не так искусна в применении условного языка, она не всегда угадывает настроения и часто проговаривается. Обычно ею руководит один опытный журна-

лист, выходец большой печати, иногда неудачник, не сделавший карьеры и успокоившийся в провинции. Его разговор с читателями интимен, он всех знает, его все знают, и ему нельзя с олимпийским величием не отвечать на письма и запросы своих читателей, с которыми он в гораздо более близких отношениях. В то же время он ощущает важность своей роли просветителя общественного мнения и политического «порт-пароля». Он, естественно, хочет, чтобы его суждения имели вид самостоятельных и независимых, и при обязательстве слишком крутых поворотов его ноги несколько заплетаются и фразы делаются беспомощными. Не безличный, как труба большой прессы, он должен сам отвечать за все и за все краснеть. Вчера, не угадав воздушных течений, он вложил весь свой энтузиазм в защиту позиции, которая сегодня оказалась или преждевременной, или решительно осужденной; и он, сам себя сегодня опровергая, вынужден пустить в ход все доступные его таланту словесные выкрутасы, чтобы доказать, что он остается последовательным и верным себе, — а это, конечно, не всегда возможно. Притом, сверх лояльности и послушания, сверх желания (и необходимости) быть агентом высоких предначертаний, у него есть все же и своя совесть, наконец, могут быть в той или иной степени собственные мнения, как пережиток времен прессы свободной. Его задача чрезвычайно трудна, и в нем происходит вечная борьба дерзанья и робости, отражающаяся в каждой дюжине строчек.

Живя в глухой провинции Франции, я прилежно читаю местную газетку и наблюдаю ее усилия в течение года оправдать и пояснить свою эволюцию, свершающуюся не по геометрически правильной кривой, а с причудливыми зигзагами. Нелегко, например, от выспреннего восхваления союзников, от восхищения их огромной и быстрой помощью, от клятвы в вечной им

верности за такое сравнительно короткое время перейти через равнодушие к враждебности (это при меняющихся внешних обстоятельствах допустимо) и к доказательствам того, что никакой помощи они не оказывали и что из начал истории до сего дня они были самыми явными врагами. Еще труднее, пожалуй, вчерашнего смертельного врага, по адресу которого не экономились выражения негодования и презрения, не то чтобы искренне полюбить, а признать чрезвычайно симпатичным человеком, с которым и приятно и выгодно поддерживать деловые отношения, в виду его доказанной порядочности. Значительно проще обстоит дело в области идей и девизов. Священные традиции обычно выражаются символикой слов, но и слова, и символы подлежат свободному толкованию. Один остроумный французский мыслитель сказал, что единственно правильное определение понятия «свободы» заключается в том, что личность не обладает в коллективе никакими правами. Это слишком откровенно, но можно то же выразить гораздо мягче и не менее убедительно. Все искусство заключается в том, чтобы, оставив слова и символы по возможности неприкосновенными, дать им сначала ограничительное, затем обратное толкование, притом сделать это с не меньшим пылом, чем тот, который проявили разрушители Бастилии. В школе политического журнализма эти приемы проходятся на младших курсах. И не вина маленького провинциального журналиста, если его путают неясными директивами. Ему, например, указывают, что «священные традиции» остаются священными и что поэтому намечаемая «революция» произойдет в формах своеобразных, согласующих историческое прошлое с реальным настоящим. Тема восхитительная, и на такой канве легко расшить прекрасные узоры. Утверждается благородство принципов Великой французской революции, поминается добрым словом Ла-

файэт, переправивший эти принципы в Америку. Вслед за тем оказывается, что 1789 год взят под сомнение, а Лафайэт прав лишь постольку, поскольку он помогал Америке против Англии. Единственный выход из неудобного положения — признать, что благородные принципы хороши лишь в том случае, когда есть военная сила, способная их защищать; раз силы этой нет — должны быть отвергнуты и принципы. Так и поступает смущенная газетка, ссылаясь на то, что логика выше принципов, и реализм отвергает напрасную сентиментальность.

Это несколько грубовато, если не приходит в голову подходящая иллюстрация, например рассказ Марка Твэна о благородном юноше, который, увидав, как большой парень бьет мальчугана, и руководясь принципами доброго воспитания, бросился на насильника; но насильник закатил юноше такой удар, что вынудил его обратиться в бегство. И нет надобности называть Югославию или Грецию. «В некоторых идеологиях нет ни логики, ни единства», — заключает усердный журналист, не совсем разбираясь в философии и не ожидая этого от читателей.

Но читатель суетлив и надоедлив, его духовный строй не отличается большой гибкостью. Он засыпает редакцию письмами и протестами, и не отвечать ему совсем нельзя, так как он все-таки хозяин положения, от него зависит благополучие печатного слова. Если он пишет анонимно, ему можно указать, что такая борьба неравна и некрасива. Но если у него хватает храбрости подписаться (по нашему времени это — несомненная храбрость), то ответ нужен. И вот тут маленький мальчик прячется за большого. «Вы упрекаете меня за высказанные мысли. Да я сам воспитан в уважении к старым традициям и великим принципам. Но не забывайте одного: все, что я пишу, прошло через контроль и одобрено теми, кому мы с полным доверием поручили заботу о спасении нашей страны. Не забы-

вайте, что мы — побежденный народ, а не нейтральный, что мы заключили не мир, а только перемирие, которое в любой час может быть денонсировано. Сейчас время не рассуждать и не отдаваться своим чувствам, а доверять и терпеть». Я цитирую здесь подлинные слова руководящей статьи маленькой газеты. Некоторый срыв, проговорка, излишняя откровенность, для газет больших недоступная. Так, в интимности, стряпается печатное слово. Но разве не тот же язык звучит иногда в высокоавторитетных заявлениях? Не было ли недавно заявлено, что «от исхода текущих переговоров зависит все будущее Франции. Дело идет о том, чтобы выбрать между жизнью и смертью. Правительство выбрало жизнь».

Когда на большой дороге или ночью в глухом переулке вам вежливо предлагают на выбор «кошелек или жизнь», — выбор, в сущности, прост, и никто вас за него не осудит. Но можно себе представить и иной эквивалент жизни, более спорный. В примерах новейшей истории народов мы видели, что по каким-то сложным психологическим причинам и часто вопреки и логике, и благоразумию народы выбирают смерть, спасая другие ценности, кажущиеся им ни с чем несоизмеримыми. Это можно констатировать, но нельзя выставлять обязательством, поскольку область духовная всегда остается свободной.

В режиме строгого контроля трудны и путаны только первые шаги; лишь только основная линия угадана, наступает время усердного забегания вперед (plus royaliste que le roi même)*. Так как выбор материала, особенно в газете провинциальной, невелик, то усердие сказывается в заголовках сенсационных известий. Заголовок — род краткой оценки; одна из важнейших приправ газетной кухни. Эволюция тона заголовков — любопытнейшая вещь. Приходится наблюдать, как от подчеркиванья успехов одной сто-

* Более роялист, чем король (*фр.*).

роны и неуспехов другой газета переходит постепенно (а порой и скачком) к противоположному пристрастию. И, собственно, только заголовками и разнятся газеты в стране, лишенной свободной прессы. Если предположить возможность некоторой оппозиции или хотя бы сохранения тени независимости, то это выражается бесстрастием и нейтральностью заголовков; там, где на это решимости не хватает, заголовки уже не говорят, а поют; сейчас это наблюдается особенно ярко в прессе парижской, свыкшейся с положением и, может быть, находящей в нем немалую выгоду. Пенье не захватывает читателя, но кто может сказать, что оно совершенно не играет роли в воспитании в нем соответствующих сомнений и даже уверенностей. Не нужно создавать себе иллюзий духовной прочности общественных мнений; они подчинены общим законам эволюции, в особенности, когда дело идет о городских центрах, бытие которых всецело подчинено требованиям политического момента; деревня традиционнее и устойчивее.

Делюсь наблюдениями, на вид незначительными; но в них отражается иногда целый мир житейских противоречий, и они легче помогают разбираться в сложностях жизни страны, чем торжественные речи и заявления на то поставленных лиц. Маленькая газета глухой провинции может сказать больше своими оговорками, ошибками, своей местной интимностью и откровенностью приспособлений, чем большая пресса, привыкшая к условному языку, употребительному в любое время, — все в тех же целях фабрикации общественного мнения, не имеющего способов себя проявить.

## Годовщина

*(3.6.41)*

Июнь для Франции — месяц трагического юбилея. Месяц страшных воспоминаний. Годовщина молниенос-

ного поражения армии и страны, потери северных округов, всего западного побережья, восточных границ, города Парижа. Сокрушительный удар по национальному самолюбию, крах международного престижа, утрата самостоятельности. В плену два миллиона работников, силы которых частью пропадают напрасно, частью обслуживают хозяйство бывшего врага и его военные цели. Гордая страна на положении данника, которому диктуют его поведение, который вынужден пожимать повергшую его руку. Незаживающая рана поперечного разреза. Страстные попытки раненого стать на ноги, выпрямиться, уверить себя в том, что не все кончено, что это только поправимая ошибка. Больные поиски виновных, самобичевание, осуждение прошлого, опыты перестройки сознания на новый лад, на тот самый, который это сознание с негодованием отвергало. Сверх внешнего — внутреннее поражение, несдержанное ликование темных сил, которым раньше не придавали серьезного значения, оценивали их низко или совсем снимали с учета национальных сил. Вплотную подошедший голод и перспективы еще пущих лишений. Полная неизвестность того, что думает страна, за которую думают и говорят явившиеся из небытия новые люди. Внешнее спокойствие — внутренняя сумятица чувств и мнений. Предстояние неведомому будущему.

Что в таких условиях могла делать Франция? Ждать и надеяться? Она надеялась и ждала; она продолжает ждать и надеяться. Но война затянулась и еще затягивается, возможно на годы. Никакой административный гений, никакая «диктатура сердца» не могут восстановить материальных и духовных сил страны в рамках той полусвободы, которая предоставлена перемирием Франции, оставшейся не занятой неприятелем, не говоря уже о невозможности какой-нибудь общей политики для обеих зон. О верности традициям хорошо говорить и писать, но это —

область поэзии, а не реальной жизни. Каждый отдельный человек может за себя решить: лучше погибнуть, чем покривить совестью и потерять прежнее лицо; но напрасно ждать этого от целой страны и наивно — от ее правителей, не призванных считаться с так называемыми нравственными требованиями и естественными обязательствами. В международных отношениях, как и в области политики внутригосударственной, обычные моральные понятия неприменимы; они служат только для украшения речи и оправдания самых противоречивых действий. Каждый историк подтвердит, что количество соблюденных международных договоров ничтожно в сравнении с количеством нарушенных: неумолимый закон реальности. Франция в отчаянном и безнадежном сопротивлении могла, не сдавшись, потерять всю свою территорию и перекинуться в африканские колонии. Это увеличило бы число героев, спасло бы честь прежнего правительства и привело бы к положению, во много раз худшему, чем теперешнее, вряд ли увеличив шансы союзницы на конечную победу. Но, главное, это было совершенно невозможным не только по полному отсутствию сил сопротивления, но и психологически; в данном случае имел значение и «голос страны». Это сознавали и политические деятели Англии, и когда, на заседании верховного совета в Туре (13 июня) Поль Рено спросил Черчилля, что сделает Англия, если Франция заключит сепаратный мир, Черчилль ответил: «Мы не усугубим тягостного положения несчастного союзника. И если мы победим, мы без всяких условий обяжем себя содействовать восстановлению разрушенной Франции».

То, что год тому назад казалось немыслимым, сейчас уже никого не поражает, как еще годом позже мы можем оказаться свидетелями невероятного. Такова логика вещей, совершенно не считающаяся с нашими идеалистическими представлениями о праве и спра-

ведливости, о чести и бесчестии, о способности не только единиц, но и масс на героические выступления. Оспаривать эту способность нет надобности; но в решающие моменты политической жизни моралисты отходят в сторону и, умывая руки, предоставляют действовать более практически настроенным, успех которых они могут использовать для себя, не неся моральной ответственности. Так повсюду и происходит. В частности, во Франции «сотрудничество» пользуется популярностью только в непосредственно заинтересованных кругах, преимущественно промышленных и финансовых; но временными выгодами, которые это сотрудничество сулит, пока, правда, незначительными, охотно воспользуются все, независимо от своего к нему принципиального отношения, тем более что общеизвестными делаются только эти выгоды, тогда как расплата за них остается секретом соглашателей. По выражению Бисмарка (которое приписывается также и Меттерниху), в каждом договоре есть всадник и лошадь. Но ведь договоры пишутся всегда с кажущимся равенством сторон.

К числу «выгод» самых очевидных и подкупающих относится освобождение некоторых категорий пленных, а именно лишенных трудоспособности, отцов многочисленных детей и участников прошлой войны. Для Германии характерна расчетливость: отпускаемые военнопленные ей менее всего нужны как худшие работники; в то же время она освобождает себя от их содержания. Для французских семей это — самые дорогие члены, отцы, старшие и пострадавшие. Правда, до сих пор речь шла только об отцах семейств в зоне занятой, где они будут, конечно, привлечены к работе на обслуживающих Германию заводах. Что касается «старых комбатантов», то их освобождение имеет особое значение для французского правительства, опирающегося на сочувствие и помощь союза комбатантов.

До сих пор промышленность и торговля обеих Франций сильно тормозятся полным перерывом почтовых сношений между зонами. От разрешения свободного обмена товарами выигрывает больше Франция занятая, куда до сих пор разрешались только некрупные сельскохозяйственные посылки с ограничениями и в роде продуктов. Зона занятая вычерпана оккупацией, зона свободная еще дышит, хотя города уже оскудели. Облегчение частной переписки (открытые письма на двух отныне официальных языках, французском и немецком) есть также род психологического подкупа в пользу сотрудничества. Но нужно сказать, что гораздо лучшим подкупом было бы облегчение переписки в пределах «свободной» Франции, что не стоит в связи с соглашением. Любопытно, что в оккупированной Франции почта работает очень точно и почти освобождена от контроля. В зоне свободной по причинам мало понятным (быть может, из опасения коммунистической пропаганды) контроль доведен до крайних пределов, притом организован настолько плохо, что вместо суток письма идут часто неделями и больше, даже между почтовыми отделениями на расстоянии нескольких километров. Контролируется, конечно, переписка с заграницей, причем авионы из Америки приходят иногда с наклейками цензуры германской при марсельском штемпеле. У меня есть образцы контролей английского, германского и французского, иногда сразу двух. В то же время авионы из Америки порой получаются скорее, чем простые письма, например, из Лиона в Монпелье или в Виши. Точно также затруднены переезды между пунктами «свободной» Франции, в частности для иностранцев (и, конечно, евреев), тогда как в зоне занятой передвижение (кроме запретной полосы) свободно для всех и не контролируется. Отмечаю это ввиду оригинальности явления. Совершенно свободный проезд по обеим Франциям имеют только лица, снаб-

женные в Париже германскими пропусками (в том числе и иностранцы). Единственное, в чем почтовые сношения чрезвычайно затруднены, это — письма и посылки военнопленным и получение вестей от них. Несмотря на все реформы этого дела, три недели — минимальный срок получения, что вызывается прежде всего исключительным контролем, доходящим до разламыванья печенья и плиток шоколада.

Реальнее всех других «выгод» сотрудничества — понижение на одну четверть контрибуции, платимой Францией на содержание германской армии. Вместо 400 миллионов франков в день теперь будет платиться 300. Какая это тяжесть для населения, видно из простого расчета. До сих пор при 40 миллионах населения падало на каждого человека 10 фр. в день, 300 фр. в месяц, или 1500 фр. на нормальную семью в месяц, то есть выше среднего заработка рабочего. Одними прямыми налогами невозможно собрать такие суммы, и естественно вздорожание жизни на 100—200 процентов при всей несомненно удачной финансовой политике правителей. Население не производит этого простого арифметического подсчета и удивляется росту цен вопреки строгой таксировке продуктов. В занятой зоне этот рост значительнее, но и заработки повышены; свободная зона пытается довольствоваться приблизительно прежними ставками.

Сравнительно спокойное отношение к вопросу о «сотрудничестве» (во всяком случае — до сих пор) объясняется прежде всего тем, что пределы этого сотрудничества остаются не только неизвестными населению, но, по-видимому, невыясненными и для высших сфер, поскольку переговоры не могут считаться законченными. Психологически любопытно, что широкие слои населения не свыклись с мыслью о поражении Франции и возможном окончательном поражении Англии; это в сознание французов не вмещается. Господствует уверенность, что все это лишь временно, и последнее слово скажет то ли Америка, то ли Россия.

Поэтому и ко всем мероприятиям и соглашениям большинство относится, как к временным мерам, вполне допустимым до терпимых пределов. Какой реакции можно ждать, когда «временное» окажется постоянным, никто предсказать не может. Франция очень верит заявлениям главы правительства о том, что «честь страны» в его твердых руках, и это помогает постепенной подготовке общественного мнения ко всяким возможностям. Но если напрасны гадания, то напрасны и излишние уверенности: время работает лучше любого пропагандиста, хотя нет недостатка и в пропаганде. Психологические сдвиги, происшедшие за истекший год, очень значительны; во всяком случае, прежнее единство мысли нарушено, и появились непримиримые оттенки, резко наметившие партийное деление на «голистов», «аттентистов» (от политики ожидания), соглашателей и проч. Задачу правительства это немало осложняет. Зато немало облегчает его задачу позиция Англии, по-видимому, не ясно учитывающая эволюцию французских настроений, ей неблагоприятную. Для сохранения прочности симпатий нужны победы, иначе правой окажется другая сторона. За отсутствием побед, необходимо хотя бы осторожное и выдержанное, быть может даже преувеличенно, подчеркнуто сдержанное отношение к бывшему союзнику, который бессилен помочь, но может оказаться достаточно сильным, чтобы повредить.

Такова сложность отношений к моменту годовщины французского поражения. Все дальнейшее зависит не столько от переговоров, сколько от непосредственных внешних событий, и предстоящее лето во многом может оказаться решающим.

## Еврейский вопрос

*(6.6.41)*

Можно обсуждать разные мероприятия в целях «выправления» Франции, оправдывать их, возлагать на

них надежды или, наоборот, сомневаться в их нужности, отрицать их значение, осуждать их в целом или части; во всяком случае, их можно понимать и ссылаться на их основания. Разочарование в представительном строе, недостатки парламентской системы, ее резкие отрицательные качества могут, естественно, толкать к опыту диктатуры нового типа, результаты которой скажутся только позже. Понятны и оправдываемы самые решительные, почти революционные меры в области хозяйственной, в особенности в связи с исключительным положением, в которое страна поставлена перемирием и блокадой. В области политической нетрудно доискаться причин усиления полицейской централизации, расширения власти префектов, отмены выборности местных властей и проч. Еще понятнее стремление в особом духе воспитать подрастающие поколения организацией юношеских «товариществ», обязательными наборами в «лагери молодежи» и реформой учебных программ. Все это связано не только с переходом власти к правым партиям, но и с действительными нуждами страны, мимо которых никакая власть не могла бы пройти. Что из всего этого получится — покажет будущее, мнения могут расходиться, но в каждом таком мероприятии есть внутренний смысл. Но есть некоторые меры, которые излишне даже обсуждать, настолько они ни с чем реальным не связаны, ничем не вызваны, ничем не оправдываются и являются лишь уступкой дурным партийным страстям и заблуждениям, отчасти требованиям «сотрудничества», никого оживить не способным. Эти меры стоят совершенно в стороне от общей намеченной линии «выправления» и от принципов объявленной «национальной революции», и было бы обидным и оскорбительным для французского народа предположить, что в какой-то мере их может одобрить общественное мнение или что их с легким сердцем, единодушием и уверенностью проводят те, кому интересы страны и ее честь

действительно дороги. Таковы, например, ограничительные законы и административные меры против лиц еврейской национальности.

В полосе оккупированной, где политически хозяйствует завоеватель, это понятно, во всяком случае, логично. Там уже осуществлены концентрационные лагеря для некоторых категорий евреев, ликвидируются еврейские предприятия, конфискуются имущества и капиталы, и не будет удивительным, если в Париже на манер Берлина появятся «желтые скамейки» или на манер Варшавы будет огорожено гетто и введены нарукавные повязки с соломоновой звездой. Это — прямой вывод из теории величия германской расы и вредности расы семитической; опыт прививки французам эпидемии нравственной болезни, которою до сих пор во Франции были заражены только немногочисленные слои населения, умственно убогие и нравственно вырождавшиеся. В той части Франции, которая называет себя «свободной», антисемитические проявления до сих пор сдерживались в рамках относительного приличия, нарушавшегося только некоторыми слоями чиновничества, забегавшими вперед в усердии. Даже то, что уже декретировано, применялось на практике с оговорками и по возможности бесшумно, как бы стыдливо. В этой полосе Франции нет специальной антисемитической печати, какая благословлена на деятельность в Париже, в Брюсселе и в других центрах оккупации. Даже такие газеты, как «Кандид», проявляют некоторую сдержанность в дурного тона выходках, может быть, потому, что не получают поощрения свыше. Известно, что прямым приказом главы государства, никогда ни в одной своей речи не коснувшегося еврейского вопроса, были возвращены права некоторым военным чинам высокого командного состава, несмотря на их еврейское происхождение. Точно так же возвращена французская национальность одному из Ротшильдов, временно ее

лишенному. Не пришлось прочитать ни одного неуместного слова по поводу смерти знаменитого философа Бергсона, и вообще нельзя указать ни одной невынужденной статьи антисемитского тона на страницах сохранившейся большой печати, типа отнюдь не левой газеты «Temps». Лишь в самое последнее время в связи с утверждением принципа сотрудничества заговорили об объединении мероприятий по еврейскому вопросу в обеих зонах Франции, откуда нетрудно вывести заключение о вынужденности этого шага. Не то что бы он не соответствовал «новому течению», это сказать отнюдь нельзя; в сущности, немало уже и сделано, и тысячи граждан, неудачно выбравших себе родителей, лишились заработка и сколько-нибудь обеспеченного в жизни положения. Но в новом государственном антисемитизме не было, так сказать, энтузиазма и уверенности. И «еврейский вопрос» остается до сих пор теоретически не развитым и практически не обоснованным.

Дело в том, что гонение на евреев не может быть во Франции популярным, разве что в некоторых профессиональных кругах, как врачебных, адвокатских, финансовых, где играет роль не антисемитизм, а радость устранения любой сильной конкуренции; те же круги заражены и шовинизмом. Широким французским массам не свойственна расовая кичливость, и они воспитаны в традициях широкой терпимости. Никаких разумных оснований обрушиваться на еврейство француз также не видит, и привести их никто не может. Нельзя же все-таки вечно ссылаться на Леона Блюма, его пролетарские идеи, противоречащие личному крупному состоянию, или серьезно обвинять евреев в том, что их подстрекательством была вызвана война, приведшая к поражению: слишком явна голословность утверждения и слишком не согласуется с официальным «списком виновных». И де Голль, главное пугало, также в ев-

рействе не повинен, как и никто другой из диссидентов. Сверх того, есть одно соображение нравственного качества. Любой человек имеет право быть антисемитом, как и анти- кем угодно; но в известных случаях это право ограничивается голосом совести, и именно тогда, когда недоброжелательство направлено по адресу людей бесправных, гонимых и лишенных способов защиты. До сих пор «антисемитизм» был, так сказать, законен, так как евреи пользовались всеми гражданскими правами; сейчас, со введением ограничений в их правах, всякое проявление антисемитизма делается не только дурным тоном, но и свидетельством душевного неблагородства, ущербом чести. Хотя французы очень любят называть себя реалистами, но в действительности они очень чутки к некрасивому, к душевной кривизне, к явлениям идеологической извращенности и лжи. Можно бороться с противниками равным оружием, но нападать на лежачего... именно сейчас, больше чем когда-нибудь, француз знает, что значит быть лежачим. Недаром даже официозные журналисты, берущие на себя подготовку общественного мнения ко всем правительственным мероприятиям, высказываясь по еврейскому вопросу, неизменно начинают с того, что они лично не антисемиты, что нужно «уметь различать», что было бы смешно отрицать гениальные вклады еврейской нации в науку, в искусство, что еврейская беднота сама страдает наравне со всеми (что, впрочем, не мешает и гнать ее наравне с другими!) и т.д., и т.д., пока это словоблудие не завершается легендами то о крайнем милитаризме, то о прискорбном антимилитаризме еврейской нации, кстати сказать, неспособной к земледелию (с умолчанием о палестинских опытах), с приведением примеров жульничества некоторых банкиров, коммивояжеров и кинематографических деятелей. Наличие такого рода оговорок само собой показывает, что обращаться приходится

к аудитории несочувствующей и, может быть, осуждающей. Но если явное юдофобство вызывает отвращение, то осторожные и неубедительные речи произносятся впустую, — в них нет никакой основы и они никого не убеждают. Нужно при этом помнить, что католическая церковь в данное время проявляет большую осторожность в еврейском вопросе и от антисемитской пропаганды воздерживается; вообще при данном политическом направлении она занимает позицию не только примирительную, но и несколько либеральную, следуя директивам Ватикана. С «необходимыми реформами» создается положение довольно затруднительное, и особенной последовательности ждать от них как будто нельзя. Любопытно, что и в Италии, совершенно не знавшей антисемитизма, он принял на практике, при вынужденном применении, формы смягченные; правда, там положение было иное, не столь вынужденное, и Италия покривила совестью как бы из вежливости и ради удовольствия союзника, а не по прямому приказу.

Конечно, никакое «общественное нерасположение» не может быть сейчас препятствием для намеченных мероприятий. В «океан еврейского горя», о котором отовсюду пишут, мало существенного внесет ручеек общественного сочувствия, сочувствия простых, рядовых, безвластных людей, задавленных и своими заботами. Настоящую помощь оказывают еврейские организации, напрягающие свою деятельность до крайних пределов. Общееврейская мечта — оставить пределы Франции и пределы Европы. Раем рисуется Америка — вам ближе знать, подлинный ли она рай. Каков бы он ни был, он доступен только избранным, имеющим или могущим получить средства на переезд через океан с предварительным получением бесчисленных «аффидавитов», отпускных и въездных виз, что требует долгих месяцев ожиданья, перехода от надежд к разочарованиям и новым надеждам, в то время, как небо над океаном мрачнеет и грозит

отнять и последнюю надежду. Тяжелее всего положение оставшихся в зоне занятой, где хлопоты затруднены и приезд откуда в зону свободную сопряжен с большими сложностями. В особо отчаянном положении евреи-иностранцы, к которым сейчас сопричислены и поздно получившие натурализацию и успевшие ее потерять. Как всегда и везде, больше всего страдает и в положении безвыходности (в самом буквальном смысле) оказывается еврейская беднота, о которой совестливые «порт-пароли» стараются говорить с демократической нежностью, но которой от этого, конечно, не легче.

В последнее время печать нашла и приводит еще один аргумент, доказывающий необходимость заняться активнее еврейским вопросом. Она ссылается на статистику, утверждающую, что среди евреев цифра сумасшедших втрое превышает норму общую. Откуда взяты эти цифры — неизвестно, это не сообщается; но если чему-нибудь можно удивляться, то лишь тому, что только больше теряют разум представители гонимой нации, — это указывало бы на ее необычайную душевную стойкость. Указывают еще на то, что возложение евреями своих надежд на англо-американскую конечную победу стоит в связи с еврейским мессианством. Тут возразить нетрудно: в этом мессианстве повинны далеко не одни евреи; и, читая об этом, полноправный французский гражданин, «рожденный французом от французских родителей» (новая формула), негодования не выражает: он только загадочно улыбается; загадочно, а в последнее время и грустно.

## Ожидания

*(12.6.4)*

Нужен все-таки и некоторый отдых от международных масштабов. Достаточно того, что постепенно мы привыкаем к цветным пятнам географической карты, как к собственному огороду: там, на оп-

рысканных медным купоросом грядах, удалось вовремя приостановить действия вредителя, там, на картофеле, завелся жучок-дорифор; пока благополучен салат и округляются луковицы, но уже на дальнем конце огорода стада тлей напали на цветущие бобы и подходит время для ожесточенной борьбы с виноградной филоксéрой. Если бы мы еще были полноправными хозяевами огорода, а то — простые наблюдатели, которым зачем-то выпало на долю жить в «великие исторические моменты». И вот никакое самое обычное жизненное явление не свершается без невольного его сопоставления с событиями мирового порядка, с высокими задачами взаимоистребления людей. Идет дождь — и немедленно приходит мысль, что воздушные бои и налеты затруднены неблагоприятными метеорологическими условиями. В ночь лунную даже в «тихом местечке Франции», где эти строки пишутся, ухо прислушивается, не встретились ли где-нибудь в небе и не столкнулись ли мрачные птицы, глядя на профили которых мы обычно забываем, что они не живые, а что только внутри их прячутся безымянные и обреченные человеческие единицы. Потому что при всей нашей мирности и изъятости из ближайшего участия в свершающейся истории — все же случается, что и в наших краях эти птицы падают подстреленными. Приезжают с той стороны «гости» и увозят искалеченные птичьи трупы на своих грузовиках, а мы стоим у наших ворот и смотрим, не в силах выдавить из глаз хотя бы одну слезу сочувствия.

И так сливается «важное» с «неважным», так мы привыкли к разговорам государств и народов, что видим на их месте усатые рожицы, рисованные детским карандашом; величие линяет, и доносится такая же перебранка, как среди кумушек на субботнем базаре. Поразительное снижение истории до быта! Важное перестает быть важным, какой-то неуемный комариный гуд, и непонятно, зачем врываются в него

имена, знакомые то ли по Гомеровой «Илиаде», то ли по «Освобожденному Иерусалиму» Торквато Тассо, а то просто по страницам Библии. Мы пытаемся проникнуться трагизмом дней, но вместо этого просыпается в душе злоба на режиссеров, играющих нашими судьбами, как футбольными мячами, — и все это будто бы для нас, во имя нашего благополучия, от нашего имени, вся эта отвратительная ставка на нашу худобу и беспомощность, на незнанье наше, на нашу огороженность от голой и неприглядной правды и на сентиментальность, тысячу раз использованную и опять нам предписанную. Ну а если мы возмутимся и назовем черное белым и обратно, и если в припадке отчаяния, как не раз в истории бывало, утратим благоразумие и пойдем с голыми руками на блиндированное чудище? Ничего доброго из этого не выйдет, но ведь мы ничего доброго и не ждем, и недалеко то время, когда терять нам будет вообще нечего. За стенами, нас окружающими, за прослоинами смежных и дальних стран, где так же живут и мучительно мыслят такие же люди, нам слышатся такие же голоса, и ведь что-то будет, что-то должно случиться, что-то взойдет на перепаханной орудиями европейской, африканской, азиатской земле.

Нет у нас новостей. Пока новость бежит, она по дороге стареет. У нас есть только раздумья. И вот мы думаем, что государства, нации, народы - это, в сущности, лишь отвлеченные понятия, границы которых искусственны и неясны, существо которых условно и непостоянно. Линии их поведения есть слагаемые ряда изменчивых воль. Успехи, неудачи, победы, поражения ликования, страдания имеют смысл и значение лишь поскольку это касается живой определенной единицы, все это ощущающей и переживающей, стало быть, касается меня, эти строки пишущего, или вас, их читающего. Армии не сражаются, народ не голодает, страна ничего испыты-

вать не может, потому что это лишь нами измышленные представления, голые символы; сражается солдат такой-то, страдаете вы, голодаю я; и только он, вы, я в таком-то случае поступаем так-то; и будущее зависит от столкновения или взаимодействия наших личных поведений.

Как же мне держать себя в отрезке предстоящей истории? Как строить завтрашнее и позднейшее будущее? Мне нет смысла скрывать или лгать, потому что говорю я лишь для себя и от себя, не облекая себя никем мне не предоставленным поручительством. Между несомненной честью и предполагаемой выгодой я могу делать выбор, но не должен называть одно другим. Если я беру спутника, то потому, что он мыслит со мной одинаково и у нас одна цель, а не потому, что кто-то мыслит за нас обоих и от нас обоих посылает сам себе приветствия и одобрения. Все это ни малейше не обеспечивает мне успеха в отрезке предстоящей истории, и разброд «свободных воль» может привести к печальному концу для каждой из них в отдельности. Но будет ли он печальнее и трагичнее того, к которому нас приводит чужая и чуждая воля, действующая за всех и на всех сваливающая ответственность за свои действия? К чему наихудшему может привести меня такая независимость личного поведения? Только к потере этой независимости, к тому, что уже было, что есть, из чего не видно выхода. Но разве есть выбор для приговоренного к бессрочной каторге, кроме выбора между смиреньем и бегством? И если он смирился — каторга им заслужена. Она им стократ заслужена, если он своим смиреньем мешает и другим выбраться на волю.

Так мы рассуждаем в своей философической простоте, и чем больше и старательнее налагают на наши уста печать молчания, чем больше нам толкуют об обязательствах, которые мы никогда не давали (они налагаются на нас до нашего рождения),

тем глубже укореняется прорастающее подземно семя протеста в каждой отдельной единице, пришибленной жизнью и пышностью исторических событий. Когда вы читаете в газетах о поразительной дисциплине и превосходном спокойствии граждан такой-то страны или такого-то района военных действий, о том, как стройными парами эти граждане спускаются в подземелья, а утром выходят на работы, и как они, еще ничего не успев толком узнать, уже успели единодушно и с полным одобрением отозваться на принятые меры, — вы не должны забывать, что сами не отзывались и моего отзыва не слышали, и что «граждане», «страна», «нация», «армия» — только символы, отвлеченные понятия, лишенные слуха, зрения и голоса, и что за них отозвался чей-то приказ и чье-то быстрое перо, а что действительно творится в душе отдельного гражданина — то, может быть, и сам он еще толком не уразумел, а может быть, уразумев, держит про себя. Совет не бесполезный для тех, кто не хочет поражаться неожиданностями и упрекать себя в близорукости. Все это — вообще, без намека на определенный кусок географической карты, обведенный черточками и утыканный точками городов. Впрочем, мы достаточно навидались, с какой легкостью вчерашняя уверенность превращается в сомнительное сегодня и в завтрашнюю противоположность.

Французский лексикон обогатился недавно словом «аттантизм», введенным в употребление бойкой парижской печатью. Этим словом осуждается всякая политика выжидания, хотя нельзя все же отрицать, что она принесла Франции некоторую пользу. Но политика не наше дело, наше дело бытовые настроения. Куда ни повернетесь, в какую страну ни направите взоры, всюду и везде вы попадете в эту атмосферу всеобщего аттантизма. Чувствуют вполчувства, говорят вполголоса, одновременно прислушиваясь, и никто не хочет разогнать в полную меру маховое

колесо. В крушении всех уверенностей остаются надежды только на время, хотя бы трудно было сказать, на чью мельницу оно отдаст свою прибылую воду. Иным это может казаться отсутствием живой энергии, неспособностью подталкивать историю в желанном направлении. Но аттантизм враждебен только тому, кому безразлично, по живым ли телам или по трупам он возьмет приступом этажи своих желаний, — хороша любая плата чужой монетой. Тот же, кто сам пашет, сам сеет и сам выращивает и собирает, знает, что напрасно тащить за макушку медленные всходы, что лучше сделает это в нужное время солнце, в нужное — благодатный дождь.

Быт людской превратился в состояние непрерывного напряженного ожидания: в какой-то час что-то случится, и тогда этот быт сойдет с мертвой точки, колесо завертится легким ходом, заработают мирные хозяйственные машины, люди будут снова чувствовать полным чувством и говорить полным голосом. Ждут этого семьи, ждут армии, ждут народы стран воюющих, отвоевавших, завоеванных и нейтральных; ждете вы, жду я.

И тут психологически любопытно, что понемногу делается безразличным, как это произойдет — лишь бы случилось скорее. Потому безразлично, что ни новая идеология, миру обещанная и долженствующая его спасти, ни старая, которая себя защищает, не стоят уже принесенных и предстоящих жертв. Прошлое не было раем, грядущее им не будет. На бирже человеческих идей пали все ценности, вылиняли все иконы. Я говорю про ценности общественной философии, про иконы идеологов счастья коллектива. Еще немного, и останется только «я», «мое» и «оставьте меня в покое». И именно покой — предмет страстных ожиданий, а не победы, не «жизненные пространства», не «защита прав малых народностей», не жизнь и не смерть демократий. Если не придет

этот покой — придет отчаяние, и оно решит то, чего не может решить оружие. В этом и смысл всеобщего «аттантизма». Вы, конечно, поймете, что приходится говорить «вообще», когда нельзя говорить «в частности».

Я вам пишу в июне, в середине месяца. За окном мелкий, отвратительный, ноябрьский дождь; таков же был весь месяц май. И вот мы ждем — ждем хорошей погоды, хотя никто нам ее не обещал. Будем, возможно, ждать до конца месяца, будем ждать в июле, в августе. Легко может случиться, что мы не дождемся, — а я живу в краю огородов, садов и виноградников, для которых погода — не вопрос об удовольствиях и развлечениях. И вот если мы не дождемся, если наше терпение наконец лопнет и прорвется, тогда, тогда... и я чувствую полное бессилие сказать, что же тогда случится, то есть заплачем мы или рассердимся. Заплакав — раскиснем или же, рассердившись, объявим войну небесным силам. Пророчествовать дерзко и бесполезно, а предположения слишком часто нас обманывали. Я знаю только одно: если мы раскиснем, то уж окончательно и безвозвратно, если же восстанем, то перейдем пределы и своих и чужих ожиданий.

* * *

*(17-22.6.41)*

Условия, в которых приходится жить во Франции, таковы, что было бы чрезвычайно трудно составить себе ясное представление о господствующих настроениях, об отношении населения к событиям внешним и мероприятиям внутренним, об единстве национальных чаяний или, наоборот, их разброде, о довольстве или недовольстве, об отношении к сотрудничеству, к происходящему в колониях и проч. Нельзя полагаться на свои личные наблюдения и выводы, потому

что они действительны только для данного места, данной среды, и обобщать их было бы неправильным. Случайно я живу в маленьком городе с полудеревенским населением, и знаю, что здесь общие настроения за год почти не переменились: прежний враг остается врагом, в силе остаются прежние упования, и перемена общей политики здесь не встречает ни интереса, ни сочувствия; в этом сказывается консерватизм крестьянина, прямота его патриотических понятий; он не думает, чтобы национальные бедствия можно было поправлять политическими перестановками лиц и перекраской знамен, и он верит только в продолжение упорного своего труда, и все, направленное к помощи этому труду, он принимает, конечно, одобрительно, а все стороннее, словесное, пустое ему чуждо и враждебно. Он хозяйственно взвешивает выгоды и невыгоды каких-то помимо него заключаемых соглашений, но лишь поскольку это реально и немедленно отражается на деле, а не строится на военных вероятностях и дипломатических соображениях. Обиженный, он не настаивает на злопамятстве, но тем менее способен на искусственные улыбки; ограбленный — может забыть и простить, но без восторгов и объятий. Но возможно, что это — настроения одного данного местечка или лишь нескольких подобных, находящихся в таких же условиях, и хотя это подлинная Франция, но все же не вся Франция.

О «всей» Франции или о преобладающем большинстве ее населения мы говорить не вправе, не слыша ее голоса. Если раньше некоторым его отражением могла быть печать или публичные открытые отклики общественных организаций, то теперь это исключено. Без опасения серьезных ошибок мы можем основываться только на официальных документах, на правительственных обращениях к населению, к счастью достаточно обильных. Речи главы государства и его ближайших сотрудников дают в этом отношении не-

малый материал, так как, настаивая все время на необходимости национального единства, они ясно подчеркивают и прискорбные разногласия, которые надлежит уладить и устранить. Без этих авторитетных ссылок и прямых упоминаний мы не могли бы делать попыток суждения, опасаясь упрека в голословности. Теперь эта задача весьма облегчена.

В этом отношении исключительно важна и интересна речь, сказанная главой французского государства в годовщину взятия им на себя нечеловечески трудной задачи спасения Франции. Подчеркнув свое убеждение, что Франция возрождается, маршал со своей обычной искренностью и прямотой прибавил, что «большое число французов отказывается это признать». В какой другой стране была бы возможна такая откровенность правителя, обладающего диктаторской властью? Отказывающихся признать выправление Франции маршал упрекает в «короткой памяти» и напоминает им ужасы, пережитые ими ровно год назад, в дни поражения. С полным пониманием он указывает и на причины недовольства «большого числа французов». Эти причины в том, что, несмотря на сотрудничество, далеко не все беженцы могут возвратиться домой к своей работе, что возврат военнопленных ограничился лишь некоторыми категориями работников, что снабженье населения продуктами «производится плохо», что дети не едят вдосталь. И он сам признает, что испытания еще не кончены и не кончатся долго. Очень многое разъясняют указания маршала на оттенки настроений «большого числа французов», считающих, что в происшедших соглашениях с бывшим неприятелем они «проданы, преданы, оставлены». Опять — удивительная простота и смелость признания существующих настроений, которых мы, сторонние наблюдатели, могли бы не заметить и, конечно, не решились бы указать без столь авторитетного свидетельства. Совершенно ясно, что дело тут идет

о непонимании «большим числом французов», какие выгоды может дать Франции ее теперешняя германская ориентация и что она должна заплатить за эти выгоды (то есть пока за возврат инвалидов и старых комбатантов и за право писать родным открытки в семь строк текста); а также о том, входит ли в счет соглашения дальнейшее пролитие французской крови, притом отчасти в борьбе с такими же «непризнавшими» соотечественниками. Отмечая наличность «горечи и отчаяния», старый солдат Франции призывает граждан быть людьми «старой и славной нации». Речь удивительно богатая указаниями и разъяснениями для всех, кто хочет понять настроения французского народа.

Далеко не с такой прямотой и ясностью выражается в своих обращениях к нации адмирал Дарлан, но из его речей мы узнаем о многом, что могло бы ускользнуть от нашего внимания. Так, например, он свидетельствует о существовании в населении некоторого недовольства действиями правительства, что он объясняет «французской традицией считать правительство ответственным за все народные несчастья». Это недовольство выражается в «бесплодных диспутах и резкой критике». Мы узнаем также, что население охотно оказывает доверие рассказам и слухам из неофициальных источников и заграничному радио и «многие принимают эти сведения за бесспорную истину». Любопытны его утверждения, что население не доверяет переговорам с бывшим неприятелем, так как не может себе объяснить, почему немцы могли бы пойти на некоторые уступки, не получая взамен каких-нибудь исключительных для них выгодных обещаний. Ясно из его речей и «чувство упорной враждебности» населения в отношении предлагаемого ему сотрудничества, — чувства, которое немцы понимают и которое мешает им освободить военнопленных, чтобы тем «не увеличить числа врагов». Против

этого «сентиментального реагирования» адмирал особенно настоятельно выступает, очевидно, совершенно его не разделяя. Он много говорит о необходимости создать иной «климат» в стране, создать такое настроение, пока отсутствующее, при котором стало бы возможным заключение более выгодного для Франции мира, иначе говоря, «сообразовать поведение с доводами разума», а не с чувствами, от которых население, по-видимому, никак не может или не хочет отделаться. Как и из речи маршала, из заявлений адмирала с несомненностью вытекает, что не только голлистские настроения в стране сильны, но и пропаганда коммунистов, старающихся сейчас играть на чувствах «патриотических», являются немалой помехой в деятельности правительства. Все это также недоступно нашему непосредственному наблюдению и благодаря авторитетности свидетельствующих об этом лиц приобретает особое значение и многое разъясняет.

«Вы не преданы, не проданы, не оставлены», — говорит маршал. Мы можем отсюда видеть, как трудна задача правительства Виши; свой призыв к доверию оно вынуждено сопровождать свидетельствами собственной благонадежности. Это тем труднее, что в речи адмирала содержится обвинение в том же правительства предшествовавшего, не безответственного и не обладавшего столь безграничными полномочиями. Личное доверие, которым пользуется глава государства, устраняет, казалось бы, возможность таких крайних предположений; ни предать, ни продать он, конечно, не способен; что население не оставлено правительством — оно это достаточно чувствует, поскольку во всех областях жизнь его подчинена контролю и руководству. Но, при неправдоподобности «измен», могут быть предположения о серьезных ошибках, от которых ни одна власть не застрахована, особенно в положении внешней связанности. Возможно также, что реализм политики,

на котором так настаивает адмирал Дарлан, не соответствует «чувству упорной враждебности», о котором сам он свидетельствует, и «сентиментальному реагированью», которое так понятно в людях, испытавших тяжкий удар по национальному самолюбию. То, что сравнительно легко забывается в политической игре, не так просто изживается средним обывателем, образующим «большое число французов». Отсюда и проистекают осложнения, тормозящие предпринятые правительством реформы и его общую политику в предполагаемом европейском масштабе.

В момент, когда эти строки пишутся, война грозит перекинуться на восточные границы Европы и за океан. Не пытаюсь строить в связи с этим предположений, но трудно сомневаться, что внутри Франции это должно резко повлиять на развитие господствующих настроений, пока внешне ни в каких актах не выражающихся. Все зависит, разумеется, от хода событий, и не только «сентиментальное реагированье», но, возможно, и сама высокая политика правящих, поскольку она действительно реальна. «Национальное единство», к которому призывает маршал, встречая в этом отношении полный общий сочувственный отклик, может осуществиться в формах и направлениях, достаточно неожиданных и удовлетворяющих огромное большинство. Но гадания напрасны и не нужны. Мы можем вполне ограничиться предпосылками, почерпнутыми из источников чисто официальных, каковы цитированные речи, чтобы с ними сообразовать возможность предположении и дальнейшем. В смысле настроений — Франция на перевале. Волей судьбы ее будущее в полной зависимости от будущего Европы, которое так старательно хотят угадать политики, чтобы заранее с ним сообразоваться, даже несколько забежать вперед. Но достаточно ли ясно оно наметилось? Не вызывает ли оно немалых сомнений? И не усилят ли этих сомнений настроения внутренние, разумеется, не в одной Фран-

ции? Всё это вопросы, которые именно сегодня можно только ставить, но решать было бы и неосторожным и преждевременным.

**Прошлое и будущее**

*(10.7.41)*

Отныне и впредь я могу говорить с вами только о том, что не касается ни войны, ни политики, ни вообще современности. С палитры художника снимаются зловещие краски и оставляются лишь необходимые для живописания незабудок и цветочков, называющихся «noli me tangere» — «не тронь меня!» — вы их, конечно, знаете, они так хрупки и нежны, что при малейшем грубом прикосновении свертывают листочки и роняют лепестки. Во всем этом я не вижу никакого неудобства и, напротив, испытываю большое удовлетворение. В мире прекрасно только вечное — Природа, жизнь многомиллиардных существ, не знающих человеческих нравов и законов, гармония звуков, радуга чистых красок, свободный полет творческой мысли. Мы слишком много значения придаем сегодняшнему дню и его злобам. Необходимо окошечко для легкого дыхания, нужны хотя бы минуты полного отказа от суеты сует. И тогда внезапно перед вами открываются широчайшие дали и вы видите, что недостойное, казалось бы, вниманья в действительности полно интереса. Вы лежите на траве, на земле, все равно кому принадлежащей; в эту минуту ее клочок ваш, никто его у вас не оспаривает. Вы смотрите в небо, и если его чистоту прорежет бомбовоз, то он покажется вам такой же величины, как комар, собирающийся жигануть вас в лоб; за ворот заполз заблудившийся муравей, не питающий, впрочем, никаких враждебных чувств, — как и вы к нему относитесь с сочувственным интересом, даже готовы помочь ему благополучно выбраться. Пчела забира-

ется в чашечку цветка, паук проявляет свое изумительное ткацкое искусство, кузнечик изображает скрипичного вундеркинда, гудит тяжеловесный жук, которого так трудно заподозрить в любовном экстазе, а между тем именно любовью кругом пропитано все, от желтого лютика до высокого тополя, от стрекозы до земляного червя, любовной жаждой продления жизни в потомстве, ощущением торжественного благополучия на той самой земле, которая нам кажется тесной и изрытой волчьими ямами и каждый клочок которой мы удобряем железом и кровью.

Но это не обязательно — ограничивать круг своих мирных наблюдений цветочками и букашками. Все значительно или все ничтожно в зависимости от вашего к нему подхода. Обычные масштабы теряют значение. Слон равен мошке, родина — песчинке земли, макрокосм — микрокосму. По человеческой слабости, я курю папиросу и бросаю окурок; но затем, спохватившись, я отыскиваю его среди травы и несу домой как великую драгоценность, потому что, презренный сегодня, он завтра будет спасительным. Все мужчины в нашей местности с почтением произносят слово «окурок». Сейчас нам дают пакет табаку на три дня; этого мало, но это терпимо; скоро будут выдавать столько же на дветри недели. И вот тогда скопившиеся окурки будут спасать в очень тяжкую минуту. Но эта тема всетаки слишком злободневна, трудно приучить себя избегать современности.

Почет и внимание прошлому! Если бы память наша не была слишком короткой, мы всякий день могли бы справлять юбилеи каких-нибудь, по возможности приятных событий: рожденье, отъезд оттуда-то, приезд туда-то, знакомство с тем-то, начало работы, ее успешное завершение; и только в жизни личной, — а сколько годовщин исторических! Я всегда с удовольствием читаю первую страницу одной

догадливой иностранной газеты, которая независимо от боевых событий, упрятанных на третью и на последнюю страницы, прежде всего приводит читателя в ровное и спокойное настроение, посвящая первый лист исключительно статьям исторического характера. Если при верстке этих статей остаются незанятые кусочки, они заполняются любопытнейшими краткими заметками о том, как хоронят в Китае, кто изобрел кофейную мельницу, сколько у человека в среднем волос на голове, какова на Луне температура днем и какова ночью, почему и как танцуют мыши. Все это настолько интересно и снабжено такими зазывающими заголовками, что нельзя не прочитать. И лишь затем, с нервами спокойными, с лицом улыбающимся, вы переходите к сообщениям, что с городом, где вы родились, случилось то-то, например, он снесен с лица земли, или что вы сами, вообще говоря, неизвестно кто и зачем живете на свете. Вы, конечно, взволнованы, но ваша мысль невольно возвращается к недавним впечатлениям: еще мелет мельница, еще танцуют мыши, король Карл Шестой утешается игральными картами, изобретенными для его развлечения почтенным Менетрие на исходе XIV века, лягушки обожают красный цвет, рыбы, запах шафрана, крокодилы отказываются плодиться в неволе. Множество милых мелочей бирюльками путаются и цепляются в сознании и не дают ему взорваться. На состязании брадобреев победитель обрил человека в сорок восемь секунд, — и вы чувствуете, как лезвие бритвы скользит по вашим щекам; но вы не перерезываете им горла и жизнь продолжается. Не теряйте надежды; потеряв — ищите новую прицепку к жизни.

Источник большинства наших страданий в том, что мы привыкли обращать лицо к будущему. Это ошибка — натружать глаза, смотря в туман. Повернемся к будущему спиной — и мы увидим единственно реальное, наше прошлое. Все, что было в нем хорошего, оста-

ется в памяти; что было плохого — скидывается со счета как уже прошедшее. Цель в том, чтобы к прожитым годам, медленно отступающим вдаль, прибавить еще день, еще неделю, еще один год — и наблюдать бег времени; так с кормы парохода мы смотрим на пенистый вал, стремительно убегающий и все-таки остающийся на месте. Изумительное единообразие неповторимого! Или возьмите другой образ — образ этих строк, как будто набегающих на чистое пространство бумаги, а в действительности все время отступающих вдаль, в прочитанное, в бывшее, в случившееся; мысль исчерпана, впереди ничего, а чернильный червячок все-таки продолжает виться, завоевывая пространство и оставаясь на месте. Как валы потревоженной пароходом воды, уходящие в спокойствие дали, как сжимающиеся в ровные грядки строки письма, — так и вся наша жизнь, с ее взрывами, провалами, кипеньем, уходит в спокойствие перебродившего и уже невозмутимого более бытия, в область памяти, в отработанное «было», не нуждающееся в оценках, — только не обертывайтесь в сторону современности и не пытайтесь угадать, что еще она вам принесет. Все равно, в какой-то момент она оборвет свой бег, — страница кончится, застопорится пароходная машина; легкий толчок — и дали погаснут: бывшее и будущее сольются в нам непонятном небытии.

------

Так в горячую и душную июльскую ночь думал человек, запертый в раскаленном за день каменном мешке без окна, только с маленьким круглым отверстием над дверью, в которой застряла бы детская голова. Дверь на железных засовах. Последний воздух выкачан легкими. Соломенная подстилка слежалась и тверда, как камень. Все это бессмысленно и бесцельно; завтра скажут, что это

лишь простая необходимая формальность, потому что нельзя безнаказанно быть сыном слишком большой страны. Это произошло в том же маленьком и приветливом местечке, которому он посвятил столько строк благодарного внимания.

Приподнявшись на локте, человек слушает. Ни мотора, ни простого дыханья; ни даже комариного гуда — сюда комар не залетит. Стоило ли так долго жить? Опять Тютчев: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые!» И опять Марк Аврелий: «Если страданье непереносимо — оно убивает; если оно не убило — значит, оно переносимо». Странно, что будущее представляет интерес только в том случае, если оно в масштабе наших житейских возможностей; но предстоящее через сто лет, тысячу лет, уже не вызывает тревожных мыслей — только холодный академический интерес. Ради близких можно беспокоиться о ближайшей четверти века, ради себя — о конце лета, осени, пожалуй зимы; но, конечно, не о слагающейся истории.

Что до прошлого, то все это было уже много раз — и стены, и мешок слежавшейся соломы, и духота, и молчание ночи. Меняются страны, языки, причины, поводы, — сущность остается такою же. Несколько способна еще удивлять бессмысленность маленьких мелких мучений, которым человек подвергает человека, и то, что самое важное и ответственное, — лишение человека свободы — поручается самым тупым и ничтожным людям. Затем эти люди долго пишут отвратительным пером какую-то ведомость особо чудовищного стиля, ставят печать — и, нарушив все естественные человеческие законы, считают право и справедливость строго соблюденными.

Так в душную ночь думал человек о прошлом, — потому что все, что случается, делается прошлым в ближайшую минуту.

## О нас

*(18.7.41)*

Незначительное на этот раз — мы сами, наша судьбишка, наша кропотливая и малокчемная жизнь на чужбине. Есть два русских народа. Один — огромный, защищающий свою землю от вражеского вторжения. Другой — маленький и запуганный, вкропившийся точками и пятнышками в земли чужие и выжидающий, какие еще суждены ему испытания, куда его швырнут, в чем обвинят, за чьи дела заставят расплачиваться горбом. У этого второго народца нет ни границ, ни защитительных линий; у него нет даже права на суждения, как нет и единства мнений; его патриотизм подмочен, его национальность неопределенна и разно толкуется документами, при которых он состоит в качестве приложения не высокой важности. Его происхождение различно: беглецы, спасшиеся, высланные, переменившие цвет красный на цвет белый или обратно, никакого цвета не знавшие, как не знавшие и родины отцов, смекающие, непонимающие, пустившие прочные корни, оставшиеся висеть в воздухе, а в сущности говоря — внепланетная пыль, нити паутины в бабье лето. Не обижайтесь, это так! Сам по себе каждый — единица; и единице нужно жить и кем-то и чем-то себя считать; и честь свою соблюдать, и ссориться с другими, и отстаивать свои эфемерные права, и прошлое ценить, и в будущее засматривать в узкую щелочку; но вместе взятые — подобие народа, отсев политической молотилки, «человек за бортом», которому не бросят спасательного пояса и который никакими мощными взмахами рук своего корабля не догонит.

Я не знаю, как в Америке чувствуют себя соотечественники; надеюсь, что в стране свободной легче прилагаются силы, меньше мешает жить ностальгия; здесь, в замиренной и старающейся возродиться

Франции, мы чувствуем себя занозами в чужом теле. Эти занозы были некогда встречены с большой приветливостью, даже обласканы, и они сумели не паразитарно приспособиться к французской жизни, то есть к относительной гражданской свободе, к обильному потреблению фасоли и зеленого горошка, к носовым звукам певучей речи и трудным сюбжонктивам, к вечерним силуэтам Лувра и Нотр-Дам де Пари, открытым костюмам купального пляжа, управлению рулем таксомотора, стоянью за фабричным станком вместо университетского курса, к найму могил сроком на пять лет с правом возобновления контракта. Попутно, за бездеятельностью собственного патриотизма, — сердца наши отзывчивы, — усвоили себе патриотизм французский, вплоть до записи добровольцами при первой военной тревоге. Горе Франции перенесли, как свое личное горе, — и это так понятно, если вспомнить, что еще на школьной скамье мы учились почитать исторические даты, сделавшие Францию страной передовых европейских идей. Из прошлого оставили себе российскую мистику, искусство хорового пения и балета; все современное предоставили сородичам, оставшимся дома: ломать, кривить, кроить, выправлять, обновлять и вновь создавать жизнь страны, для нас потерянной, которая, оставшись в сердцах, уже перестала умещаться в сознании. То же было, конечно, и в других странах российского рассеянья, та же относительная ассимиляция, с поправками на местожительство, со вставками в свой язык хозяйственных и жаргонных словечек страны соответствующей.

Мы стали занозами не сразу, а с некоторой постепенностью. Русские — не бездарная нация, и в известных областях, особенно в области художественной, где состязание талантов более свободно, обнаружилось некоторое русское засилие. То же, в меньших размерах, в области прочих свободных профессий,

куда удавалось проникать русским, чаще — натурализованным. И заноза почувствовалась.

Нужно, впрочем, сказать, что не столько тело почувствовало занозу, сколько она ощутила свою неуместность. Но ведь ей деваться некуда — пути ей закрыты и к передвижениям она почти неспособна. Ввиду неловкости положения, а еще больше по тягостным условиям жизни, также, конечно, и из простой вежливости, русские усилили свою смертность в старших поколениях, предоставив детям становиться заправскими французами, не читающими Толстого ввиду его наивности, а остальных писателей по недосугу и по отсутствию их в переводах. Количество русских эмигрантов и высланных исчислялось во Франции сотнями тысяч. Но вот на днях в связи с «крестовым походом на Россию» (в чем эта связь — дело не нашего суждения) были поголовно задержаны все русские в полосе свободной Франции для исследования их личных качеств, и оказалось, что их всего 10 200 человек, — цифра совсем ничтожная. О Франции несвободной, где поголовного набора не было, цифра неизвестна, и приходится ждать результатов происходящей сейчас во Франции переписи. Неизвестно также число мобилизованных, убитых и пленных русских, число натурализованных и уехавших. Во всяком случае, нет сомнения, что количество заноз весьма уменьшилось, что и понятно, принимая во внимание возрастной состав эмиграции и число специальных русских кладбищ. Время лечит раны радикальным способом; и оно не заслуживает упрека в медлительности.

Нет, мы не можем упрекать французский народ в дурном к нам отношении. Именно в эти последние дни, в дни внезапных неприятностей (я подбираю выражения), казалось бы ничем не заслуженных, русские могли оценить исключительную ласковость простого населения, не понявшего приме-

нения к русским меры, которая не была принята даже к итальянцам в дни войны с Италией. Говорю по личному опыту и по отзывам других. Трогательнейшее проявление сердечности со стороны знакомых и совсем посторонних людей. Общее естественное желание оправдать свою страну, которая не совсем самостоятельна в действиях, — что мы, конечно, не хуже других знаем. В маленьком местечке, где все люди на учете, знаки внимания не ограничиваются словами, а подчеркиваются тарелочкой ягод, пучком салата, яйцами от собственной курочки. В знойный день на улице незнакомая старушка сует свой зонтик — не угодно ли укрыться, вас так утомили, вам нужно беречься. Прекрасные люди, платящие движением человеческого сердца за обиду, нанесенную административной машиной. Мы не предъявим иска — мы квиты, инцидент исчерпан. Говорю за себя — не смея говорить за всех. То, что было нам любо во Франции, не умалилось в своем значении; а было многое любо.

Дело, конечно, не в тарелке красной смородины, не в пучке салата и даже не в зонтике; дело в том, что мы, с нашим политическим и житейским опытом, не сливаем в единое понятие таких разных и часто несогласных понятий, как территория, население, власть; мы каждое из них ценим и воспринимаем особо. К сожалению, по отношению к нам этого не делают — и создается путаница. Как может быть русский эмигрант или изгнанник патриотом своей страны, то есть своей земли и народа? Очевидно, может, даже оставаясь заклятым врагом своей власти; и никак нельзя отнять у него это право. Очень благорасположенный француз спрашивает: «Почему вы не натурализуетесь у нас, это не так трудно?» Ему не приходит в голову, что вопрос несколько оскорбителен, и он вполне убежден, что предлагает повышение в ранге; но я никогда не предложил бы ему обратного, щадя его

национальное самолюбие. В здешних военных обзорах пишут: «Киев - столица Украины» — это про «мать городов русских!» — совершенно не ощущая нелепости выражения; пишут с такой же простотой, как «Бейрут — столица Сирии». Или самый эпитет «крестового похода», столько же кощунственный, как кощунственно называть русское войско «большевистским», чего даже советское радио никогда себе не позволит. И если бы все это писалось и говорилось «с обдуманным намерением» (бывает и так), а то больше просто по незнанию, непониманию и непростительному безразличию. Трудный орешек Россия для иностранного зуба, и долго еще ей суждено быть загадкой, что бы с нею ни случилось. А что с ней может случиться — это не тема для писем о незначительном. И говорю я здесь не о России, а о нас, вольных или невольных неучастниках ее испытаний. Все же раны ее и на нас отражаются стигматами.

О нас, о маленьком народце, обреченном во всей Европе на молчание, не имеющем больше своей печати, своих открытых мнений, хотя бы едва слышного голоса. У этого народца была большая мечта, — во всяком случае, у среднего и младшего поколения: когда-нибудь увидать свои края. Мы говорить об этом сейчас не будем, только поставим вопрос: какой ценой? Ценой разгрома, ценой гибели миллионов? Велика такая цена, о ней страшно думать: так не покупается маленькое личное счастье — если счастьем был бы возврат. И только вне личного можно сейчас мыслить о судьбах России. Если здесь пучок салата искупает обиду, — там и салата не нужно, и не нужно даже доброго слова. Нет во мне и тени того патриотизма, которым хвастливы европейские народы, — но матери счета не предъявлю. Говорю бескорыстно, на восток не глядя, охотнее готовясь к иному Востоку. И говорить хотел бы не от себя одного, — но уж слишком вошло в обычай смело говорить за всех, а люди так

разны. Не беседа, не чувствительная откровенность: только намек на думы, которые в эти дни неотвязны и трепетны. Точка.

## Мы и другие

*(27.7.41)*

Между временем, когда я пишу и когда вы читаете, проходит обычно не менее месяца; а так как искра радио (или, может быть, не искра, но так говорится) не знает ни границ, ни контрольных в пути задержек, то приходится иногда занимать вас темами, утратившими и свежесть, и прямой смысл. Но ведь события меняют соотношение сил, оставляя человеческую природу неизменной. Может быть, сейчас уже нет больше советской России, а может быть, и гитлеровской Германии: однако русские и немцы существуют несомненно, и говорить о них не поздно. Уже много десятилетий русский человек и славянская его душа выступают перед судом Европы. Достоверные свидетели, основываясь на страницах русской истории и на романах Достоевского, утверждают, что славянская душа не столь преступна, сколь пассивна и руководится принципами «авось», «небось» и «ничего». Но этим далеко не все достаточно объясняется, и иногда, наоборот, пассивность сменяется непозволительной активностью, являющей опасность заразы для народов европейских. В глазах некоторых мы, русские, — азиаты. «Азиаты», это очень нехорошо, потому что это значит — не европейцы. Вероятно, даже это оскорбительно — с тем и говорится. И хотя Азия внесла нечто в области человеческого духа, в религию, в искусство, и хотя говорится, что «свет с Востока», но все-таки парламент, панталоны, готический стиль, кинематограф и многое другое придумала Европа, которую за это следует почитать. Нашей азиатчиной, кстати сказать, объясня-

ется малопонятное и совершенно непозволительное поведение на фронте русских солдат, поскольку это проявилось в первый месяц германского нашествия. На случай, что вы не читали отзыва об этом германских газет, я приведу маленькие отрывки. «На фронте русском, — пишет корреспондент, — дело идет о совсем ином противнике, чем какого мы имели в Бельгии и Франции. Там мы сражались с людьми, доказывавшими свою интеллигентность и свой опыт; здесь враг тупой, не то чтобы смелый, но стойкий по отсутствию чувствительности. Он является частью безразличной и бездушной машины». «Эти люди, — поясняет пехотный командир впечатления журналиста, — дерутся, как безумные, до тех пор, пока могут шевелить рукой. Они не сдаются». И он добавляет, что они скорее дают перебить себя или раздавить танками, чем позволяют себе скрываться и убегать. И корреспондент делает вывод: «Советская армия не обладает моралью в том смысле, как армии западные».

Очевидно, это еще хуже, чем просто быть азиатами. Но мы этого не сознаем. Мы читаем отзыв немца и проникаемся некоторой гордостью. Мало того. Перед нами встает лицо оценщика, удивленное и глубокомысленное, и в этом несомненно честном, по-своему, лице мы дерзко усматриваем некую изумительную, вековую, расовую тупость (возвращаю автору слово), безысходную, пивную, наследственную, белесую и бесцветноглазую. Воспитанный человек не может понять, как это русский солдат не уступает, по примеру интеллигентных европейцев, дорогу несомненно сильнейшему противнику, почему он не раскланивается и не отходит в сторонку, сохраняя в целости свою жизнь и свою военную честь; потому что сейчас сдача на милость победителя не только не лишает чести, а, напротив, толкуется иногда как особо мудрый и героический или хотя бы по меньшей мере хитрый и лов-

кий прием. Прием армий интеллигентных и опытных, а не бездушных дикарей. Зачем, действительно, умирать в безнадежной борьбе, когда можно почетно и галантно сдаться? «Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Делярю; тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: благодарю». И только чистые азиаты, не обладающие чувствительностью, могут предпочитать сдаче отчаянное сопротивление и смерть. И, конечно, прав немец, утверждая, что русская армия, поскольку она себя проявила в боях, «не проникнута моралью в европейском смысле». Боюсь только, что немецкий мыслитель заблуждается в оценке морали побежденных европейских противников, которых он, по-видимому, считает благоразумными детьми, сознавшими свои ошибки и искренне поюбившими завоевателя.

Итак, наша армия — безразличная и бездушная машина. Об этом свидетельствует представитель народности, создавшей величайшую в мире механическую мясорубку, обратившей собственную страну в казарму, где не только действуют и живут, но и мыслят по команде и по указке, где слово «дисциплина» давно заменило слово «свобода». Может быть, корреспондент прав, так как таким же приблизительно идеалом многие годы руководилась и российская власть. Но как примирить это с русскими «авось», «небось» и «ничего». С расплывчатостью славянской души, «широтой натуры», прославленной ленью и прочими качествами, которыми нас награждают. Правда, армия — не народ, а искривление народной души, элементарное ее упрощение. Всякая дисциплина выхолащивает самобытность духа. Все-таки толкование, которое дается «бездушной машине», ее свойство умирать, а не сдаваться настолько почетно, что мы можем считать себя удовлетворенными. Большего азиатам и требовать нечего.

Со своей стороны мы тоже имеем право наблюдать и делать осторожные выводы. Немцы — народ удиви-

тельный. Они, например, искренно убеждены, что раса, побеждающая моторизованной силой, есть раса высшая, что тот народ и есть самый лучший, который может подавить все другие, у которого самая сильная и обученная армия и который, своей воли не имея, подчиняется и в военной, и в гражданской жизни слову командира. Им, по-видимому, никогда не приходило в голову, что воинственность, желание побеждать вооруженной силой есть качество дикарей, не преодолевших звериного состояния расы, что оружие есть худшее из всего, что создало человечество, что армия есть величайшее, пусть вынужденное, несчастье народов, препятствующее развитию начал духовных, уничтожающее личность, лишающее ее свободы самоопределения, превращающее в механическую, немыслящую, безвольную единицу. Они не представляют себе, что современная Германия, высоко развившая технику, поставившая науку на службу внешней силе, высоко цивилизованная, одновременно убила и вытравила у себя литературу, искусство, философию и культурно снизилась до пределов крайних, граничащих с состоянием проделавшей то же самое России, с которой она взяла пример политического режима, грубой диктатуры, но с которой никогда не могла соперничать в природном духовном богатстве. И они никогда не поймут, что народы побежденные могут смотреть на своих победителей с жалостью и состраданием, в своем несчастии им не завидуя, и, может быть, даже не питая к ним законной злобы. Вчитайтесь и вслушайтесь в горделивые заявления: «Выиграно величайшее в истории сражение на еще небывалом в истории по обширности фронте». Фраза, которую читают с уважением и преклонением, но которая в подлинном человеческом понимании значит: «произошло еще небывалое в истории преступление, ни с чем несоизмеримая катастрофа», — безразлично, кто бы ни оказался «победителем», то есть выр-

вавшим из жизни наибольшее число молодых и здоровых людей. Несчастье, именуемое триумфом, радость и честь человекоподобного. Война так далеко увела нас от простых человеческих понятий, в своей простоте цельных и чистых, мы так обросли шерстью, что такие слова могут быть приняты за парадокс или намеренную наивность, — но ведь именно на этих понятиях мы строили культуру и ими преодолевали в себе животное. И внешнее торжество расы, организации, дисциплины может оказаться лишь свидетельством ее вырождения и культурного упадка, истории знакомого. Так азиаты отвечают европейцам, впрочем, не надеясь их убедить.

Немецкой расе свойственен гений второстепенности: обстоятельнейшее развитие чужой идеи, разработка чужой модели, исчерпывающее применение на практике чужих открытий. Ум не постигающий, но незаменимый в исполнении, изумительный в использовании и приспособлении. Но вот случилась в мире заминка: умолкло слово творящего Художника — и место его занял маляр. В труде усердный, он принял брошенную Художником палитру за эскиз новой гениальной картины — и заляпал весь мир суматохой красок, сделав безумие системой. Мы присутствуем при опыте зеленщика познать тайны природы, рудокопа — сделать ювелирную вещь, каменотеса — построить здание. Опыт страшный по трагическим последствиям, потому что никто не может причинить столько вреда, как человек с низким лбом и силой быка.

Во мне нет желания обидеть, и хочется быть справедливым. А впрочем, — есть все же, да и не может не быть, естественная злость. Уж очень много и немцы, и вообще европейцы позволяют себе по отношению к русским, и в характеристиках, и в обращении с находящимися за рубежом русскими, в особенности в последнее время. Все эти расовые характеристики, в сущности говоря, вздор. Но нельзя

не высказать, какое глубокое презрение вызывает в нас расовая кичливость, германская, латинская, саксонская, все равно какая, всегда необоснованная и дрянненькая, и какое счастье быть от нее свободной, одновременно чувствуя, что ни за какие блага в мире не поменялся бы ни своей страной, ни своей расой, ни своей культурой с людьми, никогда не знавшими простора и горизонтов России, поклоняющимися в политике — реализму, в личном бытии — сантиму, и совершающими по мелким водам житейское плавание между берегами собственнического благополучия и идеологического крохоборства. Именно сейчас особенно приятно это высказать, в дни, когда укрощенные пигмеи мечтают вернуть себе грошовое благополучие путем гибели и разложения гиганта, да еще именуют это «крестовым походом», подставляя под имя России кличку коммунизма. Какой стыд, какая мелкота и какая скука. Ухо вянет от шаблонщины громких фраз европейского шляхетства, белилами замазавшего пожар отшлепанных щек, — и вот тут особенно почетным кажется звание азиатов, не знающих «европейской морали», но, по крайней мере, умеющих давать сдачи, самим же не сдаваться до последней пули и капли крови. Решительно стоит иногда это высказать в бороду всякого рода диктатурам и в поучение их смиренным стадам.

И однако, посердившись, успокоимся и вернемся к мистике азиатов — к углублению взора в века и созерцанию собственного пупа.

### Чувства и реальность

*(13.8.41)*

Цивилизованный мир никогда не отличался излишком добродетели, и образцовым деловым договором считается тот, в котором исчерпывающе предусмотрены и оговорены все пункты, где можно ожидать

лазеек, спора и жульничества. Были все же некоторые границы криводушия и обмана, переступая которые человек или группа людей, или целое государство рисковали если не прямым воздействием, то утратой чести. Эти границы еще остаются в области частных отношений, преимущественно обывательских, где традиции более живучи. Чем сложнее человеческая организация, тем понятия о чести расплывчатее и условнее, и в отношениях международных они стерты войной бесследно. Дело не в том, что сейчас никакой договор не стоит дороже бумаги, на которой он написан, если, конечно, его выполнение не обеспечено военной угрозой; дело в том, что никакое его нарушение уже не может вызвать нравственного осуждения и национального бесчестия. Невыполнение обещания и простое предательство теперь оцениваются только с точки зрения ловкости и дальновидности этих приемов, и достигаемая ими прямая выгода, хотя бы временная, ставится в заслугу и даже как бы является источником новой «чести». Психологически любопытно, что остается какая-то боязнь не то приговора истории, не то недовольства собственных граждан, еще не перевоспитанных в новом духе; поэтому каждая очередная измена торжественной клятве сопровождается самооправданием и обычно попытками встречного обвинения, как бы оно ни было несправедливо и нелепо. Должна быть сказана фраза, вне расчета, что она кого-нибудь убедит и ей кто-нибудь поверит. Исполнив эту условность, можно перейти к дальнейшему, например от отказа в помощи союзнику — к прямой помощи его врагу. Но случись, что этот враг ослабеет и окажется в положении побежденного, — немедленно возникнет вопрос о том, чтобы не упустить момента и, изменив новому другу, вернуться к прежней любви, пояснив новой фразой, что отступничество было лишь случайным действием злонамеренных

элементов (которые при этом устраняются со сцены), любовь же была вечной и неизменной. Такая фраза должна быть преисполнена национального достоинства, в той же и большей мере, как и предыдущая, оправдывавшая слабость или подлость. Все это знают, так как все таковы же, и если в день судный об этом напомнят и вынесут осуждение, то лишь по соображениям и расчетам практическим и не в степени утраты такой-то нацией ее чести (предполагая, что подобная честь вообще существует), а в рассуждении выгод ущемления или снисхождения.

Это, конечно, не ново, и внешняя политика всегда пользовалась приемами, ничего общего с нравственностью не имеющими или прямо ей противоположными; иначе не могли бы существовать и войны. Большей или меньшей новостью является только откровенность, точнее — цинизм нового времени. И не стоило бы говорить об этом, если бы в людях простых, политикой не искушенных, не продолжала еще теплиться некая вера в честь, в конечную справедливость, вообще в принципы, облагораживающие человеческое сознание. С похвальной последовательностью мысли каждый гражданин в качестве национальной единицы, хотя бы и не принимающей никакого участия во властвовании и распоряжении судьбами страны, может считать себя ответственным за действия от его имени. Его убеждают, что «политика чувств» должна уступить политике реальной, единственно соответствующей интересам нации, и возможно, что так это и есть; но он не может избавиться от ощущения себя нравственно униженным, как бы загрязненным, в особенности, когда дело идет о гражданине страны, создавшей себе в прошлом славу именно политикой чувств, проповедью и практикой защиты социальной справедливости, прав малых, слабосильных наций, осуждением «агрессий», борьбой против них. Еще вчера

ему твердили об этом в самых торжественных и пламенных выражениях, со ссылками на историю и на его личные национальные качества. Когда сегодня с тем же пылом его призывают к преклонению перед принципами прямо противоположными, предлагая именно в этом и видеть свою «честь нации», он не торопится убедиться и, по меньшей мере, колеблется, быть может, боясь, что завтрашний день опять будет днем поворота, зависящего, таким образом, не от справедливости принципов, а от сторонних внешних обстоятельств. В нациях здоровых и прочных эта устойчивость частных нравственных принципов трудно поддается развращающей «реалистической» обработке, и это нужно иметь в виду, чтобы верно понимать отношения, создающиеся между населением страны и ее правительством. При слишком крутых сменах и поворотах создается если не пропасть, то трещина, которую замазать не так легко и просто. Во всяком случае, одних фраз, как бы искусно они ни сочинялись и как бы горячо ни произносились, оказывается недостаточно; отсюда стремление загодя воздействовать на молодежь, более податливую, примеры чего мы видели в Германии, а теперь видим и в соработающих с нею странах, добровольно или вынужденно.

Но подлинно ли реальная политика мудрее политики и гражданской сентиментальности, и нет ли у простого человека не менее реальных предчувствий «конечной правды». Это, во всяком случае, вопрос, который именно сейчас и решается. Пока можно утверждать, что, руководясь реальными интересами наций, не давая победить себя сентиментальности, все страны Европы, за исключением неблагоразумной Англии, потерпели поражение, правда — от самого последовательного в реальности государства. Руководясь теми же мудрыми принципами, Россия, особенно злоупотребившая «реальностью», оказалась на краю гибели. День судный еще

далек, но уже выясняется, что единственный шанс восстановления поруганных национальных достоинств виден только там, где «сентиментальные чувства» народа получили возможность проявиться в полной силе; в частности, в той же России. Выказав свою слабость в войне с Финляндией, чувствами не оправданной, она теперь оказывает огромное, неожиданное сопротивление сильнейшей в мире армии, действующей вместе с коалицией вассальных стран, в том числе и с той же Финляндией; слабость в деле явно неправом, сила в сопротивлении, помощь которому дает полнота народного чувства, примитивный патриотизм, каждому гражданину понятный, каждым разделяемый. То, что называют фанатизмом русского солдата, даже признаком некультурности, есть, конечно, сознание высшей правды, сменившей все предшествовавшие действия «реальной политики». За борьбой на востоке следят все пострадавшие европейские страны, следят со вниманием и с ревностью, и, будь у них какая-нибудь возможность, они немедленно заменили бы реальность подчинения и сотрудничества — велением чувств, почерпнув в них новые силы. В той же гармонии реальности и чувств и сила сопротивления Англии, единственной европейской страны, не имеющей надобности лгать, что также возбуждает зависть и ревность.

«Сентиментальность», которая так осмеивается, иначе говоря возможность действовать в согласии с требованием совести и чувств, является как бы очистительной купелью. На край пропасти Россию толкнула ложь, беспредельная официальная ложь, в которой она до сего дня купалась, ото всего мира отгороженная, лишенная возможности, сколько-нибудь правильных представлений о том, как и чем живет весь остальной мир, обязанная к действиям, нравственного оправдания не имевшим. Сейчас, в защите родины, впервые «реальное» совпадает с велениями чувств, и в правоте пути нет сомнения. Расчет ее

противников на революцию так же наивен, как и на мифический украинский сепаратизм. Внутренние счета сведутся позже; сейчас может быть на очереди только борьба с врагом номер первый, угрожающим не внутреннему строю, который всегда преходящ, а священному достоянию, родной земле, ценности постоянной. Вместо разлада, на который была ставка, в России неизбежно и несомненно сплочение всех сил страны, во всяком случае, до тех пор, пока сопротивление возможно; а сила его уже достаточно показана. При известном запасе оптимизма можно ждать, что это освобождение от лжи будет иметь отзвук в порабощенных странах Европы, внешне отрекшихся от «сентиментальности», вплоть до национальных традиций, которыми они гордились и которые принесены в жертву реальным выгодам. Еще никогда мир не был в таком трепетном ожидании, не зная ясно, чего желать и на что надеяться, — настолько желания и надежды не совпадают в тайных мечтах и в явных высказываниях, в национальных сознаниях и официальных заверениях от имени этих наций. Кто поручится, что заглушенные «нравственные требования» не заявят о себе с новой силой, и прекрасное неблагоразумие сентиментальных не спутает расчеты холодных реалистов. И кто не чувствует, что для нового «европейского порядка» достаточно одной малой трещины, чтобы он обратился в кучу мусора.

Преждевременны все пророчества, и возможен печальнейший исход свершающихся событий — печальный для каждого в его собственном понимании. Несомненно только, что спор политиков чувства и политиков реальности еще далеко не решен. Внешне решаясь на фронтах, внутренне он выясняется в народных сознаниях. Рано или поздно война окончится, война внешняя, в теперешнем ее масштабе. Что сменит ее, как бы она ни кончилась? Мир и гражданское спокойствие? Не будем Кассандрами, но нехорошо и наив-

ничать: не плавать нашим поколениям по спокойным водам, не любоваться в садах голубыми незабудками...

### О русских

*(18.8.41)*

На улицах Парижа и на подземных стенах метрополитена расклеены огромные бумажные полотнища, изображающие карту Европы в ее настоящих границах; из каждой страны направлена карающая стрела в сторону России, сливаясь с основной стрелой — германской. Это одновременно эмблема бескорыстного «крестового похода» на украинский чернозем и зазыв принять в нем добровольческое участие. Относительно отклика на этот призыв сведений точных не имеется; известно только, что в сенском департаменте записалось до 10 августа 214 человек неясной национальности; впрочем, один из них несомненный француз. Французские власти не препятствуют добровольческому движению, предоставив желающим обращаться к германскому командованию. Но открытые бюро для записи бездействуют, за отсутствием пламенных бойцов; не русские ли эмигранты положили основание «ядру» добровольцев против собственной родины? Мы ничего не знаем. Привет стране, в войска которой была мобилизована русская молодежь, и много ее пало в боях и находится в германском плену. Мы не напрасно верили в благородство души французского народа. Разве французские матери и жены не встречаются с русскими, не делятся горестями, не совещаются о том, откуда достать сладостей, печенья, мыла, табаку для посылок военнопленным, не высчитывают сроков, не делятся надеждами? И разве не все понимают, что чернозем и керосин беспартийны и что на сотню «большевиков» есть в России сотни тысяч простых людей, страстно защищающих свою страну,

страстнее и самоотверженнее, чем свою защищали другие народы? Кого обманывать громкими фразами, от кого скрывать правду? Правда внутри нас.

Как были бы мы счастливы, если бы с тем же уважением могли говорить о зарубежных русских. Можно многое понять, и годы лишений и унижений, и силу личных потерь, и утрату близких или многолетнюю с ними разлуку. Естественно, что при полной оторванности, при незнании новой России и, надо прибавить, нежелании ее знать она для многих из матери стала мачехой, что в представлении этих людей страна и народ смешались с властью, что обида — плохой советчик, тоска — неправильный судия, — но как может не жить в душе сознание, что власти, правительства, гонения, политический гнет — все это преходяще, а родина всегда остается родиной, земля — землей, кровь — кровью и что в том и сила человеческой личности, что она способна сама, без стороннего приказа, отрекаться от своих прав и своей горделивости во имя того, что в известный момент становится общим правом, общей гордостью и общим сопротивлением. Не соглашательство с тем, с чем нельзя согласиться, не оправдание его задним числом и не забвение зла, а только снятие своих частных счетов, чтобы не спутались они с варварством стороннего насилия и не оросились кровью близких. Мечта о торжестве под чужим игом — ведь это торжество крайней душевной низости, последнего нравственного падения, беспредельный национальный стыд, — и в дни, когда простой российский человек, тоже имеющий свои счета к предъявлению, испытавший не меньше, дивит мир бесспорностью своей позиции и безмерностью силы сопротивления. Какой ужасающий диссонанс между его подвигом — и актерским скандированием русских сотрудников германского радио, призывающего русского солдата к сдаче, подкупающего его картинами немецкого рая,

льстящего, лгущего и возлагающего надежды на старинную формулу: «Бей жида – спасай Россию...», отдавая ее злейшему неприятелю. Можно, пожалуй, даже приветствовать такую пропаганду, способную лишь вызвать в этом солдате отвращение и удесятерить его воинскую энергию; но какое падение, какой национальный позор, – если, конечно, не знать, кто на это пошел и во имя чего. Говорю это не для полемики с недуэлеспобными, а ради небольшой исторической справки. Сколько негодующих слов – и справедливо – вызывало пораженчество в прошлой войне, каким проклятиям, какому оплеванию предавали эмигрантов, вернувшихся в Россию через враждебную Германию в «пломбированных вагонах». Позже часть этих людей пришла к власти. Затем перестреляла друг друга, оставив идеологическое наследство. Пломбированный вагон стал символом бесчестия, хотя те люди только проехали через Германию. Нынешние пораженцы утвердились в самом сердце страны, с которой Россия воюет, в Берлине, чтобы оттуда посылать волны предательского радио, и это те самые, которые негодовали громче всех и обвиняли своих предшественников в корыстной измене. Вот как мстит история... и как она повторяется. Не думают ли эти люди также прийти к власти и порадовать страну своей местью и своими зверствами, которые они прямо обещают от имени Германии.

«Нежелательный элемент» в европейских странах, русские эмигранты, оставаясь враждебными советскому правительству, не лишены права быть патриотами и желать победы своему народу. Их патриотизм не должен быть слепым и примитивным; в числе врагов России – финляндцы и румыны, которых не может осудить справедливое русское сознание; оно не осудит и слабости стран, вынужденно посылающих добровольческие отряды против России, которой их население тайно желает победы. В сумбуре евро-

пейской бойни есть на обеих сторонах и правые и без вины виноватые. В нашей духовной культуре, не совпадающей с общеевропейской, мы выше права ставили справедливость. Своей родине мы должны желать не завоеваний, а защиты в ее пределах. Мы можем питать в душе уверенность, что недавние ошибки и преступления СССР, использовавшего свое соглашение с нынешним врагом, будут поправлены и возмещены и что война, чем бы она ни кончилась, отразится переменами во внутреннем строе России. Но это — личное дело русского народа, не нуждающегося в иноземной помощи, лучше других знающего, что ему нужно и что с кого он должен взыскивать. Как ни отброшен весь мир войной в глубины истории, но все же не до «призвания варягов» владеть и управлять русской землей. И когда швыряются бомбы в московский Кремль, они не в Сталина швыряются, а в сердце России, в ее историческое бытие. Только ослепленные личной ненавистью могут этого не понимать.

------

Я обещал писать о незначительном и не забываю об этом. В учете сил и настроений ничтожна наша позиция и незначительны наши мнения: за бортом российской жизни трепыханье напрасно истраченных сил, осколки дум, ошметки обиженных самолюбий. Могут прибавить: «И отрыжки квасного патриотизма». Хочется на это возразить, доказать, что мы способны от интересов своей колокольни возвышаться до вселенского, глядеть на свершающиеся события взором мудрецов, граждан мира и так далее. Уж мы ли не проявили себя беспощаднейшими критиками всего своего, и страны своей, и своего народа, как всякий народ — достойного своей власти. Но почему-то именно в эти дни рождается в душе убеждение, что голос крови, нерассуж-

дающая привязанность, простая любовь — лучше и чище высокодумных соображений и искусственно взрощенного космополитизма. Может быть, и мудро, но уж слишком холодно быть человеком вообще; это искусственный домик рака-отшельника, защита в духовном сиротстве, отказ от прямых решений, спасительный обман. Храм неведомому богу хорошо строить, когда есть свой жилой дом со своими пенатами. Россию двадцать лет воспитывали в духе интернационального исповедания; но когда пробил роковой час, она вспыхнула давно знакомым не только нам, а и всему миру русским огнем, и слова, ее поднявшие и давшие ей силу, оказались статридцатилетней давности: «отечественная война», и вся сила ее сопротивления выразилась в прежнем: в безоглядной решимости, в партизанстве, в предпочтении смерти сдаче. Это уж не наш «патриотизм» выдумывает — это общее признание. Пытаются объяснить это силой приказа, — но не нуждался в приказах Денис Давыдов, родоначальник русского партизанства, и современные приказы из современного Кремля только лепечут слова, сказанные народом самому себе. Против машины — крепость духа, не сокрушенного искусственными теориями, — и весь мир замер в ожидании. Можно пройти мимо этих качеств, проявленных русским солдатом, то есть, по преимуществу, крестьянином и рабочим, пройти с чувством уважения, но без лишней «национальной гордости»; и животное, от малой птицы до сильного зверя, защищает свою берлогу и своих детей, пока в нем остается дыхание. Но мы помним, какие образы одновременно с портретом русского партизана дал нам Лев Толстой в «Войне и мире», и прежде других — образ Платона Каратаева, тогда — крепостного, теперь, может быть, колхозника, в плену или пристреленного отрядом конвоиров. Кто скажет, что такие люди исчезли и что нам некого больше любить и некем гордиться? С поправкой на со-

временность — на механику, на танки и самолеты, на расу напавшего врага, — в остальном бьются те же люди, на тех же полях, столь же нам близкие, если не в уже чуждом нам быте, то в общем несчастье, постигшем Россию, ту же Россию, которой война вернула ее имя. Можно ли этого не чувствовать и стоит ли бояться усмешек над тем простым, естественным чувством, которое не укладывается целиком в иностранное слово «патриотизм»?

------

Как всегда, я пишу вам в полном неведении того, что сулит нам завтрашний день, какие перемены произойдут за немалый срок путешествия этого письма. Победы, поражения, подвиги, преступления, честь, позор. Все это совершенно не важно и не может внести перемен в основу чувств, о которых мы говорим. На долю России, следовательно и русских, не могут выпасть те нравственные колебания, которым подверглось немало стран Европы: кому верить и с кем идти во имя реальных выгод в близком и далеком? Более чем когда-нибудь, у России может быть только свой путь и лишь временные, случайные попутчики, которые в любой удобный момент могут предоставить ее своим силам, если не перейти в стан ее врагов, заплатив свои долги из ее кошелька. Ясное сознание этого создает нам здесь тревожную жизнь, — маленьким жертвам большой злобы; там, в России, оно должно чувствоваться стократ сильнее. Мы знаем цену явных и скрытых сочувствий — мы отвечаем на них вежливой улыбкой. Мы не забыли, как в прошлую войну, принеся миллионные жертвы и дав перевес союзникам, мы при общем расчете получили звание предателей. Не стоит долго помнить обиду — но еще меньше стоит благодушно распоясываться, пожимая руки, способные завтра

выпустить когти. Никто не может воспретить нам открытую исповедь своих чувств, как бы их ни именовать; но у нее нет другой цели, кроме обмена мнений в своем тесном русском кругу, не для чужих ушей, боязливо настороженных; и наши совпадения мыслей, и наши противоречия. Мы не играем роли и не хотим играть. И в будущем не удивит нас ни почтительное расшаркиванье, ни тем не менее новый поток упреков и издевательств, уже испытанных не раз. Знание этого лишний раз укрепляет нашу духовную связь с нашей родиной, будь она нам мать или злая мачеха, — наши семейные с ней счеты никого не касаются.

## Последняя крепость

*(18.8.41)*

Все еще говорят о целях войны; между тем давно пора говорить о ее последствиях. Для этого не нужно быть ни на чьей стороне, никому не желать ни победы, ни поражения; безразлично, кем она начата, чем она кончится. Будущее отбрасывается, обсуждается только настоящее, и обсуждается холодно, статистически.

В следствиях войны меньшее по значительности — потеря людей. Производство людей выше их потерь. Убитый молодой человек лишь не дожил ничтожных 30—40 лет средней человеческой жизни. Хуже то, что снята со счетов живая производящая сила; но Европа, больше всех потерявшая, страдала от безработицы, часть людей была излишня. Можно, однако, к тем же потерям подойти иначе. Берется одна семья, одно горе. Это горе умножается в миллионы раз, так как смерть преждевременная, не оправдываемая естественным законом, причиняет родным неизмеримо больше страданий. В список следствий войны прежде всего вносится умножение суммы человеческого горя. Еще нужно прибавить беспокой-

ство от неизвестности, жизнь в длительном страхе, тоску в разлуке с воюющим или военнопленным, разрушение семьи, материальные невзгоды, порой полную нищету, крах надежд, крушение жизненных планов.

Незаменимее человеческого материала — гибель созданных людьми вещей, из которых слагается понятие «цивилизация». Дом строится месяцами, годами, иногда десятилетиями; он разрушается в несколько секунд. Никто не подсчитал количества разрушенных за время войны зданий, каждая комната которых кому-то для чего-то служила; несомненно, семизначная, может быть, восьмизначная цифра. С домами погибла астрономическая цифра предметов необходимости и уюта, производственных машин, товаров, сырого материала. Памятники строительства, предметы искусства, библиотеки, незаменимые музейные коллекции. В сущности, вещь столь же индивидуальна, как и человеческая личность. У каждого найдется его любимый предмет, утрата которого для него тяжелее потери Лувра и Вестминстерского аббатства. Но исчезли, срыты с лица земли не только дома, а и целые города, и еще исчезнут. В счет следствий войны внесем неисчислимую гибель предметов в самом широком понимании слова. За то же время еще большее количество их не создано цивилизацией, за отсутствием возможностей и рабочих рук. Вместо них создано тоже бессчетное количество орудий разрушения цивилизации, но они созданы для того, чтобы также быть разрушенными, и не могут считаться прибылью.

Особый учет того, что производит земля. У меня перед глазами невозделанные, заглохшие участки земли, пахотной и огородной; работники и владельцы в плену. Пишут об уничтожении урожаев в России, в областях нашествия гуннов. В целях стратегических сносятся культурные насаждения, голод заставляет переходить от культур высоких к спеш-

ным, быстро выручающим. Погибшие леса. Уничтоженные сооружения угольных и нефтяных разработок. Сюда же прибавим истребление рыбы в морях и реках (неисчислимые миллиарды особей). Каждое нападение на подводную лодку несет смерть миллионам живых существ в море; в реках спешно уничтожает рыбу человеческий голод. В лесах исчезают породы зверей. Земля беднеет. Почва не получает возврата извлеченного из нее, так как продукты химического удобрения идут на военные нужды.

Мы подходим к учету потерь духовной культуры. Но было бы, кажется, правильнее подсчитывать не потери, а оставшееся. На этих днях в Париже была ампутирована вторая рука доктора Феликса Оближуа, французского радиолога. Потеряв одну руку, он не прекратил своих опытов. Я уверен, что русский ученый С. Метальников в Институте Пастера продолжает изо дня в день подсчитывать поколения микробов в их бесполом размножении — кропотливая ежедневная работа в течение десятков лет; никакого практического приложения к жизни, — лишь попытка доказать бессмертие живой материи. В скромных лабораториях скромные ученые спасают культуру; рядом другие обслуживают войну и политику, потому что мозг также мобилизован, наряжен в защитную форму и обучен шагистике. Нужно доказать преимущества расы над расой, достигнуть перевеса оружия над оружием, создать философскую систему, оправдывающую уничижение личности, исправить историю в интересах современности. Война приостановила ряд научных изданий; часть трудов погибла в разрушенных типографиях, бумажная масса идет на взрывчатые вещества. Опустели, частью закрыты университеты. Школьникам вместо науки преподается мораль: верность вождям, почитание знамен, ненависть к врагам, национальная кичливость. Солдатики в коротких штанишках, будущее пушечное мясо. Музеи, картинные галереи, книгохра-

нилища попрятались в подвалы. Драгоценные памятники былых человеческих культур, — мраморы, полотна, пергаменты, бронза, кость, — с которых бережно сдувалась пылинка, в любую минуту рискуют быть вновь погребенными в развалинах культуры новой. Пресеклось свободное художественное творчество. Литература под полицейским сапогом; музыка — барабан и военный марш; живопись на службе пропаганды. Где с постепенностью, где резким срывом, культура откатилась назад на года, десятки и сотни лет. Военный грабеж, убийство заложников, казни патриотов, костры книг, контрибуции, бандитские налеты, истребление мирного населения, переселение народов, торжество грубой силы, возврат к примитивным формам управления и всеобщее ликование темных сил, звериного в человеке. Голодные, немытые люди, думающие только о добывании пищи, только о сегодняшнем дне, отказавшиеся от всяких начинаний, утратившие всякую веру, оглушаемые фразами, питаемые ложью, сами себя потерявшие, идущие туда, куда их гонит палка, лишенные не только слова, но и права мыслить. В отрепьях вчерашней моды — Средние века.

Все это для того, чтобы завтрашнее человечество сделать счастливым по-новому; или же чтобы вернуть ему счастье старое. Две силы тянут его в разные стороны, каждая в свой будущий рай. Зло должно породить добро, убийства создать мирную жизнь, грабежи — укрепить право и законность, разрушения — воссоздать, насилия — освободить. Но еще никогда в мире из семени плевелов не вырастала пшеница. И если бы это было хоть сколько-нибудь возможным, как можно кражей упрочить свое материальное благосостояние, — самый дух человеческий не приемлет правды, вышедшей из неправды, истины из лжи, света из тьмы. Немыслимо счастье, добытое пролитием крови, благородство, матерью которого была бы подлость. Национальная обособ-

ленность и расовая ненависть, которые так тщательно стараются внедрить в детские и юношеские души, — все эти значки, знамена, отряды, девизы, цвета, марши, — сулят будущему мечту о реванше, новые распри и новые войны. Угашение свободной мысли создаст рабов, которые подчинятся, не рассуждая, любому призыву, брошенному уверенным голосом, и дети убитых и ограбленных будут сами грабить и убивать... И снова поколения, которым обещаны мир и счастье, будут приноситься в жертву поколениям будущим, обманываемым такими же обещаниями. С каждым годом жить на земле делается теснее и невозможнее в тех формах обособленности, отгороженности и внутренней несвободы, которые объявлены идеалом будущего. Уклонившись с путей гуманизма, всечеловечества, уважения к личности, братства, люди превратятся в стада враждующих зверей, а именно эти принципы сейчас подвержены самым жестоким гонениям, их отрицает война, они забыты или пренебрежены и в лучших проектах мечтаемого мира. Из заколдованного порочного круга преклонения перед нацией, государством, властью, армией, всякой формой организованного принуждения — нет выхода к свободе и к миру в человеческих отношениях. В давнем признании этого пытались круг разомкнуть; сейчас его окружают новым частоколом и проволочными заграждениями, окружают равно всюду: в странах диктатуры, в старых демократиях, в «свободнейшей» России; оттенки несущественны, важна сущность. Будущий рай пахнет серой.

------

Чья победа могла бы спасти европейскую культуру? Но в такой войне победы быть не может: лишь большее или меньшее поражение, худшее или смягченное зло. И прежде всего нельзя знать, какими еще неожиданностями может подарить нас война. Ее

ход вызывает союзы и соглашения, которых нельзя предугадать, которым было невозможно поверить. Был союз демократий против союза диктатур; за ним война между двумя диктатурами, при сотрудничестве одной из них с побежденной ею демократией, другой — в военном союзе с демократией несдавшейся. В этих соединениях нет ничего органического, и никто в их прочности не поклянется, а поклявшись, — будет опасаться измены или ее готовить. Перед концом ли мы «исторических событий» или в самом их начале? У нас могут быть желания и надежды, но нет материала для пророчеств. Страны теряют свои лица; не в силах сохранить лицо и их нации, лишенные не только возможности действий, но и права высказать мнение. Сохранить свое лицо, свои убеждения и свои устремления может только отдельная человеческая единица.

Это и есть единственная задача наших дней; спасти себя, свою сущность, каким бы испытаниям ни подвергла нас судьба. Невозможно быть нейтральным, но можно и должно остаться самим собой. Не быть косным, но не поддаваться с легкостью внешним влияниям. Человеческой личности объявлена война; нужно защищать свою крепость. Предпочесть смерть духовной несвободе. Слова громки, но содержание их ясно и просто. Оно у каждого свое — в его идейном исповедании. Отказ от исповедания, уступка силе, есть удар по духовной культуре. Войне внешней сопутствует борьба внутренняя, каждодневная, на всех житейских фронтах, в крупном и в малости, в сказанном и написанном слове, в каждом отзыве, отклике, в любом жесте. Мы живем в дни спешных перекрасок и перестраховок, часто корыстных, еще чаще вызванных испугом, иногда только легкомысленных. Этим пользуются говорящие от имени народов. В слабости личности — сила хлыста. Не расчет на содействие и помощь

соседа, на действие массой: отвернется сосед, масса вздрогнет и рассыплется. Ответом ужасу нашего времени может быть только героизм личности. Нет надобности сочинять для этого политические теории и навязывать их себе и другим; партийность — тоже принуждение, попытка переложить свою ответственность на чужие плечи. Довольно, зная свою правду, уметь уважать искренность убеждений другого. В этом и только в этом залог защиты и спасения духовной свободы, против которой ополчились силы войны и похоть темных внутренних побуждений.

## Ответ

*(4.9.41)*

Россия — страна и русские — народ, о которых каждый европейский деятель, политик, журналист, критик, обыватель говорят без малейшего стеснения всё, что зародится в их талантливых головах или что согласуется с их планами. Опровергать некому, и знание России не считается обязательным. В газетах мы встречаем фантастические начертания русских городов и фамилий (а уж как они произносятся!), описания русских нравов, толкования событий истории и современности. Давно известна фраза французского учебника о русском царе Иване, который за свою жестокость был прозван «Васильевич», или фотография в журнале, изображающая извозчичьи сани в одну лошадь с подписью «русская тройка». В романе из русской жизни три героини носят имена Аннушка, Петрушка и Бабушка, в другом «историческом» романе ярко описаны тайные свидания в Сибири царя Николая Первого с Михаилом Бакуниным, спасшим в лесу царскую дочь от нападения разбойников-черкесов. В кинематографических фильмах герои русских драм носят косоворотки при клеенчатых сапогах и фуражках

военного образца, женщины — кокошник. Все это совершенно необходимо, иначе зритель не поймет, о каком народе идет речь, да как-то и колоритнее.

Со времени войны мы узнали здесь о России много нового и неожиданного. Так, например, во всех решительно газетах Киев называется «столицей Украины» и только в одной («Женевской Трибуне») была статья об этом городе, как о древнерусской столице. Только сегодня я прочитал во французской газете (или немецкой, что одно и то же), как освобожденное наконец из тюрем коренное население Украины радостно убирает на полях хлеб, который не успели уничтожить большевики. Большевиками называются в военных бюллетенях русские солдаты (в оправдание следует сказать, что в бюллетенях русских немцы именуются фашистами). С интересом следя за развитием событий, редкий иностранец не задает русскому вопроса: «Когда в России начинаются дожди», и ему не приходит в голову, что нужно вопрос уточнить — где в России? В Мурманске, на Кавказе, на Чукотском Носу, в Тифлисе, на Камчатке. Обычный источник познаний о России — популярные брошюрки, написанные туристами, и энциклопедический словарь; но загляните в лучшую французскую энциклопедию Ларусс и подивитесь классической безграмотности сведений о России, ее истории и ее деятелях. Вообще безграмотность в отношении России — общее правило; счастливые исключения крайне редки. И это бы ничего, трудно осуждать за это иностранца, раз русский поэт писал: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»; хуже безграмотности — беззастенчивость; и вот эта беззастенчивость за время войны процвела до крайних пределов. Она выражается уже не только в словах, но и в действиях. В большинстве европейских стран, как вассальных, так и сохранивших некоторую тень и види-

мость самостоятельности, русские (эмигранты или советские граждане) не имеют никакой официальной защиты; по отношению к ним все позволено. Что в оккупированной Франции часть русских (по неизвестному признаку) заключена в концентрационный лагерь, это естественно; остальные пользуются свободой передвижения. Но во Франции незанятой этой свободы они совершенно лишены — прикреплены к месту постоянного или случайного жительства, почему и ради чего — неизвестно, тем более что после поголовных арестов и «проверки» почти все были освобождены и получили документы, удостоверяющие их... безвредность. В Париже задолго до вторжения Германии в Россию, еще в дни союзных между этими странами отношений, немцы без всяких объяснений вывезли из квартир русских, бежавших и оставшихся, эмигрантов и советских, как и из принадлежавших русским учреждений, книги и имущество, не в порядке реквизиции, а просто так, в порядке любопытства к чужой собственности; правда, точно так же они поступают и в отношении французов, но это — по праву войны и победы, и французские граждане имеют право рассчитывать на послевоенную компенсацию своих убытков. Впрочем, согласимся, что по военному времени все это в порядке вещей; не стоит говорить о своих маленьких личных неприятностях, когда страдают народные массы. Притом справедливость требует сказать, что население, никаким шовинизмом не зараженное и в своем огромном большинстве возлагающее на Россию и русских все свои надежды, относится к ним прекрасно, с сочувствием и полной предупредительностью. И говорить хочется не об этой беззастенчивости завоевателей или официальных сфер. Но обидно, когда тот же порок обнаруживают люди культурные, мнение которых имеет вес и вынуждает с собой считаться. Я беру, к примеру, статью в газете «Temps» Эдуарда Шнейдера,

крупного французского критика, немецкая фамилия которого не может служить ему извинением. «Temps» — одна из немногих газет (не единственная ли!), сохранивших свое лицо постольку, поскольку это сейчас во Франции возможно: лицо серьезной, знающей, «бывшей правой» газеты (сейчас правизна такого типа становится левизной). Эдуард Шнейдер пишет о Толстом и Горьком, о двоих «великих русских», пытаясь искусным анализом того, что можно назвать их «учениями», объяснить и русскую душу, и то, к чему пришла Россия.

Каждый критик свободен в своих литературных оценках, и сопоставление великого мирового писателя с несомненно выдающимся русским беллетристом терпимо, хотя сам Шнейдер признает антагонизм некоторых их философских построений (если можно, конечно, говорить о «философии» Горького, отличного художника и несамостоятельного мыслителя). Но параллель, которую проводит Шнейдер, нужна ему для иллюстрации его предвзятого положения о лености и природной беспочвенности (desaxement originel) большинства «московитов», этого «огромного народа, без организованного мозга, без уравновешенной совести, без логического и ясного мышления». Откуда эта предвзятость суждений? Шнейдер ссылается на музыку Мусоргского с ее «голосом ангелов» и противополагает ясности западной идеи — безграничную смуту русской души, перенасыщенной чувствительностью, — источник нашего с европейцами взаимного непонимания. Но отсюда еще далеко до отрицательной характеристики умственных и нравственных качеств «московитов», и Шнейдеру приходится сослаться на свои личные знакомства с русскими, наводнившими французские университеты в эпоху 1900—14 годов; это их духовные качества произвели на критика впечатление «хаоса, бесполезности, тщеты идей и потраченных слов».

Как это характерно для европейца с уравновешенным мозгом и логическим мышлением — авторитетно и уверенно говорит о стране, клочок которой он видел из окна вагона, о многомиллионном народе — после знакомства в кафе с случайно заехавшим его представителем. Французский критик, притом один из образованнейших, оказывается приблизительно на одной высоте суждений с бесчисленными клиентами «интуриста», наводнившими литературу о России бойкими книжонками. Составив себе мнение, далее ему остается только подобрать доказательства того, что и «величайшие люди среди московитов не свободны от того же порока». И он не может скрыть жалости, которую внушает ему их духовная нищета.

С своей точки зрения человека, в основу всего кладущего раз навсегда найденные истины, Шнейдер, конечно, прав. Его не может не смущать Толстой, бежавший от родного очага искать покоя в одном из тех монастырей, которые он так строго осуждал, или Горький, один из героев которого говорит: «Нужно уметь различать между ложью и воображением». Всякий раз, как он соприкасается с русской литературой, он неизбежно наталкивается на постановку вопросов, ответов на которые авторы не решаются дать, между тем как с точки зрения непреложной логики и непогрешимых кодексов морали эти вопросы давно и окончательно решены европейским сознанием. Полемизировать с этим невозможно, и взаимопонимания действительно не может быть до тех пор, пока столь характерная для европейца типа Эдуарда Шнейдера уверенность в неколебимости истин и бесспорности логических методов мышления не будет сокрушена реальной силой, единственно для них убедительной, пока на месте найденного не окажется разверстая пропасть сомнений. Казалось бы, такой силой должна оказаться война с ее последствиями — крушением не только государств и властей, но и идей. Но, очевидно, это не так, и не

страдающие «природной беспочвенностью» находят выход в той же «реальности», хотя бы ценой отказа от одних идей и безболезненного восприятия прямо противоположных, тоже «вечных» и бесспорных. Смена перчаток, но всегда из прочной кожи. Предстояние пропасти во всех областях мышления и нравственных исканий, которое мы считаем источником движения, мучительным актом постижения, для них есть лишь духовная нищета, неизмеримая смута русской души, которая, как всякая смута, должна быть раз навсегда осуждена, а лучше всего — подавлена силой таких-то параграфов. По оценке Шнейдера, Толстой — анархист, Горький — коммунист; он, впрочем, не скрывает от себя, что анархизм и коммунизм прямо друг другу противоположны и что поэтому Толстой презирал Горького (в чем тень правды несомненна). Но оба эти понятия он берет не в их сущности, а в их роли этикеток определенного значения общепринятого и не подлежащего иным толкованиям. И то и другое одинаково — беспорядок, то есть анархия. Его не смущает, или он просто не догадывается, что анархизм Толстого есть страстное искание порядка без власти, источника беспорядка; что коммунизм Горького есть чистейший марксизм, утверждение тоталитарной власти, доведение до крайних пределов той самой незыблемости истин, которая представляет основу европейской «природной почвенности» и реальной политики; что оба они ищут, но не нашли, и именно эта неудовлетворенность делает их крупными людьми (если Горький и нашел, то не нашли его герои, и в этом его большое литературное оправдание). И он, конечно, не может ни понять, ни признать, что «ясность идеи, которая нам дает ответ на все», этой горделивой европейской идеи, весьма удобная и ценная в ее практическом приложении (как и таблица умножения), есть в сфере духовных исканий залог смерти, ос-

тановка всякого движения вперед; тем более в области художественного творчества, вопросы которого как будто должны бы быть особенно близки литературному критику.

Да, при таких расхождениях в самой основе, взаимное понимание невозможно. Но не будет ли с нашей стороны излишней скромностью говорить о «взаимном» непонимании; мы европейцев понимаем, но не можем принять их методов мышления для руководства себе. В ответ на жалость, которую мы внушаем Шнейдерам нашей духовной нищетой, мы можем ответить встречной жалостью, искренним состраданием к суете их духовного капитала. Давая нашим чувствам больше воли, чем это согласуется с так называемыми здравыми понятиями, мы часто проигрываем в практической жизни, реальность которой нас не зачаровывает; но это не дает никому права упрекать нас в нравственной нестойкости, и в те моменты, когда наша честь подвергается высшему испытанию, мы посылаем к черту приказы рассудка — и способны на неблагоразумие, удивляющее мир, лишь бы то, что мы считаем честью, то есть наше право на внешнюю и внутреннюю независимость, не понесло ущерба, не преклонилось перед реальным расчетом. Это называют сейчас «фанатизмом некультурного народа» — предпочтение смерти унижению, — втайне возлагая на чужой фанатизм надежды спасения собственной чести. Но не нам брать уроки всеподданнического благоразумия, прикрывая его смягченными названиями, которых не хочу здесь приводить. Во всяком случае, такую «нищету духа» мы предпочитаем фарисейству «организованного мозга» и «уравновешенной совести», слишком уравновешенной, чтобы оставаться в согласии с простотой и безыскусственностью совести народной. Таков единственный ответ, который мы можем дать интуристам в психологические дебри русской души и русского миропонимания.

## Люди земли

*(7.9.41)*

Мы живем в необычайной путанице противоречий. Я не поверю человеку, который скажет, что его отношение к происходящему в мире или хотя бы в земле его отцов ясно и бесспорно; такой человек внушил бы мне страх отсутствием в нем... человеческого. Фанатик, партиец, кретин, себялюбец, раб, линованный мозг, автомат, святой, блаженный, но не мыслящая личность. Чтобы не оскорбить его приложением одного из таких эпитетов, я предпочту ему не поверить; он настолько запутался в противоречиях, что уже не может шевелиться; он успокоился, он мертв. Живой человек до последней крайности бьется в сети вопросов, большинство которых логически безответны; только чувство, логике не подчиненное, может указывать выход из страшного лабиринта, в который заводит нас мысль.

Довольно одного примера. Всякому культурному (не «цивилизованному» только, а культурному, развившему в себе до известной высоты качества, отличающие человека от других животных), — всякому такому человеку не может не быть отвратительным насилие и убийство. Заповедь «не убий» не только религиозный догмат, а ступень развития. И вот, искренне и глубоко приняв эту заповедь, отрицая войну всеми силами души, мы в то же время в подсознании радуемся военным победам нашей стороны, желаем кровавых поражений стороне враждебной. Чужая бомба — варварство, своя — сладкая музыка. Люди доходят до того, что готовы приветствовать эту «свою» бомбу даже тогда, когда она может обрушиться на их собственную голову. В Париже, в Осло, в других завоеванных, униженных, ограбленных европейских городах население приветствует налет английских аэропланов, — и это не пустые рассказы, это подтвержденная правда: при звуках сирены

ликующе выходят на улицу в радостном оживлении, смотрят приветственно, машут платками, в своем так называемом нормальном сознании я не вижу большой разницы между немцем и русским: оба люди, оба человеки, хотя бы раса германская в моем беспристрастном суждении была гораздо грубее, животнее, ниже славянской; все-таки немец для меня — тоже человек, то есть способен им быть или стать, так что не сравнительная оценка вызывает во мне отталкивание, а нечто иное, логикой не оправдываемое, объяснимое только состоянием моего чувства и все-таки законное. Это, скажем, понятно, естественно, даже если человечески не справедливо, — законность и справедливость не одно и то же. В особенности это понятно в данный момент высокого развития германской цивилизации и последнего краха ее духовной культуры; притом в момент, когда мы — враги. Но как быть мне с Россией, с СССР? Я страстно желаю ей победы, желаю без всяких расчетов и умствований: это — земля моих отцов, моя земля, которая дважды вышвыривала меня из своих пределов за эту самую страстную к ней сыновнюю привязанность, за желание ее народам блага, как я это благо понимал и продолжаю понимать. Сказать, что я ее прощаю, было бы великим к ней неуважением; то же и к себе. Я не забыл и не забуду, прощать не хочу и не умею. Я создаю себе уверенность (или иллюзию), что меня (пишу «я», «меня», но говорю не о себе одном) обидела не земля, изгнал не народ, а накипь на народе, сначала власть царская, затем преображение ее в диктатуру фанатиков, практиков и исповедников того же государственного насилия в несколько иной внешней форме. Я не им приписываю «социальные завоевания», которых не отрицаю, но которые теряют всякое значение и смысл, пока личность человека и гражданина в цепях и раздавлена, пока не она — хозяин своей земли. Поскольку в России,

наводненной врагами, происходит борьба культур и народов, моя позиция, позиция русского человека, проста и понятна; но там идет борьба двух политических идей, двух деспотизмов равного качества. Оба лживы и гибельны, обоим я не могу не желать поражения. Не социальным системам, которые я, конечно, не смешиваю, а политическим, между которыми различия почти нет; им обеим я одинаково хочу гибели, полного крушения; настолько одинаково, что даже не знаю, который из них «враг номер первый». А между тем поражение одного может стать окончательным торжеством другого.

Логически моя позиция противоречива. Логика говорит: пусть оба задохнутся в смертельных объятиях. Но чувство делает поправку: пусть мой народ задавит и изгонит врага из моей земли. А дальше? Дальше область ни на какой логике не основанных мечтаний и надежд: мечтаний о чуде, надежд на пробуждение, на освобождение от политического рабства, возможно – силой того же оружия, обращенного внутрь. Не социальная реставрация, — такого безумия ни мысль, ни чувство не допускают, да, к счастью, оно и немыслимо. Но и не только смена людей у власти, — что толку в дворцовых переворотах! Но что же? Мысль путается в противоречиях, чувство упрямо настаивает. Другие знают лучше? Их счастье, но я им не завидую: я их боюсь!

Исповедь странная, но я уверен, что в тисках тех же противоречий бьются мысль и чувство многих русских, и не только за рубежом. Мы отмахиваемся от назойливых вопросов: своеобразное «подожди, сейчас слово принадлежит оружию». Но такая солдатская психология не спасет, и не всякий способен на ней успокоиться; да и не успокоение жаждется, а взыскуется ответ; без этого невозможно жить. Мне он мерещится, но неясно видится, в том, что мы – люди своей земли, и эта земля останется как вечное, в то время, как временное – полити-

ческий строй, люди у власти, наши собственные обиды и горести, — все это минует, все это, по существу, значительно только в пределах моей личной жизни, моих переживаний, но и тут уступает напору нелогических чувств, о природе которых мы так мало знаем; можем называть их голосом крови, патриотизмом, не в названии дело, и даже не в точном их определении. Их сила в их внеразумном бытии, их оправдание в факте их существования. По счастью, это не национализм, русский народ не нация, а союз народностей. Гуманизм, лежащий в основе всякой высокой культуры, по природе своей космополитичен; в данном случае он оспаривается чем-то более сильным, непосредственным и живучим. Мне хотелось бы понять это, как чувство земли, — не племени, не государства, и даже сказать «родины» было бы не вполне точно, а земли, не в отвлеченном, а в самом прямом и точном смысле, вот этих комьев чернозема или хотя бы бесплодных песков, лично для меня — лесного простора, омытого большой рекой. Мы оставляем область рассуждений и терминологии и вступаем в прекрасные дебри поэзии, — и именно этого не следует опасаться, это и есть верная выводная тропа! Почтительный поклон логике — и уход в себя, в музыку и живопись чувствований, имеющих свои законы.

Воззвание к непосредственному чувству ни от каких логических противоречий, конечно, не избавляет; нельзя на нем основывать и никакого готового строя идей. Я приводил отрывки исследования французским критиком с немецкой фамилией отрицательных качеств русской души, ее беспочвенности и отсутствия в ней «оси» (désaxement). Это верно в том смысле, что она не надета на струганую палочку, как душа современного европейца, выхолощенная внешней цивилизацией, что она по преимуществу иррациональна. Вот от чего не следует открещиваться! Творчество ума создает

изобретения и теории; творчество чувства (фантазия) руководит живой жизнью, которая должна быть художественным произведением; оно рождает идеи. Если бы мы попытались выйти из заколдованного круга противоречий путями того «здравого реализма», который прославлен политикой диктатур (фашизм, нацизм, коммунизм), то неизбежно пришли бы к предательству чувств. Так оно и случилось в части поверженных демократий Европы, случилось, к счастью, не с народами, а с политическими дельцами. Реализм допускает и предписывает в известный момент сдачу незащитимых позиций, в следующую — помощь врагу; чувство предпочитает сдаче самоуничтожение и смерть. Нас — не только нас — это волнует и очаровывает в образах войны, происходящей в России, войны, которую введет народ — вопреки «реализму» его правителей. Это можно смело утверждать, помня, что те же правители не усомнились в свое время перед сдачей и сепаратным миром из чисто реалистических соображений, как в совсем недавнее время, по расчету, оказавшемуся сложным, не остановились перед союзом с нынешним врагом, союзом, приведшим к европейской войне и к поражению демократий. Но сейчас в России действительно «отечественная война», как в дни Наполеона, когда то же чувство (Кутузов) победило и подчинило себе расчеты (правительство Александра). И неразумие восторжествовало над здравым смыслом. Мы не знаем, чем окончится нынешняя борьба. Она может кончиться поражением, но народным позором — никогда. Возможна гибель — сдача немыслима, мы это отлично знаем. И примечательно, что на этой «беспочвенности» русской души строят свои последние надежды и те самые «реальные политики», которым ничего не стоит в нужный момент опять переменить фронт без малейшей краски на лице.

В конце концов — имеем же мы право на некоторую влюбленность в свою историю и даже на самовлюбленность; мы не отказываем в этом праве и другим

народам! Но в основе, конечно, всепобеждающая любовь к родящей земле, наша преобладающая крестьянственность, деревенскость, огромность зеленых пространств, не загаженных цивилизацией. Вы и в униженной Европе не найдете предательства чувств в деревне — оно исходит из городов и в них остается — в учреждениях, в промышленных кругах, в торговле, в печати. Чем сильнее отрыв от земли, чем больше забиты легкие пылью города и каменным углем, — тем меньше в человеке противоречий рассудка и чувств, тем ему легче сделка с полууснувшей совестью и оправдание некрасивого, порой и просто грязного поведения реальностью политики и «национальными» интересами, хотя бы за счет национальной чести. Люди земли недоразвиты до такой стратегии добродетелей, они не верят, что она может порождать право и правду, — как не может уродиться добрая пшеница на засоренной чертополохом пашне. И вот с некоторой гордостью думается: мы по преимуществу — люди земли, которых выводит из тысячи противоречий естественная к ней любовь, тем более ценная, чем менее рассудочная.

### Духовное поле

*(26.10.41)*

«Вихрь событий» чувствуется и находит полный отклик в больших центрах жизни, где каждый час сменяются настроения, каждый выпуск газеты меняет учет надежд и огорчений. Но так живет только меньшинство людей; до огромного их большинства залпы орудий с отдельных фронтов доносятся лишь общим смутным гулом, резкие моменты теряют обособленность и сливаются в более или менее ровный и непрерывный бег времени. Местечко, где я живу, было в прошлом году фронтом, и в такой-то день над крышами его домов летали снаряды. На время

боя люди попрятались, одни убежали в ближний лесок, другие заперлись в дальних комнатах, казавшихся им более безопасными. Ни то, ни другое, в сущности, не могло спасти, но эти движения инстинктивны, и я сам видел, как в другом месте, под Парижем, от налета вражеских бомбовозов прятались под стеклянный навес вокзала или, не найдя там места, раскрывали над головой дождевой зонтик. Когда сраженье в местечке кончилось и мы, беглецы, возвращались из леса по домам, старый огородник, наш сосед, уже продолжал перекапывать гряду, начатую перед боем, лишь изредка подымая голову и неодобрительно взглядывая на дорогу, по которой катились дальше легкие танки и мотоциклетки завоевателей.

Я пишу эти строки в дни величайшей трагедии России, может быть, накануне взятия Москвы, — сейчас об этом говорило радио. Или вырвать и сжать в кулаке сердце — или поступить, как тот огородник. На дворе играют дети, по улице провозят открытые чаны, выше краев наполненные виноградом, маятник часов отбивает шаги, рядом со мной никто не думает о том, что на скрещении двух улиц, Моховой и Большой Никитской, германский поручик может, печатая шаг, войти в старое здание университета, где в круглом зале я слушал лекции по международному праву. Конечно, они ограбят и вывезут, как сделали повсюду, ценности наших музеев, библиотек, церковных ризниц, заберут всякий металл, который можно перелить в орудия убийства; и сделают это с той же простотой, с какой в Париже взяли мой архив и мою библиотеку, прихватив, кстати, ложки, ножи, вилки, бронзу, часы, не побрезговав и алюминием кастрюль. Царь-Колокол и Царь-Пушка дадут немало нужного металла для пушек более современных. Дорожить ли вещами? Я вооружаюсь мотыгой огородника и говорю себе: «Все временно, все преходяще, и от того, что ты впадешь в истерику и будешь ломать руки,

ничто не изменится». И я продолжаю копать начатую гряду.

Несколько цитат, которые заимствую из статьи Эдуарда де Морсье, сделавшего сводку пессимистических предсказаний видных мыслителей и политиков.

Поль Пэнлеве, виднейший математик, сказал: «Безобразная война сокрушит на этот раз нашу цивилизацию». Попутно отметим, что Поль Пэнлеве, будучи президентом совета в 1917 году, назначил на высокий пост маршала Пэтена. Последовательность математика или политическое прозрение?

Фердинанд Бюисон, председатель Лиги прав человека, писал о возможной войне: «Немедленным последствием войны будет разрушение человеческого рода и оставление всего, что составляет цивилизацию».

На 11-м собрании Лиги Наций Рамсай МакДональд заявил от имени своей страны: «Правительство, которое я здесь представляю, не хочет уничтожения цивилизации новой войной».

Английский адмирал Лове: «Новая война совершенно уничтожит цивилизацию».

Бывший президент Соединенных Штатов Хувер пророчествовал о том же: «Повторение войны окончится гибелью цивилизации».

Едва ли не всех пессимистичнее был знаменитый ученый Огюст Бранли, заявивший: «Ближайшая война обойдется в сто миллионов людей, иначе говоря, она уничтожит часть человеческого рода».

Французы соединяют в слове «цивилизация» то, что мы обозначаем двумя словами: цивилизация и культура; последнее слово у них не в ходу. Мы под «культурой» разумеем преимущественно прогресс духовных ценностей народа, под «цивилизацией» — ценности внешние, удобства жизни. Их термин смешивает понятия, наши менее точны («цивилизация» значит, собственно, гражданственность), но дают необхо-

димые оттенки. Предсказатели ошибаются: гибнет не цивилизация, а именно культура, уже надломленная прошлой мировой войной. Внешняя цивилизация не гибнет, скорее, процвела — в ущерб приросту духовных ценностей. К ней мы относим рост тоннажа военных судов, завоевание воздуха, расцвет техники, все прикладное в науке. Как знаменателен, например, сказавшийся внешний примат германской расы, которая никогда не рождала пионеров мысли, но была вне конкурса в приложении и практическом развитии чужих идей, в их использовании для целей цивилизации, в их принижении от неба к земле, от гуманистического к животному. Мало-помалу в мире идей духовно высокое замещается эрзацем, ловкой практической подделкой. Сейчас завершается ликвидация идей Великой французской революции; главный удар нанесен им русским Октябрем, их могильщиками выступают немцы, плакальщиками на их похоронах — завоеванные ими страны. Даже в нашем местечке побеспокоили муниципального маляра: ему пришлось взять лестницу и стереть три надписи над дверями городского здания: «свобода, равенство, братство». Затем он вывел черным по белому слова на ближайший срок истории французской культуры: «отечество, семья, труд», несколько раз переспросив, в каком порядке они пишутся. И граждане, проходя мимо говорили: «tiens!»*. Ведь стерты скребком были только слова, уже раньше утратившие смысл; записаны слова, еще не приобретшие значения. История дрогнула и подалась на столько-то десятилетий назад. Но краски над дверью свежи, буквы выведены красивее и ровнее: цивилизация ничего не потеряла.

Гибель культуры не в том, что более свободные политические учреждения замещаются авторитарными, что девизы высокого смысла уступают место

---

* «Смотри-ка!» (*фр.*).

условной пустяковине, что у власти появляются самоизбравшиеся люди, — все это малозначуще, временно и в любой момент опять может перемениться: культура имеет столь же мало общего с парламентом, как и с полицейским участком. Гибель культуры в том, что сорной травой зарастает переставшее возделываться духовное поле. Первое, что вызывает война, это — заграждения колючей проволоки на путях развития мысли. Культура есть просвещение. Война отодвигает его на последний план и внутренне извращает. Дети воспитываются, как будущие солдаты, в ненависти народа к народу, в почтении к военным победам, то есть убийствам. Разрушается жизнь высшей школы, наука призывается обслуживать потребности армий. На свободную речь под предлогом военной тайны или необходимости патриотического единения налагается намордник. Литература в лучшем случае превращается в военную хронику, художество — в батальную живопись, музыка — в барабанный бой. Помимо внешних стеснений сама собой возникает психологическая невозможность свободной и спокойной духовной работы. С войной средний мыслящий человек, незаметно для себя, меняется часто до неузнаваемости, — его мысль отвлекается временным, приобретающим незаслуженную важность. Вырастает целый лес «низких истин» и житейских интересов, порой непреодолимых, — не всякий способен быть Архимедом и склоняться над чертежами, не слушая боевых возгласов и бряцания оружия. Для целого поколения и для всех, обслуживающих войну, ее время потеряно в смысле духовного развития и восстановлено быть не может; убыток непоправим никакими победами, никакими условиями мира. К этому прибавляется прямая гибель накопленных культурных сокровищ, библиотек, музеев, ученых работ, просветительных начинаний, научных экспедиций; насильственная смерть талантливых людей, на которых возла-

гались надежды, как на естественную смену работников просвещенного созидания. Огромный ущерб культуре наносит длительный перерыв международного общения в духовной области, общения, которое налаживается с такой трудностью и все значение которого в непрерывной периодичности. Сейчас, на третий год войны, из европейской превращающейся в мировую, в странах порабощения, как и в странах сотрудничества, сотни людей с крупными учеными именами вышли из строя, вынужденные оставить свою страну, где работать стало невозможно, где их преследуют за направление мысли, за расу, где разрушены лаборатории и ученые кабинеты, прекращены издательства. Такова же судьба писателей и многих лиц свободных профессий. В шуме «событий» это не учитывается и почти не замечается, и никто не удосужился составить список этих «жертв войны», красноречивейший документ европейского позора.

Оптимисты утверждают, что в споре цивилизованных народов крушение одной цивилизации даст опору и расцвет другой и что в данном случае нет параллели со Средневековьем, мрак которого был вызван крушением единственной, римской цивилизации на фоне всеобщего варварства. Оптимизм, ошибочно основанный на предположении возможности цивилизаций национальных и вызываемый все тем же смешением понятий «цивилизация» и «культура»; на стадии нашей жизни культура может быть только мировой, и это ей наносится сокрушающий удар, и он наносится наиболее страшным из варварств — варварством цивилизованным, возвысившим технику над уровнем ищущей мысли, силу физическую над силой духовной. «Сумерки Европы» сгущаются в условиях более страшных, чем это было при падении Римской империи, и могут захватить не только ее континент. Параллели в мировой истории всегда условны, но размах ее сокрушающих волн непрерывно растет, и запись ее прежних страниц для нас — пустяк и частный

случай; нас ожидает неизмеримо большее и по длительности, и по высоте падение. Физическое уничтожение ста миллионов людей, предсказанное Огюстом Бранли (если он прав), заменимо; оно, быть может, меньшее из зол. Несравненно страшнее гибель одной человеческой личности как самоцельной идеи, крушение гуманизма, определявшего и возвышавшего нашу культуру. А результат будет тот же: топор и пытки да пушечное ядро, прикованное к ноге. Недаром врагом номер первый грядущего «нового строя Европы» объявлено масонство, при всех своих современных недостатках ставившее целью совершенствование личности и свободное искание истины. Теперь эта истина найдена и объявлена: она заключается в прекращении и запрещении дальнейших исканий, в утверждении совершенной личности ее принадлежностью к определенной расе. Не страшнее ли это варварства, низвергшего Рим?

Страшной атаке цивилизованного варварства должна быть противопоставлена контратака, единственный стратегический прием, действенность которого доказана на одном из фронтов войны. Она в громком исповедании веры, в отрицании всяких соглашений и сотрудничеств с врагом этой веры, в предпочтении смерти сдаче. Потому что и смерть может быть полезной: она оставит в памяти людей семена для новых всходов, она удобрит для них многострадальное духовное поле.

### Новый порядок

*(26.10.41)*

В доме, который не проветривается, развелась всякая нечисть: пауки, тараканы, клопы, мокрицы. Были они, очевидно, и раньше, но прятались по щелям и выползали только ночью; теперь гуляют свободно во всякое время и отравляют обитателям дома быт.

Дом не проветривается потому, что свежий воздух признан вредным для здоровья и семейного благополучия; вреден и солнечный свет. Чистый воздух вызывает слишком вольные мысли о свободе и шири полей, о легком дыхании, о каких-то «естественных правах»; солнечный луч может осветить закоулки печального бытия и навести мысль на невыгодные сравнения, пробудить протест, развить неумеренную требовательность. Благонамеренному гражданину это ни к чему. Лучшее, что он может делать, это, встав поутру, напялить узаконенный намордник и заняться полезной и производительной домашней работой, воздерживаясь от суждений о том, что выходит за пределы его прямых обязательств, от критики того, что его не касается. О выходящем за круг его личной и семейной жизни позаботятся более опытные самоизбранные люди, которым он должен слепо доверять. Если же это ему не нравится и он не согласен, то его переселят в такой дом, где не спрашивают ни о вкусах, ни о согласии.

Где это происходит? Не все ли равно: «в некотором царстве, в некотором государстве». И проще спросить: где это не происходит. В любой стране грядущего или уже водворившегося «нового европейского порядка». Новый порядок начинает с того, что посылает к черту так называемые исторические традиции, с которыми ему делать нечего; чем он кончит, мы еще не знаем: «продолжение и окончание следуют».

* * *

Любопытно, хотя и противно, наблюдать со стороны, как политическая нечисть, раньше державшая себя смирненько, работавшая на щедрого хозяина с благоразумной сдержанностью, с оговорками, лишь в рамках каждому доступной свободы голоса, — теперь об-

росла плотью, раздобрела и хозяйничает без контроля и соперничества. Какая-нибудь малая газетка, раньше обслуживавшая ограниченную, определенную читательскую среду, обществом отверженную и отпетую, злопыхавшую и державшуюся черной кучкой, — теперь внезапно превратилась в авторитетный и руководящий орган. Если до сих пор клевета и навет шипели с оглядкой, опасаясь публичной пощечины, то теперь им опасаться нечего, — опасаться должны те, кого шельмуют новые господа положения, опираясь если не на покровительственный закон, то на реальное соотношение сил. И уже не общественных сил, выносящих лишь нравственное осуждение, а настоящих, имеющих право прямого воздействия. Не то чтобы начальство, а хуже — состоящие при нем советники; не сам господин городовой, а приятельствующая с ним кухарка. Защиты от них нет, возразить им негде, — и сжимаются люди, на которых направлен их указующий перст.

* * *

«Новый европейский порядок» в одном смысле «демократичен»: он опирается не на аристократию мысли, а на массу посредственностей. Духовная аристократия зачисляется в разряд безработных; в худшем случае она под подозрением; в еще худшем подвержена остракизму. На первый план выдвигаются люди, которым раньше не удавалось пробить себе дорогу. Люди, может быть, и неплохие, но не отчетливые в своих взглядах и убеждениях, не блиставшие талантами, не обладавшие сильной волей, не искавшие прямых путей.

Посредственности по природе, приписывающие свои жизненные неуспехи не своим недостаткам, а засилию избранных. Они всегда были готовы примкнуть к господствующему течению, но в условиях свободной конкуренции оказывались ненужными и должны

были удовлетворяться положением второстепенных и второсортных. Теперь, когда снята головка, они внезапно оказались в первом ряду — и наконец могли определиться. Тысячи освободившихся вакансий, новосозданных постов, для занятия которых достаточно не иметь прочной связи с прошлым и, не слишком себе изменяя, согласиться на любое исповедание и любые девизы.

Лишь с участием таких людей возможно осуществление основной задачи «нового порядка»: централизации и установления иерархического начала; они серы, лишены инициативы, покорны приказам, дорожат завоеванным положением. Поскольку они облечены властью, их природная бездарность оказывается даже полезной: власть их не так чувствуется управляемыми. Но власть людей портит и развивает в них страсть к начальственным жестам. Почувствовав себя избранными, хотя никто их не избирал, они пытаются декретировать — и натыкаются на жизненное сопротивление широких масс, нужды которых они не способны понять и постигнуть. Честные сдаются и уходят или устраняются в порядке иерархии, упрямые и себялюбивые остаются и вступают в борьбу с теми, кто поручен их заботам: с сельскими хозяевами, крестьянами, рабочими, профессорами и школьниками, коммерсантами и людьми свободных профессий. Мало-помалу на постах, ведающих хозяйством страны, оказываются маленькие узколобые деспоты, погруженные в полицейскую деятельность, в выслеживание и в выслушивание доброхотных доносов. Характерной чертой «нового порядка», сменяющего отнюдь не идеальную демократию, является превращение всех ведомств, независимо от их специальных назначений, в полицейские участки, работающие в полном единении и согласии с основным ведомством подавления гражданской воли — ведомством внутренних дел. В этом и заключается «централизация» управления. Про-

цветают суды, карающий меч неослабно подымается и обрушивается на головы виновных и невинных, преступников и героев, и только к этому сводится вся деятельность новых людей, призванных возрождать нацию и выправлять испорченные нравы; на остальное не хватает времени, не находится инициативы. Мы видим это сейчас повсюду в европейских странах смененного режима, поклявшихся верностью «новому порядку». Очевидно, такова роковая неизбежность. Это называлось раньше реакцией. Сейчас именуется национальными революциями. Их целый ряд; они порождаются разными причинами; но скрижали их законов тесаны и выбиты одним надгробным мастером.

* * *

Революция, то есть переворот, восстание, бунт, нарушение существующего порядка, всегда производилась народными массами против правящего меньшинства. Но в наше время все перевернулось вверх ногами, и революции стали производиться без участия в них народа и вопреки его желаниям. Начало было положено русским Октябрем, продолжением было картинное «взятие Рима» итальянцами, Берлина немцами, скромного Виши французами, соответствующих собственных городов другими нациями. Никакого восстания при этом не бывает, массы безмолвствуют, иногда проявляют равнодушие, очевидно, не веря в прочность переворота, считая его явлением временным. Революционерами оказываются не бунтари и новаторы, а, наоборот, сторонники идей, сданных историей в архив и снова вытащенных из кладовых, подправленных, подштопанных и пущенных в обращение. Но слово «революция» остается, чтобы придать старью очарование новизны, — настолько оно звучит привлекательно. Почти всегда к нему прибавляется кличка «национальная». Тем

же прилагательным сейчас в Европе называется обувь на деревянной подошве, поддельный курительный табак и прочие эрзацы. Раньше «национальной» называлась во Франции двухспальная постель, занимавшая три четверти площади комнаты.

В общем, получается забавно. Сначала происходит политический переворот, то есть смена одних правителей другими, затем заборы оклеиваются печатными призывами к революции, исходящими от новой власти; отклика на призывы нет, и жизнь продолжается.

* * *

Всякий новый политический строй старается обеспечить себе будущее. Поэтому одно из его основных усердий — завоевание молодежи. Приобрести ее расположение политическими посулами и программами, конечно, невозможно; детям и юношам нет никакого дела до того, кто и как будет править страной. Зато они чрезвычайно легко соблазняются всякими значками, побрякушками, знаменами и форменными отличиями. Стоит пожаловать одному мальчику нарукавную цветную повязку или право ношения форменного берета, как зависть к нему привлечет в ряды детской организации новых участников, жаждущих такой же повязки.

И вот — отряды пионеров, распевающих сравнительно невинные песни и гимны. Отряды постарше уже готовят деятелей — и детские руки распространяют воззвания и призывы, часто ненавистнические (с соответствующими «долой» и «да здравствует»), и юноши, отличенные значками, помогают взрослым в выслеживании гражданских слабостей и пороков. Маленькие доносчики, которые вырастут со временем в больших негодяев. Это называется «политическим воспитанием молодежи». Под Парижем, где большинство коммун было коммунистическими, пятилетние ребя-

та шагали процессиями в красных шапочках; сейчас повсюду шапочки переменились, — система осталась: раньше, чем детское сознание хоть сколько-нибудь определится, оно уже напичкано готовыми формулами. Может быть, это и не очень страшно: формулы линяют, как линяют и выцветают знамена; но все же сознанию дан какой-то толчок, и на этом именно строятся планы политиков, покупающих молодежь блестящими побрякушками, как покупаются и взрослые орденами и почетными званиями.

«Новый европейский порядок» строится не на положительных гражданских идеалах, а на ряде отрицаний, на воинствующей злобе, на возведении в систему грубой силы. Тем более страшно видеть эксплуатацию детской души, которой прививается расовая ненависть, национальная самовлюбленность и привычка принимать на веру то, что преподносится им под видом неколебимой истины. Фабрика безропотных солдат и исполнительных чиновников. Но если Европе еще суждено продолжить свою историю, — не такие строители ей потребуются; если, повторяю, ей суждено, если ее славная история не покатится под гору — в бесславное небытие...

### Годовщины

*(12.11.41)*

Пока совершаются и накапливаются для памяти будущих поколений события порядка мирового или национального, — не мешает для душевного спокойствия оглядываться иногда на прошедшие годы и века, отмечая годовщины происшествий больших и малых, имевших историческое или лишь преходящее значение, прославленных или только забавных, — разница не столь велика, раз дело идет о давнем и больше не существующем. В сущности, каждый день для кого-нибудь и для чего-нибудь есть день юбилея. Что было с вами в этот день в прошлом году? Или десять лет тому

назад, или двадцать — если вы еще молоды, или полвека — если уже предстоите вечности. Годы рождения детей, серебряные и золотые свадьбы, годовщины знаменательных встреч, перенесенных болезней, перемен местожительства... От слишком личного перейдем к более общему. Как нам, русским, не вспомнить о столетнем юбилее «сороковых годов», таких значительных в истории нашей общественности и литературы. Любитель книги, иллюстратор, гравер вспомнят о расцвете издательств, о поэзии типографского дела, поспорят о достоинствах французского Гаварни и русского Василия Федоровича Тимма. В июле истекающего года за грохотом орудий мы не вспомнили о пистолетном выстреле, унесшем век тому назад Лермонтова, а если и вспомнил кто, то разве с тем вниманием, какого заслуживает его память. В минувшем сентябре исполнилась полувековая годовщина смерти Гончарова, отца русского романа и лучшего бытописателя эпохи сороковых годов, которые он, барин и сибарит, неторопливо изображал в течение двух следующих десятилетий. Три месяца недостает до годовщины — до четверти века — февральской революции, — кто и как справит знаменательнейший в нашей истории день, кто к нему готовится. В минувшем году пропущена прискорбная годовщина разорения Киева татарами, — и вот, спустя семьсот лет, мать русских городов снова под пятой варваров. Малое и большое путаются и перемешиваются в памяти, свое перемежается с чужим. Четыреста лет тому назад (сентябрь 1541) вернулся из Страсбурга в Женеву человек, имя которого как фанатика религии и духовного диктатора было неизмеримо громче всех имен диктаторов наших дней, — Кальвин; в маленькой стране, сейчас неизменно мирной, сторонящейся всякого участия в европейских схватках, водворился высокий теократический порядок, и во имя чистоты божественного учения, во имя прочности добрых нравов, спустя десяток лет был

обезглавлен поэт Яков Грюэ за вольные стихи, был сожжен Михаил Серве за сомнение в троичности. Темные времена. Потребовалось четыре века бурного развития цивилизации, чтобы к подобным же случаям прибавились расстрелы заложников в занятых немцами французских городах, по пятьдесят штук за одну немецкую голову. Но пройдем мимо «великих событий», — разве нет юбилеев самых мирных, без всякого трагизма, курьезных, отвлекающих мысль от слишком печального. Вспомним лучше, что пять с половиной веков тому назад (1392 год — готовьтесь к скорому юбилею!) благодетель человечества изобрел игральные карты — мирную и бескровную человеческую войну. Как его звали? То ли отцом Менетрье, то ли Жакменом Гренгоннером, но это был, несомненно, гениальный человек, придумавший развлечение не только для безумного короля Карла Шестого, но и для бесконечного ряда поколений людей разумных, серьезных, деловых; вместо того чтобы перегрызать друг другу горла и выцарапывать глаза, люди садятся за квадратный стол и, как на войне, берут, сдают, атакуют, защищаются, бьют, режут, выигрывают, проигрывают, меняют партнеров, заменяя символикой животные страсти. Сейчас уже забыто, что черви были мастью смелости, трефы — военным продовольствием, пики и бубны — сортами оружия, сама игра — искусной стратегией. Было бы неплохо, если бы международные споры решались партией бриджа или покера, с не меньшей долей случайности и той же справедливостью, но, по крайней мере, без жертв и разрушений, если не считать истрепанных колод; и смена «партнеров», то есть союзников в борьбе, не вела бы к потере чести и не требовала бы лицемерных толкований; и только тех, кто играет краплеными картами, били бы тяжелым подсвечником, тогда как сейчас они в особой чести. Если мало этого знаменательного юбилея, есть

и еще один, тоже четырехсотлетний юбилей обеденных меню, тоже падающий на истекающий год. О нем особенно уместно вспомнить сейчас, когда меню большинства европейцев сводится к вареному картофелю и бобам без масла. Оно настолько неизменно, что не приходится печатать его на изящных карточках. Но как приятно прочитать, как ели наши предки в более счастливые времена, когда в парадный обед входили 40 рагу, 20 жареных, несколько десятков закусок между блюдами (entremets), не считая разнообразных супов, соусов, сладких и, конечно, отборных вин. У французского писателя Евгения Сю (кстати — тоже юбиляра, так как его знаменитые «Тайны Парижа» печатались в 1841 году) есть роман «Чревоугодие» (в серии «Семи смертных грехов»), где доказывается, что этот осужденный церковью порок есть в действительности высокая добродетель, и благодаря ей процветают сельское хозяйство, развивается торговля, культивируются колонии, миллионы людей имеют заработок. В том же романе можно найти такие соблазнительные описания различных блюд, что только чеховская «Сирена» ни в чем не уступит в смысле возбуждения аппетита. И в заключение романа, без большого нарушения его художественной цельности, приведено полностью меню обеда из 55 блюд, способного довести до истерики самого спокойного и не сластолюбивого человека; до истерики, конечно, от чтения меню, а не от участия в подобном обеде. И вот после четырех веков высокого развития обеденного искусства — мы у разбитого корыта.

Нет, все это не пустяки; годовщины, вызывающие на сравнение прошлого с настоящим, всегда поучительны. В одних случаях мы отмечаем устойчивость явлений, в других — их мимолетность. Годовщинами войн и знаменитых сражений настолько пронизана вся история, что вряд ли можно найти день, на который не падал бы юбилей, годичный, столетний,

тысячелетний, какого-нибудь «славного» человеческого побоища. И есть юбилеи взблесков и сияний человеческой мысли, великих в своей бесплодности, но также вечно повторяющихся, как бы в подтверждение того, что искания бесконечны, а истина остается недостижимой. Кажется нигде, кроме маленькой Швейцарии, не отмечено исполнившееся в минувшем сентябре четырехсотлетие смерти Теофраста Парацельса, великого ученого, врача и гуманиста; он умер в Зальцбурге в 1541 году, после долгой скитальческой жизни, и ни одна страна не имеет исключительных прав на его имя. Родом немец, уроженец Швейцарии, он жил и работал в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Англии, был похищен в Польше татарами, странствовал по Египту, приобщался к мистериям в Константинополе. О нем стоит вспомнить и поговорить уже по одному тому, что немногие, положа руку на сердце, могут сказать, что помнят его имя и соединяют с ним ясные представления. А между тем, наряду с Рабле и Эразмом он строил мост между Средневековьем и Возрождением, алхимией и химией, астрологией и астрономией, оккультными знаниями и наукой. Он искал философский камень и изобрел эликсир бессмертия, что не помешало ему благополучно умереть. Его писания (часть которых есть и на русском языке в изданиях екатерининской эпохи) кажутся мистическим вздором, утратившим всякий смысл, а между тем мы можем назвать его предшественником теории витаминов и лечения гипнотизмом. Как всякий великий новатор, он для одних был «божественным», другими подвергался гонениям. Его не успели сжечь на костре, но умер он в глубокой нищете. Его имя должны чтить ученые наших дней, которых изгоняют из их стран и их университетов за новаторство, за расу, за то, что они не хотят подчинить чистое знание политическим расчетам правителей. Он первый пытался доказать научно наличность «души всех

элементов», хотя и отрицал ее бессмертие, и для виталистов он — несомненный предок. Но прежде всего он был искателем, человеком, убежденным в том, что знания могут развиваться лишь в условиях полной свободы мысли, что нет истин неколебимых и напрасно приказывать верить в то, чего нельзя подвергнуть критике и проверке. Знание для него было творчеством посвященного. Это делает годовщину смерти великого алхимика особенно знаменательной в наши дни гонения на творчество и духовную посвященность, на общества людей, ставящие себе задачей совершенствование личности и общечеловеческих отношений, братство народов, равенство прав и свободу исповедания. Какими бы вздорными легендами ни приукрашивалась биография Теофраста Парацельса, «исчадья ада» и «бродяги неописуемого», он остается одним из замечательнейших гуманистов раннего Возрождения и духовным учителем ряда поколений; и, конечно, идейным врагом политической и религиозной церковности, личной и классовой диктатуры, всякого насилия над личностью и общественностью, войны, национализма, забивания черепов неколебимыми истинами ложных авторитетов и кумиров.

Может быть, странными и даже неуместными покажутся эти беседы о Лермонтове, сороковых годах, кальвинизме, картах, обеденных меню и Филиппе Теофрасте Парацельсе Бомбасте Гогенгеймском — в дни, когда наши взоры прикованы к фронтам, наши уши приколоты к радио. Но ведь это — единственная возможная контратака против засилия злобы дня, единственный возможный протест к вечному против временного. А протест необходим, контратака единственно спасительна, потому что под угрозой не города и городки, не страны и люди, а культурные завоевания веков и поколений, и величайший их враг — война — стремится вернуть нас в состояние человекообразных. Не будущее должно нас беспокоить, а прежде всего судьба прошлого, определяю-

щего это будущее. Если русские борются под Москвой, вдохновляя себя памятью об «отечественной войне», то нам, невоюющим, остается находить бодрость в памяти об этапах человеческой мысли, о больших и малых годовщинах, верстовых столбах пути, пройденного мирными завоевателями. И уж тут все мило и дорого — от поисков философского камня до игральной карты и обеденного меню. В парадоксах, преувеличениях, в серьезном и шутке как-нибудь разберемся, отделив важное от мелочей; а основная мысль останется — спасти здоровый дух среди этого урагана мирового воинствующего варварства.

### Из кельи под елью

*(20.11.41)*

Если бы не привычка мыслить упрощенными образами, — количество сумасшествий и самоубийств было бы значительно выше. Нас спасает недостаток фантазии и неисправимая надежда, что все обойдется. Это значит, что с какого-то часа и дня (о, счастливый, долгожданный момент!) жизнь вернется в свое обычное русло и потечет с тем спокойствием и ясностью, с той возможностью более или менее точных житейских расчетов, как это было до переживаемой нами катастрофы. Поэтому миллионы людей, быт которых насильственно разрушен, живут лишь временно, откладывая более прочное устройство заново этого быта до окончания войны. Им как-то не приходит в голову, что в таком временном существовании могут состариться не только они, но и их дети, если не внуки, и что клубок бытия нашего разматывается не скачками и срывами, а ровной нитью, и что все моменты этого бытия одинаково входят в общий учет; готовясь жить, мы уже живем, живя, уже готовимся к уходу.

Какие картины завершения войны рисует эта упрощенность мысли большинству людей? Побеждает одна

из воюющих сторон в их нынешнем противостоянии (хотя ничем не доказано, что комбинации враждебных союзов не могут в корне измениться, что враги могут оказаться друзьями и наоборот). Если победит гитлеризм — изменятся границы на карте Европы и колоний. Полномочный хозяин — Германия, старший приказчик — страна Муссолини, подручные и мальчики на побегушках — фантошные правители вассальных земель. Во внутренней жизни Европы — полная ликвидация так называемых политических свобод, гражданских самоуправлений, всяких проявлений независимой мысли в науке, в искусствах, в общественности. «Новый европейский порядок», планы которого пока очень туманны, а практика сказалась лишь в выкачивании завоевателем на свою потребу жизненных ресурсов в занятых странах. Часть населения должна физически исчезнуть, — люди неугодной расы и не соответствующих новому строю убеждений. Отмена и забвение духовной культуры последних веков, замена религии гуманизма реальностью внешней моторизованной силы. Приблизительно в таких тонах и красках рисуется противникам германской идеи возможность ее торжества.

Соответственно этому поражение Германии и Италии повело бы за собой восстановление прежних европейских государственных границ, с легкими, быть может, поправками, возврат к разным формам народоправства, к принципам независимости личности, самоуправления народностей, расового равенства (в существовавших раньше относительных пределах), вообще возврат к тому, что было или казалось бывшим и что несомненно исчезнет при проигрыше войны демократиями и Россией (где оно, впрочем, не было и бывшим не казалось).

Нет никакого сомнения, что в исходе войны ни того, ни другого случиться не может: ни нового порядка Европы, какой обещает на ближайшее

тысячелетие (excusez du peu!)* Адольф Гитлер, ни романтики прежних форм парламентских демократий. Первое невозможно потому, что в ходе развития человеческой мысли и человеческого общения национализм как идея изжит и что никакими внешними силами не удержать в длительном рабском состоянии жаждущую свободы человеческую мысль. Второе невозможно потому, что формы современной демократии изношены и выродились, и терпелась она только как относительно наименьшее из зол. Народы защищали и защищают свою независимость, свои права на самоопределение, на самостоятельное устройство своего политического быта, — но кого, какого солдата вдохновила бы защита парламентского строя, при котором граждане вынуждены избирать в законодатели и правители исключительно людей, которых лично они не знают, и исключительно зависимых, связанных принадлежностью к партиям? Чей негибкий мозг может далее восхищаться картинами парламентской грязи, узаконенного лицемерия и откровенного обмана избирателей? И кто может мечтать о полном возврате к порядкам, в значительной степени обусловившим военное поражение? Естественно и законно отрицая «новый порядок» Гитлера, Европа не откажется от своего «нового порядка», многообразные формы которого ей предстоит выработать и ввести путями мирными или революционными. Вернуться к прежнему — значило бы вернуться к тому состоянию, которое повело к катастрофе и, конечно, поведет к новой, горчайшей.

Это значит, что к прежнему возврата не будет ни при каких условиях и напрасно откладывать жизненные задачи до какого-то магического срока, дня перемирия, мира, покоя. Что можно делать — нужно делать немедленно; завтрашний день не обещает лучших условий. Наши упрощенные образы слиняют

---

* Простите, как могли! (*фр.*)

в ходе событий, будущий образ которых не предугадаем. Можно только сказать с уверенностью, что мы не найдем в нем знакомых черт, ни тех, которыми нам угрожают, ни тех, которые рисуются жаждой возврата к подобию утраченного покоя.

Идет борьба под знаменами условных ценностей, как будто ясных символов. Когда она окончится — символы останутся, но их содержание будет уже иным. И лишь об одном можно мечтать: чтобы их новое истолкование не потребовало таких же и еще больших потоков крови, какие проливаются будто бы в защиту их прежнего смысла.

* * *

В таких предчувствиях — не пришло ли время реабилитировать «келью под елью»? По-иностранному она называется «башней слоновой кости». Но не в названии дело. Вы заползаете в раковину и замазываете вход за собой доступным цементом. Внешний мир отрезан — мир внутренний вырастает в огромное, не знающее стен и пределов. Вы создаете себе свои небеса и просторы для беспрепятственных полетов и прогулок мысли. Вы сами даете определение важному и ничтожному, не связывая себя обязательствами прежних оценок. Пока скорлупу вашего бытия не раздавит прохожий медведь, вы, по собственному выбору и побуждению, погружаетесь в нирвану, состояние без страданий и радостей, мудрейшее ничто, или, наоборот, отдаете себя сладким творческим мукам познавания, вечной погони за манящим и непостижимым. Можно и оставить в покое высокий философский стиль; можно просто отказаться от газет, радио, разговоров о войне, политических негодований и социальных надежд, от патриотических чувств и национальных ощущений, — и уткнуть нос в томик авантюрного романа или исследо-

вания о дифференциалах и интегралах. Можно залить уши воском и послать на почту заявление, что вы выбыли, не оставив адреса; можно сообщить ближайшим знакомым, что у вас прилипчивая форма гриппа или вы укушены бешеной собакой.

Возникает вопрос о праве на выход из общей жизни и на отшельничество мысли. И вот я, такой-то, чувствую себя носителем всех прав, вооруженным неопровержимыми доводами; я, такой-то, бесправный гражданин своей страны, пределы которой для меня недоступны. На мне не лежит никаких национальных обязательств, так как за все то, что я когда-то получил от этой страны, я заплатил полностью не только страстью и фактом соработы, но и годами со-чувствия и со-страдания; мы квиты только потому, что я не предъявляю превышающего этот уплаченный мною долг встречного иска. Я не изменял, хотя не давал клятв. Я любил и люблю, хотя мог бы ненавидеть. Я не обещал грядущим поколениям тысячелетия счастливой жизни за мой личный счет, хотя вместе со своим поколением работал только для будущего. Я не участвовал в «совете нечестивых», не был палачом и не присягал на рабство; не ковал оружия ни для защиты, ни для нападения, и в толпе покорных не пел осанны Идолу. Бесправным, сам себе единственная поддержка и защита, я жил в странах рассеяния, которым также ничем не обязан, так как аккуратно и выше других, граждан подлинных, платил налог за безболезненный переход через улицы под прямым углом, между рядами блестящих гвоздей на мостовой. Явившись нищим, нищим остался, милостыни не прося, нищим и уйду, никому не поставив в счет труда своей жизни. Келья под елью — единственная доступная закута без квартирного налога и выборки прав на жительство — мной заслужена и оспорена быть не может. Она вне территорий и не ограничивает ничьей жилплощади.

И вот в тот момент, когда я примазываю последний кирпич, заграждающий вход в мое убежище, во мне коварно и нелогично просыпается жажда разрушить мудрейшее из сооружений и, забыв обиды и тягость лет, ринуться снова в поток внешней жизни со всем накопленным невесомым багажом дум, утверждений, отрицаний, уверенностей и надежд, — вероятно, потому, что в книгах природы человек записан в графу общественных животных, подобно бобрам, которые даже в неволе, в приюте зверинца, стремятся строительствовать и созидать из комьев земли и случайных огрызков дерева плотины и жилища, ни им, ни кому другому не нужные. В них это называется инстинктом, в себе мы приписываем это побуждениям разума. И, гордые найденными терминами, проводим резкую черту между равнозначущими неразумиями.

Может быть, в этих иносказаниях вы найдете некоторый отклик на странность и непоследовательность своих мыслей и своего личного поведения, — вы, не знающие, как помирить горечь обид с чувством всепрощающей, не желающей помнить зло приязнью, вы, в порыве жертвенности натолкнувшиеся на вежливую улыбку отказа, и вы, в своем праве на равнодушие и на отдых продолжающие волноваться, жестикулировать и строить в клетке никому не нужные общественные сооружения, потому что зубы чешутся, как у грызунов, руки привыкли напрягать мускулы, голова не знает покоя. Но если какаянибудь Мария «благую часть избра», то да не осудит ее благодетельная труженица Марфа.

------

Как часто мы слышим: «Единственное, чего хочу, это — дожить до конца этой истории и узнать, чем она кончится». Под «этой историей» разумеется, конечно, война и все с нею связанное. Война,

несомненно, кончится, во всяком случае, в теперешних и ближайших размерах, но «эта история» не кончится; в сущности, она едва началась.

В России строка «Интернационала» поется в прошедшем времени: «Это был наш последний и решительный бой». Сейчас правильнее заменить время настоящим, а вообще говоря, лучше всего восстановить первоначальный текст в его неопределенно будущей форме.

И я завершу тем, чем начал: как обманчивы упрощенные образы. Но не будь их — впору было бы сойти с ума.

## О пересмотре утверждений

*(Конец дек<абря> 41)*

Есть ряд ходячих утверждений, кем-то когда-то авторитетно заявленных, принятых на веру и так оставшихся непересмотренными, но принятыми за аксиомы. Можно для примера привести утверждение, что французская кухня — самая лучшая и тонкая на свете, — хотя нет сомнения, что она далеко уступает не только скандинавской и русской, но даже итальянской, ей во многом родственной, и что хуже, безвкуснее французов едят в Европе только немцы и англичане. Но я не собираюсь рассуждать на кулинарные темы в дни продовольственных крахов и недомоганий, говорю лишь к случаю. Более важный и серьезный пример — общепринятое утверждение духовного примата белых европейских рас, на котором основывается право колониальных преступлений, — в то время как не может быть спора о том, что духовная культура Востока неизмеримо глубже, древнее и выше нашей. Еще чаще заблуждения национальные, по существу понятные и простительные, но вызывающие улыбку. Так, например, поляки или англичане считают свой язык звучным и красивым, итальянцы думают, что они

доблестные воины, русские высоко оценивают поэтичность своих народных сказок, в действительности очень грубых, немцы считают себя музыкальным народом, Вагнера — величайшим гением, а Канта — глубочайшим философом. Иногда национальные заблуждения настолько сильны, что убеждают и других, обращаясь во всеобщее утверждение. Так, например, невысокая оценка Шекспира Львом Толстым принимается чуть ли не за кощунство, и классики придут в ужас, услыхав, что «Илиада» Гомера, за счастливым исключением некоторых песен и отдельных мест, — не только скучная книга, но и отвратительная по содержанию, духовно весьма ничтожная, так что заставлять юношей изучать ее по меньшей мере бесстыдно и безнравственно.

Опытный читатель поймет, что устрашающие парадоксы, подобные высказанным выше, вводятся обычно не ради красного словца, а для привлечения внимания к дальнейшему — испытанный литературный прием. О деталях можно спорить, но основная мысль проста и неоспорима: нужен пересмотр ходячих утверждений. Его, этот пересмотр, требует сама жизнь, и весьма настойчиво. О каком, черт возьми, «новом европейском порядке» прожужжали нам уши? Кто будет его налаживать, кто хочет нас, дикарей, учить культуре?

Нет сомнения — Европа имела случай в этом убедиться, — что Германия — образцовая страна порядка. Если поручить ей быть всеобщим гувернером, все люди будут установленного роста с отвешенным для каждого количеством мозга. Вставая и ложась в определенные часы, они будут, выйдя из дому, маршировать по левой стороне улицы и возвращаться домой по правой, будут запивать пивом считаные калории, работать под счет метронома, спать поочередно на правом и левом боку, читать одобренные правительством книги, любить по по-

требительским карточкам, рожать по специальным разрешениям и вовремя умирать. Повернувшись головой к священному Берлину, все нации будут по команде кивать головами в знак согласия, и несогласие станет не только немыслимым, а просто бесполезным. Часы стенные и часы карманные не позволят себе и тени расхождения, и даже климаты применятся к новому, для них введенному расписанию погоды. Нет оснований не верить в возможность тысячелетнего блаженства, в установление мира всего мира, исчезновение социальных неравенств, экономических крахов, безработицы, войн и революций. Цивилизация достигнет предельной высоты, и человек станет образцовым животным, счастливым соперником муравья. Если это нужно для счастья человеческого рода, то неразумно дальнейшее сопротивление: нужно смириться и поймать для поцелуя занесенную над нашими путными головами руку.

Счастье манекенов и струганных из осины палочек достижимо, пути его указаны. Но как быть, если цель совершенствования человеческой жизни в достижении не такого счастья, не сытости желудка, не в благополучии внешнем, а в душевном благородстве, в свободе творческой мысли, в вечном искании, в жути предстояния пропасти познания и бездне нравственных вопросов, если в этом отличии от животного состояния видеть содержание и смысл культуры. Какие культурные обещания сулит нам «новый европейский порядок», какие его предзнаменования уже ясны, какие даны нам авансом?

Мы уже были свидетелями бегства из Германии людей свободной творческой мысли — писателей, мыслителей, ученых, свидетелями крушения духовных исканий, сожжения книг на городских площадях, религиозных гонений, полного возврата к крайнему политическому деспотизму, оправдания безнравственных начал еди-

ным словом «тоталитарность», возвеличения в высокий принцип грубой внешней моторизованной силы. Об этом еще не забыто, но уже поздно говорить. И вот перед нами новые образчики грядущего культурного величия, новые свидетельства апостольского служения цивилизованнейшего из народов. Мы еще мало знаем о том, что произошло в России в связи с захватом ее западных пределов, какая там насаждена культура. Но знаем, что первыми налетами на Москву разрушен в Кремле Архангельский собор — памятник древнего зодчества, что в мусор превращен московский университет и Большой театр меткими прицелами летчиков. Мы знаем, что сталось с такой святыней духовной культуры, как Ясная Поляна, где опоганен и разграблен дом-музей Льва Толстого, во что превращен в Клину дом Чайковского, — и все это только случайные весточки о поведении крестоносцев в стране, куда они явились насаждать культуру.

Война есть война, то есть приятие и утверждение варварства, и, может быть, не стоит и лицемерно проливать слезы над грудой камней, когда рядом навалена груда трупов; не есть ли человеческая жизнь — высшая ценность? Но тогда о какой культуре смеют говорить люди, являющие собой, своими действиями наиболее совершенный тип современных цивилизованных дикарей. Если свершится справедливое и русские войска вступят проходом в Веймар, — мы не поручимся за то, что они будут знать, как отнестись им к этому городу, столице культуры германской; мы потому не поручимся, что мы ведь народ общепризнанно дикий, против нас просвещенная Европа посылает символические отряды крестоносных авантюристов. И, однако, если найдется кто-нибудь, кто успеет предупредить красноармейцев, что в Веймаре жили Гете, Шиллер, Гердер, Виланд, что это — город замечательных книгохранилищ и что в нем находится храм музы-

кальной славы нам чуждого, но немцами возлюбленного композитора, — тогда, мы это твердо знаем, наши варвары не совершат кощунств, которыми прославили себя офицеры и солдаты «величайшей в мире армии».

Легенда о высоте германской культуры была подвержена сомнению еще в дни Франко-прусской войны 1870 года; почитайте мемуары той эпохи, они красноречивы. В прошлую мировую войну этой легенде был нанесен второй удар, и в эту нынешнюю войну не должна ли эта легенда быть окончательно отвергнута?

Случилось и большее: если раньше перед нами вставал вопрос о культуре страны, — сейчас он встает о качествах германской расы, о сомнительной ее способности преодолеть свою природную животность. И не делается ли немецкий национализм тем страшнее, что он грозит всему миру порчей крови, прививкой устойчивой тупости и жестокости, свойственных этой плодовитой породе человекоидов. То, что раньше можно было приписать лишь культурной нечуткости и условиям «тотальной» войны (неразборчивость в средствах, неуважение к чужим святыням), не есть ли проявление протеста низшего сознания против чужих культурных достижений, ярость дикаря, сладострастно разрушающего то прекрасное, чего он не может ни создать, ни оценить. Не отсюда ли этот систематический, поражающий бессмысленностью грабеж библиотек в занятых странах, увоз предметов искусства — без оценки, широкой охапкой, сколько захватится, — насилия над делом школьным, просветительным, общественным, нечто от обезьяны, сующей за щеку поразившие ее воображение светлые предметы непонятного назначения. Мы всегда чуждались переносить неприязнь и ненависть с власти на народ, с вождей на водимое стадо; но возможно, что в данном случае наше прекраснодушие заблуждается, и народ

достоин своих ставленников, раса своего вожака. Когда мы слышим дерзкие слова европейцев, дающих всему русскому народу кличку «большевики», кличку бранную и унизительную, хотя и произносимую без смысла, — мы можем возразить, что русский народ, — не единая раса, и его ни в каком случае нельзя судить огулом; но германцы — раса единая, и они особенно на этом настаивают. Храни же, Боже, мир от ее победы и ее господства, от перспективы гибели культуры и воцарения образцовой немецкой цивилизации, обещающей миру «новый европейский порядок».

Кто их друзья, кто соратники и попутчики? Не знаменательно ли, что исключительно нации остановившейся в развитии или отсталой культуры: итальянцы, румыны, венгры, болгары, — или культуры, Европе чуждой, — японцы, правда, товарищи не по чувству, а по расчету. Вот почему не может быть искреннего и не вынужденного сотрудничества с победителем побежденной им Франции, почему мысль об этом так непопулярна во французском народном сознании и приветствуется только темными элементами дельцов и... хитрыми политиками, которые при случае не упустят переменить лицо. Вот почему так стыдливо и обособленно участие честных финнов, единственно правых на неправой стороне. И вот почему сразу двух врагов нашла Германия в России, страшной для нее стране: русский народ, борющийся за свою культуру, проникнутую духом гуманизма, и русский большевизм, увидавший в германском нацизме кровного брата и опасного соперника.

## Ничего не случилось

*(Середина янв<аря> 42)*

Я совершенно ясно ощущаю трагическую невозможность быть вам чем-нибудь интересным в дни,

когда Америка из заинтересованного зрителя стала едва ли не главным актером. Как вы, может быть, еще помните, на свете есть такая страна — Франция, в свое время выступавшая на мировой сцене и пользовавшаяся вниманием, если не особым успехом. Неудача вынудила ее пóкинуть эту сцену и заняться своим домашним хозяйством, весьма расстроенным. Для большей бодрости она объявила себя в состоянии «национальной революции», вполне своеобразной, так как эта революция предпринята была не снизу, как это полагалось по прежним обычаям истории, а сверху, или, точнее, сбоку, как это введено в моду Италией и Германией. В то же время, уже по примеру России, революция оказалась «перманентной», и в этом хроническом состоянии страна остается и до сей поры, — в состоянии безрадостной невзволнованности. Она, возможно, и вообще не замечала бы своей революционности, если бы ей об этом не напоминали постоянно, иногда упрекая ее за слабую отзывчивость. Впрочем, и враг и друг Франции, положа руку на сердце, должны признать, что если не революция (зачем злоупотреблять хорошим словом), то реформы ей настоятельно нужны; и то, что сейчас для нее делается, не лишено некоторого значения, и даже положительного, поскольку оно не сопряжено с реакционными замыслами низкого разбора и давно и хорошо знакомого типа (нацизм, фашизм, большевизм). Можно, например, очень серьезно обсуждать несколько преувеличенно сложную «хартию труда», но в обществе порядочных и здоровых людей не спорят по вопросу об антисемитизме, сугубой полицейщине, преследовании за убеждения и борьбе с обществами духовного просвещения (каково, например, масонство, даже французское, подмоченное печальным политиканством). К счастью, нам обещают, что многие из предпринятых мероприятий лишь временны и должны объясняться «переходным

периодом» и не полной свободой реформаторов. Об этой «полусвободе» мы имеем авторитетнейшее свидетельство не кого-нибудь, а главы государства — в его новогодней речи. Он же бесспорно утверждает, что «революция, чтобы быть национальной, должна быть делом нации». Ну а до этого еще далеко, время не приспело.

У нас стоит необычайно мягкая зима. Середина января, самого холодного месяца, а настоящих морозных дней не было, и термометр неохотно опускается ниже нуля. Это уже выигрыш доброй половины зимы, и нетрудно понять, что это значит для страны, население которой вообще не умеет приспособляться к зимним холодам и считает их не за естественное явление, а за хроническое ежегодное несчастие; теперь же, силою обстоятельств, оно вынуждено жить в неотопляемых домах, да еще при недостаточном питании. Выиграть зиму, значит выиграть год. Все холода ушли в Россию, которая, впрочем, тоже выигрывает зиму и, во всяком случае, год. Пытается выиграть на зиме и германское самолюбие, объясняя холодами свое бессилие и поражение на Востоке, — какая для него обида, что нельзя свалить на термометр и африканские неудачи; не во всякой местности и не во всякое время года Наполеоны могут ссылаться на насморк.

Какое прекрасное неучастие в мировой жизни. Выйдя из моды, Франция стала глубоко провинциальной. Все сидят по домам, мало и редко пользуясь железными дорогами, сократившими пассажирский транспорт; на редчайшие автомобили смотрят, как на напрасную и ненужную выдумку. Никого не удивляет, что письма и посылки на короткие расстояния идут неделями и по пути кем-то и зачем-то читаются, хотя в этом нет никакой надобности, если не считать необходимости дать некоторый заработок людям, которых некуда приткнуть. В дни воскресные почта не работает совсем, газеты не

выходят, между небольшими городами прерывается всякое сообщение. От житейских волнений, вызываемых делами военными, страна защищена радиозаглушителями, и ухо допускается к слушанию только тех сообщений, которые не вселяют в души напрасных надежд и не вселяют сомнений в правильности избранной линии поведения, избранной, впрочем, вынужденно. Говорится чрезвычайно много речей на тему о том, как гармонично бьются сердца всех граждан и как дурно не включать себя в эту общую гармонию, — речи длинные, нудные, доставляющие наслаждение только самим говорящим. Читаются лекции на темы о том, как было дурно, когда люди проявляли сугубый интерес к политическим вопросам и принимали непосредственное участие в управлении страной, и как хорошо, когда эта часть выделена в ведение немногих, лучше знающих, что кому нужно, остальным же предоставляется доверять им во всем и принимать их заботы без критики. Говорится о злых людях, называвших себя каменщиками или рыцарями и надевавших ленты и передники, что неизбежно привело страну к военному поражению и постоянно угрожало государству смутами и волнениями; лишь с их искоренением воцарился настоящий покой. Говорится о страшной и зловредной нации, лишь случайно рождающей Бергсонов, обычно же банкиров, о тайном союзе капиталистов с коммунистами, о величии идеи социализма, но построенной не на классовой борьбе, а на иерархии и взаимной любви работодателей и рабочих, об исторической тяге души французской к душе германской, о том, что земледелие почтеннее промышленной индустрии, которую желательно предоставить другим, более способным к ней народам, о ряде исторических ошибок Франции, неправильно истолкованных миром как ее заслуги перед человечеством, о многом прекрасном, что было в Средние века и напрасно отвергнуто веками новыми. Все

это говорится проникновенно, то с дрожью негодования, то с родственной слезой, в протяжном пении французской речи, то в несомненном оригинале, то в столь же несомненном переводе. Кто-то это слушает, но, конечно, не маленькое местечко Франции, до которого доносятся только отдаленные звуки горячих и не согревающих речей. В таких глубинных, обывательских местах люди к большим речам не подготовлены, а их понятия просты и воспитаны на учебниках, еще не изъятых целиком из начальных школ. Перевоспитываться нелегко, а главное, для этого потребно не только много времени, а и уверенность, что перевоспитываться действительно нужно. Притом вопросы хозяйственные отвлекают от важных духовных задач.

Иначе живет Париж, странный город, страдающий больше, чем другие, но и больше других оптимистичный. Его не так задевают социальные начинания курорта Виши, но взамен этого он непосредственно испытывает тягости принудительного иноземного воспитания. Он выработал в себе упрямую внутреннюю сопротивляемость, хотя внешне выполняет все предписания немецкого педагога. Время от времени его наказывают за чью-нибудь частную непримиримость, лишают его вечерней жизни, театров, кинематографа, права передвижения по наступлении темноты, некоторых продуктов. Он послушно сидит дома, пьет липовый чай, если есть на чем его вскипятить, не слушает обращенных к нему увещеваний, не читает издающихся в нем газет и загадочно улыбается. Сурово охраняемый от всяких слухов и от опасной иноземной пропаганды, он осведомленнее других городов и лучше их учитывает настроения дня. По лицам своих педагогов он угадывает их тревоги и отсчитывает по пальцам, сколько месяцев ему остается носить короткие штанишки и ученическую куртку. Может быть, он заблуждается, но веры не теряет, и неприглядность настоя-

щего смягчает надеждами на будущее. Худшего с ним случиться уже не может, следовательно, произойти может только лучшее, и весь вопрос во времени. И Париж не теряет ни присутствия духа, ни присущего ему юмора. По своему положению военнопленного не участвуя в «национальной революции», он не считает порождаемую ею реакцию национальной; она — явление такой же породы, как военная оккупация, то есть временна, случайна, прямое следствие поражения. Париж смеет думать, что война не кончена, то есть не кончена не только вообще, но и для Франции; сверх того, он знает, что без его участия не действительны никакие коренные реформы во внутреннем управлении страны. Это, впрочем, подтверждается и словами другого военнопленного, именующего себя «изгнанником» и «полусвободным», решительно заявившего под Новый год, что новая конституция может быть обнародована только в Париже, после освобождения французской территории. Случай, когда настроение курорта совпадает с настроением сенских берегов.

В масштабе мировом все это — мелочи, интересы местного значения, и я могу с полным правом сказать, что в отдаленной нашей жизни никаких событий нет, что эта жизнь течет ровно, спокойно и выжидательно, как в центре страны, так и в любом тихом местечке Франции. Нечего рассказать о важном, потому что важного ничего нет, и не стоит рассказывать анекдоты, которых много. Неудачливый игрок сидит в сторонке от зеленого поля, на котором продолжается и разрастается азартная игра, — сидит, в тайне надеясь, что решительный поворот чьей-нибудь дружественной ему судьбы выручит и его великодушным займом, или, в крайнем случае, можно будет принять участие, когда раздраженные участники состязания будут бить обнаруженного и уличенного шулера. «Это будет последний и решительный бой».

Есть, конечно, у каждой единицы ее личные страдания, но они в общем стоне в счет не идут, и на каждое из них, как бы оно ни казалось безмерным, найдется где-нибудь еще пущее. Возможно, что среди других порабощенных стран Франция сравнительно благоденствует, — сейчас это очень трудно сопоставить и учесть. Материалы для истории накапливаются, но с разборкой их спешить не приходится. Ибо никто не знает, стоим ли мы перед концом, или в середине развития, или же только в самом начале отвратительных и позорных событий человеческой жизни, которые, по принятой в истории терминологии, будут названы не просто великими, а величайшими.

## Очередное пугало

*(Конец янв<аря> 42)*

Европу, напуганную гитлеризмом, теперь начинают запугивать большевизмом. А что, если Россия, справившись с германским вторжением, сама двинется вперед, перешагнет свои границы и займется вплотную европейскими делами? Не попадут ли тогда ее союзники из огня да и в полымя?

Мы, русские за рубежом, ставили и ставим себе этот вопрос давно, много раньше, чем зимняя стужа дала неприятелю почувствовать его, может быть, роковую стратегическую ошибку. В час, для России трагический, мы свою позицию определили ясно и просто: если не телом, то всей душой с русским народом, против иноземного врага. Не большевизм борется на фронте и не правительство, а народ, защищающий свою землю и свою независимость. И в прошлую мировую войну тот же народ защищал Россию, и точно так же зарубежные ее дети, тогдашние революционеры, желали ей победы и лично шли за нее драться, кто на французском, кто и на русском фронте, — за нее, за ее землю и ее народ, а не за ее правительство.

Были исключения – как есть и сейчас; тогда это были большевики, сейчас это их прямые идеологические наследники, пораженцы, германские прислужники. Разница, конечно, есть: те были фанатиками идеи, эти – либо глупцы, либо корыстные предатели; но позиции их равны, равно и наше к ним отношение. Становясь на простую, безоговорочную, патриотическую, сыновнюю точку зрения, мы не слепы и не можем забыть, что у России, кроме врага внешнего, есть и внутренний враг – стародавний, лишь изменивший личину самодержавный строй, политический деспотизм, равный тому, который обещается Европе под скромным и безличным наименованием «нового европейского порядка».

Но это – наше внутреннее дело, дело народов России, которые сами вправе определять и решать, какой строй им нравится и нужен, оставаться ли при нем и впредь, или, поняв, к чему он страну привел, изменить его в корне, призвав кого полагается к ответу и суду. И никто России в этом деле не указ – ни иностранцы ни даже мы с нашим сознательным, примитивным, но, конечно, искренним патриотизмом (слова бояться нечего).

Но как быть Европе, демократической Европе, как быть Америке и всем союзным странам, не для того борющимся за принципы и за практику строя свободы, чтобы, сбросив одну угрозу политического деспотизма, создать опасность другой.

Мы, конечно, можем и хотим надеяться, что уроки истории не проходят даром, что Россия после войны не останется прежней. Говорю не о ее социальном строе, о котором возможен спор и между нами, но о строе политическом, строе духовного порабощения личности коллективом, о засилии власти, о религии кулака и крови. Но то, чего мы хотим, мы обещать не можем. Нам остается спокойно и холодно рассуждать. Сейчас в столкновении и кровавой борьбе не два строя идей, а две коали-

ции держав. В союзе тройственном все ясно — союз полного идеологического сплочения, сулящего Европе и всему миру уничтожение всех демократических чаяний, смерть всякой политической свободы, искажение лика общественности и культа независимой личности в независимой стране. В коалиции противоположной, демократической (иного, более определенного слова, пока не придумано), только одно пятно — предшествовавшая политика правительства России, то, что называют большевизмом, болезнью, несомненно, заразительной. В первом случае — верная и окончательная гибель, во втором — немалый риск. Простой математический учет сил показывает, на чью сторону становиться. И вправе ли мы думать, что в организации новой Европы старые демократии окажутся бессильными и всецело подчинятся своей восточной союзнице, которая сделает то, чего не удалось сделать наци. Такое предположение нелепо. И не этого, конечно, боятся европейские политики, не русского большевизма, достаточно вылинявшего и далеко не столь страшного. Они боятся революции социальной, которая за полвека изменила лик России, не сделав ее страной свободной политически; боятся расцвета коммунистических идей, хотя бы в гораздо более чистом и идеальном виде, чем они проявились в нашей стране; боятся ломки отношений экономических, полного крушения капиталистического строя. И тут можно возразить только одно: что эта социальная революция уже происходит и никто не в силах ее остановить, что единственной задачей может быть только ввести ее в рамки большей постепенности и меньших потрясений, использовав русский опыт и устранив и смягчив его ошибки. Происходит, к сожалению, и большее, так как война отчасти уже «большевизировала» Европу, хотя и борющуюся как будто против диктатуры, но в действительности ею зараженную (пример — Фран-

ция), и эта угроза гораздо страшнее всяких коммунистических настроений, гораздо отрицательнее их по существу с демократической точки зрения. И Европе приходится бояться не столько России, сколько самой себя, своего легкого отречения от «высоких традиций». То, что в России вырождается и может быть стерто войной, то здесь лишь входит во вкус, все эти маленькие как будто ограничения независимости личности и свободного развития общественных сил, стеснение печати, сугубый контроль, вмешательство государственной власти в личную жизнь, поощрение ксенофобии, централизация управления, расширение кадров чиновной администрации. Это и есть скрытый образ «большевизма», как мы его знаем и имели несчастие понять и ощутить. Это могло бы оправдываться войной, — если бы что-нибудь можно было войной оправдывать, если бы это не было величайшим лицемерием, как всякое оправдание измены принципам. Опыт прошлой войны достаточно показал, с каким трудом и какой неохотой отказываются государства, в том числе и демократии, от «временных мер» военного времени, с какой простотой они обращаются в постоянные.

У демократической Европы два врага: гитлеризм и большевизм, родные братья. Кто из них враг номер первый? Один из них посягает на переустройство всей Европы, другой пока сидел дома и отравлял жизнь своим гражданам. Они могли бы нежно обняться, но, очевидно, они не поняли и не оценили друг друга, и дружба их оказалась недолгой. Это понятно. Гитлеризм — явление национальное, коренящееся в основах германской культуры; и это доказано веками; большевизм — явление временное, глубоко чуждое культуре русской, гуманистической и пронизанной духом независимости, терпимости, жертвенности, самоотречения. Враг номер первый ясен — колебаний в выборе быть не может.

Его окончательно не может быть с того момента, как Россия, подвергнувшаяся вражескому вторжению, объединилась в своем сопротивлении не идеей насилия, а идеей защиты, не именем «вождя» (мы его имени сейчас почти не слышим, хотя раньше оно мозолило терпеливые уши!), а именем родины, в чем не может быть никакого сомнения для тех, кто Россию знает и может понимать. И в прошлую войну Россия воевала не за царя и не за свой отживший и гибельный политический строй, — она это доказала, расквитавшись и с царем, и с прежним режимом. Кто решится утверждать, что история не повторяется? Можно сказать одно, и сказать смело: для гибели гитлеризма необходимо поражение Германии; для гибели большевизма (как мы это слово понимаем и как его понимать нужно) достаточно того, что Россия испытала и что еще переживет, чем бы ни окончилась ее отчаянная борьба. Союз с демократиями разрушит стену, отделявшую нашу страну от культурного мира; одного этого достаточно, чтобы очистился воздух и открылись глаза. Да они и открылись: в муках войны довершится развитие нового сознания, начало которому положено великой русской революцией и которое затормозилось за годы ее искусственной изоляции.

* * *

Было бы хорошо и удобно, если бы люди делились на добрых и злых, идеи — на положительные и отрицательные, правители — на ангелов и деспотов, государственные системы — на правильные и ложные. К сожалению, преобладают типы и формы смешанные, и разбираться в них непросто. Когда под кличку «большевизма», явно отрицательную и выражающую не только марксистское мировоззрение, а и практику государственного деспотизма, подводится все,

чем духовно живет новая Россия, — нам это кажется не только несправедливым и диким, но и глупым, как и выражения «большевистские войска», «большевистский фронт» и проч., часто встречающиеся в военных бюллетенях. Русский народ защищает не марксистскую идею и не собственное политическое рабство, а свою землю и свое право жить так, как он сам хочет и может жизнь свою создать, без чужой указки и помощи, унизительных для его достоинства. Это право священно, и никому не должно быть дела до того, как оно будет русским народом использовано. Если кому-нибудь это кажется опасным, если это чем-нибудь могло бы угрожать союзным демократиям, то это значило бы, что немногого эти демократии стоят. Но в набат бьют почему-то не демократии, а их противники и вассалы их противников, посылающие добровольцев для участия в «крестовом походе». Это очень характерно и очень знаменательно. Значит, есть в их утверждениях внутренняя ложь, в их толкованиях — искусственность. И если это так, то попутничество России, страны не демократического режима, с европейскими демократиями и Америкой не есть только случайный союз, а мудрое предвидение будущего, которое может определиться их общей победой над той «осью», на которую, как на вертел, предполагается нанизать нас всех, как перепелок.

### Непоправимое*

*(20.5.42)*

Вы, вероятно, читали, что где-то какие-то дикие народы, — не помню где и какие, — умеют так искусно препарировать отрубленную человеческую голову, что она делается совсем маленькой, в ку-

* Немецкий перевод опубликован в «Nazional Zeitung» в Базеле.

лачок, сохраняя пропорциональность черт лица, и в таком виде остается на долгое время как трофей или как реликвия. Об этом писалось не раз, и это подтверждают путешественники по экзотическим странам.

Сжатая в кулачок голова мне представляется прекрасным образом нашей современной приспособленности, экономической и нравственной, к условиям военной жизни. Сжимаемость происходит неравно для отдельных лиц; привыкшие к лишениям ощущают ее меньше, для более избалованных она ощутимее и болезненнее. Различна и сила сопротивления в отдельных случаях. Но в масштабе большом, общественном, иногда государственном, процесс restriction* приблизительно одинаков для всей Европы, и разница наблюдается только в его стадиях: ограничение в предметах питания, в жизненных удобствах, в потребностях духовных, в проявлениях индивидуальной воли.

Мы утешаемся мыслью, что это поправимо. Наступит какой-то момент, и начнется процесс обратный, то есть появятся в обилии жиры, сахар, топливо, бензин, голос человека прочистится для свободного высказывания мыслей, печать перестанет терять время на оглядывание и на подбор изысканно осторожных выражений. И тогда — выражаясь красиво — благодетельные дожди опять наполнят пересохшее русло жизни и стремительный и чистый поток унесет наши временные недомогания и печали. Конечно, мы недосчитаемся многих, не сумевших пережить этот тяжелый период истории. Но пробел пополнится приростом новых молодых сил, может быть лучших, так как более подготовленных к житейским испытаниям.

Мысль утешительная, как всякая иллюзия, и оспаривать ее как-то жалко, словно бы даже нехо-

* Ограничение (*фр.*).

рошо. Но она не только безжалостна, но и не верна.

Она безжалостна тем, что сбрасывает со счетов судьбы с предельной грубостью цену загубленных жизней. По какому праву ряд незавершенных, неиспользованных, неисчерпанных жизней обрекается на роль удобрения для будущих всходов? Экономически это бессмысленно и бездарно, социологически — несправедливо и безнравственно. Живой природе такого типа жертвенность чужда, она знает жертвенность, но в форме со-радости и со-страдания, а не самоубийства, в форме тончайшего переплета всепроникающих нитей сотрудничества. Современное естествознание вынуждено отказаться от идеи bellum omnium contra omnes*, которую оно приписывало природе, и признать основным фактором именно организованное сотрудничество. Корни многих деревьев гибнут без обвивающего их грибного мицелия, как этот мицелий не может существовать без пищи, доставляемой ему корнями. Большая часть растений не может продолжать род без опыляющих цветы насекомых, как и они без пыльцы и меда цветов. Есть насекомое, самка которого, положив яички, покрывает их своим телом и погибает, давая им защиту от вредных внешних влияний. Это не самоубийство, не бессмысленная жертвенность, а завершенность жизни, акт, полный смысла. Но мой потомок не выиграет решительно ничего от того, что я страдаю и гибну в муках, завещая и ему поступить так же ради блага его потомков, — ложный, порочный круг, исключающий всякую возможность человеческого счастья, огромная, в основе своей жестокая и бездарная социологическая идея.

Но не только безжалостна, но и не верна мысль о том, что за периодом тяжких испытаний и отказа

---

* Война всех против всех (*лат.*).

от культурных завоеваний последует период благополучия, в котором утраченное наверстается с лихвой. Этого случиться не может, и препарированная дикарем человеческая голова никогда не может ни вернуть себе прежнего вида, ни прирасти к плечам. Нас часто обманывает внешность: новый дом на месте снесенного, новый парк, разбитый на месте сгоревшего леса, — и мы забываем о культурной самоценности того, что было и что исчезло. Погибшее не восстановимо. Оно не восстановимо вполне даже в области бытовой житейской обстановки. Разбитую чашку можно заменить другой, лучшей; если она от целого сервиза — заменить весь сервиз; но разбитую античную вазу заменить уже нельзя, как и все, что отмечено печатью художественного творчества или с чем соединены переживания порядка духовного. Во время войны я потерял свою библиотеку редких старых книг, собранную любовно за многие годы. Предположим, что некий благодетельный гений подберет и восстановит мне по сохранившемуся каталогу все книги в тех же их изданиях, — но это будут не те книги, не та библиотека, в которой каждый экземпляр был мне ценен индивидуально, мною особо изучен, исследован, перелистан, в его переплете, с его экслибрисами, с чернильными пометками, даже с недостающими страницами, и мною поставлен на книжную полку с тем чувством книголюба, которое профану не понятно. Разве возможно заменить своего умершего ребенка приемышем? И то же в области чисто духовной, в области, где мы живем в строе определенных идей, правильных или ложных, но для нас жизненно ценных, годами выработанных. Если этот строй идей насильственно разбит или поколеблен — он возродиться не может. Вера может быть только цельной; вера с трещиной, с сомнениями, с оговоркой, с исключением — не есть вера, а есть только опыт

самоутешения, одежда с заплатой, натягивание на себя слишком короткого одеяла, попытка спрятаться от ливня под дамским летним зонтиком. Если, например, такие понятия или ощущения, как любовь, свобода, человечность, раз подвергнуть ограничительным толкованиям, только один раз согласиться или быть вынужденным посадить их на цепь или в клетку, — уже не будет ни любви, ни свободы, ни человечности, останутся только трупы повядших некогда благоуханных цветов; их ничем не оживить. Те духовные ограничения, которым мы сейчас подвергаемся, наносят нашим верованиям удар непоправимый. Возражать напрасно: перед нами свидетельство истории, и люди старших поколений знают, что нами утрачено в смысле культуры духовной хотя бы только с дней прошлой мировой войны, также богатой всяческими restrictions. Внешне за нею последовал расцвет цивилизации, внутренне — упадок культуры. Теперь мы подошли к новой роковой черте — и страшно заглянуть в разверстую перед нами пропасть.

И трагедия в том, что ничья победа, ничье поражение не может отвести нас от края пропасти, который осыпается. Дело не в исходе борьбы, а в необратности погибающего и погибшего. Можно, конечно, им не дорожить. Можно, например, зачеркнуть страницы истории религий, достижения философии, все то, что люди искали и думали, что найдут. Зачеркнуть работу веков — и начать строить по планам и сметам проблематического «завтра». Так, по-видимому, и происходит. Может быть, так и должно происходить. Вопрос не в целесообразности, а в факте необратимости ценностей прошлого, с утратой которых не всякий ум и не всякое сознание способно примириться, — как не миримся мы с потерей родного и дорогого человека. И не всякому доступно утешение, что вот придет «новый человек» и, прежде чем начать работу Данаид,

будет, как слепой щенок, тыкаться мордой в блюдечко с молоком. Мы можем пожелать ему успеха, но, уходя в царство теней, неизбежно согнем плечи под тяжестью обломков прежних верований, расстаться с которыми для нас немыслимо.

## Власть прошлого*

*(29.6.42)*

В своем стремлении непременно «побеждать» природу, как будто природа наш враг, как будто мы не часть природы, — человек гордится постепенным уничтожением расстояний. Путешествие, на которое наши деды были вынуждены тратить месяцы, которое казалось целым подвигом, было сопряжено с опасностями, требовало долгой подготовки и большой решимости, теперь оказывается пустяком, перелетом стальной ласточки, делом нескольких часов с затратой такого-то количества бензина. Теоретически ничто нам не мешает вместо этой письменной беседы условиться о встрече и обмене мыслями — по взаимному соглашению либо на такой-то улице Нью-Йорка, либо же в мирном городке Франции, где пишутся эти строки и где я не могу предложить вам ни особых удобств, ни разносолов, но все же угостил бы продуктами своего огорода, добрым козьим сыром и хорошим вином.

Теоретически это так. Но, успешно побеждая природу, человек никак не может совладать со своей внутренней природой, с привычкой усложнять до крайности простейшее и чинить препятствия всякому проявлению свободной частной воли. Приподнявшись на цыпочки посреди нашей единственной площади, пересекаемой прямой улицей, я вижу

* Немецкий перевод первой редакции этой статьи был опубликовав 29. 4. 1942 г. в «Nazional Zeitung» в Базеле.

в перспективе улицы и такой же прямой аллеи крайние дома соседнего городка на расстоянии двух километров; этот городок находится в оккупированной зоне, и я знаю, что для проезда туда нужны месяцы, может быть, года, и что попасть в Нью-Йорк гораздо легче и проще. Во всяком случае, муравей доползет туда гораздо скорее, чем иная разумная человеческая личность, и хвастаться победой над расстояниями нам не пристало.

С годами (действительно, мы уже ведем счет на года!) выработалась привычка к странным невидимым преградам, которыми сейчас исполосована Европа; пути более или менее свободны только выше линии облаков, но этими путями пользуются не для дружеских визитов. Привычка к перерыву общения с родными и самыми близкими людьми, к неведению того, кто из этих близких жив, что он думает, к чему готовится, чем надеется оправдать свою жизнь. Как никогда раньше, мир стал полон туманных далей и знаков вопроса. Воображение, верное прошлому, рисует иногда какую-нибудь улицу очень знакомого города, на ней такой же знакомый подъезд знакомого дома; но очень возможно, что нет больше ни этой улицы, ни дома, ни подъезда, ни вообще прошлого, оттиснутого в вашем сердце золотыми литерами любви. Возможно, что нет и тех людей, которым вы мысленно посылаете привет. Нам, русским, это особенно хорошо и особенно давно известно; мы и до войны часто не знали — и не могли узнать — с живыми или только с тенями беседует наша душа, и если с живыми, то остался ли им понятен наш язык, когда-то с ними общий, или при счастливой встрече мы в знакомом голосе не уловили бы знакомых слов. Война создала то же положение для миллионов обитателей Западной Европы; это, если хотите, дает нам некоторое национальное удовлетворение, от которого, впрочем, мы охотно

отказались бы вопреки пословице: «разделенное горе — полгоря».

Не знаю, чем кроме подобного рода общих рассуждений мог бы занять ваше внимание. Все, более конкретное, потребовало бы условной окраски, на которую не считаю себя способным. Стал обязательным язык недоговорок и иносказаний, молчанье стало высшей добродетелью, поют соловьями только хищные птицы. Будущее включено в ряд обязательных программ, настоящее не подлежит оглашению — нам остается прошлое, о котором еще не все сказано. Делать нечего — поговорим о власти прошлого.

* * *

Не думаю, чтобы в Европе нашлось много людей, вполне удовлетворенных настоящим и не мечтающих о счастливых переменах, то есть об окончании войны и возврате к тому быту, который называется нормальным. Хотя каждый человек совершенно свободен в своих мечтаниях и мог бы уноситься мыслью в область самых чудесных фантазий, но любопытно, что огромное большинство мечтает не о новом и необычном, а именно о возврате к старому и привычному, в чем оно видит естественное спасение. Художественная литература чрезвычайно скудна утопическими романами, и эти романы поражают скудостью предвидения и изобретательности; они стареют в одно-два десятилетия, и их «необузданная фантазия» спешно делается банальностью. Попробуйте на досуге, если у вас есть досуг, представить себе картину земного рая по вашему вкусу; вы убедитесь, что этот рай составится из уже известных по вашему или чужому опыту бытовых условий и жизненных моментов, из лучшего, что вы сами испытали или подметили в завидной жизни других. И чем труднее нам жить в данный момент,

чем больше приходится испытывать всяких жизненных ограничений, — тем более скромным и скудным делается полет нашей фантазии. Рай современного среднего европейца — свобода передвижения, обилие и разнообразие пищи, личная безопасность, возможность постоянного обеспечивающего заработка, теплая квартира зимой, небольшой отдых в природе летом, и — для самых безудержных мечтателей — некоторое участие в строении общей жизни, хотя бы право на подачу робкого голоса. В иных странах и иных условиях представление о рае понижается до крайних пределов; так, например, жителю Мальты рай должен представляться таким пунктом земной поверхности, в котором человек может в любое время спокойно жить на этой поверхности, не прячась под землю от огненного дождя. Картина рая пишется не красками будущего, а преимущественно памятью об утраченном прошлом. Тот, кто никогда не ел куриной котлеты, не включит ее в меню будущего блаженства; тот, кто никогда не жил в условиях гражданской свободы, легко обходится без нее в мечтах о «светлом будущем».

Если это так, то мы должны внести серьезную поправку в определение прогресса соответственно европейской общественной психологии. Идеал прогресса есть сохранение терпимого в настоящем, возврат к лучшему в прошлом. Огромный процент людей желал бы вернуться к дням, предшествовавшим этой войне; еще больший, может быть, почел бы за истинное счастье и прогресс возврат к эпохе до войны 1914—18 годов. Речь здесь идет, разумеется, не о политические деятелях и дельцах, производящих опыты над живым матерьялом, из которого слагаются понятия «общества» и народа, а о крупинках этого самого материала; и не о мыслящих отвлеченно, а о переживающих реально.

Отсюда и примитивность нашего представления о будущем, соответствующая примитивности иде-

ала прогресса. Мы мыслим простейшими аналогиями прошлого. В июне 1940 года Франция ждала непременного повторения событий предыдущей мировой войны, то есть ждала, что германская армия будет остановлена перед Парижем, потому что именно так было раньше. Каждый этап войны сопоставлялся с якобы соответствующим этапом предыдущей, и мало кому приходило в голову, что в условиях развития этих двух войн не было почти ничего общего. Прошлым летом Россия мысленно допускала возможность сдачи Москвы, но лишь в уверенности, что зимой с германской армией произойдет то же, что случилось в 1812 году с нашествием «двунадесяти языков». Падение же Ленинграда она не допускала и не допускает, потому что «Петербург никогда и никем не был взят». Большинство англичан верит в конечную победу своей страны, так как «Англия в прошлом проигрывала все сражения, кроме последнего». Для очень многих последним сроком войны представляется 1943 год, так как предыдущая война тянулась четыре года. Окончание войны рисуется огромному большинству в форме военной победы одной из сторон, перемирия и международной конференции мира, — хотя для подобного представления нет достаточных оснований, и война может завершиться полным истреблением населения Европы, всемирной революцией, обратиться в перманентную (были же войны «тридцатилетняя» и «столетняя») и проч. Сверх того, борьба идет вообще не за победу, а за наименьшее поражение, за меньшие убытки. Сейчас обе борющиеся стороны составляют и публикуют программы будущего строя Европы и всего мира, но не нужно быть ни предубежденным, ни просто скептиком, чтобы видеть, что в этих проектах, цель которых — пропаганда, нет ни единой черты новизны, что они представляют из себя лишь удачные или неудачные по замыслу комбинации уже существовавших политических и эконо-

мических отношений, с добавкой элемента платонических пожеланий, также тесно связанных с возвратом к прошлому.

Столь огромна в наших представлениях власть прошлого. И это совершенно естественно, потому что лишь прошлое реально; настоящее — переходный миг, будущего еще не существовало. Едущему на пароходе у берега кажется, что берег движется, а пароход стоит на месте. Той же иллюзии подвержено наше представление о потоке человеческой жизни, будто бы стремящейся вперед. В действительности поток жизни летит в прошлое, где волна подталкивает волну, создавая историю. Прошлое рождается из небытия, которое мы условно и неправильно называем будущим. В действительности «будущее» есть ничто, которое, прорезав наше «сегодня», станет реальным «вчера». Стоя спиной к этому «ничто», мы не можем ни видеть его, ни диктовать ему, ни угадывать в нем. И мы не можем его любить и ради него приносить жертвы. Весь ужас человеческой ошибки в том, что живущие поколения приносятся в жертву во имя призрачного счастья столь же призрачно грядущих поколений, реальное губится ради несуществующего и не могущего существовать, прежде чем оно станет прошлым и, следовательно, тоже приносимым в жертву. В этом роковом заблуждении источник войн и революций. Самопожертвование может быть нравственно прекрасным актом, и для этого целесообразия не требуется: бессмысленность и бесцельность неизбежно лишают его всякого практического значения. Если мы в силах, дав волю самой необузданной фантазии, нарисовать хотя бы бледными красками картину завтрашнего рая, не составив ее из кусочков прошлого, единственно нам известного, — то как можем мы приносить миллионы людей в жертву этой искусственной мозаике, этой нереальности, которая станет реальной только тогда, когда вся

целиком унесется в прошлое и потеряет всякое значение?

Ум не всегда это улавливает; но простое человеческое чувство, назовем его обывательским, со всей силой ощущает безумие и бессмысленность авантюры: оно видит спасение не в туманных картинах «нового порядка», а лишь в возврате к покою вчерашнего мирного дня.

Кто смеет сказать, что оно не право?

**Перед закатом**

*(Июль 42)*

Закату солнца, вечерней заре, уходящим летним дням и прелести осеннего умирания природы посвящено так много и так талантливо подобранных слов, так искусно найденных красок, — что нет надобности в новых выражениях напоминать о силе впечатлений ухода из жизни прекрасного; притом эти строки пишутся в разгаре июля, когда об «уходе» думать рано. Но уже давно и необычайно остро мы переживаем впечатления иной осени и иных закатов, которых не может обойти вниманием ни мистик, ни реалист, ни поэт, ни расчетливый практик.

Хочется сказать: торопитесь любоваться красивыми сказками и картинами нашей внутренней жизни, уходом того, что мы щедро награждали эпитетами духовного аскетизма, подвижничества, чести, жертвенности, что олицетворяли в союзе трех граций — веры, надежды, любви. В многоразличных актах жизнетворчества это выражается определенным, хоть и не всегда отчетливым строем идей — нравственных, общественных, политических, в силе и уверенности убеждений, в пылкости надежд, в радости достижений. При всем различии подходов, оценок, внешних выражений, — как разнствуют люди, расы, страны, — все же было всегда нечто единое,

общечеловеческое, которое и полагалось в основу прогресса. Это единое носило имя «человечности», так как в своей наивной, но простительной горделивости мы считаем двуногое нашей породы за высшее и наиболее совершенное творение природы. Может быть, мы ошибаемся, но не в наших силах переместить центр мира из «мы» в каких-нибудь других «они»; и потому человечность, развитие лучших наших качеств мы не могли не считать за зенит добра и условие земного счастья.

Мы так считали. И вот сейчас, в связи с закатом строя идей, основанных на этом принципе, наступила пора спешно любоваться его последними световыми и тепловыми излучениями. «Солнце, остановись!» — Солнце, конечно, не остановится, но, уходя, подарит игрой самых волшебных красок. Во всяком случае, можно еще говорить таким, несколько повышенным стилем, не опасаясь всеобщего полного непонимания. Может, конечно, пролиться на голову ушат холодной воды, можно натолкнуться на насмешку недавних друзей и единомышленников, можно в рядах своих недосчитаться очень многих, но какой-то отклик, несомненно, будет, дружеский отклик мечтателя в старомодном наряде, тоже вышедшего полюбоваться на закат. Но, говорю я, нужно торопиться, потому что придет и уже грядет управа и на самую невинную перекличку чудаков. И это — не самое страшное, это предусмотрено опоэтизированной нами жертвенностью; страшнее естественный, непроизвольный закат идей, которыми жило столько поколений, считая их если не вечными, то безошибочно направленными, укорененными мыслительной работой прошлого, способными для дальнейшего развития. Страшно в самих себе сознание роковой ошибки, источник которой — слепая вера в конечную победу добра, или, вернее, того, что мы считали добром. Уверяют, что Сократ, твердый в этой вере, умер с улыбкой на устах; но ведь мы

знаем, как пишутся красивые рассказы и как говорятся предсмертные речи, и трудно нам верить в улыбку отравленного чашей цикуты. Не была ли его улыбка только гримасой страданий? И упрямство веры — есть ли свидетельство истины? Где-то есть предел, за которым может наступить момент полного отказа от всех достижений самых блестящих веков философии. Вместо прямой, как стрела, дороги, ведущей человечество к храму добра и счастья, не окажется ли высшей истиной порочный круг, который захлестнет ему горло мертвой петлей? Пока страшный призрак еще не стал очевидной реальностью, — торопитесь любоваться прощальными красками заката прежних верований.

------

Уместно ли петь отходную тому строю идей, на защиту которого встало полмира? Разве не идет жестокая борьба двух идеологий, и разве исход ее можно безошибочно предсказать?

«Борьбу двух идеологий», олицетворяемую войной, создало наше честное и взволнованное представление, чтобы найти не только объяснение, но и оправдание тому бесчеловечному, что происходит в мире. Мы схематически делим человечество на две части, на злую и добрую, и каждой приписываем сознательное участие в борьбе, то есть защиту или ниспровержение наших собственных социальных и политических позиций. Это даже географически неверно, и нет никакой точной линии фронтов. Психологически двухмиллиардное население земли в своей огромной, подавляющей массе не только нейтрально и равнодушно к борьбе намеченных нами «идеологий», но и не ставит о них никакого вопроса. Не ставят его не только те, кто непосредственно в борьбу не втянуты и от нее не страдают, но и значительный процент самих борющихся, вы-

нужденных бороться. Германскому крестьянину нет никакого дела до «жизненного пространства», как русскому до «мировой революции», как миллионам европейцев до «демократии» или «государственной тоталитарности». Борются не правда с кривдой, а путаные воли, искусственно созданные понятия, и борются одинаковыми средствами и до мелочей сходными орудиями. Именно эта каша идей, их условность, их подделка, их театральный демонизм или их кричащая святость и сокрушают дружно и необоримо цельность и стройность наших собственных, личных, любовно и заботливо созданных убеждений, под углом которых мы рассматриваем события. Если в основу прогресса мы ставили принципы человечности, свободы, справедливости, то они низвергнуты по обе стороны линии происходящей борьбы, и ничья победа веры в них восстановить не может. Объективно это бесспорно и неопровержимо; субъективно мы отдаем сочувствие той стороне, которой условно доверили наше знамя, поскольку мы сами не воины, а лишь исповедники идей. Иначе мы поступить не могли, потому что мы люди, обыватели земли, а не святые мудрецы. И вот мы прощаем и оправдываем ужасы и кровь одной стороне, которую считаем нашей, вменяя то же в вину и преступление другой. И это, конечно, уже отказ от собственных священных принципов и не может быть примирено с чистым и ясным сознанием.

У нас есть оправдание: человеческое несовершенство. «Люди проходят, идеи остаются». Но куда уйти от сомнения в том, что есть смысл в утверждениях, пригодных лишь в теории и на каждом шагу сокрушаемых практикой жизненных отношений? Какая нужна сила веры, чтобы в драгоценном камне, оказавшемся стекляшкой, снова увидать алмаз! И какая, следует прибавить, терпимость и снисходительность к самому себе, — при строгости к другим.

Потому я и говорю, что — раз уж мы живем иллюзиями — нужно торопливо любоваться световой игрой заката. Любоваться своим и чужим патриотизмом, подвигами и самоотверженияими, способностью бросаться в борьбу не рассуждая и не философствуя напрасно, прекрасными примерами взаимопомощи, согревающими нам жестокие зимы и умеряющими лишения. Нет вечных истин, и нет незыблемых нравственных законов. Идеалы меняются, как меняется мода. Это не значит, что к ним не может быть возврата, — его история не отрицает. Кроме того, остаются чудаки, не желающие откликаться на новую моду, староверы, не согласные на уступки. На старую бронзу ложится патина времени, и в любовании прошлым также можно находить утешение.

------

Пессимистические речи. Но что такое, в сущности, пессимизм?

Перед нами две чаши весов, над которыми склонилась судьба и бросает, как хочет, свинцовые шарики то на одну, то на другую чашу. Мы следим с жадным вниманием, связывая с колебаниями чаш все наши упования и в личной жизни, и в жизни наших дней. Но выражения наших лиц неодинаковы. Одни лица освещены надеждой, другие всегда омрачены предчувствием плохого. Одни принимают печальное как временное, другие не доверяют прочности удач, и на чистом, казалось бы, небе ищут подозрительного облака. Мы называем первых оптимистами, вторых пессимистами.

Возьмем эти понятия не философски, а житейски, не тревожа великих теней Лейбница и Шопенгауэра. И оптимист, и пессимист одинаково жаждут лучшего, вся разница в степени их уверенностей и сомнений. Мы не любим пессимистов и приветствуем оптимизм; он облегчает нам жизнь. «Всё к лучшему в этом

лучшем из миров», — говорит Панглосс в «Кандиде». «Всё минется — одна правда останется», — говорит старая русская пословица. И если даже Кассандра никогда не ошибалась в своих мрачных предсказаниях, — ей никто не хотел верить. Оптимизм, разгоняя тучи дамским веером, позволяет выхватывать минуты и часы благополучия из дней и месяцев несчастья. В обвалах и крушениях он утверждает, что жизнь продолжается. Пессимизм портит нам отлично приготовленный обед и кислит самое отборное вино.

Оптимизм не нуждается в защите; он удовлетворен самим собой. Нуждается в ней пессимизм, несправедливо обижаемый. Оптимизм слеп, пессимизм зряч. Вся человеческая цивилизация создана постоянными опасениями несчастья и гибели. Предвиденье холода привело к домостроительству, голода — к сельскому хозяйству. Боязнь нападения зверей и людей выстроила первые города. Опасение бессилия личным трудом удовлетворить все потребности привело к мысли о торговом обмене и фабричной промышленности. Неверие в добрые намерения ближних заставило людей выковывать оружие, придумывать нормы права и создать государства, в основе организации которых лежит принцип взаимного недоверия. И в жизни практической, личной, общественной, государственной побеждает предвидевший худшее, верх берет пессимист. Разве это не доказывается текущей историей?

Пессимизм может быть пассивен — это плохо; но вообще бездействие ближе всего свойственно оптимизму, «попрыгунье-стрекозе» из крыловской басни. И нет величайшего пессимиста, чем трудолюбивый муравей, кстати сказать — отвратительное насекомое, строящее прообраз жизни будущего человеческого коллектива.

Насекомое отвратительное. Но здесь мы уже переходим к личным оценкам представителей житей-

ских настроений. Конечно, улыбка на лице приятнее нахмуренных бровей, доверчивость прельстительнее взгляда исподлобья. Но тогда не защищайте слишком цивилизацию и помните, что между толстовским непротивлением и буддийской нирваной есть и еще немало уютных убежищ, куда может спрятаться от мировой непогоды промокший до костей, но сохранивший веселую бодрость современный человек.

## Радиоудушье

*(28.8.42)*

Существуют нейтральные страны — но существуют ли нейтральные гражданские единицы? Предположим, однако, что нашелся человек, широко и вполне воспринявший принцип стоиков nihil admirari* и способный смотреть на происходящее с тем бесстрастием, с каким натуралист наблюдает войну муравьев или взаимное пожирание малых организмов под микроскопом. Его заключения не могут не представлять большого интереса.

Прежде всего, по-видимому, он нам скажет, что не происходит ничего нового и особенного и что нет оснований употреблять выражения «впервые в истории», «небывалое в мире» и проч. Естественно, что в мире до сих пор не было того, что есть сейчас, то есть ни меня, ни вас, ни этой букашки, ни этой пушки, ни этого события, ни даже этой минуты. Настоящего не было в прошлом, как не будет в будущем. Мало того, в мире все настолько индивидуально, что на поле, засеянном пшеницей, нет и не может быть двух совершенно одинаковых колосьев, как нет на нашей голове двух одинаковых волос. Но речь идет об ином: об относительном подобии; и в том малом отрезке времени, который

* Ничему не удивляться (*лат.*).

мы называем историческим, подобие настоящего происходило не раз в относительно тех же размерах пространства, времени, волевого напряжения, человеческой жестокости и человеческих страданий. Достаточно вырвать из истории несколько событий или назвать несколько имен, географических и личных. Троянская война, битва при Фермопилах, великое переселение народов, нашествие гуннов, Аттила, Тамерлан, Наполеон, крестовые походы, Цезарь, Париж в эпоху паризиев, он же в 1870 и 1914 годах, Александр Македонский в Египте, Крымская война, осада Севастополя, разделы Польши, римляне, сассаниды, калифы, крестоносцы, турки, французы в Сирии, франки, норманны в Галлии, татарская золотая Орда в русских княжествах, — можно без всякого стеснения и без всякой системы скакать по страницам истории и на каждом клочке земли, в любую эпоху спотыкаться о трупы и перемазываться липкой человеческой кровью. Нас обманывает внешность, техника войны, роды оружия, комбинации союза племен и государств. Но и комбинации почти все исчерпаны, как в партии бриджа, где уже все партнеры играли друг с другом и друг против друга, нового нельзя придумать. Что до родов оружия, то еще в Гомеровой Илиаде над полем битвы летали крылатые боги, к воротам Трои был подведен деревянный конь — прототип танка, катапульты выбрасывали убийственные снаряды, в морских боях греками применялись огнеметы, стрелы поражали относительно не хуже пулеметов и винтовок.

Человек по природе жесток, но его изобретательность невелика, и в известном нам отрезке истории homo sapiens'a техника убийств далеко не ушла. Все ее достижения сводятся, собственно, лишь к последовательному увеличению расстояния между убивающим и убиваемым: раньше бились преимущественно грудь к груди, теперь убийца обычно

не видит своей жертвы, воин своего противника. Кроме того, раньше сражались в двух измерениях, на плоскости, теперь в трех: прибавилась высота и глубина, самолет и подводная лодка.

В частности, до удивительности ничего не достигнуто за четверть века, протекшие между двумя войнами: «великой», 1914–18 годов, и нынешней, которая вряд ли будет названа «величайшей», из опасения не оставить превосходной степени для войн будущих. Ряд технических усовершенствований, и ни единого нового изобретения (не осуществились ожидавшиеся «взрывы на расстоянии»). Мало того, перестал применяться один из сильнейших способов уничтожения неприятеля: удушливые газы.

И вот здесь предполагаемый нами «нейтральный наблюдатель» вынужден поставить вопрос: подлинно ли удушливые газы перестали применяться? Не произошло ли и в этой области усовершенствования, настолько значительного, что мы его не замечаем?

В промежутке между двумя мировыми войнами было изобретено радио — не для военных целей — но роль его в войне оказалась настолько огромной, что сейчас трудно сказать, что имеет больше значения, сила ли оружия или сила пропаганды. Внешне связь радио с удушливыми газами как будто незаметна; в действительности вся отравляющая гибельная сила последних перенесена в эфир. Разница в том, что раньше газовая атака поражала лишь определенный, незначительный участок поля военных действий, сейчас же район ее действия — весь мир.

Мы все живем в обстановке радиоудушья. Лишь в незначительной степени «говорящая машина» служит информации, которая противоречива и неполна и цель которой — по возможности не выяснить, а исказить картину и смысл происшедшего

на разных фронтах войны. Основная задача радио — искусственно создать мнения и душевные состояния, благоприятные данной борющейся стороне, и создать не на фронтах или не только на фронтах, а в тылу воюющих и нейтральных стран, то есть воздействие моральное, для которого все меры считаются дозволенными и не существует никаких «законов войны». Удушливые газы поражали тело, радио отравляет души, опутывая их ложью, запугивая, парализуя способность критически мыслить. Слушающий радио подобен человеку среди океана на маленьком острове, атакуемом короткими, средними и длинными волнами, грозящими смыть его с лица земли. Но хуже всего действие этих волн на человеческую совесть — действие отравляющее непоправимо. Мы не только отучаемся чему-нибудь верить, но и утрачиваем всякое мерило человеческого достоинства. Мы вечно присутствуем при уличной склоке двух соседок, осыпающих одна другую площадной бранью с выворачиванием всех интимностей их быта, с оплеванием всего, что мы считали в личной жизни священным и не подлежащим суду улицы. Это уже не борьба идеологий, — это потасовка королей из детской сказки, оказавшихся голыми. При этом радио оскорбляет и слушателя, пытаясь заткнуть ему уши специальными приспособлениями, когда берет перевес голос противника. В связи с прочими приемами лишения «права суждения и критики» это создает удушливую атмосферу всеобщего гражданского недоверия и отвращения к именам и нравственным авторитетам. Попытка «революционизировать» души в свою пользу приводит к их развращению. Отрава стократ более страшная, чем та, которая действовала только на кожу и дыхательные пути. Независимо от военной победы той или другой стороны она неизбежно приведет к поражению обеих, к моральному разложению гражданственности многих стран на многие годы.

Так, положа руку на сердце, скажет нам нейтральный «сторонний наблюдатель». Но так как нейтральных единиц нет, или уж слишком они редки, слишком «не от мира сего», то в удушливой неразберихе эфира родятся новые, внутренние группировки страстей, больных и нечистых, и в день последнего выстрела на далеких фронтах созреют все условия для тыловых гражданских столкновений. Так, выходя из цирка, обменивались пощечинами и тумаками клоуны-эксцентрики, зрители-мальчики вступают на улице в бой, подражая актерам цирковой пьесы. Так в толпе, расходящейся после уличной драки двух базарных торговок, возникает перебранка случайных зрителей. Так мирный семьянин, побыв долго в раздражающей и пошлой обстановке, внезапно устраивает дома сцену жене и кричит на детей. Только попробуйте их настроения увеличить в тысячу и миллион раз.

В таких настроениях я подхожу к «волшебному ящику» и повертываю надлежащую кнопку. И вдруг в комнату врывается ничего не желающий признавать, ничем не смущенный, пребывающий вне истории и ее событий певец, истовым голосом уверяющий меня в своих любовных страданиях. Сначала это кажется неуместным и отвратительным, как участие клоуна в похоронной процессии, как издевательство над моей собственной любовью к страдающему человеку. Но затем я догадываюсь, что это — опыт рассеяния удушливых газов, пример доказательства того, что жизнь должна и может продолжаться, по крайней мере, есть смысл об этом позаботиться. Где-то в волнах эфира неведомый певец по-прежнему открывает пасть и ошарашивает слушателей своим любовным экстазом, где-то на земле люди слушают симфонический оркестр, и я вспоминаю, что сегодня читал в газете статью о новых интереснейших открытиях в области египтологии — о фигурках, бывших доселе зага-

дочными, а теперь пристроенных наукой на свои места.

И, чтобы не быть или хотя бы не казаться пессимистом, я прощаю певцу его бестактный поступок. Мало того, дыхание становится более легким от вторжения пошлости быта в трагизм нашего бытия. Толпа, только что отмечавшая рычанием каждый ловкий удар двоих эстрадных боксеров, успокоилась на плоских шутках клоуна с обмазанным мукой лицом.

В сущности, отсюда уже недалеко до дальнейшего психологического этапа: до сознания «так было — так будет» и до холодного созерцания человеческой комедии, трагические черты которой внезапно слиняли. Иными словами — противогазовая маска. Говорят, что к ней можно привыкнуть.

Если же и это — самообман, то, во всяком случае, последний...

## Об ожесточенном сердце

*(12.9.42)*

Вы, конечно, не ждете от меня ни новостей, ни вообще «сообщений». Уже давно не только сенсации, но и чисто разъяснительные оповещения со страниц толковых и обстоятельных писем переселились в эфир, где их отряды сталкиваются в бою противоречий и всеобщей неразберихи, где фотография действительности должна угадываться преимущественно по негативам и следам более или менее искусной ретуши. Я иногда с улыбкой вспоминаю военную корреспондентскую работу на прежних войнах (их немало на памяти), когда наши сенсации мы отправляли с фронтов до ближайшей почты на волах, а затем толстые конверты долго сотрясались в неспешных вагонах, неделями, порой и месяцами, и все же приходили, сохранив аромат свежести, не опереженные столь же медлительным

телеграфом. Так было — тридцать лет тому назад — на войне балканской, под Адрианополем, в районе Чаталджи, позже — на русском западном фронте, или в Киренаике, военные операции в которой Габриэле д'Аннунцио воспевал в ужасных стихах, рифмуя подбор экзотических названий. Мы гарцевали верхом со всей штатской неуклюжестью, очинивали карандаш, сидя в траншеях под «ураганным огнем», который сейчас показался бы мелким осенним дождиком, спали в землянках под блиндажами едва толще картона, побивали рекорды непосредственной осведомленности, наблюдая с холмика в бинокль, как сталкиваются линии неприятелей, осыпают друг друга ручными гранатами, переходят в штыковой бой, расплываясь и тая в сгущавшихся сумерках. В этом, если хотите, была своеобразная жестокая поэзия, еще близкая к боевой медлительности Илиады, где герои и бойцы, прежде чем убить друг друга, успевали обменяться гекзаметрическими монологами. И даже в дни прошлой мировой войны внезапно появившиеся в небе стальные птицы все же казались красивыми, но бессильными хищниками. Все это — древняя история.

С тех пор как информация стала лишь скромным деловым попугайным занятием, она писательского пера вдохновлять не может, и мы оставляем ее чиновным профессионалам, любуясь попытками их изворотливости, но им не завидуя. Нашей областью делается быт — для книги, философия — для статьи. Скажем скромнее — философствование. Есть все же немало нейтральных тем, занятных для всякого времени, но теперь особенно живых и — как будто срочных. И я не удивился, встретив в одной швейцарской газете рассуждение о том, «станут ли лучше человеческие сердца после войны». Автор этого маленького отступления от непосредственных злоб дня не проявляет особого оптимизма. Ссылаясь на пословицу «прошла опасность — прощай

святой!», он склонен думать, что люди быстро забудут жестокий урок истории, разве что расчетливый альтруизм, по существу не глубокий, вынудит их быть терпимее и не спешить ввязываться в новую драку. Но он думает также, что мы на заре новой религии — религии труда. Разрушив и уничтожив столь много внешних благ, мы обрекли несколько поколений на непрерывную работу по восстановлению этих благ, на подлинные каторжные работы. Последнее верно, но сомнительно, чтобы вынужденный труд мог стать источником религии.

Труд, трудовая организация общества, хартии труда — все это давно знакомые, но в данное время очень модные слова. Любопытно, что в новый строй идей (новый ли?) они вводятся в их старом качестве, без глубокого и смелого внутреннего пересмотра. В самых крайних и самых противоположных политических идеологиях труд объявляется священным и дает ряд исключительных гражданских прав, по крайней мере их обещает. Возвеличение трудового принципа почти равносильно возвеличению принципа свободы (в самых многообразных ее пониманиях). При этом упускается из виду, что необходимость труда порождена несовершенствами жизни, отрицательными условиями природы, что труд, по библейской легенде, внутренняя правда которой неопровержима, есть проклятие изгнанных из рая: «в поте лица твоего будешь есть ты свой хлеб». Недаром слово «трудиться» в русском областном крестьянском языке означает также «умирать». Родственный корень со словом «страдание», и в слове «страда» (эпоха усиленных сельских работ) оба смысла примечательно совпадают. Обожествление понятия «труд» психологически чрезвычайно знаменательно и имеет тот же источник, как и обожествление креста, орудия пытки и казни; в этом сказывается мистический страх и раболепность человеческого духа: проклятие понимается как рок, рок делается

священным фетишем. В сущности, обещание «новой религии труда» открывает нам перспективы муравьиного существования, механизации движений, перерождения органов и полной атрофии индивидуальности, которая будет целиком поглощена безжизненным понятием коллектива, безжизненным потому, что коллектив — отвлеченное понятие, нами создаваемое, жертвами которого должны стать живые организмы. Может ли быть отказ от всего во имя «ничто» — основой религиозной жизни? Можно бы еще прибавить, что понятие труда не совпадает с понятием творчества, всегда свободного, что «всеобщий труд», наблюдаемый в природе других живых существ, никогда не имеет характера принудительности и что обожествление труда, то есть возведение его в священный принцип, есть дело теоретиков труда, а не самих трудящихся, законно считающих вынужденный труд — проклятием и жизненным несчастием. Таков он, конечно, и есть.

Эти оговорки могут быть не безусловными, могут быть спорными, но при опытах выработки «новой религии» их нельзя упускать из соображений.

Но вернемся все же к вопросу, станут ли лучшими человеческие сердца после этой войны. Предполагается, стало быть, что сейчас эти сердца исключительно плохи, ожесточены, пылают ненавистью и жаждой крови. В этом есть доля правды, но только доля. Пробуждая в человеке естественные, животные чувства, родовые и видовые (иначе — расовые, национальные), война заглушает голоса искусственно создаваемых нами гуманистических утверждений. Вчера — человеколюбец и космополит, звено мирового братства, сегодня я превращаюсь в только русского, только немца, француза или даже швейцарца, то есть патриота определенной площади земли, независимо от национальной или языковой принадлежности. Но уже этого последнего примера достаточно, чтобы увериться, что существо вза-

имного отталкивания не в национальных различиях: по обе стороны фронтов мы найдем сейчас и русских, и немцев, и французов, и итальянцев, и величайшее, быть может, ожесточение проявляет кровавая и самая длительная борьба двух народностей единой желтой расы. Если не война наций, то, может быть, война идей? Но идеи не нуждаются в территориальных захватах, да и что, говоря по совести, общего между идеями, определяющими внутреннюю государственную жизнь таких союзников, как Россия и Англия? Борьба только за территории и рынки? Но нет, мы положительно не вправе так упрощать и принижать смысл происходящего мирового столкновения; он гораздо сложнее и гораздо глубже, и всякий это чувствует. Основная ошибка историков, экономистов, политиков в том, что они имеют дело с общими цифрами и отвлеченными понятиями (как «народ», «государство», «человечество»), а не с живым материалом — вот этот, вот тот человек, его чувства, его интересы; отсюда механизация и ложь многих социологических построений. Немыслимо, чтобы вот этот самоотверженный юноша-патриот, этот защитник страны, этот летчик, — руководился в своих порывах мыслью о господстве промышленности его страны на мировых рынках; ни он, ни другой рядом с ним, ни сотня, ни тысяча, ни миллион живых, а не статистических единиц. И нам приходится отказаться от попытки монистических толкований и допустить к участию мотив чисто психологический, — почему не назвать его ожесточением сердец? Какая-то упорная злоба, какая-то личная обида вызывает действие, встречаемое противодействием, и искра разгорается в пожар, сначала местный, затем мировой. Само по себе такое толкование мизерно; в клубке других многих причин оно способно нас приблизить к истине.

Наступит момент, когда ожесточение сердец должно перегореть. В прошлую мировую войну оно смени-

лось нерасчетливым прекраснодушием и... поистине изумительной нелепостью версальского договора. Мы не можем сейчас строить предположений ни об исходе, ни о внешних последствиях войны происходящей. Но по прошлому примеру можем ждать не «улучшения человеческих сердец», а лишь проявления их усталости и дряблости. Поколения, вышедшие из прошлой войны, не создали ничего, чтобы предотвратить новую и сердец не облагородили; они даже не воспитали в новых поколениях отвращения к человеконенавистничеству и к братоубийству. И нет никаких оснований ждать от войны настоящей того, чего не дала предыдущая.

Но нужна и очень серьезная поправка к такому пессимизму. Ведь, в сущности, «психология массы» есть ложнонаучный домысел: нечто вроде выстукивания и выслушивания сердца у манекена, нами создаваемого; реально масса не существует. Вглядываясь же в живых людей, на фронтах или в глубоком тылу, общаясь с ними дома, на своей улице, в своем городе, в своей или чужой стране, мы легко можем убедиться, что переживаемое нами время наряду с ожесточением сердец порождает еще и иные чувства, во всяком случае, их обнаруживает с небывалой в мирное время отчетливостью. Одно из этих чувств можно бы назвать взаимосостраданием: отказ от привычных эгоистических побуждений, особая напряженность понимания чужой беды, единение в самозащите живых единиц от опеки или натиска манекенов (общества, нации, государства). Такое деятельное взаимосострадание ярко наблюдается в группировках товарищеских (фронтовиков, военнопленных, тюремных сидельцев), равно как и в быту, и чем быт теснее, проще, тем сильнее сказывается спайка в общности испытаний. Несчастья — пробный камень прочности и глубины дружеских отношений, создавшихся в дни мирного благополучия; но связи, рожденные в общности

неблагополучия, уже не нуждаются в проверке: их неложность доказана. И думается, что в дни войны каждый человек сделал для себя целый ряд неожиданных открытий, способных смягчить «ожесточенное сердце». Не значит ли это, что происходит не «порча сердец», а их отчетливое самоопределение, вскрытие их сущности? Порода людей не меняется, но спадают маски и обнаруживаются подлинные черты лица, в суете дней не успевшего принять искусственное выражение. Тут делать общие выводы и рискованно, и не нужно; каждый делает вывод свой и лишь для себя. И я охотно поделюсь выводом своим: хороших людей, хороших сердец гораздо больше, чем казалось. Можно не любить человечества, но решительно нет оснований не любить человека, моего брата, моего соседа, моего случайного спутника на крестном пути наших затянувшихся невыносимых мытарств.

## Безвременник

*(22.9.42)*

Дорога к речке, месту моих неистребимых рыболовных вожделений, лежит через лужок, затененный высокими тополями, той их безобразной метлистой породы, вытянутой к небу огромными полуголыми шишами, которая так живописует и так украшает природу средней Франции. Лужок, уже раз скошенный, весь зацвел безвременниками, — я вам пишу в конце сентября.

Безвременник, безвременный цвет, колхика (Colchieum antumnale), странный цветок, резко отличающийся от других луговых и не любящий с ними встречаться. Он цветет осенью, цветет без листьев, выходя длинной хрупкой трубочкой прямо из луковицы и раскрываясь пятью-семью лепестками; а его листья, узкие, мечевидные, появляются пучком только весной и выносят из земли спавшую зимой

коробочку с ядовитыми зернами. Все части безвременника ядовиты: луковица, листья, цветок, семена. Опытные коровы никогда его не касаются, разве что он попадется высохшим в сене; опытные хозяева косят сено до его цвета и много позже полного исчезновения листьев.

Цветок безвременника своеобразно красив; он похож по форме на цветок крокуса (шафрана), но не радует глаз разнообразием красок: он всегда бледно-лилов, как пламя спирта, немощно-дьявольского оттенка, и он не просится ни в букет, ни в петличку, а венок из безвременников годился бы только на чело покойника. Он пытается веселить лужок, но порождает мысли невеселые. Есть и другое русское название этого цветка: зимовик. И я заговорил о нем именно потому, что он напомнил о близости зимы, третьей зимы в маленьком местечке Франции, быт которого я так часто вам описывал.

Не скрою и не стыжусь: самое имя безвременника таково, что невозможно его использовать для каких-то еще не готовых мыслей и не пойманных намеков; жаль пропустить случай словесной придирки. Без-вре-мен-ник... А живем мы как раз в дни безвременья, когда нет ни начал, ни завершений, ни творческих попыток, не может быть жизненных планов и еще не приспело время для воспоминаний. Должно прийти что-то, прийти когда-то, и лишь тогда снова закачается маятник часов и время начнет свой правильный бег. Это ощущается всеми: и теми, кто торопится, использовав общую растерянность, извлечь из безвременья личные выгоды, — и теми, кто от этого страдает. В безвременье особенно пышно расцветает ядовитый цветок отрицания духовных ценностей, прежде не возбуждавший в нас сомнений; цветок повянет, но после выпрет из земли ядовитый плод неверия. А то думается, что безвременники — это современная молодежь, расцветающая по календарному закону, но не нашед-

шая общего радостного лугового цветенья, ликующей жизни медовых чашечек и опыляющих насекомых, бури красок и ароматов, веселого соперничества и премий за красоту; вместо праздника — унылый и тревожный быт, заботы о ничтожном, откладыванье «на потом» всего, что превышает интерес текущего получаса. Я говорю о самой юной части новых поколений, о вышедших сейчас из детскости, формирующихся из подростков, об этих бледно-лиловых безвременниках, — а не о тех, что красными пятнами тел расцветают на полях и песках, в вечный укор нашему общему трагическому безвременью.

Как определить понятие безвременья? Это перерыв естественного развития жизни, его заминка на неизвестный срок. Поезд отводится на запасные рельсы и должен ждать прохода поездов курьерских или специального назначения. Когда он двинется дальше — неизвестно, и пассажирам остается бродить около вагонов или дремать. Типичнейшие безвременники — вынужденные эмигранты; пример показан русскими, за ними последовали итальянцы, немцы, испанцы, теперь — люди всех европейских стран и наций. Сначала перерыв жизни кажется временным; стоит ли раскладывать чемоданы? Затем приходится вынуть смену белья, бритву и хоть какую-нибудь книжку из взятого с собой запаса. Дальше — переезд из гостиницы в меблированные комнаты, затем и в квартиру со своей мебелировкой. Неужели прошел уже год, неужели три, десять, двадцать? В безвремении взрослые стареют и дряхлеют, приписывая это случайным болезням, мальчики остаются до преклонного возраста «молодежью», и нормальная их седина кажется преждевременной, младшие коверкают или забывают родной язык, но по привычке все безвременники ждут, что вот путь освободится и поезд с запасных путей перейдет на настоящие рельсы; веселый свисток — и он двинется туда... где уже никто вас не

ждет, никому вы не нужны, где все переменилось и делать вам совершенно нечего. Но не все безвременники пассивны: иные сохраняют весь былой пламень и годы и годы подряд повторяют свою последнюю, прерванную событиями речь, дополняя ее словами, которые им кажутся новыми, выводами наблюдений, кажущихся им свежими, украшая мыслями, плесень которых им незаметна. Они верны миссии, которою никто их не облекал, они хранят традиции, высота и честность которых несомненны, хотя красота и своевременность попорчены молью.

Есть и еще порода безвременников; но эти — не жертвы, а паразиты безвременья. Не жалея прошлого и не пытаясь строить будущее, они извлекают свою выгоду из искусственного перерыва времени, и они цветут в дни общественной осени, чтобы налить плод в любых условиях ближайшей весны. В вечность они верят и традициями не дорожат; во всеобщей растерянности они — командиры безвременья, это их пора, их удача, их питательная среда. Они не боятся ответа, так как в затянувшемся безвременье они останутся господами, в новом беге истории отходчивые люди забудут об их нечистых подвигах. Впрочем — кто мешает им в любой нужный момент переменить личину и пойти с победившими впереди толпы? Им знакомы страницы истории, и они читали, как имена проклятые становятся славными и прославленными и чело вульгарного убийцы окутывается ореолом героизма и благородства. Люди не только изумительно забывчивы, они еще чрезвычайно снисходительны к грешкам великих имен; а историки — превосходные парикмахеры и маникюристы: волчью шерсть завивают бараньим колечком, острые когти превращают в миндалевидные ноготки.

Но оставим прельстительную словесность; без надуманных образов и подобий безвременник напомнил мне о близости третьей зимы, третьей со времени

великого парижского исхода. Три лета и две зимы достаточны, чтобы стать «здешними», знать каждый заворот реки на протяжении нескольких километров, обмениваться приветствием с каждым встречным и удивляться появлению незнакомого лица. Дома стоят так прочно; улицы так неизменны, с таким постоянством в определенные часы страстно стенает соседский ослик («Страдания молодого Вертера») — а может быть, просто на своем языке высказывает мнение о текущих событиях. Но и событий нет, они за пределами нашего маленького быта. Кажется, что-то случилось; кажется даже, что и макрокосм, и микрокосм перевернулись вверх ногами и хотят застыть в этом положении, но опять же это в областях, чуждых нашей улице, и этой тропинке через лужок, поросший безвременным цветом. Прошлой, очень суровой зимой померзло немало виноградников на высоких местах, и это было самым крупным событием за истекший год. По улицам — в согласии с местными обычаями — прошло несколько свадеб, впереди молодая с отцом, позади молодой со своей матерью, в центре — разряженные гости. Кюре и просвещеннейшая из местных старых дев окончательно завоевали ребят голубыми рубашками и значками, образовав отряды «бодрствующих сердец», поющих в унисон какое-то унылое подобие бодрой песни; стали чаще детские ссоры, а в садах пропадают персики и груши. Что же еще случилось за этот год? Сменился муниципальный барабанщик, глашатай важных распоряжений. Я спросил: «А где же старый?» — «Он умер». — «Почему?» Оказалось — просто потому, что пришел его срок; человек не вечен, даже если он официальное лицо; и барабанщик умер на своем посту, но, конечно, не на велосипеде, а более удобно.

Вот и все; в остальном без перемен. Но если вы заподозрите подлинность моей идиллической картины, если предположите, что и в тихом омуте

водятся черти, что под гладкой водной поверхностью проходят и сталкиваются течения, что жизнь людей на виду, а в душу им не залезешь, — я возражать не буду. Я только выражу удивление, почему вы ждете от мирных людей взрывов, метаний, поднятых кулаков, неблагоразумных жестов, тогда как не требуется этого от земли, которую из года в год режет и кромсает острый плуг, от виноградной лозы, которой не дают расти по воле, от лошади, вечно под ярмом, ослика, страдающего от напора неудовлетворенной страсти? А почему такое требовательное внимание к затаенным или подавленным мыслям и намерениям человека — при полном небрежении ко множеству великих тайн и скрытых сил, бурлящих и бунтующих в недрах земли, в стволах деревьев, в стае ласточек, уже готовых к отлету, в луковице безвременника, не знающей отдыха?

Все в природе подчинено законам условий и споров. Садовник может искусственной выгонкой подать вам блюдо спаржи поздней осенью и земляники к Рождеству. Занимательно, как всякий фокус. Тоже — образцы безвременности. Но мы здесь живем не в борьбе, а в дружбе с природой, подчиняясь ее условиям и срокам. Сегодня сильным ветром сбило с персикового дерева последние плоды: это — в порядке вещей. И мы ждем, что принесет и что укажет нам завтрашний день, — ждем, не подгоняя времени напрасным нетерпением.

## Случай орла и санколютов

*(13.10.42)*

В папке старых, прошлогодних газетных вырезок оказалась коротенькая телеграмма официального агентства из Лиссабона. Привожу ее целиком: «Лиссабон. В момент, когда один летчик пролетал над заливом Луанда, на самолет напал орел величиной в три метра. Авиатор сделал крутой поворот, и орел

разбил одно из защитительных стекол, смертельно ранив летчика».

Совершенно не важно, случилось ли что-нибудь подобное или так ли произошло, как это передает агентский корреспондент. Правда, в данном случае никакому официальному учреждению нет видимой надобности изобретать, украшать или обкарнывать истину — хотя могла сказаться привычка или склонность к поэзии. Но, повторяю, нет нужды ни вымерять орла, ни добиваться фамилии и адреса летчика. Дана цельная и прекрасная картина протеста векового владыки воздушных пространств против вторжения в его область земного червя при помощи дышащей перегаром бензина машины.

Те, с кем автор этих строк не впервые встречается на страницах газеты, уже видят его севшим на любимого конька и устремившимся с донкихотской отвагой против ветряных мельниц. Если это так им наскучило, они могут без особых усилий подняться на элеваторе мысли из подвальных глубин газеты на ее жилую площадь и прочитать колонны о великих достижениях человеческой техники, о сулящих нам счастливую жизнь рекордах, вообще о том, что обычно именуется победой над природой. Но если даже вы восхититесь блеском и мощью орудий строительства и орудий разрушения, все же должны будете признать красоту орлиного жеста, орлиного гнева, благородство и совершенство его атаки. Орел — птица царственная, его поведение полно величия, он не только защищает свои владения, он нападает на жалкое, грязное, вонючее существо, пытающееся завоевать воздух под прикрытием стальной оболочки.

Орел активен. Мы не можем ждать того же от людей первобытной, многовековой культуры, не хотящих принять благ наступающей на нее цивилизации, — хотя инстинкт защиты развит в них не меньше. И вот вам пример — рассказ о людях

невзрачных, голых, ни с какими нашими «благами» не знакомых, но по-своему мудрых, очень мудрых и мудростью своей, первобытной и неизменной, преодолевших те же века, которые преодолели и их просвещенные собратья по природе. В Австралии, в глубине Карпентарийского залива, есть островок, открытый лет полтораста тому назад любознательным капитаном Матью Флиндерсом и названный островом Бентинка. Этот островок в последнее время считался как бы «национальным парком» Австралии, и его население (всего человек 500) заботливо охранялось, как в зверинце охраняются редкие экземпляры исчезающих звериных пород. Весь островок — не более 60 квадратных миль и покрыт лесом, помогающим населению прятаться от глаз цивилизованных собратьев. Здесь люди не знают ни одежд, ни жилищ, ни домашней утвари, можно не прибавлять, что у них не выходят газеты, нет выборных кампаний и не намечается «новый экономический порядок». В период обилия насекомых они защищают от них тело вязью листьев и трав, и это их единственная необходимость в самозащите, так как у них нет, конечно, ни правительства, ни полиции, ни законов, вообще ничего, стремящегося превратить земную жизнь в райское житие, но не всегда в этом успевающего.

Цивилизаторы, пытавшиеся просветить этих людей зародышевой культуры, спешно убегавших при их приближении, любезно и бескорыстно оставляли им самое необходимое для начала более сознательной жизни: панталоны и табак. Вещи клали на видное место, а затем находили там же нетронутыми. Так было до войны. Возможно, что островок уже понадобился как авиационная база или для других целей, а его жители спешно вымерли, так как невозможно допустить, чтобы они, расставшись с вековой мудростью, закурили сигары и надели смокинги. Одним словом — не знаю, как сейчас обстоит дело; но еще два года назад эти люди умели пассивно сопротив-

ляться наступлению на них великой мировой цивилизации, которую неразборчивые филологи и политикоэкономы называют культурой.

Еще вчера считалось старомодным чудачеством выступать против так называемых завоеваний цивилизации, признавая в то же время и центральное отопление, и золотую пломбу в коренном зубе. Разрешалось лишь с середины июля отрицать город, с середины сентября — деревню. Было также можно выражать недовольство налогами, жалуясь на неопрятность улиц, возносить словесно нерушимость личной свободы, одновременно побаиваясь гуляющих без цепочки жуликов. Вообще, любуясь птичкой на ветке, мы продолжали верить в прогресс. Продолжаем, конечно, и сейчас, но сейчас уже не прихотью, не снобизмом, а существенной необходимостью стала огромная оговорка, звучащая приблизительно так: «Не тащи ты меня в свой рай силком, а разреши сначала взглянуть, что он из себя представляет». И вот эта скромнейшая просьба оказывается не только непозволительной гражданской прихотью, а почти бунтарством.

Представим себе, однако, что она удовлетворена и что выбор для нас свободен. Две картины развертываются перед нашими взорами: два обещаемых рая. Один соблазнителен новизной и порядком как основой отношений; другой приятен уважением к старым традициям и признанием его за основу свободы. Путь к обоим идет морями крови и холмами тел, а будущая охрана обеспечивается стальными стенами. Пока еще есть время скрыться от этих прелестей на острове Бентинка в качестве 501-го человека без панталон, очень хочется этим воспользоваться. Но хуже всего, когда показ картин рая сопровождается пояснениями и когда придается будто бы глубокий и определенный смысл словам, в действительности не имеющим точного значения. Таковы, например, слова «нация», «национальный». Пока

дело идет о «расе» — можно договориться и понять; для примера мы знаем, что раса тевтонская обладает крепостью шейных позвонков и развитием затылочной кости в ущерб лобной пазухе; раса хотя и низшая качеством, но сильная и плодовитая, в противоположность высшей и неплодовитой французской. Но «нация» — понятие искусственное и неорганическое; национальность может сообщаться и отниматься, она не связывается с территорией, хотя филологически связана непосредственно, ей придаются разнообразнейшие значения, из которых ни одно не может быть оправдано и предпочтено. Между тем на понятии «нация» пытаются основывать целый строй идей, немедленно распадающийся не в силу идеологического порока, а просто — по негодности строительного материала. Беру понятие «нации» лишь как пример условности современных политико-экономических проектов, но все они целиком оперируют понятиями и представлениями, так сказать, изношенной уверенности, утратившими первоначальный смысл.

Я отнюдь не затрагиваю вопросов идеологического спора, якобы олицетворенного столкновениями мировых держав, тем более что в каше событий далеко не усматриваю возможности ясных разделов: мы еще доживем, очевидно, до таких комбинаций, о которых пока и не думается, в которые пока не верится. Нет, тема беседы гораздо проще и ограниченнее: неточность ходячих понятий и слабость будто бы стройных уверенностей. На путях в вынужденный рай нас призывают обычно к сознанию долга и к исполнению обязанностей, в полной уверенности, что это — высшие гражданские добродетели. Но приходит ли кому-нибудь из учительствующих в голову, что с точки зрения философской (но не кантовской, конечно) эти качества скорее отрицательны, что чувство долга ниже естественной склонности, что мотив обязательства менее

действенен, чем доброхотное побуждение? По чувству долга и дисциплины солдаты идут завоевывать; по естественной склонности, по любви к родной земле такие же солдаты защищают свою землю, и защищают с такой силой самоотвержения, какую не придаст никакое сознание «долга». Мы это видим сейчас воочию в родной земле. Мало того, сознание долга и обязательства, всегда связанного с санкциями, вызывает противодействие, и мы видим, как сложнейшие и прочнейшие внешне системы дисциплины внезапно рушатся просто в силу отсутствия внутренней склонности в опутанной обязательствами людской массе. Или, например, возьмем образец ходячей уверенности из совершенно другой области. Во имя «счастливого будущего» и «интересов нации» население призывается к усиленному деторождению, с назначением привилегий, наград и премий преуспевающим в этом патриотическом состязании. Одновременно ряд мировых ученых бьет тревогу по тому же поводу: человечество слишком быстро увеличивается численно, и мы уже стоим перед гигантской мировой катастрофой: земля переполняется людьми, которым скоро будет нечего есть, негде селиться; уже сейчас это вызывает острую безработицу, революции, войны и в будущем сулит стократ большее и худшее. Тут можно спорить и строить планы спасения, но можно ли упускать из виду нарастающий ужас тесноты, устрашающую прибыль пятидесяти миллионов в год, — несчастье, которое придется поправлять уже не войнами, а применением скальпеля и прививкой эпидемических болезней!

На подобных спорных или ложных уверенностях строятся политические системы, они возводятся в аксиомы и религиозные догмы. И их, этих уверенностей, бесконечно много; к ним принадлежат и такие «бесспорности», как понятие о праве, о государстве, о свободе, о «порядке», об единстве нравственных

заповедей и проч. И при великом пересмотре, который отведен судьбой на нашу долю, именно эти уверенности будут пересмотрены последними с академической неспешностью, которая лишит этот пересмотр всякого практического значения. Пятьсот островитян правы, предпочитая вымирать, если придется, без особых сложностей и споров, свободными санкюлотами, какими были и их отдаленнейшие предки. И прав орел, защищая воздушные пространства от вторжения человека.

Вот — темы для размышлений, чрезвычайно полезных и плодотворных при замкнутых устах. Кстати, они, эти темы, отвлекают от ежедневных тревог, от подсчета своих и чужих убытков и ожидания открытия новых фронтов — как будто это запасные коробки консервированного мяса!

## О великом пересмотре

*(22.10.42)*

Уже много раз, пользуясь все тем же заголовком «незначительности», я ставил перед собой и перед вами вопросы, которые казались мне выше Гималаев и обширнее океана; и все-таки заголовок оставался точным, так как с точки зрения реальных политиков и вообще людей сегодняшнего дня, отдающих внимание только современности, пустяшно все, что не котируется на утренней бирже. Таким же пустяком, напрасным разговором, должен быть в их глазах и не вызываемый обстоятельствами пересмотр всех без исключения уверенностей и убеждений, которыми мы до сего времени жили, строжайшая ревизия нашего идеологического хозяйства. Война, вызвавшая мировую катастрофу, оказывается для множества людей и катастрофой личной, полным крушением не только условий их жизни, надежд, планов, но и основ миропонимания. Только очень счастливые из мыслящих могут в эти дни огра-

ничиваться вопросами «кризиса демократии» или выкройками будущих карт Европы, рассуждать о правах больших и обязанностях малых народов или вводить новые толкования старых слов, с которыми все еще не хочется расстаться (как слово «свобода»), — все это, конечно, тоже имеет значение и небезлюбопытно. Но если пришло время для настоящего Великого Пересмотра, то подвергнуться ему должны не только искусственно созданные формы наших сожитий и соотношений, а самые основы наших представлений о мироздании, о Природе, о жизни, о смерти, о добре и зле. Не поиски более упрощенных доказательств уже известных теорем, а серьезное недоразумение с аксиомами, доказательств не требовавшими.

В сущности, война лишь тряхнула нас за шиворот и более грубо сбросила с ленивого ложа мысли, а самые вопросы поставила не она. Нужно обладать большим запасом прекраснодушия и спокойствия, чтобы волчком вертеться вокруг себя, думая, что вертишься вокруг солнца, и вообще на каждом шагу мысли оказываться предстоящим пропасти, через которую в лучшем случае переброшен ажурный мостик без перил. Но если не наивный испуг, то хотя бы тревожный интерес должна была пробудить в нас наука, заведшая нас в последнее время в блестящие трущобы парадоксов и заставляющая мириться с тем, что прямая линия перпендикулярна самой себе. Это может не действовать на пищеварение, но какую-то царапину в мозгу все же оставляет. Царапина углубляется, когда узнаешь, что та же прямая, пересекая центр окружности, называется к этой окружности касательной. Далее нам останется углубиться в область воображаемых величин, предпринять прогулку по любому количеству измерений и выйти на единственный остающийся путь убеждения, что между очевидностью и логикой нет ничего общего, их области независимы и не

совпадают: существующее начинает существовать с той минуты, как мы о нем помыслим; существующее исчезнет, если мы захотим обозначить его любым условным знаком. Мы, конечно, можем развалиться на зеленой луговой траве и смотреть в небо, но мурашки не перестанут пробегать по спине: привычные рамки и ходы мысли окончательно нарушены. И вот тут мы замечаем в небе прямо на нас нацелившийся самолет неизвестной национальности, но совершенно определенных намерений: портить нам существование. К шуткам науки прибавляется серьезность личной катастрофы. Но, может быть, личное вообще ничтожно, когда вопрос идет о гибели мира и миров; и разве не мы призывали жертвать им ради общественного блага, ради защиты чести, родины, человеческого достоинства и прочих такого рода и типа ценностей? Но что, если окажется, что их нет и не было, а были только красивые игрушки нашего воображения, что родина есть только пятно на географической карте, общественность — случайный сговор хорошо закусивших чудаков, государственность — образ прикрытия и оправдания преступности, а честь — не она ли сыплется из прорвавшихся карманов, не ею ли мальчики швыряют в воробьев? Разве мы не живем в дни, когда люди без упрека в прошлом целуют руку явных преступников и вульгарных убийц, видя в этом своеобразный подвиг и ловкий политический ход, и разве история не обещает за малое вознаграждение увенчать короной величайшего почета любую человеческую мразь, которую еще вчера она не соглашалась занести на свои страницы иначе, как с позорным клеймом на лбу?

Но мы не поддадимся соблазну намеков и недоговоренностей, это ниже поставленной темы. Великому пересмотру прежде всего подлежит вопрос о месте человека в живой Природе. До сей поры он числился на месте достаточно почтенном: Царя Приро-

ды, — несмотря на то, что менее всего Природа напоминает область авторитарного управления. И вот оказывается, что среди живых существ человек — самое неустроенное, беспомощное, бессильное и незащищенное существо, притом самое вредное, мешающее жить другим, и самое неспособное к совершенствованию и улучшению породы. Единственное, принявшее за основной закон существования взаимоубийство (ни один зоологический вид этого не знает), наградившее себя качеством высокого понятия — разумом, якобы возвышающим его над другими живыми существами, в действительности не дающим даже той степени абсолютного знания, которою обладает личинка насекомого, вышедшая из яйца, не имеющая ни опыта, ни примера, ни советчика, ни живых предков и не допускающая ни малейшей ошибки в сорте нужной ей пищи, в технике строительства кокона, в целях дальнейшего существования. Какой страшный провал! Но зато мы награждали себя свойством не только «думать», но и думать о том, что мы думаем, то есть отвлеченно и возвышенно мыслить, хотя ничем не опровергнуто, что тем же свойством обладает укусившая вас блоха. И мы удобно встраивались на ложе мысли, приняв с Аристотелем, что природу не может удовлетворить несовершенная форма, что бесконечное желание заставляет ее стремиться к лучшему: «минерал стремится к жизни растения, растение — к жизни животного, животное — к жизни человека, а человек — к жизни божественной». Какая стройность мысли «думающего о том, что он думает», в то же время, какое полное несоответствие действительности: легкий ветерок — и карточный домик рушится, царь природы оказывается ничтожеством, а божественная цель — вздором занесшегося разума. Оказывается, что минерал не стремится стать растением, растение не соблазняется жизнью животного, животное с ужасом и отвращением помышляет о жизни человека, а человек действительно стремится к божеству, но к какому? К мине-

ралу и металлу — к нефти и к золоту! Практическое значение такого открытия в том, что рушатся самосозданные кумиры и нет ни малейшей охоты вырезывать из древесного обрубка новых богов; человек остается без места в Природе, развенчанным царем и ненужным членом живого мира, вооруженного тем высшим, что мы презрительно именуем инстинктом. Иными словами — нет смысла дорожить прошлым и его традициями (миллиарды живых существ прошлого не накапливают и не знают), нет цели в заботах о будущем (за отсутствием прогресса), и современность не ставит перед нами никаких задач. Можно, впрочем, прийти и к совсем иным выводам, но это лишь дело вкуса и важности не имеет. Разом теряют всякое значение и вопросы чисто нравственного порядка, и в единую кучу нерасцепимых бирюлек сваливаются понятия подвига и предательства, милосердия и жестокости, любви и ненависти, добра и зла. И все это произошло лишь потому, что некогда Аристотель, послюнив палец и подняв его кверху, неправильно определил направление ветра: в Природе божественное стремится к звериному лику, животное к растительному прозябанию, растения к покою минерала; таков, по крайней мере, последний вывод нашего «божественного» разума, за неимением лучших измерительных приборов.

К счастью, повторяю, сумбур подобных очевидностей для нас так же не обязателен, как и итоги стройнейших логических построений: две параллельные линии могут пересекаться и свиваться в клубок, сколько им угодно, но мать любит своего ребенка, патриот — свою страну, ученый — свои догадки, посвященный — кусочек добытой истины, поэт — свои стихи. Мне мила и любезна память о давнем прошлом, вам рисуется прекрасная картина будущего, и что-то иное, а не прославленный и оскандалившийся разум приотворяет нам двери в мир иллюзий, который может оказаться и миром реальности. Но в эту дверь да не

входит немытый и небритый в запыленной обуви, — иначе его ждет прежняя участь. И вот жизнь и мысль ставят перед нами требование Великого Пересмотра всего, что мы считали духовными ценностями, ради чего соглашались терпеть нестерпимое и выносить непереносимое, носясь по волнам на осколках разбитого корабля, вытягивая себя за волосы из клоаки современного бытия. Священного уже нет — его нужно создавать заново — если нельзя без него обойтись; и нет никаких нравственных законов — они теряют смысл в тот момент, как становятся обязательными.

Что же мы создадим, что познаем и поставим во главу угла нового храма духовной жизни? Чем бы это ни было — только бы не возводилось в ранг непогрешимых истин и непреложных законов. Путь к божеству или путь к минералу, но с полным сознанием, что он не прямой и не единственный и, следовательно, не может объявляться обязательным и для личного, и для стадного поведения. Поэтому первое, что рисуется мыслью о Великом Пересмотре, это — огромный костер, в который брошены неисчислимые томы продуктов человеческого законодательства, кодификации остановившейся мысли; очищение огнем. А затем — можно приступать к новым ошибкам и готовить новый материал для такого же, как наше, отчаяния будущих поколений, положение которых постольку незавиднее нашего, поскольку человеческий род обнаружил пагубную способность к чрезмерному, устрашающему размножению. Но это уже его забота, а не наша: «довлеет дневи злоба его».

### Ответ старому джентльмену

*(22.10.42)*

«Что думают в мире о Франции»? — Такой вопрос ставит газета «Le Temps», одна из старейших французских газет (возраст — 82 года), солидней-

шая, всегда умевшая сохранять достоинство, не утратившая его и сейчас в той мере, в какой это зависит от нее. В данное время «Le Temps», на беженском положении, издается в Лионе, столице неоккупированной Франции. Отражая настроения кругов умеренных, прочно опираясь на круги финансовые, «Le Temps» пользовалась самым широким распространением за границей. К иностранцам явно обращен и ее вопрос, поставленный «не без скрытой горечи», «в опасении ответа скорбного, каким он формулируется в сознании французов».

«Что думают в мире о Франции»? Существует ли еще то излучение духовного света, которым французы гордились, как отражением некоей наследственной царственной страны, ее естественным приматом. «Даже в пору, когда наша беззаботность подготовляла поражение, Франция все же сохраняла в мире свой несравненный блеск», — утверждает «Le Temps». «Происшедшая в июне 1940 года катастрофа сначала вызвала всеобщее недоумение, но уже через короткое время заметили, что крушение распространилось не на все богатства нашей родины, что наиболее чистые ценности остались непобедимыми и продолжают сохранять свое достоинство и свое сияние. В милосердии мира по отношению к нам не проявилось оттенка презрения. Наш народ перенес и переносит выпавшее на его долю несчастие с достоинством, заслуживающим уважения. Во всяком случае, Франция не хотела бы погибнуть, оставив в истории лишь след бывшего ореола ее цивилизации; она не считает свою миссию законченной». Газете даже представляется, что и сейчас «во всем мире продолжают читаться, обсуждаться и возбуждать изумление работы наших философов, писателей, артистов» и что «высокое духовное влияние Франции еще и сейчас необходимо для талантов и даже гениев других стран», поскольку в области духовной французская мысль была всегда освободитель-

ницей. Что же нужно, чтобы влиянию французской нации подлежало не только прошлое, но и будущее? В ответе на это чувствуется какой-то внезапный срыв от мысли высокой к злободневному. Нужна, конечно, «физическая нераздельность идей страны», и газета как-то неясно намекает, что озаботиться об этой «универсальности» есть прямой долг этих других наций. Что до самих французов, то их первый долг — остаться самими собой и не делать ничего, что могло бы умалить духовный престиж Франции за границей, где французской мысли необходимо предоставить нужное ей «жизненное пространство». В заключение оказывается, что эта экспансия встречает сейчас препятствие главным образом из-за недостатка бумаги для перепечатыванья наиболее выдающихся работ французских писателей и мыслителей... Заключение маленькое и несколько неожиданное, вызванное, очевидно, тем, что статья появилась как раз в дни обсуждения издателями и правительственной комиссией вопроса о количестве страниц, которое может быть в дальнейшем предоставлено для печатания газет и журналов. Такое снижение тона — единственный упрек, который можно сделать газете по поводу этой статьи, очень нужной, очень сдержанной по тону и по нынешним дням весьма ответственной, чтобы не сказать смелой.

* * *

На вопрос, в котором звучит затаенная горечь и боязнь обиды, нельзя отвечать, развалясь в кресле и заложив ногу за ногу; нужно встать, как перед раненым воином или обедневшим джентльменом и, отвесив глубокий и почтительный поклон, ответить ему прямо, откровенно, без условных и принятых комплиментов, как и без развязной снисходительности. Нельзя не пожалеть, что на некоторые по-

бочные вопросы газета пытается ответить сама утверждениями, могущими не вызвать общего согласия; это приводит к необходимости признаний, мимо которых было бы можно пройти и которые для старого джентльмена могут оказаться неожиданными. Но, не способные забыть, что дала миру старая Франция, мы, иностранцы, ее гости, ее друзья, ее верные поклонники, не позволим себе резкости даже в необходимых отрицаниях, в указаниях на иллюзорность некоторых распространенных среди французов мнений о культурной роли Франции последних десятилетий. Франция не может не знать — и знает, — что она всеобщая любимица, что отношение к ней строилось длительно, веками, что оно совершенно исключительно и даже не всегда согласовано со строгими правилами справедливости (разве любовь справедлива?), что получившие много должны и, естественно, хотят отплатить еще большим, не только по чувству долга, но и по долгу чувства.

Именно поэтому (газета в этом отношении не только права, но и слишком скромна) — «июньская катастрофа», вызвав глубокую скорбь, не сопровождалась осуждением. Всеобщее тяготение к Франции основывалось не на ее военной мощи, как и вообще не в количестве танков, самолетов и орудий убийства заключается достоинство страны и нации. Сдача Франции была несчастьем, но никогда не была позором. Если вопрос нравственного порядка может ставиться, то лишь о дальнейшей реакции французского народа на случившуюся беду, об общественном мнении и поведении в условиях невыносимо тяжких и о защите в этих условиях тех «чистых и непобедимых ценностей», о которых упоминает газета и которые были истинным источником «излучения духовного света». В данном случае иностранец, любящий и знающий Францию, умеет различить в ее географическом термине основной элемент народности от всего, что является наносным и вызванным случайными отраже-

ниями злых и сторонних этой народности воль, — мы отвечаем на сдержанный язык вопроса столь же сдержанным ответным языком. «Мир», суждением которого страна так дорожит, по-видимому, не заблуждается в своих суждениях об истинной воле Франции и о том, какие духовные ценности она хотела бы соблюсти и сохранить как для себя, так и для продления своего «царственного сияния» в сфере культуры. Но если даже мир хоть сколько-нибудь заблуждается, то в пользу ее чести и достоинства.

Есть, однако, одна сторона вопроса, которой приходится коснуться во избежание недоговоренности и недоразумений. Мы постоянно встречаем во французской печати привычные утверждения о примате французской литературы, науки и искусства не только в прошлом, что неоспоримо, но и в наши дни, в двадцатом веке, что может встретить серьезные возражения. Было бы осторожнее и, скажем просто, скромнее предоставить другим отвечать на вопрос о том, поскольку не только сегодня, но вообще в последние десятилетия продолжалось «высокое духовное влияние» современного французского творчества. Самоудовлетворенность — счастливое, но не лучшее качество; любуясь своим, Франция проглядела чужое. До удивительности мало внимания обращала французская литературная критика на расцвет литератур чужих — скандинавской, американской, английской, немецкой (позже почти целиком эмигрировавшей!), отчасти и русской (до удушения ее политическим режимом). Почтенный и престарелый джентльмен, с которым мы ведем беседу, газета «Le Temps», продолжает жить впечатлениями прошлого, когда говорит о духовном влиянии современных французских писателей и философов, неизбежном в ходе развития иноземных талантов. Кого из писателей она может назвать после Анатоля Франса, кого из философов после Анри Бергсона (по иронии судьбы — еврея), причем они оба при-

надлежат скорее к эпохе века прошлого. Мы знаем во Франции немало выдающихся талантов — но затруднимся назвать хотя бы одного «властителя мыслей», чье влияние отразилось бы за пределами страны на чужих литературах и развитии чужой мысли, в то время как влияние литератур скандинавской или американской сказалось с огромной силой и убедительностью. Откровенность требует признания, что литература французская последних лет переживала период явного идеологического упадка — при прежнем блеске выработанного стиля — и что никакого влияния на чужие литературы (может быть, за исключением бельгийской и швейцарской) она иметь не могла, даже учитывая литературные заслуги Пруста. Мы воздержимся от дальнейшего развития этого бесспорного положения и не будем говорить о «французской культуре» вообще, чтобы не огорчить старого джентльмена: только повторим, что газете следовало бы воздержаться от утверждений, могущих вызвать сомнения и серьезные возражения. Вместо этого скажем, что престиж старой Франции и ее культуры остается незыблемым, поскольку она сама не отрекается от тех великих принципов, которыми она одарила в свое время мир. Этого вполне достаточно, чтобы желать Франции вернуть ее почетное положение среди европейских держав и не поставить ей в упрек ее временную слабость. Вместе с газетой мы готовы признать, что побеждена не французская мысль и что ряд некоторых «servitudes»* (не хочу переводить этого слова), к которым Франция вынуждена, отнюдь не кладет отпечатка на ход этой мысли. «У этой мысли, — свидетельствует газета, — есть неподкупный страж: дух родины, остающийся в народе по-прежнему живым и сильным». Мы рады этому утверждению и не позволим себе в нем усомниться.

---

* «Тяжелые ограничения» (*фр.*).

Итак — что же думают о Франции в мире? О ней думают хорошо, и ей верят. От нее совсем не требуют того, чего она дать не может, в частности идеологического влияния на развитие современной мысли, но ей и не приписывают того, что иногда неискусно и малоубедительно как бы высказывается от имени ее народа. Франция остается мировой любимицей и, прибавим, мировой надеждой, так как всей своей историей она доказала свою способность возрождаться и загораться новым светом, чему не мешали ни временные поражения, ни периоды упадка. Достаточно ли такого ответа почтенному джентльмену, затаившему горечь поставленного им вопроса и опасавшемуся скорбного ответа? В данном случае это — ответ человека, долгими годами жизни связанного с Францией и в ее прошлой культуре почерпнувшего немало очарований. В частности, нам, русским, не нужны переиздания творений французских мыслителей; мы знакомы с ними с юности и никогда их не забывали; и мы были бы счастливы, если бы французы хотя в сотой доле проявили склонность к знакомству с творчеством мысли русской, до сей поры остающейся для них «землей неведомой».



# Примечания



## Сокращения и условные обозначения, принятые в разделе «Примечания»

*Воспоминания — Осоргин Мих.* Воспоминания. Повесть о сестре / Сост., вступ. статья и примеч. О.Г. Ласунского. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1992.

*Заметки старого книгоеда — Осоргин М.А.* Заметки старого книгоеда / Сост., вступ. статья и примеч. О.Г. Ласунского. М.: Книга. 1989.

*Мемуарная проза — Осоргин Мих.* Мемуарная проза / Сост., предисл. и примеч. О.Г. Ласунского. Пермь: Изд-во «Пермская книга», 1992.

*Свидетель истории. Книга о концах — Осоргин Мих.* Свидетель истории. Книга о концах. / Сост., примеч., вступ. ст. О.Ю. Авдеевой. - М.: НПК «Интелвак». 2003.

*Собр. соч.* (с указанием тома) — *Осоргин Мих.* Собр. соч. / Сост., послесл. и коммент. О.Ю. Авдеевой. — М.: Моск. рабочий; НПК «Интелвак», 1999.

## В ТИХОМ МЕСТЕЧКЕ ФРАНЦИИ

Печ. по: *Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. (Июнь–декабрь 1940 г.). Париж: Ymca-Press, 1946. 223 с.

Впервые: Новое русское слово. Ежедневная газета. Нью-Йорк. 1940. 24 июля – 21 окт., № 10029–10118; 28 окт., № 10125; 4 ноябр. – 28 дек., № 10132–10186; 1941. 1 янв. – 9 февр., № 10190–№ 10229; 24 февр., № 10243.

С. **14.** *...Рим, ...которого не узнал при попытке в него вернуться...* – В 1923 г. Осоргин приехал в Рим на конференцию. Он писал: «Я впервые почувствовал себя в Риме чужим человеком, чужим и никому не нужным» (*Осоргин М.* Итальянские письма // Воля России. Прага. 1923. № 15 (сент.).

С. **15.** *Людовик* IX Святой (1214–1270) – король Франции с 1226 г., из династии Капетингов.

*...Париж... опустошен норманнами после трехмесячной осады...* – норманны (от сканд. northman – северный человек) издревле нападали на прибрежные области стран Европы. С конца XI в. на Францию нападают крупные армии норманнов. От грабежа и сборов дани они переходят к заселению завоеванных территорий в Северной Франции и создают герцогство Нормандию (911).

*...был оскорблен немцами в 1870-м...* – В 1870 г. Франция пала в результате Франко-прусской войны, большая часть французской территории была оккупирована тогда прусскими войсками. Об этой войне и об осаде Парижа см. кн. Осоргина «Письма о незначительном».

*...окружает царство... маленьких вещичек, ...к которым у меня не только пристрастие, а настоящая преданность.* – См. рассказ Осоргина «Вещи человека» (*Собр. соч.* Т. 1).

С. **16.** *Нас двое – я и жена...* – Жена – Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина.

С. **19.** *L. Halèvy* (фр.). – Речь идет о Людвиге Галеви (Алеви; 1870–1937) – французском историке, крупнейшем знатоке истории Англии. Галеви предсказывал трагедию

Второй мировой войны, победу «националистической тирании Берлина и Рима» и считал, что в мире нет сил, способных противостоять фашизму.

С. **21.** *Дважды в жизни я был военным корреспондентом большой газеты...* — Осоргин был корреспондентом «Русских ведомостей» на Балканах и в России, на Западном фронте во время Первой мировой войны. См.: «Времена» (С. 120).

С. **22.** *Дороги забиты автомобилями...* — В довоенном Париже проживало 4800 тыс. человек. После прихода немцев в городе оставалось не более 900 тысяч. 4 миллиона парижан вместе с 7 миллионами беженцев из северных областей хлынули на юг страны, спасаясь от немцев.

С. **33.** *...перемирие было подписано...* — 22 июня 1940 г. Франция капитулировала. Париж был оккупирован с 14 июня 1940 г. по 25 августа 1944 г.

С. **34.** *«Счастлив, кто посетил сей мир...»* — часто цитируемые Осоргиным строки из стихотворения Тютчева «Цицерон» (1830).

С. **35.** *...жертвенность одного из лучших патриотов Франции, ...сединам которого курили фимиам.* — Речь идет о 84-летнем французском маршале Анри Филиппе Петене (1856—1951). Начал службу в армии с 1970 г. Прославился в годы первой мировой войны. Маршал — с 1918 г. Шарль де Голль писал о нем: «В другое время маршал Петэн не согласился бы взять на себя роль главы государства в условиях поражения Франции. Я уверен в том, что, оставаясь самим собой, он возобновил бы борьбу... Но, увы! Годы подточили его. На склоне лет он уже легко поддавался влиянию... Старость маршала Петэна должна была символизировать поражение Франции. (Ш. де Голль. Военные мемуары. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957. С.100).

С. **45.** *...Подписано перемирие с Германией...* — 22 июня 1940 г. См. примеч. к с. 33 и 107.

С. **47.** *Камионетка* — грузовичок (от фр. camionnette).

С. **49.** *Свободная зона.* — На юге Франции, за рекой Шэр располагалась свободная зона, не оккупированная немецко-фашистскими войсками. Она составляла около 1/3 французской территории и находилась в ведении правительства Виши.

С. **53.** *Мы не имеем права передвижения.* — В середине июня 1940 г. Гитлер принял решение запретить беженцам возвращаться в оккупированную зону.

С. **60.** *Сегодня в Виши остатки палаты депутатов... отвергают... конституцию.* – Профашистский режим Виши (июль 1940 – август 1944 гг.) получил свое название от имени курортного городка Виши (Vichy), расположенного в центральной части Франции. В Виши базировалось коллаборационистское правительство А.Ф. Петена. Конституционным актом от 13 августа 1940 г. Петен ликвидировал республиканскую конституцию Франции, все демократические институты и заменил их авторитарной властью, были распущены все политические партии и профессиональные союзы.

С. **68.** *Среди нас двое врачей...* – А.И. и Э.Н. Бакунины (родители жены Осоргина) летом 1940 г. тоже жили в Шабри, но позже вернулись в Сент-Женевьев де Буа.

С. **73.** *...в ссылку через рязанские и казанские леса...* – Речь идет о ссылке в Казань в 1921 г.

С. **74.** *Я дважды в жизни ждал повешения и расстрела...* – в 1905 и 1921 гг.

С. **90.** *...у старого книгоеда и книголюба.* – См.: *Заметки старого книгоеда.*

*...папки своего архива, тысячи писем...* – В Париже Осоргин собрал новую библиотеку и архив. Масонские документы, в том числе и архив Осоргина, вывезены фашистами из Парижа в Моравию. Оттуда его архив попал в Россию – в Особый архив (Центр хранения историко-документальных коллекций. Ф. 730. 242 дела). Там находились, в частности, материалы Т.А. Бакуниной. (См. об этом: *Серков А.И.* История русского масонства. 1845–1945. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1997).

*...другой борется не на жизнь, а на смерть.* – Речь идет о Великобритании, которая вступила во Вторую мировую войну 3 сентября 1939 г.

С. **100.** *Лигуры* – собирательное название древних племен, населявших в середине 1-го тысячелетия до н.э. Северную Италию и Южную Галлию. Покорены римлянами во II в. до н.э.

*...к индусской эпопее о солнечных династиях...* – Речь идет о ведийской литературе, в которой триада вед воспринималась как воплощение трех богов: огня, ветра и солнца.

*...легенду о Геркулесе, отправившемся грабить золотые яблоки в саду Гесперид.* – Одиннадцатый подвиг Геракла (Геркулеса – рим. миф.)

С. **101.** *Лигуров потеснили кельты, кельтов — кимвры.* — Кельты — древние индоевропейские нлемена, обитавшие во 2-й пол. 1-го тысячелетия до н.э. на территории современной Франции и других европейских государств. *Кимвры* — германские племена.

С. **107.** *...нерадивости старичка, живущего в Виши.* — 16 июня 1940 г. власть во французском правительстве перешла к Петену, который отказался от борьбы с фашистской Германий и 22 июня 1940 г. заключил с ней перемирие на унизительных для Франции условиях. В годы оккупации Петен сотрудничал с фашистской Германией, преследовал участников движения Сопротивления. В сентябре 1944 г. члены правительства Виши были вывезены фашистами в Германию. В 1945 г. Петена приговорили к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением с лишением всех прав.

С. **110.** *Пастер* Луи (1822—1895) — французский ученый, основатель микробиологии и иммунологии. Одним из его многочисленных открытий был метод вакцинации против бешенства (1885).

С. **112.** *...три круга друидов...* — Друиды — жрецы у древних кельтов в I в. до н.э. — I в. н.э., были судьями, врачами, прорицателями. Возглавляли сопротивление римской оккупации.

*...на ее берегах Цезарь будет преследовать Верцингеторикса.* — Верцингеториг (ум. 46 до н.э.) — вождь антиримского восстания галлов в 52 до н.э. После захвата римскими войсками Цезаря г. Алезия Верцингеториг был пленен и позже казнен.

С. **113.** *Римская Галлия* — область в Европе между рекой По и Альпами. С VI в. до н.э. заселена кельтами, которых римляне называли галлами. Во II в. до н.э. Галлия была подчинена римлянами и превращена в римскую провинцию.

С. **114.** *Людовик XI* (1423—1483) — французский король с 1461 г.

*Гугеноты* — приверженцы кальвинизма во Франции XVI—XVIII вв. Вели религиозные войны с католиками.

С. **115.** *По этим местам прошли в свое время легионы Юлия Цезаря.* — В 58—51 г. до н.э. римский диктатор Гай Юлий Цезарь (102 или 100—44 до н.э.) подчинил Риму всю заальпийскую Галлию. Написал «Записки о галльской войне».

С. **116.** *...журнала за 1867 год, — незадолго до войны, окончившейся для Франции разгромом.* — Речь идет о Франко-прусской войне 1870—1871 гг., которая завершилась грабительским по отношению к Франции Франкфуртским мирным договором от 10 мая 1871 г. Германия получала Эльзас, Восточную Лотарингию и контрибуцию в 5 млрд. франков.

*...Франция отомстила за свое поражение.* — Первая мировая война завершилась выгодным для Франции Версальским мирным договором 28 июня 1919 г. По Версальскому договору Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию (в границах 1870 г.). Франция получила угольные шахты Саарской области, часть германских колоний (Того и Камерун) и др.

*...портреты Александра II и его сыновей: Александра и Владимира.* — Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г., реформатор. Убит народовольцами. Александр III (1845—1894) — второй сын Александра II, российский император с 1881 г. Владимир (1847—1909) — третий сын Александра II, великий князь.

С. **128.** *Ведь только на днях воспрещены во Франции все тайные общества...* — См. примеч. к с. 99. ПОН???

С. **131.** *Ормузд побеждает Аримана...* — Божества древней восточной религии — зороастризма, олицетворяющие добро и зло. Легенда, которую часто вспоминал Осоргин. См. его повесть «Вольный каменщик» (М., 1992. С. 182).

С. **133.** *Тициан* (ок. 1476/77 или 1489/90—1576) — итальянский живописец, глава венецианской школы Высокого и позднего Возрождения.

С. **141.** *...В конце X века Эрик Красный высадился на западном побережье Зеленой Земли и положил начало тамошним поселениям.* — Речь идет о Гренландии (Grьnland — буквальный перевод: Зеленая страна). В 982 г. исландец Эйрик Рауда (Рыжий) произвел первое обследование острова и дал ему название. Вскоре на юге Гренландии были основаны первые ирландские колонии.

С. **148.** *Изида* — персонаж древнеегипетских мифов. Жена бога Озириса. Одна из символических фигур в масонстве (см. «Вольный каменщик». М., 1992. С. 90).

*Сарацины, призванные на помощь герцогом Аквитанским...* — В VII в. в Аквитании (область на юго-западе Франции) правили герцоги.

С. **148.** *Пипин-Короткий* (714/715–768) – франкский король с 751 г. Стал первым из династии Каролингов, сверг последнего правителя рода Меровингов. Подчинил отпавшую от королевства Аквитанию.

С. **149.** *...эльзасцы, уже свыкшиеся с положением неприкаянных.* – По соглашению от 22 июня 1940 г. Эльзас и Лотарингия были отторгнуты от Франции. Французское население, не менее 620 тысяч человек, изгнали из родных мест.

С. **153.** *Бетховен* Людвиг ван (1770–1827) –немецкий композитор.

*Дебюсси* Клод (1862–1918) – французский композитор.

*Лист* Ференц (1811–1886) – венгерский композитор.

*Шуберт* Франц (1797–1828) – австрийский композитор.

*Вагнер* Рихард (1813–1883) – немецкий композитор.

С. **154.** *Кентерберийский собор* (1070–1503) – главная англиканская церковь в Великобритании.

*Собор Реймса* – памятник архитектуры зрелой французской готики (1211–1311) в г. Реймс (Франция).

С. **156.** *...жажда «репрессалий»* – жажда мщения (от фр. reprйsailles).

С. **163.** *Показывали «актюалитэ»* – т.е. показывали кинохронику (от фр. actualitйs).

С. **191.** *...академик Лакретель...* – Жан Шарль Доменик де Лакретель (1766–1855) – французский историк и публицист.

С. **200.** *...встреча вождя побежденных с вождем победителей произошла неподалеку от наших мест...* – 22 июня 1940 г. правительство Петена подписало с Германией Компьенское перемирие, означавшее капитуляцию Франции.

*...11 ноября – день перемирия 1918 года.* – День капитуляции Германии в Первую мировую войну.

С. **208.** *«Индефризабль»* – нежелательный (фр.).

*Паризии* – кельтское племя, расселившееся по берегам реки Сены. От наименования племени произошло название города Париж.

*«Капораль»* – дешевый сорт табака (от фр. caporal).

С. **217.** *...о предосудительном поведении Авраама, продавшего Сару.* – См.: Быт. 12.

*...о хитрости Иакова, сделавшего выгодную спекуляцию на чечевичной похлебке.* – Исав продал Иакову первородство за чечевичную похлебку (Быт. 25).

С. **217.** *Жаботинский* Владимир Евгеньевич (1880–1940) – писатель, переводчик, журналист. Сионист, один из основателей государства Израиль.

## ПИСЬМА О НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ

Печ. по: *Осоргин М.* Письма о незначительном. 1940–1942 / Предисл. М. Алданова. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. 390 с.

Впервые: Новое русское слово. Ежедн. газ. Нью-Йорк. 1941, 1 март., № 10248; 11 март., № 10258; 19 март., № 10266; 3 апр., № 10281; 7 апр., № 10285; 14 апр., № 19292; 16 апр., № 10294; 26 апр., № 10304; 11 мая, № 10319; 1 июня, № 10340; 16 июня, № 10355; 22 июня, № 10361; 14 июля, № 10383; 21 июля, № 10390; 23 июля, № 10392; 8 авг., № 10408; 25 авг., № 10425; 15 сент., № 10446; 21 сент., № 10452; 26 сент., № 10457; 29 сент., № 10450; 8 окт., № 10459; 14 окт., № 10465; 23 окт., № 10474; 3 дек., № 10515; 6 дек., № 10518; 15 дек., № 10527; 29 дек., № 10541; 1942, 12 янв., № 10555; 19 февр., № 10592; 25 июня, № 10716; 25 сент., № 10808; 19 окт., № 10832; 28 окт., № 10841; 7 ноябр., № 10851; 1943, 6 февр., № 10942; 14 февр., № 10950; 21 февр., № 10957.

С. **237.** *Ch. Peqúy* – Шарль Пеги (1873–1914) – французский поэт и публицист. Социалист, католик, мистик. В августе 1914 г. добровольно пошел на фронт и погиб в бою. В годы Второй мировой войны его имя приобрело большую популярность.

*Рим спасли бестолковые гуси...* – В 387 г. до н.э. галлы напали на римлян и взяли город. Уцелел лишь Капитолий. По легенде, защитники Капитолия ночью, в момент неожиданного нападения галлов, были разбужены не собаками, а гусями Юноны.

*В басне маленький комарик победил царственного льва...* – Речь идет о басне И.А. Крылова «Лев и комар» (1809).

С. **239.** *...шампанское еще летом все выпито здесь чужим народом...* – Осоргин писал: «...Бутылки лежат вдоль всех проезжих дорог...» (см. «В тихом местечке Франции»).

С. **241.** *«Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен...», – о чем догадывался... поэт Кантемир.* — Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский поэт, дипломат. Осоргин цитирует первую строку его сатиры «О истинном блаженстве» (*Кантемир А.* Собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1956. С. 43).

С. **244.** *На наших глазах задохлось и увяло свободное искусство в России...* — Осоргин писал о вынужденном «всеподданейшем тоне» советской литературы: «Книги появляются — литературы нет, есть только рассуждения о ее призрачном расцвете» (Последние новости. 1935. № 5418). Он подчеркивал, что литературный процесс в Советской России свелся к «сутолоке», «юбилейным торжествам, траурным поминкам, визитам иностранных гостей, политическим восторгам» (Последние новости. 1935. № 5571).

С. **245.** *...После «великой» войны 1914—18 гг.* — Речь идет о Первой мировой войне между двумя коалициями государств, где с одной стороны выступали Австро-Венгрия, Германия, Турция, Болгария, а с другой — Сербия, Россия, Франция, Великобритания, Япония, Италия, Румыния (страны Антанты).

*...Анатоль Франс* (наст. имя Анатоль Франсуа Тибо; 1844—1924) — французский писатель. Лауреат Нобелевской премии (1921).

С. **246.** *Александр Македонский* (356—323 до н.э.) — великий полководец, создавший крупнейшую монархию древности.

*С того момента, как немцы вторглись в Бельгию...* — В 1914 г. военные действия Германии начались 4 августа вторжением в Бельгию. Большая часть территории Бельгии была захвачена германскими войсками. 10 мая 1940 г. немецкие войска вновь вторглись в Бельгию, которая капитулировала уже 28 мая.

*...начали вспоминать о Франко-прусской войне 1870 года.* — Война 1870 г. началась 19 июля, а 2 сентября, т.е. через полтора месяца, фактически закончилась поражением французов при Седане. В сентябре немецкие войска уже группировались в районе Парижа. Перемирие было подписано 27 января на тяжелых для Франции условиях. (См. также с. 60). Во время Второй мировой войны фашисты напали на Францию в мае 1940 г., капитуляция произошла уже 22 июня.

С. **247.** *...маршал Лебеф.* – Эдмон Лебеф (1809–1888) – французский маршал. Руководил артиллерией во время осады Севастополя. В 1870 г. получил звание маршала. Он убедил Наполеона III в том, что французская армия во всех отношениях готова к войне. Император назначил его начальником штаба. После первых поражений французов Лебеф сложил с себя эту должность и получил командование корпусом, вместе с которым сдался в плен.

*Только Тьер... сомневался...* – Адольф Тьер (1797–1877) – французский государственный деятель. В 1871–1873 гг. – президент Франции. В феврале 1871 г. заключил мирный договор с Пруссией; подавил Парижскую коммуну.

*Наполеон III* – Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873) – французский император в 1852–1870 гг. Племянник Наполеона I. Во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. сдался со 100-тысячной армией в плен под Седаном (2 сентября 1870 г.). В результате революции в Париже был низложен с престола. После заключения Франкфуртского мира 1871 г. освобожден из плена. До конца своих дней жил в Великобритании.

*Дюкро* Огюст Александр (1817–1882) – французский генерал, виновник нескольких неудачных военных операций в 1870–1872 гг.

С. **248.** *...полетел на воздушном шаре Гамбетта.* – Леон Мишель Гамбетта (1838–1882) – премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881–1882 гг. В сентябре 1870 – феврале 1871 гг. – член Правительства национальной обороны. Гамбетта, вылетев на воздушном шаре в Тур из оккупированного Парижа, пытался организовать новые армии для отпора немецким оккупантам.

*Февральское бегство правительства в Бордо...* – Осенью 1914 г., когда Парижу угрожали немецкие войска, французское правительство переехало в Бордо.

*«Национальное собрание».* – Во Франции в 1870–1940 гг. национальное собрание – объединенное заседание обеих палат парламента, избиравшее президента республики. Во время Франко-прусской войны национальное собрание, покинувшее Париж, долго не возвращалось в город. Только в 1879 г. Париж вновь стал резиденцией французского правительства.

С. **249.** *...«историческая встреча» Жюля Фавра с Бисмарком в имении Ротшильда...* – Жюль Фавр (1809–1880) – вице-председатель и министр иностранных дел во французском «Правительстве национальной обороны» (сентябрь 1870 – февраль 1871). Подготовил и заключил мирный договор 1871 г. с Пруссией. Отто фон Шёнхаузен Бисмарк (1815–1898), князь – первый рейхсканцлер германской империи в 1871–1890 гг.

*Вспомните нашу войну с Японией...* – Имеется в виду русско-японская война 1904–1905 гг.

С. **250.** *...двух последовательных осад: прусской и версальской.* – 17 сентября 1870 г. Париж осадили прусские войска. Осада продолжалась до 28 января 1871 г. Парижане испытывали тяжкие лишения, но защищали город. Войска версальского правительства А. Тьера вступили в Париж 21 мая 1871 г. За это время Париж потерял около 100 тысяч жителей.

*...дни Коммуны.* – 4 сентября 1870 г., через два дня после поражения бонапартистов при Седане в Париже вспыхнуло восстание. 18 марта 1871 г. была провозглашена Парижская коммуна. Правительство А. Тьера бежало в Версаль. Коммуна просуществовала 72 дня. До 28 мая 1871 г. коммунары сражались на баррикадах с правительственными войсками, которых поддерживали и прусские интервенты.

С. **251.** *...герой современной Германии изображается с наполеоновским коком и усиками Чаплина.* – Речь идет об А. Гитлере. Чарльз Спенсер Чаплин (1889–1977) – американский актер и режиссер. В 1940 г. Чаплин создал фильм «Великий диктатор» – смелую антифашистскую сатиру. Он сыграл в нем две роли – парикмахера Чарли и диктатора Хинкеля (гротескно-карикатурный образ Гитлера). Фильм завершался ораторским обращением Чаплина к зрителям, призывом к борьбе с фашизмом.

*...бежала из Франции императрица Евгения.* – Евгения Монтихо (1826–?). В 1853 г. вышла замуж за Наполеона III. В 1870 г. способствовала его решению начать войну. 4 сентября покинула Тюильри и бежала в Англию.

*В 1918 г. пришлось бежать императору Вильгельму.* – Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941), германский император в 1888–1918 гг. Свергнут в ноябре 1918 г.

С. **251.** *Итальянский король стал императором...* — Монархия в Италии была ликвидирована после референдума 2 июня 1946 г., когда большинство итальянцев высказалось за республику.

С. **262.** *...красива и разнообразна только река.* — Осоргин говорит о реке Шэр.

С. **267.** *...о ... военных операциях в Африке.* — В 1940—1943 гг. в Северной Африке шли военные действия между англо-американскими и итало-немецкими войсками, которые в 1943 г. были отброшены в Тунис и капитулировали.

*...в дни триполитанской авантюры жил в Италии...* — Триполитанская война 1911—1912 гг. — война Италии против Турции с целью захвата турецких владений в Северной Африке (Триполитании и Киренаики). Закончилась поражением Турции. См. статьи Осоргина в «Русских ведомостях»: «Италия и Триполис» (1911. 13 сент., № 210); «Пойдет ли Италия в Триполис?» (1911. 14 сент., № 211); «Популярность триполитанской авантюры» (1911, 20 сент., № 215); «Италия и Триполис» (1911, 21 сент., № 216); «Аннексия Триполитании в парламенте» (1912. 17 февр., № 39) и др.

*...читал восторженную политическую дребедень Габриэле д'Аннунцио...* — Габриэле д'Аннунцио (1863—1938) — итальянский писатель, политический деятель. Приветствовал военные действия Италии в Северной Африке (цикл стихов «Песни о заморских подвигах», 1911 г.), а также фашистский переворот и военные акции итальянских фашистов в Африке. См. статьи Осоргина «Последние книги д'Аннунцио», «Новая книга д'Анунцио», «Созерцание смерти д'Аннунцио» в его кн: Очерки современной Италии (М.: Изд-во И.Н. Кушнерева, 1913). Писал Осоргин о нем и позже: «Габриэле д'Аннунцио» (Последние новости. 1938. 19 марта. № 6202).

С. **269.** *...чуть было не убила точнейшую из наук, нашедшую спасение только в метафизике.* — Речь идет о неэвклидовой геометрии Лобачевского (1826).

С. **270.** *...сканны, иберийцы, лигуры, кельты, кимвры, вандалы, гунны, франки, норманны...* — Сканны — видимо, Осоргин так назвал скандинавов. Иберийцы — древние испанцы. Вандалы — германские племена. Гунны — кочевой народ, сложившийся в Приуралье. Массовое переселение

гуннов на запад (70 г. IV в.) положило начало Великому переселению народов. Они подчинили германские и многие другие племена. Наибольшего могущества достигли при Аттиле. После его смерти их союз распался. Франки — германские племена, жившие в III в. вдоль Рейна. В 486 г. они завоевали последние римские владения в Галлии, в 497 г. заняли Париж. К середине VI в. вся Франция входила в состав Франкского государства.

С. **271.** *Много ли общего между эльзасцем и провансальцем, между жителями Нормандии и, например, басками...* — Эльзасцы — коренное население Эльзаса, провинции на востоке Франции. Говорят на французском и немецком. В 1940 г. Эльзас был аннексирован фашистской Германией. Провансальцы — жители Прованса, провинции на юго-востоке Франции, говорящие на провансальском языке. Жители Нормандии, области на севере Франции, на полуострове Нормандия. Баски — народ, который живет на юго-западе Франции и говорит на баскском языке.

С. **273.** *...о евангельском совете подставления левой щеки на смену правой.* — Мф. 5, 39.

С. **274.** *Немцы... завоевали также жизненные пространства других народов: австрийцев, чехов, поляков, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов и румын.* — 1 сентября 1939 г. Германия вторглась в Польшу. В апреле-мае 1940 г. немецко-фашистские войска оккупировали Данию и Норвегию, 10 мая 1940 г. вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а затем и во Францию. 30 августа 1940 г. от Румынии была отторгнута Северная Трансильвания.

*Русские, не нуждаясь в пространствах, тем не менее отняли их у поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын и финнов.* — 17 сентября 1939 г. советские войска перешли границу распавшегося Польского государства, вступили в Западную Украину и Западную Белоруссию. В ноябре 1939 г. их территории присоединили к СССР. В августе 1940 г. в состав СССР были включены Литва, Латвия и Эстония. В июне 1940 г. к СССР присоединена Бессарабия, принадлежавшая раньше Румынии, и северная часть Буковины. Результатом советско-финляндской войны 1939 г. стали территориальные уступки Финляндии в пользу СССР. По договору 12 марта 1940 г. граница СССР на Карельском

перешейке и в районе Ленинграда была отодвинута к северо-западу.

С. **274.** *Итальянцы, в погоне за новыми колониями, потеряли старые.* — Италия вступила в войну на стороне Германии 10 июня 1940 г. В сентябре 1940 — октябре 1942 г. в Северной Африке итало-немецкие войска вели военные действия с англо-американскими силами с переменным успехом. К маю 1943 г. Северная Африка была освобождена англо-американскими войсками.

*Греки, испугавшись потерь, неожиданно сделали приобретения.* — 28 октября 1940 г. фашистская Италия напала на Грецию, но итальянские войска потерпели поражение. Только после вторжения немцев в апреле 1941 г. Греция капитулировала.

*Эфиопы, к которым их пространства возвращаются, видят их пока занятыми англичанами.* — В результате итало-эфиопской войны 1935–1936 гг. Эфиопия была захвачена Италией. Освобождена в 1941 г. англичанами.

*Балканские славяне остаются в неуверенности...* — В марте 1941 г. правительство Югославии присоединило страну к Берлинскому пакту фашистских держав. Профашистское правительство было свергнуто и заключен договор о ненападении с СССР. В ответ 6 апреля 1941 г. Германия захватила Югославию, расчленив ее территорию.

*Японцы завязли в пространствах Китая.* — В 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию, в 1937 г. начала войну за захват всего Китая. Выступая союзником Германии и Италии, Япония в конце 1941 — начале 1942 г. захватила Малайю, Индонезию, Филиппины, Бирму, угрожала Австралии.

*Америка, стоя в стороне...* — 7 декабря 1941 г. Япония напала на американскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах. 8 декабря США объявили Японии войну.

С. **275.** *Великая французская революция* — революция 1789–1794 гг.

*Великая русская...* — Так Осоргин называет революцию 1917 г.

С. **276.** *Вольтер* (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778) — французский философ, писатель.

С. **277.** *...писал... приветствия Екатерине Второй, по случаю ее побед над турками.* — См.: Письма Волтера. М.: Л., Изд-во АН СССР, 1956. С. 248–249.

С. **279.** *...наци хотят быть нибелунгами.* — Нибелунги — герои германского эпоса, обладатели чудесного клада (Эдда Старшая, «Песнь о Нибелунгах»).

*...зачеркнуть... 1789 год...* — 14 июля 1789 г. — день штурма Бастилии, начало народного восстания. 26 августа 1789 г. Учредительным собранием Франции была принята Декларация прав человека и гражданина.

С. **282.** *...«ибо прах ты, и в прах обратишься».* — Екк. 12, 7.

С. **283.** *...протопоп Аввакум сидел в срубе на цепи пятнадцать годов...* — Аввакум Петрович (1620 или 1621—1682) — основатель русского старообрядчества, писатель. После долгих гонений был сослан в 1667 г. в Пустозерский острог и заточен в земляной сруб. В 1682 г. он и его ближайшие единомышленники в срубе же были сожжены. См. рассказ Осоргина «Аввакум» (*Собр. соч.* Т. 2. Старинные рассказы). Аввакума Осоргин включал в число нескольких любимых писателей (*Осоргин Мих.* Литература для себя. Из цикла: Литературные размышления // Последние новости. 1938. № 6169).

*Шишей ...и прилагатаев.* — От старорусских слов: шиш (шишига) - нечистый, сатана, бес; прилог вражий — клевета.

*...казнил словом Никона...* — Никон (в миру Никита Минов; 1605—1681) — русский патриарх с 1652 г. Провел церковные реформы, вызвавшие раскол.

С. **284.** *Образ весны... не бесплотная девица Боттичелли...* — Сандро Боттичелли (наст. имя Алессандро Филипепи; 1445—1510) — итальянский живописец, представитель раннего Возрождения. Речь идет о картине «Весна» (ок. 1477—1478 гг.).

С. **285.** *...под разными тропиками Рака и Козерога...* — параллели с широтами 23''07' — Северный, или тропик Рака, и Южный, или тропик Козерога. В день летнего солнцестояния (21—22 июня) солнце в полдень находится в зените над тропиком Рака, аналогично в день зимнего солнцестояния (21—22 декабря) — над тропиком Козерога.

*...на реке Каме мелью, на которую села трехсаженная белуга.* — 9 августа 1901 г., например, пермские газеты сообщали о чудовищной белуге, пойманной крестьянином Богомягковым. Голова ее весила 5 пудов, а хвост — 6 пудов. Была продана за 100 рублей в рыбный магазин

Шваревой. См. в кн.: Прогулки по старой Перми: Страницы городского фельетона конца XIX – начала XX века. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1998. С. 32.

С. **293.** *...забыта «измена» России в мировую войну.* – Советская Россия заключила с Германией Брестский мир 3 марта 1918 г.

С. **294.** *...в «тьме горьких истин».* – Несколько видоизмененные строки из стихотворения А.С. Пушкина «Герой» (1830): «Тьмы низких истин нам дороже // Нас возвышающий обман...».

С. **296.** *...Варфоломеевской ночи...* – т.е. ночи на 24 августа 1572 г., в день святого Варфоломея, когда в Париже произошла массовая резня гугенотов католиками.

С. **297.** *...болгарское соучастие в войне не может быть призвано добровольным...* – В марте 1941 г. Болгария была вовлечена в пакт фашистских держав и германские войска вошли на болгарскую землю.

С. **298.** *Международный Красный Крест...* – добровольное общество помощи военнопленным и раненым войнам (создавался с 1860-х гг.).

С. **301.** *...масонские организации... распущены за «вредность».* – Осоргин был инициатором прекращения заседаний созданной им ложи Северная Звезда. Он говорил, что в дни войны невозможно «найти в себе желание и силу целиком отдаваться беседам на темы отвлеченно философские...». Но личные связи «братья» поддерживали. Иногда встречались и члены ложи Северная Звезда, хотя регулярные встречи возобновились лишь в 1944 г. «Братская цепь оставалась крепкой; нельзя не вспомнить, как брат Осоргин, уже тяжелобольной, приезжал из свободной зоны в Париже повидаться с братьями...», – вспоминали члены ложи. Часть масонских архивов (в том числе и архив Осоргина) в годы войны пропала. В дни оккупации Парижа на квартирах масонов проводились обыски. Имена видных масонов публиковались в газетах. Русским масонам не выдавали удостоверения личности. В день нападения немцев на СССР несколько русских масонов были арестованы и отправлены в лагеря. Многие из русских масонов принимали участие в движении Сопротивления, помогали преследуемым евреям. Русские масонские ложи во Франции потеряли в годы войны половину своих членов. Из 90 членов

ложи Северная Звезда в Париже осталось лишь 23 человека. (Подробнее об этом см. главу «Русское масонство в годы Второй мировой войны» в кн.: *Серков А.И.* История русского масонства. 1845–1945. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1997. С. 425–436).

С. **301.** *...голодный 1921 год в СССР и помощь АРА...* — Сокращенное от английского American Relief Administration (Американская администрация помощи). В 1919–1923 гг. Комитетом руководил Г. Гувер. Комитет АРА был создан для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первую мировую войну. В 1921 г. его деятельность была разрешена в СССР. 21 августа 1921 г. с АРА было заключено соглашение о продовольственных поставках в Россию. Тем самым судьба общественного Комитета помощи голодающим была предрешена, он стал не нужен властям.

С. **302.** *...людоедство перестало быть случайностью...* — См. статью Осоргина «Чтобы лучше ощущать свободу» // На чужой стороне. 1924. № 8: «Обвинять нас, конечно, было не в чем. Виноваты — хотели сделать то, чего правители сами сделать не могут: помочь голодающим». О Комитете помощи голодающим см. статьи: «В успех не верю, но долг велит». К истории Всероссийского комитета помощи голодающим. Письма М.В. Сабашникова / Публ. А. Паниной // Источник. Документы русской истории. Вестник архива президента Российской Федерации. 1999. № 1. С. 57–65; *Б.К. Зайцев.* «Веселые дни». 1921 г. // *Зайцев Б.К.* Собр. соч. Т. 6. Мои современники и др.

*...мистер Хувер.* — Герберт Кларк Гувер (1874–1964) — 31-й президент США (1929–1933). В 1919–1923 гг. был руководителем АРА.

*Пользуются образом Архимеда.* — Архимед (ок. 287–212 до н.э.) — древнегреческий ученый. Организатор инженерной обороны Сиракуз против римлян.

С. **303.** *Бордоская жидкость...* — смесь раствора медного купороса с известковым молоком для борьбы с болезнями деревьев и др.

С. **305.** *...в утопическом романе покойного Е. Замятин «Мы»...* — Евгений Иванович Замятин (1884–1937) — русский писатель. Его роман-антиутопия «Мы» опубликован в 1924 г. в Англии. В 1932 г. выехал за границу. Осоргин рассказывал, что жизнь Замятина в Париже — «пять лет болезней и

тяжкого труда». Жил бедно, работал над сценариями. См. статьи Осоргина: Е.И. Замятин // Последние новости. 1937. 11 марта. № 5830; Евгений Иванович Замятин // Последние новости. 1939. 10 марта. № 6556.

С. **311.** *Далматинское побережье* — побережье Черногории в Адриатическом море.

*Которский залив* — залив в Адриатическом море у берегов Черногории.

С. **312.** *...Волга — приток Камы.* — Осоргин не раз писал о «споре рек»: «Волга впадает в Каспийское море» только потому, что украла это право у Камы, в которую она в действительности впадает и с которой не может сравниться ни глубиной, ни чистотой, ни мощью» (*Собр. соч.* Т. 2. С. 106).

*Алебарда* (от фр. hallebarde) — парадное оружие, длинное копье, поперек которого прикреплена секира или топорик.

*Зыряне* — устаревшее название народа коми; *черемисы* — до 1918 г. так называли марийцев.

С. **320.** *...в первых строках Священной книги: «В начале было Слово».* — Ин.,1, 1–3.

*Моисей в пустыне видел эти записи прошлого, нагромождения каменных знаков...* — «И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору, и будь там; и дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для научения их» (Исх. 24, 12).

С. **321.** *...древние циклопические постройки.* — Сооружения из больших тесаных каменных глыб без связующего раствора в Средиземноморье, на Кавказе, в Крыму и др.

*Долмены, дольмены* — древние каменные гробницы. Встречаются в приморских районах Европы, на Кавказе, в Крыму и других районах.

*...не истребляла их на фабрике ангелов.* — Речь идет об абортах.

С. **324.** *...естественный закон, в явлениях природы подмеченный Ламарком, развитый Дарвином...* — Жан Батист Ламарк (1744–1829) — французский естествоиспытатель. Развивал учение об эволюции живой природы. Чарльз Роберт Дарвин (1809–1882) — английский естествоиспытатель, создатель теории эволюции органического мира Земли.

С. **327.** *...образ Георгия Победоносца.* — Святой великомученик Георгий родился в Малой Азии, в Каппадокии, в богатой семье. В царствование императора Диолектиана он, будучи 20 лет от роду, стал военачальником и членом царской свиты. Но когда наступило время преследований христиан, Георгий начал открыто исповедовать христианство. Его отправили в темницу, подвергли страшным пыткам, резали ножами, бросали в ров с негашеной известью, надевали на ноги раскаленные железные сапоги, травили ядом, но заставить отречься от веры так и не смогли. Наконец, 23 апреля 303 г. Георгий был казнен. За мужество, с которым он переносил страдания, его и называют Победоносцем.

*...победы Давида над Голиафом.* — По библейскому преданию, юноша Давид (в будущем — иудейский царь) победил великана Голиафа (1-я Цар., 17).

С. **339.** *Кассандр было немало...* — Кассандра — в греческой мифологии дочь царя Трои, получившая от Аполлона пророческий дар. Но отвергнутый Кассандрой Аполлон сделал так, что троянцы не верили ее предсказаниям.

С. **340.** *...русским наступлением... спасен Париж.* — 3 августа 1914 г. Франция вступила в войну. Уже в первые недели стремительное наступление германских войск поставило под угрозу Париж. Немцы находились в 70 км от французской столицы. Правительство переехало в Бордо. Расчеты германского командования на быстрый разгром Франции сорвало наступление русских войск в Восточной Пруссии. Оно заставило немцев перебросить военные части с Западного фронта на Восточный.

*...от заключенного сепаратного мира пострадала территориально только Россия.* — Германия аннексировала у Советской России Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья.

С. **341.** *Нужно было видеть эту днем и ночью катившуюся с запада вглубь страны солдатскую лавину...* — См. роман Осоргина «Сивцев Вражек».

С. **348.** *...Лафайэт, переправивший эти принципы в Америку.* — Мари Жозеф Лафайет (1757—1834) — французский политический деятель. Участник войны за независимость в Северной Америке в 1775—1783 гг. Сыграл большую роль и в Великой французской революции.

С. **351.** *Июнь для Франции — месяц трагического юбилея.* — 22 июня 1940 г. — день капитуляции Франции.

С. **353.** *...на заседании верховного совета в Туре (13 июня) Поль Рено спросил Черчиля...* — Уинстон Леонард Спенсер Черчиль (1874—1965) — английский политический деятель. В 1940—1945 гг. — премьер-министр Великобритании. Весной 1940 г. Черчиль пять раз приезжал во Францию. Он вспоминал, как напомнил маршалу Петену слова Клемансо: «Я буду сражаться перед Парижем, в Париже, за Парижем». Маршал ответил «очень спокойно и с достоинством: "Превращение Парижа в развалины не изменит конечного результата"». 13 июня, во время пятой поездки во Францию, Черчиль вновь встречался с Полем Рено, который был тогда премьер-министром и военным министором Франции (см.: *Черчилль Уинстон.* Вторая мировая война. Кн. 1. М.: Воен. изд-во, 1991. С. 382—384).

С. **354.** *...приписывается также и Меттерниху...* — Клеменс Меттерних-Виннебург (1773—1859), князь — фактический глава австрийского правительства, канцлер (1821—1848).

*«Старые комбатанты»* — Комбатант (от фр. combattant) — воин, участвовавший в боевых действиях.

С. **355.** *Авионы* (от *фр.* avion) — самолеты.

С. **359.** *...административные меры против лиц еврейской национальности...* — По решению правительства Петена лица нефранцузского происхождения лишались ряда гражданских прав, были введены и антисемитские законы.

С. **360.** *...знаменитого философа Бергсона...* — Анри Бергсон (1859—1941) — французский философ-идеалист, член Французской академии, получил Нобелевскую премию по литературе (1927).

*Леон Блюм* (1872—1950) — лидер и теоретик Французской социалистической партии. После оккупации фашистами Франции арестован и отправлен в Германию.

*...де Голь, главное пугало...* — Шарль де Голль (1890—1970) с октября 1925 г., в течение двух лет, служил в канцелярии маршала Петена. 30 мая 1940 г. произведен в генералы. 8 июня отправлен в Лондон. Отказался подчиниться приказу правительства Петена о возвращении. Заочно был приговорен к смертной казни. Англия, разорвав дипломатические отношения с правительством Петена, заявило о признании де Голля главой «свободных францу-

зов». в 1940 г. основал в Лондоне патриотическое движение «Свободная Франция» (с 1942 г. — «Сражающаяся Франция»), которое примкнуло к антигитлеровской коалиции В 1941 г. — руководитель Французского национального комитета, в 1943 г. — глава Французского комитета национального освобождения. Осуществлял руководство освободительной борьбой во Франции. В 1959—1969 — президент Франции.

С. **365**. *...по «Освобожденному Иерусалиму» Торквато Тассо.* — Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт эпохи Возрождения. Героическую поэму «Освобожденный Иерусалим» написал в 1580 г.

С. **367**. *«Аттантизм»* — политика выжидания (от фр. attentisme). Из обращения Шарля де Голля по радио: «Существует тактика войны. Войной должны руководить те, кому это поручено... В настоящее время мой приказ для оккупированной территории: немцев не убивать! ...Как только мы сможем перейти в наступление, будут отданы соответствующие приказы» (*Голлъ Ш. де.* Военные мемуары. Т. 1. М., 1960. С. 291).

С. **372**. *Дарлан* Жан Луи (1881—1942) — французский адмирал флота. Во Вторую мировую войну был главнокомандующим военно-морского флота. В 1941—1942 гг. министр в пронемецком правительстве Виши, в апреле 1942 г. занял пост главы правительства. Убит молодым французом Бонье де ла Шапелем.

С. **377**. *Карл Шестой* — Карл VI Безумный (1368—1422) — французский король с 1380 г.

С. **387**. *«Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Делярю; тот, шляпу сняв, сказал учтиво: благодарю»...* — Начальное четверостишие юмористического стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Великодушие смягчает сердца» (1900), направленного против идеи непротивления злу.

С. **394**. *...слабость в войне с Финляндией...* — Советско-финляндская война (28 ноября 1939 — 12 марта 1940 гг.) закончилась поражением Финляндии, но советская армия понесла огромные потери.

С. **398**. *...какому оплеванию предавали эмигрантов, вернувшихся в Россию через враждебную Германию в «пломбированных вагонах»...* – Пломбированный вагон стал символом бесчес-

тья... — См. роман Осоргина «Книга о концах» (глава «Вагон»).

С. **400.** *...Денис Давыдов, родоначальник русского партизанства...* — Денис Васильевич Давыдов (1784—1839), герой Отечественной войны 1812 г., поэт, автор теоретических трудов о партизанских действиях. Будучи командиром гусарского полка и партизанского отряда, успешно действовал в тылу врага.

С. **403.** *Вестминстерское аббатство* — усыпальница английских королей, государственных деятелей, знаменитых людей (XIII—XIX вв.).

*...уничтожение урожаев в России, в областях нашествия гуннов.* — Зд. гуннами Осоргин называет немцев.

С. **404.** *...русский ученый С.. Метальников в институте Пастера.* — Сергей Иванович Метальников (1870—1946) — русский биолог. Окончил естественный факультет Петербургского университета, где в 1907 г. стал профессором зоологии. В Петербурге начал исследования по иммунологии, которые продолжал всю жизнь. В 1918 г. занимался организацией Крымского университета в Симферополе. В 1920 г. эмигрировал во Францию, где возглавил одну из лабораторий в институте Пастера в Париже. Стал основоположником психонейроиммунологии, изучал феномены старения, проблемы борьбы с вредными насекомыми. При жизни Метальникова было опубликовано более 250 его научных работ.

С. **408.** *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) — революционер, теоретик анархизма. С 1840 г. — за границей. В 1851 г. выдан австрийскими властями России, заключен в Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепости, с 1857 г. — в сибирской ссылке. В 1861 г. бежал за границу, где продолжал политическую деятельность. См. также статью Осоргина (Русские ведомости. 1910. 16 янв., № 12).

С. **411.** *Мусоргский* Модест Петрович (1839—1881) — композитор. См. статью Сабанеева Л. О Мусоргском // Современные записки. 1939. № 68.

С. **412.** *...Толстой, бежавший от родного очага искатъ покоя в один из тех монастырей, которые он так строго осуждал...* — Перед смертью Толстой посетил Шамординский монастырь (Казанскую Свято-Амросиевскую пустынь), где

жила М.Н. Толстая, его сестра, а также и Свято-Введенскую Оптину пустынь. См.: *Котельников В.* Куда ушел Лев Толстой? // *Котельников В.* Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной. М.: Прогресс-Плеяда, 2002. С. 321–332.

С. **422.** *Пэнлеве* Поль (1863–1933) – французский математик. В 1917 г. премьер-министр Франции.

*Фердинанд Бюиссон* (1841–1932) – французский педагог и общественный деятель. С его именем связана школьная реформа во Франции, он создал Педагогический музей. Стал одним из основателей Лиги прав человека. Лауреат Нобелевской премии мира (1927).

*На 11-м собрании Лиги Наций Рамсай МакДональд...* – Лига Наций – международная организация, учрежденная в 1919 г. с целью гарантии мира и безопасности. СССР вступил в нее в 1934 г., но в 1939 г. из-за войны СССР с Финляндией его исключили из этой организации. Формально Лига Наций прекратила свое существование в 1946 г. Джеймс Рамсей Макдональд (1866–1937) – в 1924 и 1929–1931 гг. премьер-министр Великобритании.

С. **433.** *...поспорят о достоинствах французского Гаварни и русского Василия Федоровича Тима.* – Поль Гаварни (наст. имя Сюльпис Гийом Шевалье; 1804–1866) – французский график. О В.Ф. Тимме (Георг Вильгельм; 1820–1895) Осоргин судил не точно. Тимм – не только русский, но и латышский график.

*...выстреле, унесшем век тому назад Лермонтова.* – М.Ю. Лермонтов был убит на дуэли 15(27) июля 1841 г.

*...полувековая годовщина смерти Гончарова.* – Иван Александрович Гончаров умер 15(27) сентября 1891 г.

*Три месяца недостает до годовщины... февральской революции.* – Февральская революция, свергнувшая царя в России, произошла 23–27 февраля 1917 г. (по н.ст. 8–12 марта).

*В минувшем году пропущена прискорбная годовщина разорения Киева татарами, – и вот, спустя семьсот лет, мать русских городов снова под пятой варваров.* – Киевское княжество разорено татаромонголами в 1240 г. В 1941 г. немецкими войсками была оккупирована Украина, захвачен Киев. Оборона Киева продолжалась с 10 июня по 29 сентября 1941 г.

С. **433.** *Кальвин* Жан (1509–1564) – французский деятель Реформации, основатель кальвинизма, одного из направлений протестантизма

С. **434.** *...сожжен Михаил Серве.* – Мигель Сервет (1509–1511 или 1513) – испанский мыслитель, врач. По указанию Кальвина обвинен в ереси и сожжен.

С. **435.** *У французского писателя Евгения Сю (...его знаменитые «Тайны Парижа» печатались в 1841 году).* – Эжен Сю (наст. имя Мари Жозеф; 1804–1857) в социальных романах «Парижские тайны» (т. 1–10; 1842–1843, рус. пер. 1844) рассказывал о людях парижского «дна».

*...чеховская «Сирена»* – рассказ 1887 г. (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: 18 т. Т.6. М.: Наука, 1976).

С. **436.** *...исполнилось в минувшем сентябре четырехсотлетие смерти Теофраста Парацельса...* – Осоргин сливает псевдоним Парацельс и имя Филипп Аурелл Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541). Парацельс – выдающийся немецкий врач-естествоиспытатель, с которым связаны легенды о докторе Фаусте. См. повесть Осоргина «Вольный каменщик».

*Рабле* Франсуа (1494–1553) – французский писатель-гуманист.

*Эразм* Роттердамский (1469–1536) – гуманист эпохи Возрождения.

С. **437.** *...для виталистов он – несомненный предок.* – Витализм (от лат. Vitalis – жизненный) – идеалистическое течение в биологии, признающее наличие в организмах нематериальной, сверхъестественной силы.

С. **443.** *...Мария «благую часть избра», то да не осудит ее благодетельная труженица Марфа.* – Лк. 10, 38–42.

С. **444.** *...строка «Интернационала».* – «Интернационал» с 1906 г. – партийный гимн русской социал-демократии, в 1918–1943 гг. – гимн СССР, с 1944 г. – гимн КПСС и других коммунистических партий. Текст Э. Потье, музыка П. Дегейтера (1888). Русский текст создан в 1902 г. поэтом А.Я. Коцем.

С. **445.** *...невысокая оценка Шекспира Львом Толстым...* – См. статью Л.Н. Толстого «О Шекспире и драме» (1903–1904 гг.). (Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 35).

С. **447.** *...разрушен в Кремле Архангельский собор... в мусор превращен московский университет и Большой те-*

*атр...* — Эти сооружения разрушены не были. Издержки немецкой пропаганды.

С. **447.** *...Ясная Поляна, где опоганен и разграблен дом-музей Льва Толстого...* — В октябре 1941 г. два вагона с экспонатами из Ясной Поляны были отправлены в эвакуацию. 29 октября 1941 г. в усадьбу Толстого въехали первые машины с немецкими солдатами. Гитлеровцы заняли под госпиталь здание Литературного музея, дом Толстого превратили в казарму. Возле дома ремонтировались танки. Многие деревья были повреждены снарядами и взрывами. Рядом с могилой Толстого оккупанты хоронили своих солдат и офицеров. В декабре 1941 г. началось отступление немецко-фашистских войск. Ясную Поляну немцы решили сжечь. Они разложили костры в спальне писателя, в комнате его жены и в библиотеке. Сотрудникам музея удалось потушить пожар, но яснополянская школа и больница сгорели дотла (*Ксенофонтов А.И.* Ясная Поляна сегодня. Тула: Приокское книжное изд-во, 1971. С. 20–25).

*...во что превращен в Клину дом Чайковского.* — В 1941 г. наиболее ценные экспонаты музея П.И. Чайковского успели эвакуировать в Воткинск (ныне г. Чайковский). Немцы находились в Клину три недели. Они бесцеремонно расположились в комнатах Чайковского. Мемориальные комнаты верхнего этажа превратили в казарму. Из вестибюля дома сделали гараж, в котором разведчики-мотоциклисты чинили и заправляли горючим свои машины. «Фашистский танк своротил кирпичные ворота усадьбы, смял и раздавил усадьбу дома... Были выломаны двери и оконные рамы. Взломав штыками упакованные ящики с невывезенным музейным имуществом, гитлеровцы вышвырнули все содержимое во двор: по всей территории усадьбы валялись на снегу изодранные книги, ноты, макеты театральных постановок... Они уже начали сдирать со стен кабинета дубовые панели, хотя во дворе было сколько угодно дров. Круглые сутки фашисты топили в доме все печи — ящиками, книгами, мебелью, чем попало...» (*Холодковский Вл.* Дом в Клину. М.: Моск. рабочий, 1975. С. 21–22).

*...русские войска вступят... в Веймар.* — Веймар находился в советской зоне.

*Гете* Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий поэт и писатель;

С. **447.** *Шиллер* Иоганн Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт и драматург;

*Гердер* Иоганн Готфрид (1744–1803) – немецкий философ;

*Виланд* Кристоф Мартин (1733–1813) – немецкий писатель.

*...храм музыкальной славы.* – Осоргин имеет в виду музыку Вагнера.

С. **450.** *...Америка... стала главным актером.* – Осоргин написал эти слова в середине января 1942 г. Япония напала на американскую базу Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г. 8 декабря США и Великобритания объявили войну Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну США.

С. **451.** *...свое бессилие и поражение на Востоке...* – Разгром немцев в битве под Москвой означал срыв гитлеровского плана «молниеносной войны».

С. **454.** *...словами другого военнопленного, именующего себя «изгнанником» и «полусвободным»...* – генерала де Голля, который в 1940 г. находился в Англии.

С. **464.** *...начать работу Данаид.* – В греческой мифологии 50 дочерей Даная убили своих мужей. В наказание они должны были в подземном царстве вечно наполнять водой бездонную бочку, поэтому выражение «работа Данаид» означает бесполезный и бесконечный труд.

С. **472.** *...Сократ... умер с улыбкой...* – Древнегреческий философ Сократ (ок. 470–399 до н.э.), приговоренный к смерти, принял яд цикуты.

С. **475.** *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716), *Шопенгауэр* Артур (1788–1860) – немецкие философы.

С. **476.** *...Панглосс в «Кандиде».* – Панглосс – герой философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1758).

*...бездействие ближе всего... «попрыгунье-стрекозе» из крыловской басни.* – Речь идет о басне «Стрекоза и муравей» (1808).

С. **477.** *...принцип стоиков nihil admirari...* (*лат.* – ничему не удивляться). – Стоики – философская школа, основанная в Афинах Зеноном. Они считали, что мудрец должен подражать бесстрастию природы.

С. **478.** *...Троянская война.* – Согласно «Илиаде» и «Одиссее» война греков против Трои длилась 10 лет.

*...битва при Фермопилах.* – Во время греко-персидской войны в 480 г. до н.э. триста спартанцев стойко обороняли Фермопилы и погибли в неравном бою.

С. **478.** *Тамерлан* (1336–1405) – среднеазиатский эмир, полководец. Совершал грабительские походы во многие страны Азии.

*Наполеон* Бонапарт (1769–1821) – французский император. Вел победоносные войны в Европе.

*...крестовые походы* – походы (1096–1270) под религиозными лозунгами на Ближний Восток.

*...Крымская война, осада Севастополя...* – Война 1853–1856 гг. начиналась как русско-турецкая. Позже на стороне Турции выступили Великобритания, Франция, Сардинское королевство. Осада Севастополя продолжалась 349 дней (с 13 сентября 1854 по 27 августа 1855 г.).

*...разделы Польши.* – В 1772, 1793 и 1795 гг. территория Польши (тогда – Речи Посполитой) была разделена между Пруссией, Австрией и Россией, что породило многочисленные национально-освободительные восстания.

*Калиф* (устар.), халиф – титул верховного правителя в ряде стран мусульманского Востока.

*...французы в Сирии.* – В 1920–1943 гг. Сирия находилась под властью Франции. В 1925–1927 гг. страну охватило восстание. Оно было подавлено, но формы правления французы были вынуждены изменить. В 1930 г. Сирия была объявлена республикой (с сохранением французского мандата).

*Золотая орда* – татаро-монгольское государство, которое подчинило русские княжества, находившиеся от нее в вассальной зависимости.

С. **484.** *...«в поте лица твоего будешь есть ты свой хлеб».* – Быт. 3, 19.

С. **486.** *...отказаться от попытки монистических толкований.* – Монизм – способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете единой основы всего существующего.

С. **492.** *«Страдания молодого Вертера»* (1774) – сентиментальный роман И.В. Гете.

С. **493.** *Санкюлот* (от фр. sans – без и culotte – короткие штаны) – Во время Великой французской революции аристократы называли так представителей городской бедноты, носивших в отличие от дворян короткие штаны. В те годы слово «санкюлот» означало «революционер».

С. **495.** *В Австралии... есть островок, открытый капитаном Матью Флиндерсом...* – Мэтью Флиндерс (1774–1814) – англий-

ский исследователь Австралии. Руководил тремя морскими экспедициями. В 1814 г. предложил для Южного материка названия Австралия (вместо Новой Голландии).

С. **503.** *Аристотель* (384–322 до н.э.) – древнегреческий философ.

С. **509.** *...литературные заслуги Пруста.* – Марсель Пруст (1871–1922) – французский писатель, автор романа «В поисках утраченного времени» (1913–1927). См. статью Осоргина «Один Пруст и два Джойса» из цикла «Литературные размышления» (Последние новости. 1938. 23 апреля. № 6237).

# СОДЕРЖАНИЕ

**Осоргин М.**
**О-75** **В тихом местечке Франции. Письма о незначительном / Сост., примеч. О.Ю. Авдеевой. — М.: НПК «Интелвак», 2005. — 544 с.**

ISBN 5-93264-049-9

**В настоящее издание вошли эссе и публицистические произведения Михаила Осоргина. В мемуарных очерках «В тихом местечке Франции» повествуется о жизни обитателей (среди которых и сам писатель) маленького французского городка во время фашистской оккупации. В «Письмах о незначительном», которые составлены автором из статей 1941—1942 гг., преобладают размышления философского и публициститческого характера, эскурсы в историю.**

**УДК 821.161.1**
**ББК 84 (2Рос=Рус)6**

**Михаил Осоргин**

**В ТИХОМ МЕСТЕЧКЕ ФРАНЦИИ**
**ПИСЬМА О НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ**

Редактор *Т.А.Горькова*
Корректор *Е.И. Коротаева*
Верстка *И.В. Ануфриевой*

Подписано в печать 25.06.2005.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура New Baskerwill.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 20,56.
Уч.-изд. л. 30,81. Тираж 500 экз. Заказ № 3628.

Издательство НПК «Йнтелвак». 117105, Москва,
Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847. Тел. 127 3846
E-mail iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета в ОАО «Дом печати – ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-93264-049-9
9 785932 64049 4